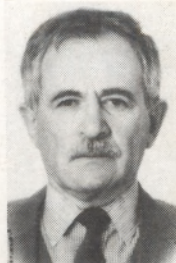


КОНТИНЕНТ 61

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYMENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

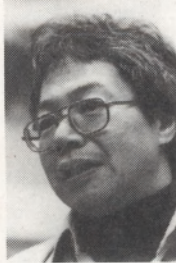
Маршал Берестов умер в понедельник, но только в среду вечером по радио и в четверг в утренних газетах



появилось сообщение о его смерти: хоть почти тридцать лет прошло со дня окончания войны, а народ... народ помнил и чтит героя и одного из первых полководцев войны.

Юлиу Эдлис

По Неизвестному, максимализм является частью «эсхатологического темперамента русской философии и искусства», т. е. находится в близком родстве с эсхатологической, максималистской и революционной природой русского авангарда. ...философия... развилась в России поздно.



Альберт Леон

Через два месяца после того вечера умер Сталин. Очень скоро были реабилитированы «врачи-отравители», а Берия с Абакумовым и Рюминым, подписавшие наше обвинение, расстреляны. События нагромождались одно на другое, к ним не успевали привыкнуть, как валились все новые и новые.



Радостное это было время! Все были полны надежд. Скоро, не дожидаясь конца срока, стали выпускать людей на свободу. А еще через короткое время почти всех иностранцев собрали в один лагункт и стали их усиленно кормить. Потом на поезде отправили в Москву.

Алла Туманова

Гипноз обыденной игры

В допросы, шмоны, кошки-мышки.

Действительность — как понаслышке, В поселке Вырица. Как говорится,



Как понарошке — лепость — до поры, Картинки про

До чур-чурлы. Христа

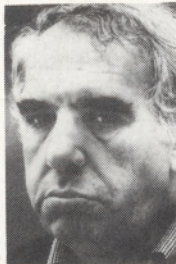
И оскорбленность и Магдалину — невиновных Эль фреско по

И с той и с этой фанере. Летний стороны... день.

Теория обществен- Не то, что летний — ной вины — теплый. Бабье

И тупость тварей лето. бездуховных. Начало сентября...

Юлий Ким Евгений Рейн



Хоронят няню. Бедный храм

сусальный

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэкс
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Оз · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Сидней Хук · Юзеф Чапский · Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

- | | |
|--------|---|
| Италия | Сергей Рапетти
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B
20131 Milano, Italia |
| США | Эдуард Лозанский
Edward D. Lozansky
3001 Veazey Terrace, N. W.
Washington, DC 20008, USA |
| Япония | Госюке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan |

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

61

**Издательство «Континент»
1989**

СОДЕРЖАНИЕ

Иосиф Бродский – Новые стихи	7
Юлиу Эдлис – Маршальская звезда	25
Наталья Горбаневская – Двенадцать стихотворений из ненаписанной книги	60
Анатолий Найман – Летом, в воскресный день. Рассказ	66
<i>ПОЭТЫ МЕТРОПОЛИИ В ГОСТЯХ У «КОНТИНЕНТА»</i>	
Михаил Еремин, Евгений Рейн, Юлий Ким, Ян Пробштейн, Елена Игнатова, Владимир Батшев	118
Юрий Лапидус – Ночь без происшествий. Рассказ	160
Владимир Тарасов – Пряжа августа. Стихи	184
Сергей Довлатов – Соло на ИБМ. Из записных книжек	188
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Виктор Кудрин – Горбачевская перестройка в СССР	201
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Чеслав Милош – Конец великого княжества (О Юзефе Мацкевиче)	247
ЗАПАД – ВОСТОК	
Альберт Леонг – Эрнст Неизвестный и русская культура	273
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Р. Грязев – Как запретили клуб «Рабочая инициатива»	285
ИСТОКИ	
Алла Туманова – Инга	291
ЭКОНОМИКА	
Игорь Бирман – Дыра в бюджете, лишние деньги и реформа	305

ИСКУССТВО

Сергей Г о л л е р б а х – Из сумеречной зоны к Прокрустову ложу – и за их пределы	335
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Ирина М у р а в ь е в а – «Слоистый пирог времени»	353
---	-----

КОЛОНКА РЕДАКТОРА	367
--------------------------	-----

НАША ПОЧТА	369
-------------------	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Кира С а п г и р – Секрет Евгения Попова	377
---	-----

Н. Г о р б а н е в с к а я – Михаил Булгаков, жизнеповедение	382
--	-----

Андрей Б о р о д и н – Рассказы о Анне Ахматовой	387
---	-----

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	391
------------------------------	-----

НАША АНКЕТА

Беседа с писателем Андреем Б и т о в ы м . Ведет журналист <i>Виталий Амурский</i>	407
--	-----

СОДЕРЖАНИЕ №№ 41 – 60	423
------------------------------	-----

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Обращение «Кёльнского клуба»

НА СТОЛЕТИЕ АННЫ АХМАТОВОЙ*

Страницу и огонь, зерно и жернова.
секиры острое и усеченный волос –
Бог сохраняет все; особенно – слова
прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст,
и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,
поскольку жизнь – одна, они из смертных уст
звучат отчетливей, чем из надмирной ваты.

Великая душа, поклон через моря
за то, что их нашла, – тебе и части тленной,
что спит в родной земле, тебе благодаря
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной.

1989

ПАМЯТИ ОТЦА: АВСТРАЛИЯ

Ты ожил, снилось мне, и уехал
в Австралию. Голос с трехкратным эхом
окликал и жаловался на климат
и обои: квартиру никак не снимут,
жалко, не в центре, а около океана,
третий этаж без лифта, зато есть ванна,
пухнут ноги, «А тапочки я оставил» –
прозвучавшее внятно и деловито.
И внезапно в трубке завыло «Аделаида! Аделаида!»
загремело, захлопало, точно ставень
бился о стенку, готовый сорваться с петель.

* Первый вариант этого стихотворения, без заглавия и с некоторыми разночтениями, напечатан в «Литературной газете». – Р е д.

Все-таки это лучше, чем мягкий пепел
крематория в банке, ее залога —
эти обрывки голоса, монолога
и попытки прикинуться нелюдимом

в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом.

1989

* *
 *

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.

Четверть века назад ты питала пристрастие к люля и к
финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-
химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.

Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь
сплошнойю
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил,
но забыть одну жизнь человеку нужна, как минимум,
еще одна жизнь. И я эту долю прожил.

**Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела,
 глумлива?
ибо время, столкнувшись с памятью, узнает
 о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.**

ЭЛЕГИЯ

Постоянство суть эволюция принципа помещения в сторону мысли. Продолжение квадрата или параллелепипеда средствами, как сказал бы тот же Клаузевиц, голоса или извилин. О, сжавшаяся до размеров клетки мозга комната с абажуром, шкаф типа «гей славяне», четыре стула, козетка, кровать, туалетный столик с лекарствами, расставленными наподобье кремля или, лучше сказать, нью-йорка. Умереть, бросить семью, уехать, сменить полушарие, дать вписать другие овалы в четырехугольник – тем громче пыльное помещение настаивает на факте существования, требуя ежедневных жертв от новой местности, мебели, от силуэта в желтом платье; в итоге – от самого себя. Пауку – одно удовольствие заштриховывать мятый угол. Эволюция не приспособление вида к незнакомой среде, но победа воспоминаний над действительностью. Зависть ихтиозавтра к амебе. Расхлябанный позвоночник поезда, громыхающий в темноте

мимо плотно замкнутых на ночь створок
деревянных раковин с их бесхребетным, влажным,
жемчужину прячущим содержимым.

1988

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

...погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда
по принципу сходства, случившись ночлегом,
они жгли костер. В заматаемой снегом
пещере, своей не предчувствуя роли,
младенец дремал в золотом ореоле
волос, обретавших стремительный навык
свечения – не только в державе чернявых,
сейчас, – но и вправду подобно звезде,
покуда земля существует: везде.

25-е дек. 1988

ЛАНДСВЕР КАНАЛ, БЕРЛИН

Канал, в котором утопили Розу
Л., как погашенную папиросу,
практически почти зарос.
С тех пор осыпалось так много роз,
что нелегко ошеломить туриста.
Стена – бетонная предтеча Кристо –
бежит из города к теленку и корове
через поля отмытой цвета крови;

дымит сигарой предприятие.
И чужестранец задирает платье
туземной женщине – не как Завоеватель,
а как придирчивый ваятель,
готовящийся обнажить
ту статую, которой дольше жить,
чем отражению в канале,
в котором Розу доканали.

1989

* * *

Сюзанне Мартин

Пчелы не улетели, всадник не ускакал. В кофейне
«Яникулум» новое кодро болтает на прежней фене.
Тая в стакане, лед позволяет дважды
вступить в ту же самую воду, не утоляя жажды.

Восемь лет пронеслось. Вспыхивали, затухали
войны, рушились семьи, в газетах мелькали хари,
падали аэропланы, и диктор вздыхал «о Боже».
Белье еще можно выстирать, но не разгладить кожи

даже пылкой ладонью. Солнце над зимним Римом
борется врукопашную с сизым дымом;
пахнет жженым листом, и блещет фонтан, как орден,
выданный за бесцельность выстрелу пушки в полдень.

Вещи затвердевают, чтоб в памяти их не сдвинуть
с места; но в перспективе возникнуть трудней, чем
сгинуть
в ней, выходящей из города, переходящей в годы
в погоне за чистым временем, без счастья и терракоты.

Жизнь без нас, дорогая, мыслима – для чего и
существуют пейзажи: бар, холмы, кучевое
облако в чистом небе над полем того сраженья,
где статуи стынут, праздная победу телосложенья.

18. 1. 1989

FIN DE SIÈCLE

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее – влиянье небытия

на бытие. Охотника, так сказать, на дичь –
будь то сердечная мышца или кирпич.
Мы слышим, как свищет бич,

пытаясь припомнить отчества тех, кто нас любил,
барахтаясь в скользких руках лепил.
Мир больше не тот, что был

прежде, когда в нем царили страх, абажур, фокстрот,
кушетка и комбинация, соль острот.
Кто думал, что их сотрет,

как резинкой с бумаги усилья карандаша,
время? Никто, ни одна душа.
Однако время, шурша,

сделало именно это. Поди его упрекни.
Теперь повсюду антенны, подростки, пни
вместо деревьев. Ни

в кафе не встретить сподвижника, раздавленного
судьбой,
ни в баре уставшего пробовать возвыситься над собой
ангела в голубой

юбке и кофточке. Всюду полно людей,
стоящих то плотной толпой, то в виде очередей;
тиран уже не злодей,

но посредственность. Также автомобиль
больше не роскошь, но способ выбить пыль
из улицы, где костыль

инвалида, поди, навсегда умолк;
и ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк.

И как-то тянет все чаще прикладывать носовой
к органу зрения, занятому листвой,
принимая на свой

счет возникающий в ней пробел,
глаголы в прошедшем времени, букву «л»,
арию, что пропел

голос кукушки. Теперь он звучит грубей,
чем тот же Каварадосси – примерно как «хоть убей»
или «больше не пей» –

и рука выпускает пустой графин.
Однако в дверях не священник и не раввин,
но эра по кличке фин-

де-сьекль. Модно все черное: сорочка, чулки, белье.
Когда в результате вы это все с нее
стаскиваете, жилье

озаряется светом примерно в тридцать ватт,
но с уст вместо радостного «виват!»
срывается «виноват».

Новые времена! Печальные времена!
Вещи в витринах, носящие собственные имена,
делятся ими на

те, которыми вы в состоянии пользоваться, и те,
которые, по собственной темноте,
вы приравниваете к мечте

человечества – в сущности, от него
другого ждать не приходится – о нео-
душевленности холуя и о

вообще анонимности. Это, увы, итог
размножения, чей исток
не брюки и не Восток,

но электричество. Век на исходе. Бег
времени требует жертвы, развалины. Баальбек
его не устраивает; человек

тоже. Подай ему чувства, мысли, плюс
воспоминания. Таков аппетит и вкус
времени. Не тороплюсь,

но подаю. Я не трус; я готов быть предметом из
прошлого, если таков каприз
времени, сверху вниз

смотрящего – или через плечо –
на свою добычу, на то, что еще
шевелится и горячо

наощупь. Я готов, чтоб меня песком
занесло и чтоб на меня пешком
путешествующий глазком

объектива не посмотрел и не
исполнился сильных чувств. По мне,
движущееся вовне

время не стоит внимания. Движущееся назад
стоит, или стоит, как иной фасад,
смахивая то на сад,

то на партию в шахматы. Век был, в конце концов,
неплох. Разве что мертвецов
в избытке – но и жильцов,

включая автора данных строк,
тоже хоть отбавляй, и впрок
в пору, давая срок,

мариновать или сбивать их в сыр
в камерной версии черных дыр,
в космосе. Либо – самый мир

сфотографировать и размножить – шесть
на девять, что исключает лезть –
чтоб им после не лезть

впопыхах друг на дружку, как штабель дров.
Под аккомпанемент авиакатастроф,
век кончается. Проф.

бубнит, тыча пальцем вверх, о слоях земной
атмосферы, что объясняет зной,
а не как из одной

точки попасть туда, где к составу туч
примешиваются наши «спаси», «не мучь»,
«прости», вынуждая луч

разменивать его золото на серебро.
Но век, собирая свое добро,
расценивает как ретро

и это. На полюсе лает лайка и реет флаг.
На западе глядят на Восток в кулак,
видят забор, барак,

в котором царит оживление. Вспугнуты лесом рук,
птицы вспархивают и летят на юг,
где есть арык, урюк,

пальма, тюрбаны, и где-то звучит там-там.
Но, присматриваясь к чужим чертам,
ясно, что там и там

главное сходство между простым пятном
и, скажем, классическим полотном
в том, что вы их в одном

экземпляре не встретите. Природа, как бард вчера –
копирку, как мысль чела –
букву, как рой – пчела,

искренне ценит принцип массовости, тираж,
страшась исключительности, пропаж
энергии, лучший страж

каковой есть распущенность. Пространство заселено.
Трению времени о него вольно
усиливаться сколько влезет. Но

ваше веко смыкается. Только одни моря
невозмутимо синеют, издали говоря
то слово «заря», то – «зря».

И, услышавши это, хочется бросить рыть
землю, сесть на пароход и плыть,
и плыть – не с целью открыть

остров или растение, прелесть иных широт,
новые организмы, но ровно наоборот;
главным образом – рот.

1989

ПРИМЕЧАНИЯ ПАПОРОТНИКА

Gedenke meiner
flüstert der Staub
Peter Huchel

По положению пешки догадываешься о короле.
По полоске земли вдалеке – что находишься на корабле.
По сытым ноткам в голосе нежной подруги в трубке
– что объявился преемник: студент? хирург?
инженер? По названию станции – Единбург –
что пора выходить, что яйцу не сносить скорлупки.

В каждом из нас сидит крестьянин, специалист
по прогнозам погоды. Как то: осенний лист,
падая вниз лицом, сулит недород. Оракул
не лучше, когда в жилище входит закон в плаще:
ваши дни сочтены – судьей или вообще
у вас их, что называется, кот наплакал.

Что-что, а примет у нас природа не отберет.
Херувим – тот может не знать, где у него перед,
где зад. Не то человек. Человеку всюду
мнится та перспектива, в которой он
пропадает из виду. И если он слышит звон,
то звонят по нему: пьют, бьют и сдают посуду.

Поэтому лучше бесстрашие! Линия на руке,
пляска розовых цифр в троллейбусном номерке,
плюс эффект штукатурки в комнате Валтасара
подтверждают лишь то, что у судьбы, увы,
вариантов меньше, чем жертв; что вы
скорей всего кончите именно как сказала

цыганка вашей соседке, брату, сестре, жене
приятеля, а не вам. Перо скрипит в тишине,
в которой есть нечто посмертное, обратное танцам
в клубе,

настолько она оглушительна; некий анти-обстрел.
Впрочем, все это значит просто, что постарел,
что червяк устал извиваться в клюве.

Пыль садится на вещи летом, как снег зимой.
В этом – заслуга поверхности, плоскости. В ней самой
есть эта тяга вверх: к пыли и к снегу. Или
просто к небытию. И, сродни строке,
«не забывай меня» шепчет пыль руке
с тряпкой, и мокрая тряпка вбирает шепот пыли.

По силе презренья догадываешься: новые времена.
По сверканью звезды – что жалость отменена
как уступка энергии низкой температуре
либо как указание, что самому пора
выключить лампу; что скрип пера
в тишине по бумаге – бесстрашие в миниатюре.

Внемлите же этим речам, как пению червяка,
а не как музыке сфер, рассчитанной на века.
Глуше птичкиной песни, оно звончей, чем щучья
песня. Того, что грядет, не остановить дверным
замком. Но дурное не может произойти с дурным
человеком, и страх тавтологии – гарантия благополучья.

1988

ОБЛАКА

О, облака
Балтики летом!
Лучше вас в мире этом
я не видел пока.

Может, и в той
вы жизни клубитесь

— конь или витязь,
реже — святой.

Только Господь
вас видит с изнанки —
точно из нанки
рыхлую плоть.

То-то же я,
страхами крепок,
вижу в вас слепок
с небытия,

с жизни иной.
Путь над гранитом,
над знаменитым
мелкой волной

морем держа,
вы — изваянья
существованья
без рубежа.

Холм или храм,
профиль Толстого,
Рим, холостого
логова хлам,

тающий воск,
Старая Вена,
одновременно
айсберг и мозг,

райский анфас —
Ах, кроме ветра
нет геометра
в мире для вас!

В вас, кучевых,
перистых, беглых,
радость оседлых
и кочевых.

В вас мне ясна
рваность, бессвязность,
сумма и разность
речи и сна.

Это от вас
я научился
верить не в числа –
в чистый отказ

от правоты
веса и меры
в пользу химеры
и лепоты!

Вами творим
остров, чей образ
больше, чем глобус,
тесный двоим.

Ваши дворцы –
местности счастья
плюс самовластья
сердца творцы.

Пенный каскад
ангелов, бальных
платьев, крахмальных
крах баррикад,

брак мотылька
и гималаев,

альп, разгуляев –
о, облака

в чутком греху
небе ничейном
Балтики – чей там,
там, наверху

внемлет призыв
ваша обитель?
Кто ваш строитель,
Кто ваш Сизиф?

Кто там, вове,
дав вам обличья,
звук из величья
вычел, зане

чудо всегда
ваше беззвучно.
Оптом, поштучно
ваши стада

движутся без
шума, как в играх
движутся, выбрав
тех, кто исчез

в горней глуши
вместо предела.
Вы – легче тела,
лучше души.

1989

Извини за молчанье. Теперь
ровно год, как ты нам в киловаттах
выдал статус курей слеповатых
и глухих – в децибелах – тетерь.

Видно, глаз чтит великую сушь,
плюс от ходиков слух заложило:
умерев, как на взгляд старожила –
пассажир, ты теперь вездесущ.

Может статья, тебе, хвостуну,
резонеру, сверчку, черноусу,
ощущавшему даже страну
как безадресность, это по вкусу.

Коли так, гедонист, латинист,
в дебрях северных мерзнувший эллин,
жизнь свою, как исписанный лист,
в пламя бросивший, – будь беспределен,

повсеместен, почти уловим
мыслью вслух, как иной небожитель.
Не сказать «херувим, серафим»,
но – трехмерных пространств нарушитель.

Знать, теперь, недоступный узде
тяготенья, вращению блюдец
и голов, ты взаправду везде,
гастроном, критикан, себялюбец.

Значит, воздуха каждый глоток,
тучка рваная, жиденский ельник,
это – ты, однокашник, годок,
брат молочный, наперсник, поделщик.

Может статься, ты вправду целей
в пляске атомов, в свалке молекул,
углерода, кристаллов, солей,
чем когда от страстей кукарекал.

Может, вправду, как пел твой собрат,
сентименты сильней без вместилищ,
и постскрипtum махровой стократ,
чем цветы театральных училищ.

Впрочем, вряд ли. Изнанка вещей
как защита от мины капризной
солоней атлантических щей,
и не слаще от сходства с отчизной.

Но, как знавший чернильную спесь,
ты оттуда простишь этот храбрый
перевод твоих лядвий на смесь
астрономии с абракадаброй.

Сотрапезник, ровесник, двойник,
молний с бисером щедрый метатель,
лучших строк поводырь, проводник
просвещения, лучший читатель!

Нищий барин, исчадье кулис,
бич гостиных, паша оттоманки,
обнажавшихся роц кипарис,
пьяный пеньем великой гречанки,

– окликать тебя бестолку. Ты,
выжав сам все, что мог, из потери,
безразличен к фальцету тщеты,
и когда тебя ищут в партере.

ты бредешь, как тот дождь, стороной,
вьешься вверх струйкой пара над кофе,

треплешь парк, набегашь волной,
на песок где-нибудь в Петергофе.

Не впервой! так разводят круги
в эмпиреях, как в недрах колодца.
Став ничем, человек – вопреки
песне хора – во всем остается.

Ты теперь на все руки мастак –
бунта листьев, падения хунты –
часть всего, заурядный тик-так;
проще – топливо каждой секунды.

Ты теперь, в худшем случае, пыль,
свою выше ценящая небыль,
чем салфетки, блюдущие стиль
твердой мебели; мы эта мебель.

Длинный путь от Уральской гряды
с прибауткою «вольному – воля»
до разреженной внешней среды,
максимально – магнитного поля!

Знать, ничто уже, цепью гремя
как причины и следствия звенья,
не грозит тебе там, окромя
знаменитого нами забвенья.

21-е авг. 1989 г.

МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА

Несколько слов от автора

Предлагаемый вниманию читателя отрывок – не вошедшая в окончательный вариант глава из романа «Поминки». Роман этот, вместе с другими моими прозаическими сочинениями, вышел в нынешнем году в московском издательстве «Советский писатель».

Главу же эту я не включил в окончательный текст вовсе не из цензурных или каких бы то ни было иных такого же рода соображений или опасений – времена и нравы в нашей стране, благодарение Богу, изменились, и не такое нынче печатают. Просто я счел в композиционных и художественных целях разумнее поступиться ею – она никак не укладывалась в конструкцию романа, «выпирала» из нее достаточно инородным телом: судьба маршала Берестова – фигуры, спешу предупредить читателя, хоть во многом и вымышленной, но реально все же существовавшей – никак не связана сюжетно или как-то иначе с тем, о чем идет речь в романе.

Однако же мне показалось, что и сама по себе глава эта может представлять если не совсем самостоятельный, то хотя бы частью независимый от романа в целом интерес. Напечатать же ее в наших советских журналах, и так перегруженных множеством ранее не публиковавшихся, десятилетиями дожидавшихся своего часа произведений представлялось мне совершенно недостижимым, по крайней мере в обозримом будущем. Да и современная наша проза годами дожидается журнальной публикации.

Но воспользовался я любезным гостеприимством журнала «Континент» еще и вот почему, и это сообра-

жение мне видится гораздо более серьезным, нежели просто тщеславное желание автора напечататься: сейчас, когда все мы перестали наконец-то делить русскую литературу на советскую и зарубежную, а видим ее как единый поток русского слова и совести, когда в московских журналах печатаются еще недавно опальные Бродский, Солженицын, Коржавин, Войнович, Аксенов, Владимов и другие изгнанники поневоле, думаю, что каждое русское печатное издание – будь то в Москве, в Париже или еще где-нибудь – должно стать доступно и абсолютно «легально» для всякого пишущего по-русски литератора, и цель у них у всех может быть лишь одна: служить верой и правдой – Верой и Правдой – родной словесности и, как говаривали прежде, пользе отечества.

Упомянул я об этом лишь с тем, чтобы ни у кого из ригористов – ни в Париже, ни в Москве – этот мой шаг не вызвал удивления или, не приведи Господь, столь привычных и набивших оскомину – что там, что здесь – криво толков.

Ю. Эдлис

МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА

Маршал Берестов умер в понедельник, но только в среду вечером по радио и в четверг в утренних газетах появилось сообщение о его смерти: хоть почти тридцать лет прошло со дня окончания войны, а народ – и старики, и нестарые еще участники войны, и их дети и внуки даже, несмотря на эти три десятилетия молчания вокруг имени маршала, может быть, как раз в пику молчаливкам, – народ помнил и чтил героя и одного из первых полководцев войны.

Двое суток там, на самом верху, обсуждалось, как поступить с мертвым телом маршала и с живой

легендой о нем, в каких выражениях составить некролог, с какими подписями – одних ли военных или и главных лиц государства, как и где похоронить – за мавзолеем, в Кремлевской стене или просто на Новодевичьем кладбище.

О смерти маршала Бенедиктов узнал из газет и, секунду поколебавшись – как-никак, он уже три года не виделся и не звонил Тане, дочери Берестова, после развода с Майей и ее отъезда он одним махом обрубил все их прежние, его и Майи, приятельства и знакомства, – все же позвонил. Честно говоря, он надеялся, что сейчас пол-Москвы спешит принести Тане свои соболезнования, не прорваться, а у него совесть будет чиста: звонил, но не дозвонился.

Но после первого же гудка Таня отозвалась:

– Я слушаю.

– Здравствуй, Таня...

– Я узнала тебя, Юра, можешь не представляться, – прервал его Танин голос, как всегда глуховатый и чуть надменный. – Я не забыла.

– Спасибо... – невольно обрадовался ее голосу Бенедиктов: это был голос из т е х лет, из т о й его жизни. – Честно говоря, не ожидал... Я хочу...

– Я понимаю, Юра, – опять прервала его Таня, – не надо. Я знаю, что ты искренно и... но не надо. Лучше скажи, как тебе живется?

Он помолчал – действительно, как ему живется? По правде, на самом деле?..

Но Таня не стала дожидаться его ответа и, по-видимому, неожиданно для самой себя, попросила его, и Юрий понял, что в этом отказать ей нельзя:

– Юра, я хочу попросить тебя... одним словом, ты должен это сделать для меня! – мой архитектор в больнице...

– В больнице? Что с ним?

– Неважно, аппендицит, только позавчера вырезали, он не сможет на похороны, а сама я... Я хочу попросить тебя, чтоб ты со мной поехал.

– Таня, конечно же... То есть, я готов, но, видишь ли... я не знаю, можно ли?..

– Я тоже не знаю, но... одним словом, ты-то сам можешь? Послезавтра, в девять утра?

– Конечно, могу.

– Тогда я заеду за тобой, в без четверти. Только ты уж будь готов, мне нельзя опаздывать. Ты ведь живешь все там же, в Вспольном?

– Там же. Я буду тебя ждать внизу.

Таня не попрощалась, положила трубку.

Всю ночь лил ноябрьский дождь, к утру похолодало и с неба посыпался вялый снег, он таял, не долетев до земли, но на ветках деревьев и на крышах автомобилей лежал нездоровым, пупырчатым налетом.

В без четверти девять Бенедиктов, наспех побрившись, стоял на углу и ждал Таню. Было промозглое утро унылого пограничья между осенью и зимой.

Он не успел сесть и захлопнуть за собой дверцу правительственной черной «Чайки» – впрочем, на таких «Чайках» теперь ездила шушера помельче: с а м и пользовались новыми, похожими на субмарины, без единого украшения машинами с синими пуленепробиваемыми стеклами, известными в народе под названием «членовоз», – как Таня, забившаяся в дальний от него угол заднего сидения и почти неразличимая в сумраке серого утра, бросила зло, еще надменнее, чем обычно:

– Сволочи! Все-таки сожгли!..

Бенедиктов не сразу понял, о чем идет речь:

– Что сожгли?

– Папу. – Таня впервые за все годы своего знакомства с Бенедиктовым назвала маршала не «отец», не «он», а – «папа», и Юрий с удивлением оглянулся на нее. – Еще вчера вечером звонили, что похоронят за мавзолеем, ну, где Сталин, Орджоникидзе, Калинин... еще вчера сами звонили, никто за язык не тянул! А ночью... – она умолкла, отвернувшись к окну, по которому стекал

мутными струйками тающий на лету снег. – Ночью они решили – сжечь и похоронить в стене, как... как... – она не могла подобрать достаточно уничижительного слова и сказала первое попавшееся: – как космонавта какого-нибудь...

Машина свернула с Садового на бульвары, к площади Коммуны.

Несмотря на непогоду, у Дома Советской Армии, кольцом огибая площадь и уходя вниз вдоль бульвара, стояла многотысячная молчаливая очередь, словно живой венок с траурно-черными цветками зонтов. Доступ внутрь еще продолжался, его прекратят только к десяти, когда проститься с покойным – проститься или простить ему напоследок страх и зависть, которые он, живой, внушал им на протяжении тридцати лет? – придут члены Политбюро и самые приближенные.

Бенедиктова пропустили вслед за Таней через боковой вход в оцепленное военными и штатскими сотрудниками здание – видимо, то ли Таня предупредила о нем, то ли потому, что он вышел из машины с правительственным номером, у него даже документов не спросили. Молодой человек в светлом плаще и с лицом, лишенным какого бы то ни было выражения, провел их в комнату рядом с большим залом, где было выставлено для прощания с народом – с народом, который ни разу, начиная с сорок пятого года, не видел маршала не то что вживе, но даже на фотографии в газете, – тело усопшего. Впрочем, ночью тяжелое, квадратное, приземистое его тело в погонах, лампасах и орденских планках кремировали, и от него осталась лишь горстка еще, может быть, хранящего жар печи крематория пепла в высокой мраморной урне.

Дверь на лестницу осталась открытой, в нее поминутно вносили через комнату в зал венки с черно-красными, в золотых надписях, лентами, снизу тянули промозглые сквозняки, пол был усыпан скрипящими под ногами еловыми иглами, осыпавшимися с венков, по

ним было скользко ступать, и стоял какой-то праздничный, новогодний запах свежей хвои.

Бенедиктов и Таня разделись, все тот же молодой человек взял у них пальто и положил в кучу других пальто и плащей на подоконнике, и, следуя за так и не проронившей после их разговора в машине ни единого слова Таней, Бенедиктов вошел в зал, где на высоком, просторном помосте, скрытом под венками, стояла урна с прахом.

В зале тоже гуляли сквозняки, горьковато, но почему-то уже вовсе не празднично пахло той же свежей хвоей, а также мокрым сукном шинелей и пальто. Сдержанно шаркали по полу ноги безвестных соратников маршала по войне, безымянных его солдат, свято в него веривших и шедших по одному его слову под пули и мины, его именем – после слов «Родина» и «Сталин» – подхлестывавших себя, преодолевавших свой ужас перед смертью. В движущейся медленно очереди больше всего было людей немолодых, многие – в слишком свободно, как на вешалках, сидящих на них военных шинелях с мятыми, потускневшими золотыми погонами. Очередь ползла, огибая постамент с урной, ею безмолвно, одними жестами, руководили военные с черно-красными повязками на рукавах, поторапливая замешкавшихся, выравнивая строй, и невидимые оркестр и хор попеременно вступали торжественно-печальными вздохами траурной музыки. Огромные люстры были укрыты черным крепом, словно давней паутиной запустения. Голоса хора взбирались все выше и выше светло и горестно рыдающими ступенями «Лакримозы», тяжело гремела мощь духовых, словно строя сверкающий медный мост из жизни в смерть, в небытие.

Таня, не оглядываясь на Бенедиктова, пошла к постаменту, вокруг которого на стульях с высокими, прямыми спинками сидели близкие покойного: обе жены маршала – первая, такая же, как и он, простолюдински-крепкая и коренастая, с невыразительным ли-

цом, с полузакрытыми хрупкими старушечьими веками глазами, с сложенными на высоком животе короткими широкими ладонями, и новая, нынешняя его жена (впрочем, и та, и другая были уже, собственно, не женами, а вдовами) – интеллигентное лицо ее было замкнуто, она вытирала сухие, без слез глаза платком, не снимая очков, а просовывая платок под них; рядом с первой вдовой сидели ее младший сын Глеб, молодой офицер, но не в форме, а в цивильном темно-сером костюме, его жена и дети, мальчик и девочка. Таня подошла к ним, села рядом на стул, который ей уступил Глеб. За стулом второй вдовы, держась руками за спинку и приподнимаясь на цыпочках, чтобы видеть, что делается у поста-мента с урной, в школьной синей курточке и пионерском галстуке, стоял еще один, от второго брака, сын маршала. Все – и обе вдовы, и их дети, и внуки держались натянуто и напряженно, будто так им было внушено распорядителями погребальной церемонии.

И все это: монументальный, словно цветочная пирамида, постамент, увенчанный мраморной урной с остывающим прахом маршала, и затянутые черной паутиной крепа люстры, и деловитая, безмолвная суетливость распорядителей в черно-красных повязках на рукавах, и молчаливая, скрипящая хвойными иглами под ногами очередь, и важная медная скорбь оркестра, и даже дующие снизу, с улицы сквозняки – все было так упорядоченно, так наперед отрепетировано, что казалось Бенедиктову чуть старомодным, но мастерской профессиональной рукой отрежиссированным представлением, в котором величавая и пышная декоративность напрочь вытеснили печаль и горечь последнего прощания с тем, что было еще недавно жизнью, а теперь стало смертью, стало н и ч е м.

И – по контрасту – вспомнил он похороны своей мачехи на бедном провинциальном кладбище, где истлевали не только останки, но истлевала и уносилась подземными водами самая память о безымянных, без-

вестных, ничего для истории не значащих рядовых, не знавших при жизни ни побед, ни славы, ни честолюбия и лишь теперь, после смерти, получивших – как получил его и маршал – неизреченный ответ на вечную загадку жизни. Но они никогда не выдадут своей тайны, не скажут пароля, они молчат, как и подобает рядовым. И маршал теперь тоже стал одним из них, рядовым несметной армии, где – ни званий, ни почестей, ни страха.

Доступ к телу прекратили, закрыли двери, в зале остались лишь родственники да сменяющиеся попеременно в почетном карауле маршалы и генералы. Умолкли оркестр и хор, слышнее стал запах свежей хвои. И вдруг по пустому гулкому коридору прошелся сквозняком – нет, не шепот, не слово, а нечто даже не нуждающееся в том, чтобы быть услышанным.

И родственники, военачальники и приближенные, словно чей-то высший приказ поднял их с мест и властно направил к единой цели, поспешили молчаливой гурьбой в ту комнату рядом с залом, куда поначалу молодой человек без лица привел Таню и Бенедиктова.

Комната сейчас показалась ему гораздо меньше и теснее, свободной была лишь ее середина, усыпанная зелеными иголками, родственники и генералы сгрудились вдоль стен. Слышно было, как сопит кто-то простуженным носом, как другой сдерживает кашель, чье-то старческое, стесненное волнением дыхание.

Лишь обе вдовы, тоже повинувшись какому-то неписанному, но само собой разумеющемуся распорядку, остались в зале, прямо и деревянно сидя на жестких стульях.

От множества набившегося в комнату народа стекла быстро запотевали.

Сперва вошли в открытую дверь двое рослых, молодых, похожих не то на спортсменов, не то на периферийных комсомольских энтузиастов, бегло ощупали глазами, словно миноискателями, комнату. Родствен-

ники и генералы поджались, еще теснее вдавились в стены. Потом вошли еще двое, стали по обе стороны двери, и лишь за ними вошли о н и. Вернее, вошел лишь о н, сразу стало ясно, что е г о ради и эти дюжие телохранители, и пустая середина комнаты, и вжавшиеся в стены близкие усопшего, что о н не просто главный среди тех, кто вошел следом за ним в комнату, а е д и н с т в е н н ы й, все остальные, даже этот – с младенчески-розовой лысиной и в золотых очках, и этот – хмурый, весь в подглазных мешочках и мелких морщинах, ни на кого не глядящий и не улыбочивый, и тот – длинный, с желтым, изможденным монашьям лицом, – все они не более, чем сопровождающие е г о лица. Впрочем, и не менее.

С а м же был высок, дороден и держался не по годам молодцевато, чуть напыщенно, но вместе деловито-дружелюбно. Седеющие, зачесанные назад волосы и темные, кустистые брови оттеняли загорелость – он недавно вернулся из Крыма – его тяжеловатого лица, из-под нависающих надбровных дуг глядели живые и даже веселые глаза, на груди поблескивали справа – лауреатские значки, слева – золотые звездочки героя. Он быстро прошел на середину комнаты и, поискав глазами вдову, вернее, вдов, и не найдя их или же не будучи уверен, что они здесь, низко, по-русски; чуть театрально поклонился неведомо кому. Остальные остановились за его спиной, сгрудившись в дверях.

Главный распорядитель похорон, генерал с испуганным, торопливым лицом, стоял наготове с черно-красными повязками, тесемки свисали, словно корни вырванного из черной земли растения.

С а м окинул комнату долгим соболезнающим взглядом и, хотя он был искренне, надо думать, настроен на скорбь и сочувствие, Бенедиктову – а он был тут же, в углу, за чужими спинами, – показалось, что в генсеке сейчас не менее, чем искренности и сочувствия, – любования собственной искренностью и со-

чувствием, своей скорбной и, вместе, демократической величавостью: он как бы глядел на себя со стороны и был собою доволен.

Окинув всех этим своим дружелюбно-сочувственным взором, он протянул, не глядя, левую руку генералу-распорядителю, тот почтительно и торопливо стал надевать на нее траурную повязку, долго возился с тесемками.

– Как много народу на улице, товарищи, – сказал сам густым, чуть хриплым басом. Слово «товарищи» далось ему с трудом, он выговорил его, словно прожевывая вязкую жвачку. – Это знаменательно.

– Много, – хмуро подтвердило третье лицо в государстве, глядя в пол. И добавило еще более хмуро и, казалось, крайне неодобрительно: – Очень много.

– Очень много, очень, очень! – подтвердило второе – иерархически – в державе лицо, и было непонятно, то ли одобряет оно этот факт, то ли, наоборот, порицает.

Желтолицый же, изможденный, который был не вторым и не третьим лицом, но, может быть, был при первом важнее и ближе и второго, и третьего, лишь многозначительно покивал головой.

– Это знаменательно, – повторил сам. – Что ж, товарищи... – и стал подходить поочередно ко всем родственникам и близким покойного, пожимал им руку, некоторым – обеими своими ладонями, а иных даже обнимал за плечи и касался щекою щеки. Женщин же – Бенедиктов отметил это про себя и, усмехнувшись, запомнил по профессиональной привычке впрок, – женщин он, особенно молодых, окидывал беглым, но внимательным и молодым взглядом и задерживал в своих объятиях чуть дольше, чем других.

Вслед за ним потянулись с рукопожатиями и остальные. Они и Бенедиктову, приняв его, по-видимому, за родственника маршала, пожали руку. Рука самого была крепкой и горячей, рукопожатие третьего лица – равнодушным, второе лицо долго трясло руку и не вы-

пускало ее из своей, ладонь же желтолицего, монашески-аскетического была влажной и холодной.

Распорядитель надел на всех повязки, и, когда с рукопожатиями было покончено, с а м сказал негромким и внушительным речитативом:

– Что ж, начнем, товарищи...

Родственники ждали, чтобы члены Политбюро первыми прошли в зал, но распорядитель быстро и внятно прошептал:

– Сперва родственники, сперва родственники!

Родственники испуганно потянулись гуськом к двери.

Бенедиктов в зал не пошел, остался ждать Таню здесь, в боковой комнате. С лестницы опять задули сквозняки, окна понемножку отпотевали. Дождь с мокрым снегом за окном прекратился, в прорезь меж дымно-тяжелых туч на минуту проглянуло солнце, но тут же опять скрылось. Снова крепко и празднично запахло свежей хвоей.

К кремлевской стене, где заточили урну с прахом маршала, Бенедиктова уже не пустили, он ждал Таню у входа в Александровский сад. Церемония похорон продолжалась недолго, меньше часа, но он продрог в своем легком плаще, быстро ходил, чтобы согреться, по аллее вдоль могилы Неизвестного солдата.

Таня пришла одна, зябко пряча лицо в поднятый воротник мехового пальто:

– Пройдем немного пешком, я не хочу на машине.

Они шли рядом, обходя лужи. Сад облетел, деревья и клумбы стояли голые, сиротливые, на аллеях ни души, вечный огонь у могилы Солдата горел бесшумным пламенем.

Когда они дошли до конца сада и повернули обратно, чтобы выйти на Калининский проспект через Боровицкие ворота, Таня зябко передернула плечами и устало сказала:

– А с другой стороны... Он умер, и ему теперь безразлично, где лежать... Помнить его и так будут. Но все

же – какие трусливые, жалкие сволочи!.. – но резко перебила сама себя: – Хватит! Как будто без этого я не знала!.. Что Майя? Ты что-нибудь знаешь о ней?

Бенедиктов не ответил.

– Мне – можно, – сказала она и взяла его за руку. – Я ее очень любила. Хотя перед отъездом мы с ней...

– Знаю, – резко оборвал он ее. – Все знаю.

– Ты о том, что она приходила к нам с этим ее?..

– И об этом тоже, – так же непримиримо отрезал он.

– Я была не вправе отказать... – Таню била дрожь, несмотря на меховую шубу. – Именно я.

– Почему – именно? – удивился он.

– Потому что Майя тоже все про меня знала.

– Что – все? – равнодушно переспросил он.

– Все. И я тоже, когда ты уезжал, ночевала у вас. Не одна. И Майка все знала. Как же, после этого, я могла...

– Неужто – и ты?! – деланно развел руками Бенедиктов.

– А я что, рыжая?! – зло огрызнулась она, но тут же рассмеялась: она и вправду была рыжая, в отца, только красила волосы в этот светлый, золотистый цвет. – Кстати, один из них хотел бы с тобой познакомиться.

– Из кого – из них? – не понял он.

– Ты его раз видел, – не стала объяснять Таня.

– Зачем ему я?

Она поглядела сбоку, снизу вверх на него, потом сказала насмешливо и грустно:

– Он тебя хорошо знает. Твой к у р а т о р, короче. То есть не только твой, он вообще писателями занимается.

Бенедиктов остановился, высвободил локоть из Таниной руки, но она снова взяла его об руку, потянула за собой:

– Там разные люди, Юра. Этот тебе понравится, увидишь. Очень разные. И что они – во всяком случае,

Игорь, его Игорь зовут, – что они на самом деле про все думают... И потом, ты ему тоже в тот раз понравился.

– Где он меня видел? – опять остановился Бенедиктов. Холодок опасности, словно у дичи, почуявшей невдалеке, за деревьями, охотника и холодный металлический запах ружья, растекся у него по спине. – В какой это раз?!

– Ты его все равно не запомнил. Ты его не знаешь, это он знает о тебе все. И хочет с тобой поговорить. Я же тебе сказала – ты ему симпатичен и...

– Еще бы, – без улыбки прервал он ее, – как симпатичен гусь с яблоками тому, кто собирается его съесть.

– Он совсем не такой, увидишь. А насчет Майи...

– Я не хочу о Майе!

– Я замерзла. И меня уже, наверное, ждут.

– Кто?

– Поминки же. У меня.

– Ты не обидишься, если я... – хотел было он отказаться, но она не позволила:

– Обижусь. И ты опять увидишь всех наших. Ты их не видел сто лет. Одним словом, тебя ждут.

– Мой куратор? – усмехнулся он. – Мог бы меня вызвать и к себе в кабинет, я не гордый.

– Мог бы. Но не хочет. И не только он тебя ждет. – Она вдруг рассмеялась. – Мы тебя женить решили, есть одна вполне подходящая кандидатура. Красавица, иняз кончила, машина, квартира, папочкина дача персональная, так что не думай, что она из корысти... – и вдруг, подняв на него глаза, очень серьезно, и даже просительно сказала: – Только ты не женись, Юрок! Не надо! Без любви – не надо. Даже если ты обжегся на ней, на проклятой, раз, сто раз, тыщу – не надо. Не стоит.

Когда Бенедиктов и Таня вошли в такую ему знакомую Танину квартиру, все уже были в сборе и ждали их. Поскольку первая жена маршала и ее дети не хотели знаться со второй, новой его семьей – впрочем, их тоже не признавали в этой новой семье Берестова, – поминки

как бы разделились на три части: высокое военное начальство поехало на дачу в Подмоскowie, где в последнее время круглый год жил стареющий маршал с новой женой, первая его жена вместе с сыном и родственниками из провинции поехала к себе, а друзья Тани собрались у нее.

Таня была права, Бенедиктов увидел здесь всех прежних своих приятелей – Майкиных еще времен. Женщины возились на кухне, мужчины сидели в кабине Таниного мужа, курили, вполголоса – поминки, как-никак, – беседовали о политике, о заграницах, о футболе, но главное – о своих и н о м а р к а х, делясь общими для них автозаботами.

Никто не услышал, как вошли в переднюю Таня и Бенедиктов, и лишь – словно ожидая их возвращения и беспокоясь – с кухни вышел и стал помогать Тане раздеться моложавый, спортивного вида человек, Бенедиктов его сразу узнал: тот самый, в светло-кофейном блейзере, который был с Таней на проводах Гроховского. Бенедиктов лишь удивился тому, что тогда, в мастерской Борисова, он не заметил, что у него совершенно седые волосы: молодое, загорелое лицо и совсем седая голова. Поверх брюк он был повязан кухарочьим фартуком.

– Сколько же можно?! – укорил он ее, но в голосе его была заботливость и тревога за нее. – Ты совершенно промерзла, простудишься!

– Это он и есть – Игорь, – сказала Таня Бенедиктову, и – Игорю: – Промерзла. Я сразу приму ванну. – И сразу ушла в ванную, слышно было, как она пустила там воду.

Игорь снял с себя фартук и протянул Бенедиктову руку:

– Собственно, мы уже знакомы.

– Таня мне говорила, да... Вы мой...

– Надеюсь – друг, – не дал ему досказать Игорь и улыбнулся мягкой улыбкой. – То есть надеюсь стать им. А все остальное неважно, не так ли?

– Таня сказала, вы хотели о мной поговорить, – настоял Бенедиктов. Он хотел вызвать в себе неприятное, враждебное чувство к этому человеку – его к у р а т о р у, а если уж называть вещи своими именами – вершителю, в известном смысле, его судьбы, – и не мог: Игорь стоял перед ним, открыто улыбаясь, дружелюбный, нестрашный.

– Я догадываюсь, что она вам сказала, – усмехнулся он. – И что вы обо мне сейчас думаете – тоже. Нетрудно догадаться. Но об этом потом, ладно? Не сейчас и не здесь, во всяком случае.

– Что ж... – Бенедиктов провел ладонью по щекам, утром он побрился наспех, и на лице уже прощупывалась жесткая щетина. – Вызовете – приду. Не впервой. Я уже бывал у в а с.

– Вы меня не поняли, – искренне огорчился Игорь, но не перестал улыбаться. – Я не собираюсь вас никуда вызывать. Да и по какому поводу?! Нет, я собирался именно сегодня и здесь... только не стоя в передней, конечно... Вы меня не поняли. Или Таня вам не так сказала. Что – борода? – заметил он Юрин жест. – Так побрейтесь. У Гены, Таниного мужа, отличная бритва, «Ремингтон». А у меня еще на кухне дела – салат доделать. Я ведь еще и кулинар знаменитый. – И с неожиданной серьезностью прибавил: – То есть в первую очередь я кулинар, по призванию... – И, вновь повязав вокруг пояса фартук, ушел на кухню.

Поминки – самое наглядное и убедительное доказательство неумности нашей жажды жизни: что бы ни произошло с другими – жизнь продолжается, надо жить, мы-то, слава Богу, живы! – поминки, с их обильной едой, с водкой, с их многолюдством и хлебосольством, после третьей, конечно, рюмки, после третьего поминального слова, не раньше, торопливо переходят в привычное застолье, словно родственники и близкие поминаемого спешат как можно скорее выплатить ему свой

скорбный долг и, попечаловавшись ровно столько, сколько нужно для облегчения собственной совести, вновь почувствовать языком, нёбом, носом вкус и запахи еды и вина, их радостную тяжесть в желудке, вкус и запах самой жизни; услышать и посмеяться сперва вполголоса, а потом и вволю новому анекдоту, свежей байке, а там уж сама собой напрашивается и песня, правда, поначалу жалостливая, грустная, но еще рюмка, еще блин, еще кусок дрожащего, крещенским холодком тающего во рту заливного, а чтобы умерить этот щеко-чуший нёбо морозец – еще рюмку, да еще одну, – и песня уже требует от тебя полного голоса, и ноги сами по себе ходят под столом ходуном, да нельзя – поминки, и все же снова живем, мертвым – мертвое, живым – живое, жизнь, други мои, не остановишь, надо жить, товарищи, и исполнять свои жизненные обязанности.

Конечно же, тут это было, понятное дело, не так откровенно и открыто, но спустя час собравшиеся помянуть покойного маршала гости разбрелись по квартире и – благопристойно, само собой, вполголоса и не выходя за рамки, – говорили уже о своем, делились новостями и заботами быстротекущей, но, несомненно, реальной жизни, которую и вправду не остановит, не отменит никакая безутешность.

Бенедиктов сидел в углу, вся стена за его спиной была занята дорогой и громоздкой музыкальной системой – магнитофон, проигрыватель, тумбы динамиков, полки с пластинками и кассетами. В прежние времена Юрий любил забежать к Тане и Гене на целый вечер только затем, чтобы послушать музыку – у них были отличные записи, покайфовать под нее, неторопливо прихлебывая из высокого тонкостенного стакана какой-нибудь редкостный напиток со льдом. Но теперь, естественно, музыку не включили. Он сидел в углу, в глубоком кожаном кресле, колени его приходились вровень с лицом. О нем забыли, вернее, за эти последние три года, когда он перестал ходить к Берестовым, он

как бы выпал из этой их компании, от него отвыкли, он и сам теперь чувствовал себя здесь случайным гостем.

Впрочем, все они изменились – и они, и он.

Изменения и следы времени коснулись не столько их лиц – лица остались прежними, изменилось, скорее, выражение этих лиц. Изменилась манера говорить и держать себя, повадка, словно бы эти знакомые ему лица принадлежали теперь другим людям.

Но, наблюдая их из своего покойного кресла, обитого искусственной, прилипающей к штанам кожей, он думал не о них, а о покойном маршале, о странной его жизни, беспримерной и, вместе, так полно вобравшей в себя его время и так точно его отразившей, о славе его и опале. Был он солдат, а не мыслитель, и все же, кто знает, очень может быть, что на пороге смерти, в тот краткий миг озарения, которое, как полагают живые, непременно приходит к умирающему, в ослепительный этот миг маршал все понял, узнал цену своей славе и примирился со своей опалой, получив в оплату за то и за другое понимание той свободы, которой впервые одарила его жизнь на закате дней?..

И в уме Бенедиктова разрозненно и пока бесцельно складывался рассказ о маршале, или фильм о нем, или просто набросок, полудогадка... он подумал, что, придя домой, надо будет непременно записать эти свои смутные мысли о Берестове и его жизни, из этого, пожалуй, может кое-что получиться, правда, никто не позволит это напечатать или снять, имя маршала и после его смерти еще долго будет если не запретным, то, по крайней мере, не очень дозволенным, особенно в том смысле, в котором его жизнь занимала Бенедиктова. Смешно даже думать, чтобы кто-нибудь это напечатал, но записать надо хотя бы для памяти, да и времена меняются, сегодня нельзя, а завтра, глядишь...

(неоконченный рассказ Ю. Ф. Бенедиктова)

Дом стоял у самого водохранилища и со всех сторон его обдувал ветер. Можно было открывать только одно какое-нибудь окно, иначе в комнаты врывались, сломя голову, сквозняки и продували дом дочиста.

Утром маршалу позвонил его старый друг, тоже маршал, и спросил, может ли он заехать ненадолго. «Конечно, — сказал маршал, — о чем речь». Но потом он долго не клал трубку на рычаг и думал о том, что он не хочет, чтобы к нему приезжали. Ни этот его старинный друг, ни кто-либо другой.

Еще до телефонного звонка жена с сыном уехали в город, и работница тоже, и он остался дома один с дочкой. Когда она родилась, ему было уже пятьдесят восемь. А теперь ему шестьдесят два. Дочь и десятилетний сын были его детьми от второй жены, а еще у него было двое от первой, от которой он ушел семь лет назад. Но те дети были уже совсем взрослые, и он редко с ними виделся.

Он знал, зачем хочет его видеть старый его друг и о чем будет с ним говорить, и ни о чем другом уже не мог думать. Может быть, поэтому он и решил, что надо бы искупать дочку. Разговор об этом был еще утром, но жена торопилась в город и сказала, что искупает ее потом, как вернется.

Теплоцентральный стояла, горячей воды не было уже два дня, и маршал зажег на кухне все конфорки и поставил на них чайник и три больших кастрюли с водой, и, пока она нагревалась, он глядел из окна кухни на лужайку, которая отделяла дом от узкого песчаного пляжа и воды. Лето было сырым, и трава на лужайке так и не успела пожухнуть. Дочка возилась в песке у самой воды, но он за нее не боялся — дно здесь было пологое и неглубокое.

«Нет, – ответит он. – Нет». И ничего не станет объяснять. «Нет».

Они знали друг друга еще с той мировой войны, с первой, и вместе провоевали гражданскую. Потом они учились в академиях и служили то вместе, то врозь. Вторую войну он начал заместителем этого своего друга, затем они поменялись местами, а к концу стало так, что в армии над ним уже никого, кроме В е р х о в н о г о, не было, и уже никто не говорил ему «ты», кроме этого самого друга. Впрочем, тогда они чаще всего встречались при таких обстоятельствах, когда и не скажешь друг другу «ты». К тому же, он не был уверен, что тогда – в войну и сразу после войны – ему хотелось, чтобы кто-нибудь говорил ему «ты».

Когда тучи закрывали солнце, водохранилище делалось серым, а трава на лужайке казалась зеленее, чем была на самом деле.

После войны, накануне парада в честь Победы, ему принесли новый мундир, и жена, портной и адъютант долго бились, чтобы уместить на нем его ордена, звезды и ленты, от медалей пришлось попросту отказаться. На банкете после парада он заметил, что все смотрят ему не в лицо, а на сверкающую грудь. Но тогда ему это нравилось – то, что люди, и подчиненные, и даже равные ему по званию, боятся встречаться с ним взглядом. Его боялись, он знал это, и это ему тоже нравилось. Даже с а м, всемогущий и ревнивый, тоже его боялся, и он понимал, почему о н его боится, и это тоже нравилось ему, хотя и пугало. И он не очень удивился, когда его вдруг, без объяснения причин, сместили и услали командовать дальним и незначительным военным округом, где, к тому же, первую скрипку играл не он, а командующий флотом, формально ему подчиненный. Он не спал ночами от обиды и презрения к тем, кто его услал, но утешал себя сознанием, что это было сделано потому, что все они его боялись. «Стальной глаз», «стальной

человек», «железный маршал» – так о нем тогда говорили, и это он тоже знал.

«Нет» скажет он другу и ничего не станет объяснять. Может быть, потому, что надеялся, что друг его и так поймет, хотя и не скажет вслух, что понимает. А может, и не поймет – все-таки они давно не виделись.

Он мыл дочку в эмалированной ванночке, горячей воды вполне хватило, и ощущал пальцами мягкие ее ребрышки под скользкой от мыла кожей, тугие горошинки пальцев на ногах, упругость попки и вполне обозначенную, не по-детски явственную талию, и чувствовал, что может сейчас заплакать от умиления и любви легкими стариковскими слезами.

Тех двоих от первого брака он плохо помнил детьми – учился в академии, потом в адъютантуре, командовал далекими гарнизонами и приезжал домой только в отпуск, потом – война, и когда он возвратился, они были уже совсем взрослыми и чужими, хоть он и любил их и заботился как умел и насколько ему хватало тогда времени.

Он и по жене скучал на войне, но когда приезжал к ней даже на несколько часов, все становилось гораздо сложнее, чем казалось на расстоянии, и он спешил уехать обратно в армию, даже если и мог задержаться еще на день. Или, тем более, на ночь.

А после войны он уже стал для нее не тем, чем был раньше, а был как бы облачен раз и навсегда в мундир, увешанный металлом, драгоценными камнями и муаровыми лентами, и глядел на нее со всех стен с фотографий – стальной взгляд из-под густых бровей, тяжелый квадрат лица, жесткий рот, лоб, который казался мощнее и выше оттого, что он наголо брил голову. Со временем он и сам привык себя чувствовать отрешенным от нее и детей, вроде памятника, огражденного чугунной цепью, за которую вход запрещен.

Самое трудное было вытереть дочке голову. У нее были густые рыжеватые волосы, такие густые, что

даже матери никогда не удавалось их вытереть досуха, и ей повязывали на ночь платок, чтобы она не простыла. Они с женой, прежде чем улечься сами, ходили в детскую и смотрели на нее, спящую в платочке, а выйдя от нее, долго улыбались и молчали. Дочка была похожа на мать, но рыжие волосы – это от него, он потому и стал смолodu наголо брить голову, что был рыж и стеснялся этого перед своими подчиненными и начальниками. А теперь и брить-то уже почти нечего, шестьдесят два, и дочке меньше, чем внукам от старшего сына.

Тут он вспомнил, что его старший сын, тоже военный, служит адъютантом у того самого старого его друга, который сейчас приедет и, возможно, приедет вместе с ним, с сыном. Сын был не рыжий, а темный, в мать. Тут уж ничего не поделаешь. Он знал, что сын гордится им и любит его – так, как его вообще можно было любить: на расстоянии и не без опаски. С этим тоже уже ничего не поделаешь. Что ж, пусть приезжает.

Он долго тер ей волосы пушистым полотенцем и слышал запах зеленого шампуня, которым вымыл ей голову. «Нет», – он скажет другу. – «Нет».

Свою вторую жену он встретил на фронте перед самым окончанием войны, она служила при его штабе военврачом. Когда он, не глядя на нее и не изменяя своего привычного, властного и холодного тона, сказал, чтобы она вечером пришла к нему, она пришла, не переча ему и, конечно же, догадываясь, зачем он ее позвал. Тогда ему вообще никто не перечил. Вполне возможно, что даже э т о он получал от других и получил тогда, в первую их ночь, от нее не из любви, а из того же страха и субординации. Тогда ему было, наверное, все равно – из любви или из субординации, ему просто некогда было над этим задумываться.

Но, когда он во второй раз позвал ее и она пришла и была с ним молчалива и грустна так, как нельзя быть молчаливой и грустной с нелюбимым, безразличным тебе человеком, он понял, что она нужна ему. Даже не

самая эта скомканная, на скорую руку военная любовь нужна, а – именно она. И хотя он тут же, ночью, когда она ушла, а он лежал один на широкой чужой постели с шатром на тонких резных столбиках в только что занятом прусском замке, поймал себя на мысли, что это нехорошо так думать – только о себе, а о ней думать лишь как о чем-то или о ком-то, кто нужен ему, но не стал себя строго судить, потому что отвык уже оценивать свои поступки с иной точки зрения, кроме своей собственной.

После войны они встретились не сразу, а много спустя, когда он уже впал в немилость и о нем стали понемногу забывать. Нет, не забывать, а просто не поминать его вслух. Он знал, что В е р х о в н о м у стоило немалых усилий, чтобы приучить людей не помнить о нем. Впрочем, это не самое трудное на свете – заставить людей забыть о чем бы то ни было. Он разыскал ее через Комитет ветеранов войны и прилетел к ней в воскресенье утром, когда можно было ожидать, что застанет ее дома. Она была дома, пополневшая, уже не такая молодая, как прежде, но это была она, и он удивился тому, что она и теперь нужна ему не меньше, а, пожалуй, больше и острее, чем раньше.

Он приезжал к ней не часто, но не реже, чем позволяли ему его дела командующего округом.

Дети уже учились в институте и академии, жена не могла оставить их и московский дом, и он жил один среди мужчин, ему подчиненных, а настоящее одиночество понимаешь лишь тогда, когда вокруг тебя одни подчиненные тебе люди.

В ней же и в ее отношении к нему была спокойная и ровная устойчивость немолодой уже, несуматошной и раз навсегда избравшей для себя судьбу женщины, а как раз этого ему и не хватало всегда.

Об этой связи знал только тот самый старший его друг, который сейчас к нему приедет. Знал, потому что был в ту пору начальником отдела, в который стекались все донесения о личной жизни высшего состава армии.

И, хотя он был обязан сообщать обо всем с а м о м у, он не сделал этого, и маршал это знал и помнил.

Он повязал дочери платочек, а поверх него – вязаный шлемик, велел ей надеть теплую курточку и ботинки вместо сандалий и отпустил опять поиграть на берегу. Из окна он видел, как она бежит, раскидывая ножки, через лужайку, и снова подумал, как легки на добрые слезы отцы в его возрасте.

Потом он вылил из ванны воду, вымыл ее губкой и повесил на крюк. Проверил, погашен ли на кухне газ, и вышел на террасу, с которой был виден и берег, где возилась в песке дочка, и дорога, по которой должен был приехать его друг.

...Когда он узнал, что она беременна и не мог взять в толк, что же ему надо делать, она сказала, что пусть все останется как было, но она хочет от него ребенка и имеет на это право. Но, когда родился мальчик, он поехал к жене и все рассказал ей. Он сказал, что понимает, как глупо и поздно ему все начинать сначала, он не уйдет из семьи, и единственное, о чем он просит ее, это позволить ему усыновить сына.

В их старой огромной квартире на улице Грановского со стен глядели на него, как и прежде, его портреты, а в правом ящике письменного стола были заперты на ключ ордена, звезды и ленты. Жена приняла его просьбу как готовое решение, а решения его были для нее, как и для всех других, окончательны.

...Ветер с водохранилища наваливался на террасу плотной стеной, и деревянный дом терпеливо постанывал.

У него уже было два инфаркта, один сразу после войны, второй – когда его перевели в дальний округ, и врачи запретили ему жить и даже ездить на юг, где у него была дача, подаренная ему после победы В е р х о в н ы м. Он отдал ее, когда ушел от первой жены, и получил взамен этот дом, гораздо меньше и хуже прежнего, но прижился в нем прочно, хотя и не сразу.

В здешнем небе жили совсем другие краски, чем на юге, мягче и беднее. Но и он уже не прежний.

С террасы вода как на ладони, зеленая, словно море, а на закате и на рассвете над ней висели неподвижно упругие, округлые облака.

Он не знал, как назвать то, что чувствовал к своей второй жене. Когда-то, в академии еще, он долго и безнадежно любил и знал, что это – любовь. А все, что было потом – и с первой женой, и с другими, было совсем непохож на то, что он чувствовал в тот первый свой раз, и он не мог называть эти совсем разные чувства одним и тем же словом. Со временем он и вовсе разучился думать и говорить о любви, да от него женщины уже и не ждали этого.

Она не была очень уж красивой даже тогда, в войну, когда он позвал ее в первый раз к себе. В ней было совсем другое, он и сам бы не мог сказать словами – что. Он знал, что ей безразлично, кто он, и слава его и власть тоже, может быть, она бы даже предпочла, чтобы всего этого и вовсе не было. Она любила его и своих детей от него, и ничего ей не было нужно, кроме того, чтобы всем им было хорошо. Она никогда не льстила ему и не подлаживалась к его слабостям и недостаткам, а лучшее в нем принимала как нечто само собой разумеющееся. Он был такой, другого у нее не было, и другой ей и не нужен был.

В ней жило тихое упорство, ровность и спокойствие человека, у которого нельзя отнять то, что у него есть, потому что все, что у него есть, – в нем самом, в том, что он чувствует, что думает и что любит или не любит, а этого нельзя отнять. Ничего нельзя отнять у человека, который не хочет и не ищет того, чего нет в нем самом.

После смерти Сталина он был призван вновь к высшим своим обязанностям, но это продолжалось недолго, новый властитель боялся его не меньше, а больше, чем прежний, вскоре его уволили в запас, на пенсию, сохранив ему звание и награды и даже квартиру в прави-

тельственном доме на улице Грановского, но он в ней не жил, а поселился здесь, на даче, неподалеку от Москвы, на берегу водохранилища.

Когда пришла эта вторая опала и жена и старшие дети вновь надели на себя терновые венцы и ходили с поджатыми от обиды губами, она приехала к нему с четырехлетним сыном и позвонила из гостиницы. Он пришел к ней и пролежал молча всю ночь на жестком гостиничном диване, слушая, как сопит во сне мальчик, а она сидела у стола, тоже молчала и даже не глядела на него.

Наутро он позвонил домой и сказал, что не вернется.

А потом власть опять переменялась, и вот теперь н о в ы й – маршал ни на секунду в этом не сомневался, – шлет к нему старого его друга, и маршал знал, с чем он его послал.

Сколько же времени прошло, как они – он и старый этот его друг – не виделись и не разговаривали?..

Он встал и пошел в дом, чтобы посмотреть, есть ли в холодильнике какая-нибудь еда и питье, чтобы угостить друга. Да, четыре года, даже почти пять, как они не встречались.

Он достал из холодильника початую бутылку коньяка, твердую венгерскую колбасу и сыр, а хлеба не было. «Ладно, – подумал он, – обойдется как-нибудь».

Еще он любил свой новый дом и новую жизнь за то, что в ней было гораздо меньше порядка, чем в той его, старой жизни, где полы были натерты до блеска, все имело свое твердо усвоенное место, жесткость уклада всех тяготила, а сам он существовал в нем, как портрет в тяжелой раме, которому поклонялись и на который смотрели восторженными, но испуганными глазами. А в новом доме все было живым, непостоянным, все меняло свое место и назначение, и от этого в нем было легко и славно жить. И еще в нем не было ни одного его портрета, ни одной фотографии, кроме тех, на которых

он не позировал, а был застигнут врасплох фронтовыми корреспондентами. И еще в нем были она и дети, рыжие, в него.

Он увидел, как дочка стащила с себя брючки и трусики и присела у самой воды. «Не застудила бы себе попку или еще чего-нибудь, — подумал он и смущенно улыбнулся про себя, — у них это все так сложно, у женщин...». Но в эту минуту из-за поворота появилась черная «Чайка», развернулась и подъехала задом к калитке, ведущей к дому.

Первым выскочил из машины высокий молодой военный, и он узнал своего сына. Потом, нащупывая ногой в красном лампасе землю, вышел коренастый, поперек себя шире, друг, которого он ждал.

Но он следил не за другом, а за своим сыном. «Не в меня, — думал он, — не в меня высокий и темный, а все-таки что-то есть...»

Сын и друг о чем-то поговорили, сын приложил руку к козырьку и остался у машины, а друг, тяжело неся на коротких ногах грузное свое тело в мешковатом мундире, пошел к дому.

Маршал хотел выйти к нему навстречу, но не мог оторвать взгляда от сына. Сын заметил девочку у воды и, нерешительно оглянувшись на дом, подошел к ней. Она глядела на него снизу вверх, все еще сидя на корточках, со спущенными штанишками, и он, подойдя и что-то сказав ей, тоже присел перед ней на корточки. Они о чем-то говорили, потом он встал, порылся в карманах, достал какие-то бумажки и, выбрав одну из них, неловко согнулся пополам и вытер ей попку. Потом снова присел на корточки, натянул на нее штаны, и, взявшись за руки, они пошли медленно по песку вдоль берега.

А друг тем временем уже поднимался на террасу.

Вскоре после смены власти маршалу позвонили с самого в е р х а и предложили вернуться на службу — в генеральный штаб или в министерство и на любую другую почетную должность, которую он сам пожелал бы.

Он уклонился от этого разговора, сославшись на врачей. Ему еще несколько раз настойчиво звонили, но он коротко и ничего не объясняя всякий раз уклонялся от ответа. И вот теперь они посылают к нему все с тем же его старого друга. «Нет, – еще раз решил он про себя. – Нет».

В его отказе вернуться намешано было многое – и незажившие обиды, и гордость, и уязвленное самолюбие человека, для которого долгие годы самолюбие и гордость были самым главным, о чем он заботился и что более всего оберегал в себе, и тайное даже от самого себя желание заставить и х просить и льстить ему, это – тоже. Но и еще было в его отказе то, в чем он и сам не торопился себе признаться. Ему нравилось, как он жил теперь, эта жизнь, этот дом, где жена и дети, которых он так поздно родил и потому так сильно к ним привязан. Он был счастлив. Если это слово вообще может что-либо объяснить. Счастлив не тем, как высоко стоит над другими, не тем, что думают и как почитают или боятся его эти другие, и даже не сознанием того, что он по-солдатски честно заслужил этот почет, любовь или страх, а просто тем, что живет в нем самом, что живо в нем независимо от этих других и от всего, что существует вне его самого. Это была не усталость стареющего человека, не себялюбивое желание покоя и тишины, а странное для него и никогда в его прежней жизни им не испытываемое ощущение мира с самим собой, равновесия и устойчивости. Да, если это слово вообще имеет четкий, неразменный смысл – он был счастлив. То, другое – обида, самолюбие, нерастраченное еще желание действовать и командовать – тоже, но этим ощущением мира и устойчивости в себе он не мог поступиться и не хотел.

Друг, крепко ухватившись за перила, поднимался по деревянной лестнице, и маршал вышел к нему на крыльцо.

– Далековато ты окопался, – сказал друг, глядя на него снизу. – Всего растрясло, пока ехал.

– Тебя растрясешь, – пошутил маршал и помог ему одолеть последнюю ступеньку.

Теперь они стояли рядом на крыльце и смотрели друг на друга.

– Давно не видались, – сказал друг и протянул ему руку.

Маршал пожал ее и не сразу выпустил из своей.

– Ты – ничего, – сказал друг и, не зная, что еще сказать и как скрыть то, что он рад и растроган этой встречей, огляделся вокруг. – У тебя тут хорошо! Позавидуешь – озеро, песочек, кислород с хвоей пополам.

– Да, – сказал маршал. – Ничего. – И тоже поглядел вокруг.

– Внучка? – спросил друг, глядя на удаляющихся вдоль берега его сына и дочь.

– Дочка, – ровно ответил маршал и усмехнулся. – Такие вот дела. Дочка.

Друг засопел и выдернул свою руку.

– Ну, извини... Извини, конечно...

Маршал улыбнулся, не таясь:

– Ясно.

Друг оглядел его с удивлением, будто заново увидел:

– А ты... уж не знаю, как сказать... Не то чтобы помолодел, куда уж там... Глаза у тебя поголубели, вроде бы.

Маршал не расслышал:

– Поглупели?

Друг махнул рукой:

– Совсем глухарь!.. Не те глаза, говорю, ясно? Не те у тебя стали глаза, что прежде. Может, и поглупели, не знаю. В дом не зовешь?

– Конечно, – сказал маршал, все еще не отрывая взгляда от сына и дочери.

Они вошли в дом, в кабинет маршала, просторный и мало обжитой, и сели друг против друга за обитый медным листом низенький столик с коньяком и закуской.

Маршал было потянулся налить коньяк в рюмки, но друг остановил его:

– Врачи не велят. Раз и навсегда.

– Совпадение. Хоть вприглядку, – и разлил в рюмки красноватый коньяк.

– Ты извини, что сыну я пока велел подождать – у нас с тобой разговор не публичный, верно? А потом он придет.

– Ладно, – сказал маршал. – Субординация.

И помолчали оба.

Они слишком давно и подробно знали друг друга и все друг о друге, чтобы эти пять лет, в течение которых они ни разу не виделись, что-нибудь для них значили, но все-таки это были пять лет, а к концу жизни годы становятся гораздо длиннее.

– И курить запретили, сволочи, – сказал друг.

– Да, да, – сказал маршал, а сам подумал: «Что это он о моих глазах сказал?.. – и искоса посмотрел на себя в зеркало, висевшее напротив. – Глаза как глаза, какие и были, глупости!..»

В зеркале ему было видно и лицо друга. «У него-то глаза прежние – волевой офицер, уже лет десять, как в маршалах, генеральские глаза, долго в такие не насмотришься», – думал маршал и вспомнил, что у всех тех, кто вместе с ним начинали и стали со временем начальниками и командующими, глаза, рано или поздно, становились такими же – волевыми и жесткими. «Что это он плел про мои глаза?! Глупости какие!..» – и снова взглянул на себя в зеркало.

– Ни пить, ни курить, – вздохнул друг и вытащил из кармана брюк кожаный плоский кисетик, взял из него щепотью табак. – На самообмане и держусь. – Он поднес к носу табак, потянул его сначала одной ноздрей, потом другой. – Прямо как в романах, – пошутил он невесело и с шумом втянул в себя табак обеими ноздрями.

Потом помолчал и спросил:

– О чем наш разговор – догадываешься?

Маршал не ответил прямо:

– С тем только и приехал?

Друг усмехнулся, спрятал кисет в карман:

– Служба. Дружба дружбой, конечно. Ты как живешь-то?

Маршал перевел взгляд с зеркала на его лицо:

– Живу... сам видишь.

«Нет, не те у него глаза, право слово, – думал, глядя на маршала, друг и мучился тем, что не мог понять, что же изменилось в его старом однокашнике. – Шут его знает – что. Поглубели, что ли... штатские какие-то, не поймешь...»

И от того, что он не мог объяснить себе этого, он заерзал на стуле и почувствовал себя беспокойно и неловко.

– Живу вот... – повторил маршал и вдруг, неожиданно для самого себя, спросил: – Ты счастливый?

Друг только махнул рукой:

– Ты что?! Когда мне об этом думать-то?..

Из окна кабинета было видно водохранилище и берег, и маршал увидел, как возвращаются, держась за руки, его старший сын и его младшая дочь, которой было меньше лет, чем его внукам от этого сына.

Друг поймал его взгляд и тоже посмотрел в окно и вдруг понял, о чем думает маршал и почему задал ему этот странный и малоуместный вопрос.

– Не знаю... – сказал он. – Не задумывался. Тоже – живу. Служу. Служба. – И, помолчав, добавил: – Сын твой хорошо служит, я им доволен. Толковый офицер, размышляет, два раза объяснять не надо. Получился у тебя из него человек.

«У меня... – подумал маршал. – А что я ему дал? Что я ему мог дать в его время, когда из него человек-то и прорезался?... Я тут ни при чем, к сожалению...»

– Я рад, что он у тебя, – сказал он и добавил погодя: – Хорошо это получилось, что он к тебе попал.

«Что он понимает под счастьем? – все еще думал, морщась от желания чихнуть, друг. – Философ стал. Вольно ему философствовать – живет, не тужит. А что такое – счастливый?!» – и спросил вслух: – А что такое счастливый?

Маршал не ответил, пожал плечами.

«Не у дел он, а – как с гуся вода, – думал о нем друг, и глухое раздражение зло его царапнуло. – Сник, свылся с тем, что не у дел. Отвоевался. Сник, сник!.. Что-то в нем сломалось, что ли, ушел ото всего...»

К дому подъехала машина, и из нее вышли жена маршала с сынишкой и прислуга. Прислуга вытащила из машины тяжелые сумки с покупками, понесла их на кухню. Шофер вырулил к гаражу.

Мальчик увидел сестру и сводного брата, побежал к ним, а за ним, по-молодому придерживая от ветра волосы, пошла к берегу и жена.

«Детей у него много, это да. Это можно понять, – думал друг, и уже не раздражение, а что-то вроде незлобивой зависти кольнуло его. – Это хорошо, когда много детей. Двое да еще двое – четверо. Это я понимаю – чтобы дом полон детей был, это да, да... От этого у кого хочешь глаза поголубеют, даже если одной ногой уже там, за переправой... Это он успел, что ни говори. И жена... Я ее хорошо помню... по донесениям, конечно, по его личному делу... И как она его тогда спокойно так, как маленького, взяла за ручку, когда его вчистую списали... Да, и жена... Хотя я той, первой, как был друг, так и остался, а его понять – могу. Взял и ушел. И детей еще нарожал... Ладно, что-то тянем мы с этим разговором...» – и обернулся к маршалу.

Но тот встал с кресла:

– Ты извини, я сейчас. Она тебе обрадуется. – И быстро пошел через террасу и лужайкой к берегу.

Друг глядел в окно, как он быстро шел в старых вельветовых штанах и вязаной куртке, и чувствовал что-то вроде невеселой жалости к самому себе.

Маршал подошел к жене и детям, и по тому, как обернулась к нему жена, не отнимая руки от волос и улыбаясь, а он еще издали что-то кричал ей, друг понял, что они друг для друга значат. Потом маршал подошел к старшему сыну, они обнялись, и отец оставил руку на его плече, а детишки облепили его вельветовые штаны и что-то говорили ему взахлеб.

Друг глядел на них и думал о себе самом и о том, что, когда он сам уйдет в отставку, а это случится уже очень скоро, будет ли у него то, что есть у маршала? Не у дел – это будет, этого никому не миновать, а вот того, что лишь к немногим приходит на смену делу и службе, что останется при них до конца и чего никто у них отнять не в силах, – у него самого-то будет ли? Это?..

Они пошли к дому, и он вышел к ним навстречу на крыльцо и спустился вниз.

– Мне пора, пожалуй, – сказал он и, не дожидаясь, чтобы они стали его отговаривать, повторил решительно: – Пора, дела. Ты извини.

– Ты что?! – удивился маршал. – Куда тебя?!

– Нет, – сказал друг. – Пора.

– А – разговор? – спросил маршал и повернулся к жене и детям: – Вы идите, мы сейчас.

Жена и младшие ушли в дом, а старший сын отошел к машине своего начальника.

– Разговор? А-а!.. – солгал друг и поморщился от неловкости. – Другим разом. – И протянул ему руку. – Не удерживай, некогда. Я к тебе еще приеду. – И усмехнулся: – Как на пенсию выйду. – Пожал ему руку: – Бывай. Будь здоров.

Он быстро пошел к машине и, сядя в нее и втягивая с трудом внутрь ноги в красных лампасах, бросил через плечо его старшему сыну:

– Можешь быть свободным на двое суток. Побудь с ними. Это тоже надо – с отцом побыть. – И шоферу: – Не жалей газу.

Он так и не оглянулся на дом и на старого своего друга, с которым прошел три большие войны и еще несколько малых, которого не видел пять лет, а поговорить поговорил каких-нибудь полчаса, но все про него понял и потому не выполнил задания с а м о г о.

«Ничего, – подумал он, – отбрешусь. Ничего». И еще ему пришло в голову, что – под семьдесят, и пора бы уже подумать о вечном.

Бенедиктов вдруг понял, в чем суть изменений, которые он заметил во всех прежних своих приятелях, собравшихся сегодня здесь: если раньше, лет десять или даже пять назад они были – каждый по себе, со своим характером и пока неопределенным будущим, то теперь они стали каждый лишь частью, молекулой чего-то единообразного и нерасторжимого, подобно муравьям или пчелам, которые лишь вкуче составляют жизнеспособный организм их муравьиного или пчелиного царства: таскают припасы в муравейник, берут взятку из цветка, откладывают яички, оплодотворяют матку, строят соты и подземные ходы, защищаются и нападают. Так и эти, собравшиеся здесь на поминки, его, Бенедиктова, прежние знакомцы лишь вкуче, лишь по законам круговой поруки могут осуществлять свое предназначение и отправлять свои функции: вне касты, вне клана, в котором они живут и которым живы – и х н е т. А он, Юрий Бенедиктов, вне этого их клана, и они это знают, он для них чужак, пария.

Молодые их годы пришлись на пору весенних ростепелей и ожиданий, когда верилось, что они будут иными, чем их отцы – генералы, наркомы и комиссары, что время великих перемен и их жизнь перевернет, и их самих. Но время это пришло и ушло, ветры изменили направление, на смену весеннему половодью пришла, минуя лето, – нет, не схваченная ледяными страхами зима, а всего лишь серая, скучная осень. Упования на доброе и вольное скукожились, облетели, и наслед-

ственное в этих людях, зашифрованное в генетическом коде их происхождения и принадлежности к клану, взяло верх, заговорило в них в полный голос, и выбор пути сам собою утвердился после минутного их раздумья перед развилкой дорог.

Они закончили свои МГИМО, журфаки, дипшколы и академии и, пусть даже поначалу не отдавая себе в этом отчета, бодро и бойко двинулись в заданном еще их отцами направлении. Сами того, может быть, не понимая, они были от самого начала внутренне приуготовлены к этой серой осени и, когда она пришла, легко и без особых ностальгий стали тем, чем и рождены были стать: журналисты-международники, дипломаты второго ранга, кандидаты и доктора общественных наук, референты и консультанты с синими служебными загранпаспортами.

А он, Бенедиктов, был как бы вне этой черты, вне круга.

Вот какая пропасть пролегла за эти годы между ним и этой прежних его, весенних лет компанией, вот почему сегодня он был здесь не свой, никому тут не близкий и не нужный.

И еще он понял на маршальских этих поминках, что если кто-нибудь и вправе сказать про себя «государство – это я», так – они; они – свои, они тутошние, государство само их отобрало и выбраковало, а он, в лучшем случае, лишь пашенок, уродец в семействе. Отбившаяся от стада овца, да он и сам не хочет в это покорное стадо, не только он им чужой, но и они ему тоже. И если уж на то пошло, он один из них изо всех сохранил за собой право свободного выбора: как жить, чем жить.

И, усмехнувшись, прибавил про себя: и г д е ж и т ь.

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы пользуемся случаем, чтобы поздравить Юлиу Филипповича Эдлisa с 60-летием и пожелать ему долгих лет и новых творческих удач.

ЭДЛИС Юлиу Филиппович – родился в 1929 г. в Бессарабии (ныне Молдавская ССР), получил высшее филологическое и режиссерское образование, работал режиссером и журналистом.

С 1960 г. живет в Москве, член Союза писателей СССР, преподает в Литературном институте им. Горького. Автор более чем тридцати пьес, шедших в театрах Москвы, Ленинграда, других городов СССР, переведенных и поставленных в Англии, США, Греции, ФРГ, Западном Берлине, Австрии, Югославии, Польше, Венгрии и т. д. Написал два романа, семь повестей, печатавшихся в журналах «Новый мир», «Октябрь» и т. д., изданных отдельными книгами. По нескольким его сценариям сняты кинофильмы. Член Французского и Советского центров Пен-клуба.

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*

ДВЕНАДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ НЕНАПИСАННОЙ КНИГИ

* *
*

Не веет – а повевает
весною вне уличных стен,
и апрель к февралю прививает
истощный стон на току,

полевая тропинка в слякоти
протаптывается острой,
и новой вспышкой сладости
струна прилегает к смычку.

Такое время года –
ни два, ни полтора,
с голодного небосвода
на плодоносный пласт
не сыплется чудо манкою,
урока не повторя,
и простынкой немаркою
распластывается заря.

* *
*

Кто-то мне звонит, звонит по ночам,
кто-то хочет слышать мой голос, но сам
затаился в трубке, даже не шепча,
ухом зажимая душу у плеча.

* *
*

Где хвевой тенью лег
в еловые опилки
предсмертный фитилек
немеркнувшей коптилки,

мерцающей коптилки
хлопчатая душа,
и синь на синей жилке
графит карандаша,

скачки карандаша
в линёванной тетради
считают чуть дыша
за шагом шаг к награде,

к мерцающей награде
в фанерных небесах
с лиловым христарadi
на смолкнувших часах.

* *
*

Полузаросшие шпалы
брошенной узкоколейки,
вылинялый полушалок
на привокзальной скамейке

спит с полушубком в обнимку,
полузасыпанный снегом,
пририсовавши улыбку
к снимку перед побегом.

* *

*

И, эту мелодию запев,
мы не сочинили к ней припева,
а как повели нас на расстрел,
стало нам уже не до того,
под стеною стали мы, вспотев,
и стена за нами запотела,
и дрожащий дымчатый рассвет
озарял чужое торжество.

Но эта мелодия вошла
радугой на сером небосводе,
стебельком, ломающим асфальт,
дождичком в беспмятный четверг,
и скатилась пуля из ствола
крупною слезою о свободе,
и душа из ребер понеслась,
пятаком подпрыгивая, вверх.

* *

*

Накавился твердый рок добела,
в пляс пустился кубарек, а юла
стала слезы, слезы-слезы, слезы лить,
чтоб разжалобить, а нет, так разозлить,
чтоб разжать спиралевидный моток,
что со спиц у старой бабы утёк,
изловить с основы сорванный уток,
удержать безудержный рок.

* *
*

Это альфа и омега Центавра
с двух сторон неосвещенной Домниковки
дышат пламенем и цокают копытом.
Заблудилась я, мой путь недоиспытан,
и, смерзаясь с гарью, зимний воздух колкий
льнет ко лбу, как заржавевшая аура.

* *
*

О, если б без слова, мычаньем
дотыкаться в вымя небес,
с прилипшим к губе молочаем,
с ключами наперевес.

О, если бы можно сказаться
нечленораздельней, чем мысль,
без стихосложенья – эрзаца
Иаковой лестницы ввысь.

О, если б без рифмы, без слога
и без языка, но пока
без складу и ладу эклога
карабкается в облака

и высь оглашает мычаньем,
чтоб слышали эти и те,
как жизни грядущей мы чаем,
посеяв ключи в пустоте.

* *
*

О раж, в которыйходишь,
когда, слепя глаза,
гроза с далеких стойбищ
надвинется, грозя

крушеньем, разрушеньем
и выжженной землей,
и – головокруженьем,
обморочной тьмой.

О жар грозы отцветшей,
увядших молний блеск,
в виру причин и следствий
одной песчинки всплеск.

* *
*

Не в стихах, а наяву
тамариск бросает тень
на дорогу.
Не в Москва-, Москву-реку
меж полей бежит ручей,
а в Гаронну.

Это я или не я?
Это тут или по ту
сторону?
Спугивая воронье,
тащит трактор, весь в поту,
борону.

* *
*

Как по улице Сен-Жак сквозняк
и до самой Компостелы. Знать,
то Иаков подает тебе знак:
званных много – мол, не стану зазывать.

Что ж, пойдешь ли в дождь и пыль, в жару и снег
на уступы и на приступ Пиреней,
будто франк на сарацина в набег,
под хоругвью, с верной сталью при ней.

Ну, а коли не пойдешь – не урон:
ни погода не переменится, ни срок,
сто дорог выходят на сто сторон,
и на всех какой ни есть ветерок.

* *
*

Пой, Филомела...

Не плачь, ракита, – это ивы дело.
Не пой, бедняжка, – ты ж не Филомела.
Стучат копыта при въезде на паром.
Скрипит бумажка под расщепленным пером.

Вздыхая косо под сенью пересылки,
в последней хватке стяни концы косынки.
Стучат колеса, опоясывая землю,
раз-два́, раз-два́-три, четыре-пять-шесть-семь.

ЛЕТОМ, В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Из шума сна Николай Николаевич всплыл в шум дня. По коридору простучали быстрые детские шажки, их заглушил топот не в ногу идущих двух взрослых, скрипнули половицы в комнате, когда они поравнялись с дверью, потом затрясся весь барак, это по улице проехал грузовик. Вдалеке загудел паровоз. На потолке желтый прямоугольник от занавесок был неподвижен, и посередине ослепительной белой полосы между ними сияло зеленое пятно. Бутылочный осколок. Сон исчезал как сужающийся пыльный хвост с асфальта под ветром. Однако можно было еще ухватить низкорослую азиатскую конницу, веером рассыпающуюся перед кем-то и дробно топчущую землю. Перед кем?

Да! Фараон! Перед окаменело глядящим в пространство фараоном, ярким, как павлин. *Свой пестрый мечет фараон.* Николай Николаевич улыбнулся: с самого пробуждения всё связывалось, это хороший знак. Нет, что-то гораздо более приятное, чем знак, почему-то же и фараон, а не другое что-нибудь. Что-то тянулось со вчера, что-то, с чем он засыпал. Фараон... Ну, конечно: весь вечер, сидя в духоте перед открытым окном, и потом, уже улегшись под простыню, он занимался своей любимой мыслью: распределял по порядку доказательства того, как история пожирала мифологию. Вывод давно уже был очевиден, запас доказательств безобразно избыточен, они громоздились бесформенной грудой, добавлялись каждый раз, как он обращался к этой мысли, и главная сложность заключалась в том, чтобы отобрать кусочки полакомее и насадить их на вертел поизящнее. Надо было собраться однажды, сесть и написать всё, и тогда стало бы ясно, что с чем должно поменяться местами. Надо было сде-

лать это еще в Москве, за своим в полстены письменным столом, когда все книги были под рукой. Но тут опять стали *забирать*, началась эта нервотрепка, переезды, ночевки по дальним родственникам, Катина истерика и, наконец, безвольное согласие бежать сюда, на Урал, после то ли вызванного телепатией, то ли устроенного Катей приглашения Юрия Владимировича.

...Итак – фараон! Штрих несущественный, но украшающий картину. Это к рассуждению о празднике... Праздник повторяет ситуацию начала какого-то события, сотворение мира, зарождение катаклизма, разыгрывает что было «в начале». Он начинается с того, что в глазах общества выглядит ненормальным, противоположным норме, с отрицания ее, с хаоса, и кончается восстановлением нынешней организации жизни, приводит всё к «текущему моменту». Космологический человек видел в таком ритуале смысл всего происходящего, цель бытия. Центральной же фигурой праздника был царь, но именно царь праздничного действия, первосвященник, а не истории, не государь. И вот самый классический пример – египетские фараоны. (Тут бы – выписки из глюкштадского Якобсона; нет, не следовало ему уезжать, ни в коем случае не следовало!)

...И вдруг всё, с чем он примирился в эти последние два месяца, все нелепые перемены и бессмыслица его теперешней жизни, все доводы за бегство из Москвы, которые он согласился принять, и то даже удовольствие, которое он признавался себе, что получает, оторвавшись от обстоятельств, опутывавших его дома, и вот эта вчерашнего вечера и сегодняшнего пробуждения космология и история и их разноцветный фараон – всё показалось ему совершенно невозможным и, что гораздо хуже, очень страшным, как будто ему предстояло умереть сейчас, в этом бараке, никогда больше не увидев Кати и мальчиков, с которыми он вынужден был проститься так легкомысленно, словно уезжал за город. Внезапный ужас нахлынул на него и вмиг обессилил, он

чувствовал, что лицо до сих пор сохраняет улыбку, но мышцы одеревянели и он не может согнать ее.

Через минуту пришло облегчение, он глубоко вздохнул и провел рукой по лицу. Мысли втекли в русло обычной логики, уезжать, может быть, и не следовало, но и оставаться никак нельзя было, сотрудников кафедры арестовывали прямо по списку, человека по два-три в неделю. Как в игре «морской бой», ядра покрыли сплошь все поле, и даже если о его одноклеточном почему-то на время забыли, жить так было нельзя. Катя совершенно права, противопоставить ей нечего. Вот только о переписке договорились бестолково: все-таки он здесь находится официально и можно бы писать до востребования непосредственно ему, а не Юрию Владимировичу, который забегал на почтамт редко и просить его об этом было неудобно. За два месяца три коротких письма: все в порядке, мальчики здоровы, — такая тоска!

Он сел на кровати. Сегодня воскресенье, соседи, протопавшие по коридору, наверное, отправились на озеро. *Всегда ли ходил в воскресные и праздничные дни в церковь? Не предавался ли в эти дни невоздержанию, не упивался ли вином?* Краткий вопросник перед исповедью, почти все вопросы он помнил наизусть. *Не убивал ли без нужды животных или птиц, не мучил ли их? Уповаю, Боже мой, на милость Твою... Кто творит таковая якоже аз? якоже бо свиния лежит в калу, так и аз греху служу: но Ты, Господи...* Что ж, конечно, хорошо бы постоять сейчас в церкви, и стоило бы немедленно отправиться, успел бы еще к ранней обедне, хотя единственный действующий храм, который он здесь обнаружил, на другом конце города. Но почему этот, православный? По привычке? На привычку уже не хватало энтузиазма. Я не могу не знать того, что знаю, как говорил Толстой. С детства запомненные слова Исайи, читавшиеся великим постом: «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом

и свет тьмою», — заметно потеряли в цене, потому что перестали быть единственными. Тогда в них была неприкаянность, одиночество, безнадежность, сумрачные зимние дни, приближавшие неотвратимую смерть Бога, потому и говорившего прямо и страшно. Теперь это были параллельные тексты египетских папирусов, Дао-де-цзиня, еврейских пророков, тексты писателей переходной эпохи, почувствовавших ужас первых встреч с историей. Энтузиазм строго дозируется, он перешел в знания, отнявшись от веры. Знания набивали его рассудок, как вещи, по случаю ремонта в квартире переносимые в одну маленькую комнату. Временами они спрессовывались в какую-нибудь небесполезную мысль, как листья и древесина в антрацит, и освобождали место для новых знаний. Но ремонт откладывался и жить с каждым днем становилось все неудобнее. Чёрт бы их побрал: с тех пор, как это началось (а когда это началось? с отцовской библиотеки? с востоковедческого семинара?), он стал гораздо больше п о н и м а т ь, но не з н а т ь. Куда там больше! — он не знал теперь того, что знал когда-то: с тех пор, как это началось, мрачные зимы не вели ни к последнему сведению всех счетов, ни к пасхальному воскресению...

Все-таки он стал на колени и прочел «Отче наш». Прочел — и усмехнулся: слишком уж комнатенка набита призраками, не сосредоточиться. Он оглянулся по сторонам: канцелярский стол, канцелярский шкаф, печка, кровать, две табуретки. Пантеон богов греческих, пантеон богов египетских. Катя, оба сына: над книжкой старший, среди разбросанных игрушек младший, она с шитьем. Отец, с плотно сжатыми губами, в гробу. Желтые занавески, за окном бутылочное стекло. За окном великая пирамида — модель вселенной. Спертый воздух школы, тусклый электрический свет, «Хеопс и Хефрен». Отец, упершись локтями в стол и подняв плечи ждущий, когда мать подаст ужин, тень матери, профиль, наклон тела на бегу, смеющиеся лица, тепло,

уют, доброта... И сквозь все это надо прокричаться, промолиться... Невозможно!

Он поднялся с колен, оделся и вышел на улицу. Барак, в котором ему дали комнату, стоял на самой окраине города. За ним начиналась свалка, упиравшаяся в кладбище, дальше была еще тюрьма, но считалось, что она находится уже за городской чертой. От барака до пединститута, в который он и был приглашен вести курс зарубежной литературы, была минута ходьбы: барак сколотили для себя строители института – как временку на время стройки, но потом его отдали под общежитие институтским уборщицам и сторожам. По вечерам в соседних комнатах выпивали, играли на баяне, дрались, но Николаю Николаевичу это не мешало, потому что он гулял допоздна и, возвратившись, быстро засыпал. По совету Юрия Владимировича («публика та еще, ни за кого нельзя поручиться, что не сексот»), он ни с кем не знакомился, хотя через день давал кому-нибудь понемногу взаймы и от кого-то получал долги. Новая жизнь понемногу опутывала его: на улице он узнавал в лицо продавщицу из бакалеи, квартального, которому давал паспорт на прописку, некоторых своих студентов. Он ловил себя на том, что, занятый лекциями, бытом и очередной научной выкладкой, он за целый день ни разу не вспомнил о семье, и это обжигало его, ему казалось, что, пока он не думает о них, с кем-нибудь из них случилось что-то плохое, а успокаиваясь, мрачнел от сознания своего эгоизма. Порой его охватывало ощущение невсамделишности, нереальности нынешней жизни: да есть ли Москва, если есть вот этот барак? есть ли у него жена и дети, если вот уже два месяца их нет как нет, а он живет как ни в чем не бывало? И шире: в сознании перестали связываться некоторые очевидные вещи, например, возникновение детей с их теперешним существованием – были половые клетки, есть два взрослых мальчика, но одно с другим никак не соединено, никак. Чем более цельной представлялась

ему культура, тем существенней распадалась собственная жизнь.

Он направился в сторону кладбища. Было еще рано, но уже сильно пекло. На свалке здесь и там что-то дымилось, дым стелился по земле и выползал на дорогу, местами воняло тошнотворно. Он стал приходить на кладбище с первого дня, ему нравился сумрак и безлюдье, а с некоторых пор он облюбовал одну заброшенную могилу, на которой стал подолгу сидеть. Ветхая ограда была повалена, лежащая плита обомшела, он соскреб с нее мох, но надписи не прочел, потому что камень искрошился и разобрать можно было только несколько разрозненных букв. Она находилась в дальнем углу кладбища, здесь пахло лесом, за стволами краснела стена тюрьмы, изредка доносились звуки труб похоронного оркестра.

Сегодня, еще подходя к кладбищу, он услышал песню, унылый женский голос тянул ее безо всякого выражения, и, когда песня кончалась, тотчас начинал с начала. «Позарастили стежки-дорожки. Где проходили милого ножки. Позарастили мохом-травой. Где мы гуляли, милый, с тобою». Удивительно было, что с того мига, как он услышал пение, голос ни разу не зазвучал ни сильнее, ни слабей, словно песня, начавшись шагах в тридцати, так и двигалась за ним, не меняя дистанции. Он пытался высмотреть певицу, вглядывался в тень между деревьями, но так никого и не увидел. Собственно стихи, подумал он, не такие уж тоскливые, то есть мотив гораздо тоскливее, а стихи тянутся за ним. Плюс эти «стежки-дорожки» – рожки-да-ножки. Голосок был надтреснутый, почти детский, и звенел в унисон с комариным гудом. Безнадежное уныние песни было невыносимо, и, когда она повторилась в энный раз, Николай Николаевич решил уйти. В эту минуту его окликнули.

– Я так и знал, что вы здесь, – говорил Юрий Владимирович, – я, если хотите, даже не заходил к вам, для

порядка крикнул из автомобиля, и прямо сюда. Вы, как мне сказали, что любите гулять по кладбищу, я так и подумал...

Николай Николаевич ничего такого не говорил, знал, что не говорил, но возражать было неловко, и он сказал только:

– Как же вы нашли меня здесь? Довольно мудрено.

– Чего ж мудреного? Не туда, так сюда. Сама дорожка вывела. – Он приближался, энергично шагая и не задумываясь, между какими могилами ему удобнее пройти. – Я вас, наверное, с мыслью сбил, да? Вторгся в медитацию...

– Нет-нет, я уже собирался уходить, – двинулся Николай Николаевич ему навстречу, – эта песня... – Но пение прекратилось. – Тут какая-то женщина, – растерянно повел он рукой, – душу из меня вынимала, да вы, наверное, слышали: пела таким козлетоном и аккомпанировала на моих нервах... – Он покраснел от неожиданности, что острит.

– Вам везет, – отозвался Юрий Владимирович, – а я ничего не слышал... Да! Вам везет! – воскликнул он, когда они вышли на аллею. – Вам телеграмма из дому. Всё в порядке, едут на юг.

– Где она? Когда выезжают? Куда?

– А я и не догадался взять. Телеграмма, два слова: прочел, запомнил и сунул куда-то. Погодите. «Дети здоровы, дома тихо, субботу выезжаем Крым, целуем, Катя». Так что сегодня вечером уже будут в море купаться. А я решил вас искупать. Уравнять шансы. Нет, в самом деле, я ведь заехал взять вас на озеро. Жара адская, выкупаемся, а потом ко мне. В квартире, поверите ли, даже прохладно.

У кладбищенских ворот стояла черная эмка, с опущенными стеклами и открытыми настежь дверцами. Юрий Владимирович утверждал, что он единственный в городе владелец личного автомобиля. «У них у всех есть и зисы, – говорил он, – и, может быть, аэропланы и тан-

ки, но, понимаете, не их собственные», – и подмигивал. Где он достал машину, никто не знал, даже институтский механик, ухаживавший за ней.

Когда проезжали мимо железных ворот тюрьмы, Юрий Владимирович сказал:

– Что это мне Копылов про вашего здешнего тезку болтал?

– Не тезка, однофамилец. Отнюдь не тезка, его зовут, э-э-э, Иннокентий Иннокентьевич. Я с ним виделся, он просил через Копылова.

Копылов был аспирант-заочник, он работал начальником учебной части в этой тюрьме.

– Вас так и тянет. Держались бы подальше.

– О, это совсем невинно. Он хотел узнать, не в родстве ли мы. Но моя генеалогическая память кое-как простирается на пять поколений, а его вообще на три, и ни одни ветви даже не сближаются. Он из недалних мест, но никто, говорит, не навещает. Попал за драку, что ли, осталось полгода.

– Ничего не просил?

– Ничего. Навестить еще, если смогу. Папирос прислать через Копылова. Странный малый этот Копылов. Пушкинист он, конечно, никакой, но человек неглупый.

– Хм, когда вокруг пентюхи, он малый не дурак.

Всю дорогу до озера Николай Николаевич повторял про себя текст телеграммы. «Дети здоровы» может означать, что кто-нибудь из близких болен, вернее всего мама, вряд ли сама Катя, раз поехала на юг. «Дома тихо» совершенно очевидно расшифровывается как то, что вокруг стало относительно спокойно, может быть, аресты прекратились. Хотя может значить и то, что без него в доме пусто и ей тоскливо. «Крым» – само собой Феодосия, куда они уже дважды выезжали на лето вместе и где есть знакомая хозяйка.

– «Целуем» или «целую»? – вдруг сказал он. Он чувствовал тревожное волнение и раздражение на Юрия

Владимировича – за то, что он не взял с собой телеграмму.

– «Целуем», – сразу откликнулся тот. – Или «целую», не обратил внимания. «Катя» – точно! – и засмеялся.

– Тут не стоит шутить, – сказал тихо Николай Николаевич. – В моем положении важно каждое слово оттуда.

– Приедем, найду, насладитесь каждым словом. Ну, не бычитесь, не злитесь. Отправил семью на юг, сам по холостому делу развлекается, и еще дуется на друга, который все это устроил. Плюс безоблачное небо. Плюс объятия воды, – он мотнул головой на сверкнувшее за деревьями озеро. – На обкомовский пляж, а?

Несмотря на ранний час, берег был усыпан людьми.

– В воде почти никого, видите? – говорил, сощурившись, Юрий Владимирович; он съехал с мощеной дороги на проселочную, и теперь за автомобилем стоял шлейф пыли. – Для советского человека священны три стихии: солнце, воздух и вода. Но этот советский человек еще и уралец, а уралец воду не обожает. Главное – загар, потемнеть! Даже наша пыль принимается ими благожелательно. Очень их в пекло тянет, к эфиопам, не иначе.

Начался частый забор, и около калитки Юрий Владимирович остановил автомобиль. Из будки вышел сторож и, узнав его, осклабился.

– Пусто, я так и думал, – сказал Юрий Владимирович, первым выходя на огороженный с трех сторон пляж. – Слуги народа еще спят.

– С каких пор вы сделались таким циничным? – спросил Николай Николаевич, когда они зашли в смежные кабинки переодеться. – В университете, мне казалось, в вас была какая-то вера, вы были даже романтичны.

Юрий Владимирович прежде был его студентом, потом аспирантом.

– Х-хе, – сказал он, выходя наружу. – Вы старше меня всего на пять лет, но принадлежите к другой эпохе. Ваши убеждения как николаевские ассигнации – можете хранить, думая, что они еще пригодятся, но на них ни сейчас, ни когда уже ничего не купишь.

– Убеждения все-таки никак не деньги. Скорее дом, в котором живешь. Старые стены прочны, известь замешивалась на яичном белке. Помните, как не могли взорвать храм Христа Спасителя?

– Взорвали же. Подошли научно, и взорвали. И я уверен, какой-нибудь старый профессор из бывших, какой-нибудь великий русский зодчий и сапер давал самые остроумные советы, куда и сколько динамита закладывать. Он, конечно, и сам ходил бы в эту церковь, не будь распоряжения ее уничтожить, но наука выше личных интересов, не так ли?

– Простите, Юрий Владимирович, можете мне не отвечать, но ведь вы были крещены во младенчестве, и вам были преподаны в детстве понятия о хорошем и дурном. Я понимаю, критический ум может извериться в идеалах, превращающихся во фразы, устать от злободневной лжи, но так быстро избавиться от внушенных за тысячу лет истин просто невозможно. Хотя бы потому, что жизнь планируется все еще по их чертежам. Хотя бы потому, что они апробированы.

– Я же говорю: вы человек другой исторической эпохи, пережиток. Вы еще можете допустить, что представляете другое время, но думаете так, потому что видите, что оно переменилось, а помните еще то, которое было до перемен. Своей нынешней роли вы не осознаёте. А она очень важна, у вас сейчас много функций, и одна из главных – как можно более искусно взрывать прежние постройки... Я, может, до сих пор, так сказать, по «Изыдите, оглашенные» скучаю. Однажды – уже секретарем факультета был – забежал вечером к Илье Обыденному: думал, темно, безопасно, вдохну ладанный запах, авось, обойдется. Первый, кого вижу, –

вы! Развернулся, и назад – не перекрестившись. А тут вскоре и ваша лекция великая: дескать, Христос начал с превращения воды в вино, а кончил претворением (все-таки рискнули произнести «претворение» – чтобы уж совсем меня убедить) вина в кровь, утвердив тем самым Свое подобие Дионису. Я подумал, подумал – и поверил. И в Прометея – «проекцию истории Христа на вечность», и в «Богородицу – Астарту вавилонян, Изиду египтян, Деметру греков». А Диониса не существовало, это я точно знал! Ни нашего Одина-бога из оперы «Садко», ни так любимого новой властью Прометея. И тогда я решил, что, пожалуй, не верую и в «Бога истинного». То есть предположим. Предположим, что так оно и было. Может, еще верил, но решил-то, что всё, кончаю. Был двуличным, стал циничным. Во всяком случае в церкви с тех пор не был.

Он хохотнул, вышел на мостки и прыгнул в воду. За забором несколько патефонов играли, не совпадая, кукарачу. Набегая друг на друга, повторились слова: «Он сказал, что кукарача. Это значит таракан», – и потом, двоясь и троясь:

Ля кукарача, ля кукарача,
Я не прощу!
Ля кукарача, ля кукарача,
Я отомщу.

Голые люди возле забора, скрестив по-турецки ноги, резались в карты и тянули из горлышка теплую водку.

«Что же мне делать, – подумал Николай Николаевич, входя в мелководье, – если я т а к знаю. И вино аттическое, и вино истинное. И то, что старое вкуснее молодого. Надо еще э т о ему сказать. А впрочем, зачем?»

– Ладно, – проговорил, вынырнув и отфыркиваясь, Юрий Владимирович, – это мало интересно. У меня к вам деловое предложение, до водяных ванн не хотел

начинать разговор. Давайте напишем книгу. — Он опустил лицо в воду, с шумом выдохнул несколько пузырей и опять поднял голову. — Вы пишете, я обрабатываю в свете передового учения и проталкиваю. Годится?

«Я с самого начала этого ждал», — подумал Николай Николаевич и сказал: — Книгу о чем?

— Как о чем? О чем хотите. О чем мне говорили: взаимодействие мифологии и истории.

Опять Николай Николаевич знал наверное, что не говорил с ним об этом, да и ни с кем не говорил. Но может быть, намекал как-нибудь, а этому больше намек и не нужно, чтобы докопаться. Во всяком случае, условия привлекательные: написать, отдать и больше об этом не думать.

— Заманчиво, — сказал он. — Я в последнее время кое в чем в самом деле разобрался.

— Не дразните меня, — сказал Юрий Владимирович, сидя по шею в воде и покачиваясь. — Книга должна быть не о том, в чем вы наверняка разобрались, а о том, в чем еще надо разобраться. Книга должна быть грандиозная. С ошеломляющими выводами, а не с систематически перечисленными наблюдениями. Такая, чтобы, несмотря на марксизм, нас выбрали в Британское Королевское Общество. С концепциями и гипотезами, а не с научными резюме. Объединяющая миф, историю и то, что предстоит...

— Я не пишу о будущем, я не фантаст!

— А вы напишите! Я беру на себя основоположников, а вы не осмеливаетесь заступить за бонной проведенную черту? И поймите, — он понизил голос, хотя и так их никто не мог здесь слышать, — мне не прошлое нужно и не будущее. А кое-что промеж них. Я, может, и вас и себя хочу под монастырь подвести. Я рискую, но в случае выигрыша я уже не директор этой богадельни, а действительный член А-Эн. А академиком я выйду и в президенты... И в цека.

– Зачем вам?

– Х-хе, «зачем»... – фыркнул Юрий Владимирович, но продолжать не стал.

– А если под монастырь?

– Вы и так на пути туда. А я в некотором смысле – предельно, впрочем, отвлеченном и с надеждой, что судьба не поймает меня на слове, – тоже не против. Во всех этих купальнях такая скука, а я ведь возраста Наполеона под Аустерлицем... Так согласны? Напишем?

– Да и меня самого, признаюсь, тянет на такое. То есть не сесть, разумеется, а вот сделать выводы за пределами допустимого наукой. У меня есть догадки, почти уверенность, что утраченное некогда единство картины мира – восстановимо. Я не позволяю себе предположениями, даже существенно обоснованными, увлекаться в научных статьях, но для себя, лежа в постели...

– И отлично! – сказал Юрий Владимирович, вставая на ноги. – Пускайте мысль по кругу. Эпиграф «Скажу, что было, что есть, что будет», гаданье цыганки... Ручку посеребрить?

– Будет плохо, – сказал Николай Николаевич потухшим вдруг голосом. – Не как в Апокалипсисе, а как в ночных кошмарах.

– Про это и напишите. В телеграмме, вспомнил, было «целую».

Николай Николаевич подряд несколько раз окунулся и, подняв фонтан брызг, выбежал на берег.

Подъехав к дому, Юрий Владимирович загнал автомобиль между двумя близко стоящими деревьями. Хотя вся улица была обсажена пышными липами и лежала в тени, ходить можно было только по бетонным плитам мостовой: асфальт тротуара плавился и прилипал к подошве. Четырехэтажный дом тоже был построен совсем недавно, вместе с пединститутом и Дворцом Культуры – три единственные в городе «стройки социализма», предмет местной гордости. «Красота из остатков московского метро», – шутил Юрий Владимирович.

Вход охранялся вахтером, который хотя и поклонился из-за своего столика, но так официально, что Николай Николаевич почувствовал испуг и стал неловко топтаться у лифта.

Юрий Владимирович провел его в кабинет, махнул рукой на диван: «Располагайтесь!», вышел, вернулся с телеграммой и снова вышел, распорядиться насчет обеда. Телеграмма была длиннее, она кончалась: «выезжаем Крым купалась тихом пруду целую Катя». От волнения у Николая Николаевича перехватило дыхание: чего-то такого и ждал он все это время после разлуки. Катя цитировала ему Сологуба, «Ах, этот вечный изумруд, всегда в стихах зеленых трав! Зеркальный, вечно тихий пруд в кольце лирических оправ», – ее любимое стихотворение, ее любимый Сологуб, любимые вечерние минуты Николая Николаевича: дети уложены спать, Катя в кресле штопает их чулки, он сидит за своим столом, и вдруг ее спокойный голос: «Ах, этот вечный изумруд», – и, не поднимая глаз, ручкой своей с кольцом, в котором поблескивает изумрудик, легкий взмах в его сторону. «И улыбаются уста шептанью вешнему берез, и снова чаша не пуста, приемля ключ горячих слез. Душа поет и говорит, и жить и умереть готов, и сказка вешняя горит над вечной скукой старых слов». Ах, как она всегда нравилась ему: ее молодость, когда была молода, ее полнота, когда родила второго, ее плавные движения, спокойный голос, живая речь, весь ее словарь; падающая на пол чашка, крепдешиновое платье, изумрудик в кольце. Ее рост, ее крепкие икры, ее тонкие волосы, всё ее – она так ему нравилась, что он не шутя обижался на детей, когда они ее огорчали. Он так любил ее, что и детей любил сперва потому, что это и х с нею дети, и только потом – их самих. И тотчас он вспомнил, как тогда и тогда злился на них, давал подзатыльники, ставил в угол, встряхивал, чтобы привести в чувство, когда слишком расходились. Встряхивал, подталкивал – сейчас это отзывалось в нем действительной

болью: о, всё бы вернуть, он бы не тронул их пальцем, он бы только улыбался, слыша грохот опрокидываемых стульев, — как всегда улыбалась Катя.

— Ну вот, много ли человеку надо, — сказал, входя, Юрий Владимирович, — упоминание о тихом пруде, и он счастлив... Вы видели? — он снял с полки книгу. — Из Ленинграда прислали.

— А-а, Марко Поло. Это же еще Бартольд подготовил. Тут есть очень забавные места про Россию. Вот: «Народ простодушный и очень красивый, мужчины и женщины белы и белокуры». Ага, и вот еще: «Такой сильный холод, как там, нельзя встретить нигде на свете, и если бы не большое количество бань, жители страны погибли бы от страшного мороза. Они встречаются через каждые шестьдесят шагов. И все ж таки человек, оставляющий баню согревшимся, промерзает, не успев дойти до следующей. Достигнув ее, он тотчас входит и начинает греться. Так он подвигается вперед, пока не доберется до нужного ему места». Так, так, так... «Они делают превосходный напиток из меда и проса, который называется пивом: чтобы пить его, они собираются даже по пятьдесят человек, мужья приводят с собой жен и детей. Каждая компания выбирает себе царя и устанавливает правила: если, например, кто произнесет непристойное слово, царь наказывает его. Такие попойки они называют „здравницами“. Случается, что во время этих здравниц пьющие берут деньги у иноземных купцов и отдают в заклад своих детей».

— Вставить в нашу книгу! — сказал Юрий Владимирович. — Ваш любимый карнавальный царь. И про непристойности. И про детей. Хотя их безусловно вымарают.

В дверях появилась девушка в белом переднике и с кружевной наколкой.

— Копылов звонит, — сказала она с ударением на о, — говорит, имеет просьбу.

– А он без просьбы не звонит, – ответил Юрий Владимирович. – Отказать не имею права. Пусть приходит, все-таки наш брат, ученый человек.

– Зачем вы хотите в академики, в Москву? – сказал Николай Николаевич, когда девушка ушла. – Ездите вы туда и так, когда хотите. Книги вам присылают. Здесь вы хозяин. Удобства все, включая кухарку и горничную...

– А как же? Без горничных здесь квартир не давали. Не присылать же на каждую мою с кем-нибудь встречу товарища Копылова. Горничная, и вся мебель, а если бы захотел, так и библиотека. И вахтер – всё впридачу к ключам от двери. И не забудьте паек по твердым ценам. На каждом из жильцов этого дома такая ответственность – освободите же нас хоть от тягот быта.

– Почему вы не женитесь? Не заведете детей?

– Х-ха! Господин Пережиток! Потому не женюсь, – он понизил голос, прислушиваясь к звукам, доносившимся из глубины квартиры, – что не могу укрепить балдахин над супружеской постелью. Жен не обобществят, напрасно волновались. Просто не успеете жениться, и на Север поедет один из вас, на Дальний Восток другой, как поется в песне. Я не умею заводить детей, крутюсь на чёртовом колесе, я от этого делаюсь импотентом. Новая жизнь! Не жениться надо, а стремиться, не наукой заниматься, а стремиться, не... – он внезапно замолчал.

– О чем это вы секретничаете? – спросил Копылов, стоя в дверях.

– Вот вам. Не знаешь, какой сюрприз ждет тебя через минуту. Проходите, Копылов. Ну, что у вас?

– А все-таки, о чем вы тут шептались? И почему – шептались?

– О вас, Копылов, как всегда о вас. Боялись, чтоб вы не подслушали. Вот Николай Николаевич говорил, что пушкинист вы неважный.

– Да! – вдруг решительно сказал Николай Николаевич. – Я, правда, так не говорил, но рад, что могу сказать: пушкинист вы в самом деле слабый.

– Это почему же? – сказал Копылов, усаживаясь в кресло. – Вы ведь моих последних идей не знаете. А я в ранних стихах сделал чрезвычайно ценное открытие. «Вишню» помните? «Румяной зарею покрылся восток», хрестоматийные стихи, да? Я прочел их новыми глазами: пастушка младая на рынок спешит, во тьме синий бор, а она уже на ногах, и не веселиться, а на рынок. С ранней рани в делах, в трудах, голодная: подумав, решилась сих вишен поестъ – подумав: не заметят ли, не спустят ли собак? И дальше гениальная сатира на церковь: за что из Эдема был выгнан Адам. Это не фривольная пастораль, это Достоевский: и соком багряным траву окропил! Куда ей теперь деваться? В наложницы к Тоцкому?..

– Мы оба неправы, – сказал Юрий Владимирович, – Копылов – малый ни глупый, ни неглупый. Бесстыдный. Он не стесняется. Никого: ни своего учителя, ни своего начальника. Копылов, вы кое-чего добьетесь через бесстыдство. Но не многого:

– Мне многого и не надо.

– А чего вы добиваетесь? Скажите хоть раз искренно, вы же не боитесь нас.

– Я добиваюсь истинного понимания идей Пушкина. Я служу науке.

– В колонии строгого режима... А я вам скажу, чего вы добиваетесь. Вы хотите утром выходить к завтраку и чтобы дети и внуки поднимались со своих стульев и скандировали: «Спасибо за наше счастье!» Вы же еврей, Копылов, для вас главное – процветание рода. Спорим, что вы пришли просить за кого-то из родственников.

– За маму. У нее диабет. Непроходимость сосудов в ногах, ей только что отняли три пальца. Вы представьте себе: она может носить туфельки моей дочери.

– Уже плачу. И зачем вам я?

– Устройте ее в вашу больницу. Там хоть есть уход, есть лекарства. В городской больнице одна нянечка на пять палат, притом страшная хамка. Все бегут из санитарок, ищут мест получше. Материальный фактор на первом месте.

– Не то что для вас.

– Почему? Я им как раз сочувствую. Если сознание еще не доросло, я считаю, надо прибавить зарплаты.

– Думаю, это мало что изменит, – сказал Николай Николаевич. – Монашки шли в сиделки, не спрашивая о жалованье. Попробовали бы вы прогнать такую от больных! Дело в воспитании: школа издевается над нежностью, душевностью, приветствует жестокость, силу. Возможно, этот курс и приведет когда-то к новому человеку, на практике пока мы видим, как вы выразились, хамство. И оно бы ничего, качество не смертельное – но не в больнице. Там требуется именно нежность, там хамство прямо смертельно.

– Какой оригинальный ход мыслей! – воскликнул Копылов. – Значит, наша школа воспитывает прямых убийц, я вас правильно понял? Вы, значит, сторонник прежнего воспитания? Или нынешнего западного, так?

– Вы напрасно меня ловите. Прошрое было и прошло, я живу настоящим, как ни разубеждает меня в этом Юрий Владимирович. И Запад меня не вдохновляет. Отнюдь: это цивилизация, вырабатывающая один продукт: свободное время. У нас день уходит на неотъемлемые вещи: заработок, добывание пищи, одежды, очередь в прачечной, борьба за право на прописку. И так далее. Там, для людей наших способностей и занятий, день состоит из работы – и свободного времени. Оно идет на развлечения и самоанализ, и то и другое приводит к душевной депрессии и больной совести, депрессию глушат сеансами у психиатра, больную совесть сочувствием к голодающей Индии и революционной Испании. У нас обложат – так потому, что без очереди ле-

зешь, а там обласкают, но то ли потому, что у тебя диабет, то ли из-за эксплуатации пролетариата.

– Как оригинально, а, Юрий Владимирович! Вы слышали? Какой взгляд необыкновенный!

– Через пятое на десятое. В общем, ничего и не слышал. Рылся тут, искал телефон главврача.

Обед прошел скучно, в обсуждении институтских сплетен, которыми был полон Копылов. «Вы, Николай Николаевич, спрашиваете, что меня не устраивает, – сказал Юрий Владимирович. – Прежде всего, низкий уровень интриг. „Ты за луну или за солнце?“ – За луну. – „За фашистскую страну!“ – За солнце. – „За поганого японца!“ – Ну, а ты? – „За луну – за гражданскую войну, за солнце – за советского эстонца...“ Вот и вся интрига: себе – так, другому – по-другому. И таких мадам де Шеврез полон институт».

– А вы хитрованец какой, – сказал он Копылову, когда девушка, убрав со стола и помыв посуду, ушла домой. – «Слышали, что он сказал? Подтвердите, где надо?» Да? Меня в свидетели тянете? Вы зачем под него копаете, задание такое?..

– Я? Под Николая Николаевича? Ну, вы выдумаете же...

– Или через него под меня, а? Цель он, или цель я, а он средство? Ну, откройтесь, сейчас все в благодушном настроении.

– Вы меня, Юрий Владимирович, всегда унижаете. Что ж, продолжайте, я не обижусь.

– Еще бы. Он на меня тонну материалов собрал, только толкни – обрушится и расплющит. Но пока не решается. Во-первых, боится, что и его утянет, а во-вторых, кто его мамашу будет в больницу устраивать? Да, Копылов? А на Николае Николаевиче можно попробовать. Да?

– Чересчур вы проницательны, Юрий Владимирович, – сказал Копылов. – И чересчур разговорчивы. И

неосторожны. С такими качествами не нажить бы вам неприятностей!

– Видели? Донести боится, а угрожать не боится. Мне, директору института, члену бюро обкома! Кто! – аспирант-заочник, вохра. И я не могу поднять на него руку. Как причудливы проявления власти! Бесклассовое общество. Так мы и работаем – не душа в душу, но бок-о-бок. И вместе делишки обстряпываем, Николай Николаевич. Я ведь с ним заодно не меньше, чем с вами. Я со мно-огими заодно. А как же? Если не быть в замазке со всеми, тогда надо за печку завалиться, как копеечке, и ждать, чтобы скорее пылью занесло. Ну, разумеется, Энциклопедию Британника заранее туда сложив, чтобы не сразу от скуки околеть. Но тогда уже ни Николаю Николаевичу места не предложишь, ни копыловской родне...

– Я, поверьте, – заговорил Копылов, – высоко ценю вашу линию активного вмешательства...

– Молчи! – рывкнул вдруг Юрий Владимирович. – Молчи, змей! Ты зачем ему уголовного подсовывал?

– Это родственника? То есть однофамильца, – быстро поправился Копылов. – Так тот очень уж просил о встрече. Может, говорит, мы двоюродные братья.

– Так и сказал? А откуда он узнал, что здесь его однофамилец?

– Ну, может, я проговорился...

– Ты «проговоришься», жди. На вечерней проверке или как? Лично ему или перед строем? Ты запомни: если с ним что-нибудь случится, я тебя съем, клянусь. Тебе что поручили, тем занимайся, самостоятельность не разводи... А вы, Николай Николаевич, хоть минимум-то соображения проявляли бы. Ладно бы видели, куда идете, и шли, а то лезете в пасть и не замечаете. Это даже раздражает!

– Я не привык... – сказал тихо Николай Николаевич. – Я не умею относиться к людям, как к заведомым злодеям. Потом я просто не вижу подвоха, а если и по-

дозреваю хитрый замысел, то все равно не знаю, что противопоставить, запутываюсь и, в общем, всегда попадаюсь. И знаете, я вам скажу... я хочу, чтобы вы знали, что мне не понравилась ваша откровенность последних минут. Я понимаю, что существуют и такие отношения, которые вы продемонстрировали сейчас, и что даже их гораздо больше, чем я думаю. Я не глупее вас и знаю, что функции, которые исполняет, э-э, уважаемый товарищ Копылов, э-э, что они, так сказать, исполняются живыми людьми. Понятно, что я хочу сказать. Бог с ним. Но признать все это, то есть признать это нормальным, я не признаю. Я хочу сказать: эту подлость. Потому что это не что иное. И лучше пылиться за печкой, чем блеснуть в центре, э-э, грязищи. Я вам, Юрий Владимирович, очень благодарен за то, что вы меня хотели выручить, вот как его мамашу. Но еще больше за вашу сегодняшнюю откровенность. Я из-за трусости очень далеко зашел, хочу вам сказать. Никакой книги писать с вами не буду – представляю себе, какая бы это была грандиозная... мерзость. Вместо этого я сегодня же уеду домой. Пусть что будет, то будет.

– Ух ты! – произнес Юрий Владимирович, глядя на него насмешливо, но без улыбки. – А дома-то никого и нет, Катя на курорте...

– Вас это не касается! – закричал Николай Николаевич. – Не смейте вмешиваться в мою жизнь! Вы взяли непозволительный тон! Соблюдайте дистанцию! Вы нахватанный молодой человек с несообразными амбициями, а я доцент и глава семейства! Это всё не то... Не то, что вам следует знать, но пусть так... Однако я помню, как вы трижды не могли мне сдать пустяковый зачет по введению в литературоведение. – Он вдруг расхохотался и смущенно кончил: – Это уже совсем чушь какая-то.

– И вы не должны на меня обижаться, Юрий Владимирович, – тотчас заговорил он извиняющимся то-

ном. – Я, конечно, обязан был сдержаться при... посторонних. Обещайте мне, что не запомните обиды. То есть я ни в коем случае не из-за боязни вреда, который вы могли бы мне причинить, говорю, а потому что не хочу платить вам неблагодарностью. Вы человек, конечно, незаурядный и ученый с большими задатками. Я только не могу принять вашей позиции, вы уж простите меня. Я вам признаюсь, что уже много лет отказываю себе в удовольствии написать о современной поэтической метрике, потому что боюсь ради какого-нибудь выдержанного дохмия процитировать неизвестного мне негодая.

– Ну еще бы! – сказал Юрий Владимирович, чуть-чуть сузив глаза. – Вы тоже уж простите нас, что пишем иногда дохмием...

– Ну вот, вы обиделись. Что же делать, я все-таки пойду. Постараюсь уехать. – Он опять рассмеялся. – Поймал себя на том, что чуть было не попросил вас помочь с билетом... Надеюсь, через какое-то время вы поймете меня и смените гнев на милость.

– Так не годится! – сказал Копылов, вскакивая. – Вдруг, на ровном месте: я поехал! Поезжайте на здоровье, никто вас силой удерживать не станет, но расстаться надо помирившись. Один миг, я спущусь в гастроном, разопьем бутылочку – и скатертью дорога.

Он выбежал из комнаты.

Юрий Владимирович глядел прямо перед собой.

– Ну не могу же я вас обнять, чтобы вы поверили в мою симпатию к вам, – сказал Николай Николаевич. – Юрий Владимирович. Улыбнитесь... Ответьте же мне что-нибудь.

Тот молчал.

– Бог с вами, – сказал Николай Николаевич и подошел к книжным полкам.

Прошли тягостных несколько минут, потом послышались торопливые шаги Копылова. Он вбежал и, бледный, остановился в дверях.

– Война! – сказал он. – Объявлена война!
– Что за вздор! – сказал, шагнув к нему, Юрий Владимирович. – Какая война? С кем?
– Война с Германией. Уже с утра. Объявили в десять по-московскому. С фашистской.

Документы и деньги – немного, но все его деньги – находились в бараке, и, прежде чем что-то предпринимать, надо было иметь их при себе. Это было единственное, что он твердо знал, и потому шел сейчас решительно, не замечая ни жары, ни пыли. После того, как Юрий Владимирович отказался отвезти его домой (просто посмотрел сквозь него, когда он попросил, и сказал Копылову: «Ради такого дня в самом деле стоит выпить», – и вынул из буфета темную бутылку), он вышел на улицу и зашагал, но опомнился, понял, где он и куда направляется, уже порядочно отойдя от центра. Через эту улицу когда-то проходил тракт, заканчивавшийся, как говорили, в самой Чите, город постепенно вытягивался вдоль него, однако застраиваясь то там, то здесь, островками, так что Николай Николаевич несколько раз думал, что уже вышел за город, заблудился, но за очередным холмом опять попадал в скопление домиков. Народу на улице было много, шли в основном ему навстречу, в город с озера. От мысли ждать автобуса он отказался сразу, они и обычно-то ходили раз в полчаса: два все-таки обогнали его – обвешанные людьми, еле-еле ползущие – потруси он, и мог бы держаться наравне, – и оба вскоре сломались, на затяжном подъеме он миновал их, воняющие бензином и резиной, брошенные, без шоферов.

Публика, которая шла навстречу, держалась кучками, и чем дальше, тем более многочисленными. Концентрировались, как правило, вокруг баянистов, плясали и запевали. Было немало пьяных, и мужчин, и женщин, многих шатало, некоторые падали в пыль, над ними хохотали. В нескольких группках выделялись оче-

видные заводилы, чаще всего почему-то пары толстущек лет за тридцать, которые, пританцовывая, кружась и помахивая над головой платочками, перекрикивались частушками: остальные старались их обнять, дернуть, одобрительно взвизгивали после каждого куплета и, разводя руки в стороны, изо всех сил дробно стучали по земле пятками. Пели одну «Семеновну», словно по воздуху перелетавшую от кучки к кучке, и только однажды, в молодой компании, две особенно разбитные девки проголосили что-то новое, чего он прежде не слышал:

Полюбила командира,
Присмотрелася – боец,
Размоталася обмотка,
На весу несущи конец.

Вторая, с каждым стихом поддергивая вверх подол юбки, ответила:

Полюбила командира
И была уверена.
Он уехал, я осталась
От него беременна.

Уже у самого барака дорогу ему перегородила толпа, в центре которой были ряженные, мужчина и женщина: он – плюгавый, лысоватый, в красном шерстяном платье, с подушками на животе и за пазухой, она – длинная и плоская, в мужских полощущихся в пыли брюках, с мочалкой, торчащей из ширинки. Он вел женскую партию, она мужскую:

– Что ты, сад мой, цветешь, осыпашься?
Ты куда, мой милой, собираешься?
Чи у ход, чи в поход, чи в дороженьку?
Заночуй у меня хотя ноченьку!
– Уж я рад ночевать всю неделюшку,
Да боюсь же я и начальника!

– Ты не бойся, милой, я рано встаю,
Я рано встаю и тебя возбужу!
Вставай, кочеты кричат, барабаны бьют,
Барабаны бьют, солдатики идут!

Приплясывая, женщина норовила схватить мужчину за грудь, а он – вырвать мочалку, и, когда это удавалось, дети визжали от восторга. «Это же южно-русское, – подумал Николай Николаевич, – чи, у... Это, кажется, из Соболевского...» Когда пара поравнялась с ним, мужчина неожиданно повернулся в его сторону и с жеманной гримасой, протянув руки, двинулся к нему. Он увидел прямо перед собою распаренное красное лицо с широко разинутым, в помаде, ртом, но в это время женщина, погрозив Николаю Николаевичу пальцем, резко дернула того к себе, так что он упал на четвереньки. Раздался взрыв смеха, к Николаю Николаевичу притиснулась старушка, кто-то обхватил его сзади, он, не глядя, отмахнулся и выбрался из толчеи.

В комнате он сунул в заплочный мешок пару белья, ботинки, костюм, в котором он читал лекции, и макинтош. Осталось еще место для еды, он решил, что по пути зайдет в магазин и купит хлеба и консервов. Деньги и документы он положил сперва в карман брюк, потом в мешок, внутрь ботинка, потом снял рубашку, надел футболку с нагрудным карманом, сунул всё в него и сверху опять надел рубашку.

Приближаясь к магазину, он еще издали заметил возле него сборище людей, все были очень возбуждены, слышались крики, чей-то плач. Подойдя, он увидел прижавшуюся к стене продавщицу, которую держали трое мужчин. Извиваясь, она пыталась высвободиться и выла. «А не будешь! А не будешь!» – повторял высокий брюнет с непомерно большой нижней челюстью. «Ой, отпустите – не буду! – голосила она время от времени. – Ой, сама не знаю!» Хотя Николай Николаевич никого не спрашивал, ему как новенькому с разных сторон

стали объяснять, в чем дело. Оказалось, продавщица накрыла весь сегодняшний привоз хлеба мокрым одеялом. Сначала было не заметно, а потом буханки стали разваливаться, и мужчины зашли за прилавок. Правда, одеяло валялось рядом с хлебом, но всё стало ясно. Буханки весили в полтора раза тяжелее обычного, ватное одеяло было грязное, плохо пахло.

– Но ведь рядом... – сказал Николай Николаевич, ни к кому не обращаясь, и все повернулись к нему. – Я говорю, никто его на самом хлебе ведь не видел.

– Он подтвердит! – закричала продавщица. – Вот он подтвердит! Не виновата я. Ой, отпустите, родненькие, никогда не буду.

– А ты не из той же ли шайки? – сказал высокий. – А? Что за артист? Знает его кто-нибудь?

– Я из барака, – сказал Николай Николаевич. – Вообще я из института, но живу в бараке... – Он понимал, что это звучит неубедительно и оглянулся по сторонам, но знакомым было только лицо продавщицы.

– Говорят, на свободу парашютистов сбросили, – сказал кто-то сбоку. – Десант.

– А мы сейчас у него документики попросим, – сказал высокий и подошел к Николаю Николаевичу. Толпа пошевелилась.

– Я доцент пединститута, – сказал Николай Николаевич и полез под рубашку в карман. – Вот мой паспорт... Я москвич, но доцент здешнего пединститута.

– Интере-есно, – протянул высокий, рассматривая паспорт. – А вот в милиции и разберемся, – и он отвел руку с паспортом за спину.

– Эй вы! – схватил его Николай Николаевич. – Немедленно отдайте! Вы что за гусь?!

Они стали бороться, но неожиданно раздалось несколько голосов: «Да он из института... точно-точно, из Москвы... из барака...» Николай Николаевич вырвал паспорт и спрятал под рубашку. Оба они тяжело дышали, у высокого оторвалась пуговица на груди.

– Парашютистов-то, я слышал, еще утром всех поймали, – сказал прежний голос.

Вдруг высокий подбежал к продавщице, взялся с двух сторон за воротник платья и рывком разорвал его до пояса – она дико закричала.

– А будешь еще? Будешь еще? – приговаривал он, продолжая рвать платье. Ткань трещала, женщина вопила, ее все еще продолжали держать за руки. Отшвырнув последний лоскут, он схватился сбоку за лифчик, дернул, отскочили пуговицы, и он швырнул его на землю. Она осталась только в черных мужских сатиновых трусах, кто-то засмеялся, но кругом загалдели: «Кончай ты!.. Не жену учишь!.. То – наказать, а то – осрамить...» – и женщину отпустили. Она скрестила руки на груди и, пошатываясь и подвывая, двинулась прочь. Николай Николаевич догнал ее, на ходу развязывая мешок.

– Вот вам, наденьте, – сказал он, протянув ей макинтош.

Она повернула к нему зареванное лицо и плюнула, неловко, так, что слюна только потекла по подбородку. Он спрятал плащ и быстро пошел по переулку в сторону трамвайной остановки.

Выйдя к линии, он, однако, неожиданно для самого себя повернул в направлении, обратном задуманному, – удаляясь от вокзала. И сейчас он знал, что идет, куда нужно, хотя не отдавал себе отчета в том, куда именно, и только пройдя с полкилометра, понял, что на почту. «Возвращайтесь Москву возвращайтесь немедленно», думал он. Нет, «возвращайтесь немедленно до скорой встречи». «...до скорой встречи мои дорогие». «...мои любимые». «Возвращайтесь Москву уверен скорой встрече вы мои любимые» – вот так.

Почта была закрыта. Ну да, воскресенье. Секунду подумав, он стал колотить в дверь кулаком, потом ногой. Внезапно, едва задев локоть, к его ногам упало полено. Он отскочил: из окна второго этажа на него

глядела пожилая женщина, растрепанная, краснолицая. Из-за плеча ее выглядывал мужчина, который целился в Николая Николаевича другим поленом.

– Вы могли убить меня! – крикнул Николай Николаевич.

– И убила бы! И убью! Не хулигань!

– Мне необходимо дать телеграмму.

– Закрыто, не видишь? Уходи, пока не попало.

– Где найти телеграфистку? Поймите, это вопрос жизни!

– Кому твоя телеграмма нужна? – сказал мужчина в окне. – Кто ее получит? Тут такое, а он телеграмму.

– Я заплачу, – сказал Николай Николаевич. – Вдвойне. Это вопрос жизни...

– погоди, – сказала женщина и исчезла внутри. Через полминуты она отперла дверь ипустила его. – Бумаги, поди, нет? На, только быстрее...

Он написал: «Феодосия востребования», – и отсутствующим взглядом поглядел в окно. Оно выходило на пустырь, по которому медленно трусила собачья свадьба.

– Срочную давать будешь? – спросила женщина, садясь за аппарат: от нее пахло вином. – Или «молнию»?

– «Молнию». Вот вам... – Он выложил все бумажные деньги, которые были в кармане брюк.

Вдруг он с ослепительной ясностью представил себе Катю, мечущуюся в духоте деревянного вокзальчика, и мальчиков, караулящих на перроне чемоданы. Сердце у него сжалось, он положил карандаш и обхватил голову руками. «Уезжайте. Дай вам Бог удачи. Катя, помоги тебе Господь. Уезжайте». Зачем он послушался? Зачем он так испугался? Это ему сейчас надо было рваться к окошечку кассы, ему – действовать, а ей не отходить от мальчиков. Вот и первый в жизни случай, когда он должен быть Главой Семьи, Мужчиной, с сильным телом, храбрым сердцем и трезвой головой, а вме-

сто этого он опять сидит над листом бумаги, как сидел все эти игрушечные годы.

Он испытывал странное воодушевление: сознание вспыхивало, высвечивая в памяти и воображении неожиданные и ясные картинки, не то скопление шевелящихся теней, которое утром наполняло его комнату, но живые, просторные и яркие сцены, как бы случайные и вместе с тем цельные и завершенные. Отец ведет его за руку по людной Мясницкой, из переулка вылетает рысак, мчится прямо на остановившуюся посреди мостовой старушку, кучер кричит, все кричат, отец бросается к ней, отталкивает, его задевает коляска, он падает, сбегаются, мальчик в ужасе, рыдает, отец, прихрамывая, подходит, смеется... В огромной детдомовской спальне оба его мальчика, с синими кругами под глазами, с торчащими из коротких рукавов ручками, стриженные под ноль, жмутся друг к другу, бьют вшей, глядят в окно, за которым сумерки и холод... Катя, ясноглазая, свежая, нежная...

«Феодосия востребования. Дорогая Катя, оглядывая свою прежнюю жизнь, представляющуюся сейчас призрачной грудой дней, неподлинных и изнеженных, я осознаю единственной ее реальностью то, что я любил тебя. Не книги и не мысли, которые вот уже несколько часов никак не приложимы к действительности (и которых, кстати сказать, вот уже несколько часов не существует), а то, что я видел, слышал и осязал, когда глядел, слушал и касался тебя. И то, что я думал в эти минуты. Сию секунду я узнал, что не могу верить в то, о чем могу только гадать. И, остро ощущая, что стою сейчас в конце прожитой жизни, и не думая о том, что меня ждет, я верю, что что бы ни стояло за гробом, оно будет отсчитываться в ту или другую сторону от того, что ты была моей невестой, женой, подругой и возлюбленной. Там, верно, будет еще много чего, но остальное я воображаю, это же знаю наверно. Все это так важно и так ясно, что не хочется смазывать ничем необязательным,

преходящим, будь это даже благодарность тебе: за детей, за наш дом, за твою любовь. Прощай».

– Ну? – сказала женщина.

Он поглядел на бумагу: «Феодосия востребования» – было написано на ней и затем: альфа, бета, двойка, пятерка, альфа, бета, двойка, пятерка – по всему полю тетрадного, в косую линейку, листа.

В окне, тем временем, двое молодых парней натягивали сеть. Потом один исчез, потом раздались крики, свист, лай, Николай Николаевич привстал и увидел, как по пустырю несутся псы, преследуемые парнем с палкой в руках. Собаки с разгону влетели в сеть, завизжали, второй несколько раз оббежал со свободным краем сети вокруг копошащегося клубка и, как мешок, приподнял ее с земли. Первый в это время уже подгонял фургон, запряженный парой лошадей. Вдвоем они подхватили сеть, приоткрыли дверцу, втолкнули собак внутрь и засмеялись друг другу. Они уже тронулись, когда откуда-то прибежала еще одна собачонка, худенькая, беленькая, с острой мордочкой. Первый спрыгнул с козел, поманил ее, она приблизилась, но все-таки держалась на расстоянии. Вдруг он прыгнул, растянулся на земле и схватил ее за заднюю ногу. Хохоча, он зашвырнул ее в фургон, вскочил на козлы, второй хлестнул лошадей, и те побежали. В эту секунду раздался еще один крик: к фургону бежал юноша, узкоплечий, длинноногий, с тонким, искаженным болью лицом. Те, увидев его, приподнялись, засмеялись, несколько раз изо всех сил ударили лошадей кнутом, и они помчались галопом. Николай Николаевич вскочил и выбежал на улицу, надеясь перехватить их, но они свернули в противоположную сторону и быстро удалялись. Юноша пробежал еще метров сто, несколько секунд казалось, что он может их догнать, потом остановился и прислонился к забору. Николай Николаевич направился было к нему, но на полпути остановился и вернулся к почте: дверь была заперта. Он отошел на несколько шагов и

крикнул в окно второго этажа: «Верните, пожалуйста, деньги!» В ответ чуть шевельнулась занавеска, но никто не появился. Он круто повернулся и поспешил к трамваю.

Вагоны шли переполненные, едва тащились, проезжали мимо остановок, останавливались где попало, но все-таки продвигались вперед. Люди гроздьями висели в дверях, на окнах, со всех сторон. Ему удалось уцепиться одной рукой, одну ступню втиснуть на подножку и, прижавшись грудью к стенке, другую задрать на выступ в палец шириной. Рядом с ним была металлическая гармошка, ограждающая пространство между вагонами, тоже забитое людьми, преимущественно молодыми. Ближе всех стояли два мальчика, лет по восьми. Один говорил: «С левой руки не стреляй, пуля в тебя же и попадет, рикошетом». Другой молчал и вдруг схватился за него, так что оба повалились в сторону, и, если бы не решетка, они сорвались бы вниз. Николай Николаевич увидел, что мальчику плохо. «Дяденька, – задыхаясь, сказал он, – я сейчас отпущу руки, тошнит, держите меня, умоляю вас». Николай Николаевич подхватил его свободной рукой за локоть и закричал: «Остановите! Вожатый, остановите, ребенок!» Никто не поддержал его, трамвай продолжал ползти. Тогда он спрыгнул, пробежал, не отпуская мальчика, несколько шагов рядом и повис на веревке, привязанной к дуге. Трамвай резко остановился, он выдернул мальчика из-за решетки. Он слышал ругань, угрозы, видел разъяренные лица, но испуга не было, как будто лежащий на его руках ребенок заслонял собой происходящее. Трамвай тронулся, второй мальчишка весело помахал рукой и крикнул: «Он на Красных Зорь живет. Хайль Гитлер!»

У мальчика оказался сильный жар, идти было с добрый километр, весь путь Николай Николаевич нес его на руках. Мальчик молчал, только изредка указывал дорогу. Дом был двухэтажный, с высоким крыльцом, на которое, когда они подходили, вышла высокая женщи-

на, вытирая о передник мокрые руки. Она ничего не спросила, приняла от Николая Николаевича ребенка и сказала: «Проходите». На табуретке стояло корыто со стиркой, кастрюля кипела на плите. С минуту он простоял на пустой кухне и решил уже уходить, когда женщина возвратилась.

– Он с ночи уже был горячий, – сказала она. – Думала, лето, так обойдется. Ангина, перекупался.

– У вас есть лекарства?

– Вечером дам малины, пока пусть спит.

Тишина, бульканье воды в кастрюле, спокойствие женщины на фоне напряжения последних часов показалось ему чем-то ненормальным, опасным, губительным.

– Вы слышали, что случилось? – спросил он.

– Это война-то? Еще бы. Мы же немцы.

Он глядел на нее, не понимая.

– Мы немцы, муж и я. Ну, и наш сын, значит, – она засмеялась. – Мой отец – петербургский Шульц, а отец мужа – Шульц местный. Так уж нам повезло.

– Что же теперь... – начал он и остановился.

– ...с нами будет? – закончила она. – Заберут. Сошлют. Убьют. Мы не знаем. Мы уже давно ждем. Теперь вот война, будь она неладна.

Она сняла с огня воду и вылила в корыто.

– Ну что делать? Что бы вы предложили? Муж сразу пошел в НКВД, заявлять о нашей лояльности. Но это же от отчаянья. И вернется ли он? Соседи, наверное, опередили его. Мы попрощались на всякий случай.

Она добавила холодной воды и возобновила стирку: вытащила на доску мужскую рубашку, намылила ее, стала энергично тереть об валики. Вдруг выпрямилась и спросила:

– А ваши где?

– В Москве. То есть где сейчас, не знаю. Жена и двое сыновей поехали отдыхать...

– Ничего, вернутся. И вы в Москву? Думаете, в Москве спасение? Может, и правильно.

Некоторое время она внимательно глядела на него.

– Вы русский?

– Да, русский.

– Знаете, я вам предложу такой план. Только не удивляйтесь, для вас-то он неожиданный, а мы давно уже обдумали. Женитесь на мне.

«Она сумасшедшая, – подумал он. – Я же сразу заметил». Он почувствовал раздражение на себя, на нее, на мальчика, из-за того, что ввязался в эту историю, потерял столько времени.

– Я знаю одно место под Иркутском, поселок, там живет моя подруга. Русская. Снетовод. Она не проговорится. У вас документы в порядке, а мои скажем, что потеряли. Сейчас такое время, поверят. Я медсестра, устраюсь в ближайшую больницу, Вы, наверное, можете учителем. Если заберут в армию, мы с сыном останемся жить под вашей фамилией. Поверьте, план продуманный, большая вероятность, что удастся.

– А ваш муж? – только и нашел он что сказать.

– Это муж главным образом и придумал. У него крепкое здоровье, умелые руки, он рассчитывает выжить в самых тяжелых условиях. Ему главное спасти нас. Мы так и думали найти какого-нибудь подходящего русского, да всё откладывали. Вы не отказывайтесь сразу. Так-то это как обухом по голове, я понимаю. Но вы подумайте, представьте себе все – увидите, что не так это невозможно. И, кто знает, чем это обернется для вас: может быть, всё к лучшему. Мне тридцать, я крепкая баба, хорошая хозяйка, толковая и покладистая. А захотите уехать, так кто же вам мешает?

Тон ее речи был ровный, она не столько просила его, сколько старалась передать свою убежденность в том, что все выполнимо. И правда, выполнимо, подумал он. Если она сейчас стоит перед ним, тридцати лет, крепкая, и стирает белье, то почему нет поселка, подруги, больницы, школы? И в то же время она выложила это незнакомому человеку, первому встречному, без

сомнений, без запинки – и что! Не зная, даже не пожелав узнать ничего о Кате. Как будто все четверо шахматные фигуры и все под боем, и надо сделать рокировку, чтобы понести минимум потерь.

– Я подумаю, – сказал он. – Я тороплюсь... Я еще зайду...

– Прощайте. Вы не вернетесь. Вы думаете, я безумна, а это время такое. Потому я вас в э т о, – она сделала неопределенный жест рукой, – и окунула... И все-таки, – она усмехнулась, – подумайте еще.

Она протянула ему влажную руку, он пожал ее и вышел за дверь.

На этот раз он добрался до вокзала без приключений, если не считать того, что трамвай остановился, много не доехав до места: видимо, впереди случилась авария, вагоны стояли по всей линии впритык друг к другу. Он не представлял себе, который теперь час: солнце как будто снизилось, хотя пекло по-прежнему.

Вокруг здания вокзала бурлила толпа, у дверей мелькали кулаки, раздавались крики. Словно бы независимо от усилий людей, их вдруг начинало потоком засасывать внутрь, потом кружить на месте, потом потоком же выбрасывать наружу. Николай Николаевич понял, что требуется – а также, что он может – делать только одно: напирать, и он напирал, прижимая мешок к груди, неизвестно как долго – полчаса? час? – и наконец попал внутрь. Там было то же столпотворение, только крик стал сплошным, более громким, смешанным с собственным эхом, и стояла нестерпимая духота. Здесь люди старались пробиться к кассам, хотя все кассы были закрыты. Николай Николаевич тоже рванулся в гущу и через некоторое время его вынесло к фанерному окошку, на котором мелом было написано «Билетов нет». Внезапно пронесся слух, что в пяти километрах, на Сортировочной, формируют состав. Он стал пробиваться к дверям. Слух обрастал подробностями, говорили, что поезд пойдет на запад, не до Москвы, но до Ка-

зани... до Калуги... до Александрова. На площади этому не верили и продолжали напирать.

К Сортировочной вело четыре колеи, и по ним, по шпалам, шли люди, с детьми и с громадными чемоданами, и старики, и калеки. Через несколько сот метров пути стали сходиться, движение сильно замедлилось, но здесь уже никто не толкался, не пытался обгонять, никто никого не торопил, всех словно бы устраивало то, что нужно просто плестись отупело вместе с другими.

Поезд появился, когда Николай Николаевич был метрах в трехстах от станции. Издалека долетел гудок, и сразу все засуетились, закричали, заспешили, но движение остановилось, там и здесь возникали пробки, люди падали друг на друга. Тогда, как по команде, стали слезать на насыпь, отталкивали один другого, злобно ругались. Лица сделались свирепыми и вместе отрешенными, взгляды метались: на вещи – вдаль, кругом себя – вдаль, дети вцепились в одежду старших. Из-за поворота показался дымок, гудок звучал не смолкая. По мере приближения поезда к станции стало ясно, что он не остановится. Теперь кричали уже все без исключения, исступленно, с нечленораздельными проклятиями, с рыданиями. Паровоз накатился, обдал горячим паром, загрохотал. И спереди, и по бокам его сидели и стояли люди, тендер был полон измазанных углем людей, крыши вагонов, буфера – всё кишело людьми. Почти все вагоны оказались теплушками с наглухо закрытыми дверьми. Между ними было два зеленых дачных, сравнительно даже свободных, но их подножки охранялись кучками мужчин, которые ловко, как механизмы, сбивали на землю ногами любого, кто приближался к ним. Последней шла платформа с металлоломом: изогнутыми трубами, ржавыми кроватями, сплюснутыми самоварами – в конце ее, на площадке под навесом, стоял боец с винтовкой. Николай Николаевич понял, что это его последний шанс, рванул по насыпи вверх, но земля и камни сыпались из-под ног, он почти

не продвигался. Боковым зрением он увидел в нескольких шагах от себя, по ходу поезда, утоптанную тропинку, перескочил на нее и побежал к рельсам. Кто-то сбоку ухватился за него, он обернулся и увидел молодую женщину с волочащейся за ней девочкой. Он попытался стряхнуть с себя ее руку, но она только моталась из стороны в сторону и глядела на него остановившимися глазами. Он сильно ударил ее по руке и одновременно толкнул в грудь. Она успела отпустить девочку и покатилась по насыпи вниз. Платформа прошла мимо как раз в тот миг, когда он выскочил на полотно: она была в метре от него. Он догнал ближний поручень, ухватился и уже приготовился прыгнуть на подножку, когда увидел над собой лицо бойца. Боец целил прикладом ему в голову, он увернулся, удар пришелся в грудь. Он отпустил поручень и повалился на землю.

Он не чувствовал ни боли, ни страха, ни даже волнения, разве что досаду на себя, что был нерасторопен. Оглянувшись, он увидел молодую женщину, которую толкнул, на корточках перед девочкой, что-то объясняющую ей и даже смеющуюся. Поток людей двигался мимо него обратно в город. Ни в ком не было заметно разочарования, наоборот, теперь говорили, что ночью с вокзала уйдут три поезда с промежутком в час, и все на Москву. Поднявшись, он побрел вместе с ними. Минут через пять у него заболела грудь, тотчас же закружилась голова, он вспомнил, что давно не ел, ноги вдруг сделались пудовыми болванками, появилась одышка.

Подойдя к вокзалу и увидев прежнюю толпу, он сию же минуту понял, что никаких поездов не будет, и удивился, что только что верил в это. Трамваи все еще стояли. Он пошел вдоль кустов пыльной акации, которой была обсажена линия, механически переставляя ноги и потирая грудь. Хорошо, что это была не Катя, надеюсь, с ней такого не случится. Хорошо, что этого уже не видит отец. Только эти две мысли и были в голове первое время: Катя, отец.

Солнце снижалось, и, кажется, стало не так жарко, но духота только усиливалась. Воздух был густой и тяжелый – как на лекциях, подумал он. Аудитории в новом институте были тесные, плохо проветривались, и, чтобы спастись от духоты, он начинал ходить между столами. («В четвертом небе Рая к Данте обращается Бонаventura», – сказал он и увидел, как перья пишут: *Бонаventura*.) Как важна была для Данте температура! Довольно претерпел от погоды и больше всего, надо полагать, от холода: стужа казнит самых худших, фактически фундамент пекла – лед, и зной его не растопляет. *О, если б знали, дети, вы / холод и мрак грядущих дней.* Он вспомнил, как зимней ночью они с отцом отдирали от забора доски: подумать, это было в т у войну!.. Его сознание возвращалось к нему.

Смеркалось, людей на улице становилось все меньше, зато чуть не из каждого окна доносились о чем-то спорящие голоса, или застольный шум, или пение. Несколько раз навстречу пробежали подростки, по одному, по двое, бежали очень быстро, как будто за ними гнались, но вдруг останавливались и так же быстро убегали обратно. Однажды вдалеке раздались выстрелы, три, не больше, и довольно далеко. Два автобуса, которые он видел днем, стояли на том же месте, но уже с выбитыми стеклами. Одолев подъем, он увидел над самым горизонтом луну, желтую и очень близко. В этот же миг он почувствовал движение воздуха, едва заметное и сразу же пропавшее, но успевшее коснуться лба и глаз. Все-таки вода, подумал он, далеко и всего лишь озеро, но вот и земля уже не кажется беспредельной и непобедимой, и знойный воздух колыхнулся. *Ах, этот вечный изумруд!* Не может быть, чтобы в с ё было с е г о д н я. Утро явно от другого дня.

Дорога пошла под гору. Не то чтобы усталость проходила, скорее наоборот, она наполнила тело до краев, но оттого и тело стало другим, медленным, неловким, но в таком виде обещавшим легче переносить тяготы,

боль, болезни. Не то чтобы мысли становились яснее, но прежде разрозненные пласты сознания перегруппировывались относительно какого-то фокуса, как будто он подкручивал объектив, и то, что еще утром было расплывчато и разорвано, уточнялось и соединялось в единую картину.

Будет холод, страшный холод, обмороженные пальцы, почерневшие щеки, воспаления легких, ангины, трупики птиц на снегу. Хуже всех будет старикам и детям, их погибнет очень много, их будут свозить на санках в общую могилу, но и людей в зрелом возрасте многих убьют на войне, и равновесие сохранится. А это главное для того, чтобы продолжалась жизнь. Потому что кто мы, как не звенья между родителями и детьми? Мы – рабы и мы – тираны, мы – светильники разума и мы – сосуды греха, мы – пламенные любовники и мы – подзаборная пьянь, мы – квартиросъемщики, современники, мы – живые... – всё это очень сомнительные мы, такие временные, такие хрупкие. И только мы – звенья между родившими нас и от нас родившимися – беспорядочные, всегда своевременные и на своем месте. Мы – гирьки, держащие в равновесии весы мироздания. Может быть, мы нужны для того и для этого, но определенно мы нужны только затем, чтобы появиться на свет, когда начнут умирать отцы наших отцов, чтобы произвести на свет детей, когда начнут умирать отцы; и чтобы начать умирать, когда появятся дети наших детей. Любовь к Кате – нечаянная награда, сладкая радость, дар на память; что бы ни случилось, это с ним уже до смерти. Но смерть, его смерть, попросту уничтожит его любовь, аннулирует, аннигилирует, потому-то и – «не хочу, не хочу, не хочу умирать – хочу еще любить...» И нет нигде на свете такой системы координат, в которой бы могли оказаться вместе и эта любовь, и эта смерть, хоть какими-то далекими следствиями своими, хоть намеком, хоть литературно... Папа же умер рано, мог пожить еще (если бы не окопы в Мазурии, не коммунальная кварти-

ра, не сверхурочная работа, чтобы свести концы с концами, не, не, не...), но он дождался внуков, и некоторое время на нити, их семейной нити, протянутой через Время из Вечности в Вечность, были видимы бусины трех поколений. Потом ее продернули дальше, и он, Николай Николаевич, сместился к краю, уступая середину мальчикам. И когда младший заболел корью с высокой температурой, и он три ночи проносил его на руках, и когда старшего принесли с ледяной горки с сотрясением мозга, и он две недели читал ему Вальтера Скотта и Купера, он не знал, не мог и не хотел знать, где тут нежность и где долг. И вот э т а нежность и те слезы, которые вдруг полились у него из глаз, когда он понял, что отец уже никогда ему не позвонит и не улыбнется, и та боль, которая пронзила его сердце, когда мама сказала, что он со стоном дышал, кряхтел и вырывался из ее рук в последние минуты, — э т о-то замечательно сочеталось со смертью, более того, ждало завершения смертью, чтобы обрести настоящую свою значительность. Это и есть зрелость — пережить смерть родителей и рождение детей. Как хорошо, что это в н е г о сегодня плевали, е г о просили о помощи, е г о толкали — а не отца и не мальчиков... Нет!, — он даже остановился: как в о о б щ е хорошо — безотносительно к любой формулируемой идее, к любой открывающейся правде, — что он дождался этого страшного дня, потому что именно этим днем и наполняется правда, и обнаруживает себя идея!

Проходя по длинному барачному коридору, он слышал, что за всеми дверьми идет праздник. Пол его комнаты чуть-чуть дрожал от пляски в дальней комнате, когда он наощупь продвигался к выключателю. Щелкнув им несколько раз, он понял, что ток отключили, как уже бывало по воскресным дням. Он опустил мешок на пол, шагнул к кровати, и в эту секунду из угла, где стояла печь, откуда-то снизу раздался ясный, хотя и приглу-

шаемый говорившим голос: «Стоять где стоишь! Руки за спину!»

– Кто здесь? – спросил Николай Николаевич и сделал еще шаг вперед.

– Руки! – повторил резко голос, и в углу звякнул металл.

– Но кто вы? – сказал Николай Николаевич, шагнул еще, вдруг почувствовал сильный удар по лодыжке и упал на спину.

– Делать только то, что я сказал! – произнес голос.
– У меня пушка, я не шутки шучу.

– Пушка?

Человек в углу рассмеялся.

– Николай Николаевич, – сказал он весело, – не узнали? Я же Иннокентий Иннокентьевич, однофамилец ваш. Нехорошо своих не узнавать.

– Вы?!. Бежали!

– Сперва сидел, потом бежал, теперь лежу. Свет давайте.

– Света нет. Ни свечей, ни, вот, электричества.

– Без света мы не можем. – Он помолчал несколько секунд. – Возьмите у соседей. Постучите в стенку, сами станьте у стола, чтобы я вас все время видел. Вы человек хоть и порядочный, как я заметил, но путанный, а мне так спокойнее. Вставайте! Стучите! Сами из комнаты не выходите!

Николай Николаевич поднялся с полу и дважды стукнул кулаком в стенку: там сразу смолкли голоса.

– Быстро к столу! – прошептал тот из угла. – И покороче: давай и до свиданья!

В коридоре раздались шаги, дверь распахнулась настежь, и пьяный голос с вызовом произнес: – Чаво?

– Здравствуйте, сосед, – сказал Николай Николаевич. – Сосед, нет ли у вас займы на вечер свечки?

После паузы пьяный проговорил более миролюбиво:

– Лампу дак разбили, а коптилка самим нужна.

– Значит, нет? – сказал Николай Николаевич, рас-

терявшись от такого быстрого отказа. – Как жаль! Мне прямо-таки необходимо!

– А сам сделай! – посоветовал пьяный. – Пятак-от есть?

– Пятак есть.

– А молоток?

– Молотка нет.

– Ну дак и зубила, значит, нет?!

– Нет.

– И тем паче трубочки?! И бинта?! И флакош-ка?!!! – каждый следующий предмет он выкрикивал более высоким голосом. – Ничего нет! Один пятак!.. Ладно, погоди!

Он скрылся, и тотчас Николай Николаевич услышал от печки: «Если что – и вас, и его! Так что смотрите...»

Сосед появился в дверях, освещаемый сзади слабым колеблющимся светом коптилки, которую держала в руках женщина.

– Не входите! – сказал Николай Николаевич нервно. – Стойте там! Ко мне нельзя, я, возможно, болен, заразен...

– А мы и сами не зашли бы! – выкрикнула женщина неприязненно. – И не дотрагивайся ни до чего пальцем! – с угрозой сказала она мужчине. – Пусть всё сам! На Колыму никому неохота!

– Да уж, – сказал мужчина благодушно. – Государственный герб пробивать – последнее дело. Свойак мой за это самое третий год отбывает.

Он передал Николаю Николаевичу молоток и зубило и, посмеиваясь, стал в дверях.

– А на чем бить? – спросил Николай Николаевич, доставая из кармана пятак. – И в каком именно месте?

– Вот именно что «именно»! – сказал сосед с важностью. – Именно что в трех, а не в трех, дак в одном, в серединке. Положите на пол, рисочку насеките и рубите.

Бить надо было изо всех сил, зубило то и дело соскальзывало, монета отскакивала в сторону, и тогда сосед хохотал. «Бей его! Бей! – комментировал он каждый удар. – Бей врага! Вот он, сплав умственного с физическим!» Середина пятака прогнулась и, наконец, по трещинке, расползлась. Сосед дал обрубок узкой медной трубки с уже загнанным в нее марлевым жгутом и флакон из-под одеколона.

– А керосин? – сказал Николай Николаевич.

– И керосина нет?! – обрадовался сосед, хлопнув себя по бедру.

– Керосина т а к не дадим! – сказала женщина.

– Я заплачу сколько следует.

– Часы. За десять литров.

– Часы – подарок жены, – сказал Николай Николаевич. – И мне столько не нужно.

– Тогда галстук. У вас синий галстук есть, а у моего никогда еще не было.

– Пожалуйста, – он нащупал на спинке кровати галстук и протянул ей.

– За литр.

– Пожалуйста.

Она ушла и вернулась с двумя молочными бутылками, полными керосина. Он просунул трубочку в отверстие пятака и сдавил ее в пальцах, чтобы не могла выпасть. Налил керосин из бутылки во флакон и опустил в него длинный конец бинта. Потом протянул женщине коптилку, сказал: «Зажгите от своей, пожалуйста», – и, как только фитилек загорелся: «Теперь уходите. Спасибо. Извините меня, я нездоров», – и захлопнул дверь.

Огонек снизился после первой вспышки, посинел, Николай Николаевич наощупь нашел в стене воткнутую иголку и подцепил фитилек. Копоть потянулась струйкой, но он провел иглой взад-вперед по ткани, прижал ее, и язычок пламени успокоился. Он взглянул в угол. Тот полулежал на полу, вжавшись бритой головой между стеной и печкой, и, как казалось, улыбался. Одна

нога в кирзовом сапоге была вытянута, другая согнута в колене. Когда свет установился, он поднял правую руку и показал Николаю Николаевичу револьвер, потом левую и показал нож.

– Системы наган, – сказал он, – в аккурат из такого застрелили товарища Кирова. А это называется финка, слышали?

– Что вам нужно?.. Как вам удалось?..

– Хотелось уж очень.

– Ведь вам оставалось несколько месяцев – после стольких-то лет...

– А там такие есть люди, что и за день до звонка бегут. Ну что вы хотите: ворье, хулиганье, саботажники. Психология, сами понимаете, какая.

– Так что же вам нужно от меня?

– От вас? Участия, Николай Николаевич, – и, резко переменив тон: – И документы!

– Мои?.. А как же я? Я завтра непременно должен уехать.

– Выкладывайте. Паспорт. Военный билет. Профсоюзный. Диплом есть?

– Диплом в Москве.

– Давайте!

Николай Николаевич полез под рубашку и достал документы.

– Мы же, насколько я помню, непохожи между собой.

– Будем похожи. Кладите на край стола!

Николай Николаевич положил, тот приподнялся, забрал книжечки и спрятал за пазуху.

– Что теперь?

– Теперь бы выпить, но у вас разве найдешь! – тон снова был доброжелательный, шуточный. – Ладно, т а к посидим.

Они молчали долго, несколько минут.

– Вас в самом деле зовут Иннокентий Иннокентьевич? – спросил Николай Николаевич.

– Точно. Кеша. И отца Кешей звали. Если вы опять насчет *генитологии*, так я ведь тогда парашничал. Я ведь тоже, как и вы, в Москве родился. И про дядю Колю московского с детства знал. Так что родня мы, родня.

– Позвольте... Как это?..

– *Ланно*, профессор, чего разбираться? Лучше расскажите интересное, раз вы книжки читали. А то я там заскучал совсем.

– Из какой примерно области? Что вас конкретно интересует? Что-нибудь развлекательное, наверно?

– Художественное.

– У меня, признаться, этот день всё из головы выбил. Что же я такое тут перечитывал? Это всё вам неинтересно... Вот, может быть... – на память ему пришел стих о Калхасе, «Мудрый, ведал он всё, что минуло, что есть и что будет», сравни в Теогонии Гесиода... – может быть, «Илиада»?

– «Одиссея», – сказал тот.

– Что «Одиссея»? То есть вы хотите «Одиссею»? Я плохо помню последовательность эпизодов.

С улицы донесся шум мотора, заглох, потом хлопнула входная дверь, и в коридоре застучали шаги. Тот рывком вскочил на колени и задул коптилку.

– Не шевелись! – снова шепотом приказал он.

Шаги остановились у двери, раздался стук, и голос Копылова произнес: «Николай Николаевич, вы дома?»

Мгновение он не знал, как поступить, и сидел неподвижно. Потом услышал шепот: «Впускай!»

– Войдите!

– Вы что же в темноте сидите? – сказал Копылов, распахивая дверь. За его спиной вспыхнула спичка и осветила лицо Юрия Владимировича.

– А мы к вам знаете зачем? – проговорил он. – Помочиться, погадить и помыться. У меня воду отключили. Еще воевать не начали, а воды уже нет. Но выпить имеется. – Он поставил на стол бутылку, и спичка

погасла. – А вы зато без света, да? Свечи-то есть? – Он снова чиркнул спичкой. – А, вот коптилка...

– Фотокарточки к стенке, ручки на затылок! – прознес тот из угла, держа револьвер у живота. – Тут три раза по девять грамм, совпадение. Быстро!

Копылов отскочил, Юрий Владимирович попятился.

– Ну! – резко сказал тот. – Копылов, объясни ему!

Копылов повернулся лицом к стене и положил руки на затылок. Юрий Владимирович медленно сделал то же.

– И вы, кузен! Чтоб мне не отвлекаться.

Николай Николаевич встал рядом с Копыловым. Тот обшарил свободной рукой Юрия Владимировича, потом Копылова, ничего не нашел и вернулся в угол.

– Никого, значит, не боитесь?.. Можно повернуться. Все трое – на кровать!

Они сели, плечо к плечу, он глядел на них снизу.

– Не бзди, директор, может, все обойдется.

– Обойдется, – сказал Юрий Владимирович.

– Если будете умные.

– Убили кого-нибудь? – спросил Копылов.

– Не насмерть, – ответил тот.

– Много убежало?

– Завтра сосчитаете.

Какое-то время сидели молча.

– Так у вас воду отключили? – сказал вдруг Николай Николаевич. Вот, подумал он, – беглый каторжник и мировая война, а мы сидим и разговариваем, как будто это норма. Или как раз то, что одновременно и война и беглый, ситуация и нейтрализуется? А может, то, что он спросил сейчас про воду, а до того этому человеку, сбившему его с ног, унижающему его, готовому в любую минуту убить, хотел рассказывать «Илиаду» и всего через несколько часов после начала непредставимой катастрофы, может, ужас э т о г о, уж а с н о р м а л ь н о с т и его поведения: дескать, купанье, обед, война,

убийца суть имена существительные и только – нейтрализует н а с т о я щ и й ужас происходящего? А не одно ли и то же... а не одно ли и то же, в самом деле, это купанье и обед и эта война и убийца, не затем ли происходящее сейчас так же обыденно, как прежде, чтобы случившееся прежде стало, наконец, так же ужасно, как настоящее? Достойный конец дня, у которого было такое начало.

Он прислушался к тому, что говорил Копылов.

– ...слесарь пьяный, мы ему: чини, а он: война и нет воды в городском масштабе. Полез в ванну, разбил раковину. Мы ему: под суд пойдешь, а он: не под суд, а на германский фронт.

– Повестки, наверно, с утра придут, – сказал Юрий Владимирович.

– Уж придется нам потерпеть, в смысле уборной-то, – сказал Копылов, поглядев на сидящего в углу.

– Уж придется.

– Послушайте, а как быть мне? – сказал Николай Николаевич. – Если придет повестка? Мои документы-то?

– Были ваши, стали наши, – ответил тот, вынул паспорт и помахал им. – Директор, ищи замену, с завтра увольняюсь.

– Курс можно временно прервать, а, Юрий Владимирович? – сказал Копылов. – Или вы сами кончите?

– А может, вы?

Они поглядели друг на друга и весело рассмеялись.

– В смысле «не боги горшки обжигают»? – сказал Копылов.

– Эй! – сказал Николай Николаевич. – Вы что, не видите? Я остался без документов.

– Копылов, – сказал тот из угла, – что за вино?

– Марочное какое-то, я не разбираюсь.

– Красное, – сказал Юрий Владимирович. – Ваш вкус не пострадает. Не пригубите ли?

– А напра-асно вы такие храбрые, напрасно, – сказал тот и потерял револьвером по штанине. – Открывай, Копылов.

Как будто Николая Николаевича не было. Он понимал, что револьвер может выстрелить, и пуля убьет его. Однажды, еще в нэп, он шел по бульварам, дня через три после Нового года. Был солнечный день, пахло мандаринами. Вдруг из ближней калитки выбежал милиционер, в гимнастерке на выпуск, с револьвером в отведенной назад руке. Глядя прямо перед собой безумными глазами, он стремительно пробежал по мостовой, перепрыгнул через ограду и остановился в десяти шагах от него. Потом вскинул руку, револьвер грохнул, Николаю Николаевичу показалось, что у милиционера взорвалась голова, он рухнул, мозги и кровь хлестнули по снегу, посыпанному елочными иголками. Сейчас он знал, что каждую секунду свинец может так же расшибить его череп или грудь, но страха не было. Его почти не оскорбляли унижения, почти не угнетало бессилие. Он испытывал сейчас только чувство острой обиды, как бывало в юности в гостях, когда девочки и мальчики вдруг начинали разговаривать между собой, все вместе, не обращая на него внимания, не впуская в свою беседу.

Копылов откупорил бутылку и отодвинул ее на край стола: «Иннокентий Иннокентьевич, прошу!»

Тот одним движением вскочил на ноги, сделал несколько глотков и поставил перед Юрием Владимировичем. Юрий Владимирович обтер горлышко, глотнул и передал Копылову. Копылов, не отпив, протянул бутылку Николаю Николаевичу.

– Я не буду, – сказал он.

– А надо! – осклабясь, произнес тот и почесал дулом револьвера висок.

– А я не буду.

– Как это «не буду»? Мы же пьем, да, Иннокентий Иннокентьевич? – сказал Копылов и отхлебнул.

Тот выдернул у него из рук бутылку и внимательно посмотрел на Николая Николаевича. Потом поднес горлышко к губам и, запрокидывая голову, стал медленно тянуть вино, пока в бутылке не осталось меньше половины.

– Значит, срок целиком надо отсидживать? – спросил он у Николая Николаевича. – Чего молчишь?! – Он сделал движение, как будто хочет бросить ему бутылку: Николай Николаевич отшатнулся. – Не бойсь, я добрый. Я теперь, как ты, такой же добрый, – он опять помахал паспортом. – Ножницы есть? – спросил он неожиданно.

– Для ногтей. В шкафу.

Не спуская с него глаз, он открыл шкаф, пошарил и достал маленькие ножницы.

– Маленькие. Ну, какие есть.

Ногой он резко сдвинул стол к двери и, с бутылкой, снова сел к печке.

– Копылов, постриги его, – сказал он спокойно.

– Зачем, Иннокентий Иннокентьевич? – сказал Копылов. – Что зря над человеком издеваться?

– Давай, начинай. Давай, начинай! – чуть повысил он голос.

Копылов встал и поставил посреди комнаты табуретку.

– Я не дамся, – сказал Николай Николаевич тихо.

– Юрий Владимирович, – сказал тот от печки, – прикажите, вы же начальник.

– Э! Не надо, – сказал Юрий Владимирович.

– Ну, козлы!.. – сказал тот, скрипнув зубами. – Я ведь мать родную зарезал – подтверди, Копылов! – так уж вас-то кончу не заметив. Юрий Владимирович, загляните-ка, – и он поднял на него черное дуло.

– Пойдемте, – сказал Юрий Владимирович, встав и глядя в сторону. – Он в самом деле не шутит.

Николай Николаевич, не шевелясь, глядел на него.

– Пойдемте, – повторил он и потянул его за рукав. Николай Николаевич выдернул руку, тот стал ловить

ее, навалился на него, с другой стороны подбежал Копылов, вдвоем они перевернули его на живот и захватили сзади локти. Потом подняли и усадили на табуретку лицом к двери.

– Юрий Владимирович, – сказал он, – вы грязная тварь, сволочь, бесчестный подлец...

Он почувствовал сильный удар по почкам и застонал от боли. Копылов сзади схватил его за волосы, ножицы стали со скрежетом срезать прядь на макушке, соскальзывая, застревая.

Сосед за стеной запел. Сперва «Степь да степь», но к концу куплета стала подтягивать жена, и он остановился. «Вечерний звон! – затянул он через некоторое время, – вечерний звон! как много дум! наводит он!» Пауза, и снова: «Вечерний звон, вечерний звон...» Видно, не знал дальше, а песня ему нравилась, и пел он с душой, такую вкладывая в пенье тоску, что и этих слов хватало. Но потом выругался и просто завыл, но словно ведя какую-то известную ему тему и добираясь до нужного мотива. И вдруг, куда медленней, чем эту песню всегда пели по радио, и заменяя в ней то то, то это слово, стал чисто, с рыданьем, выводить:

Мама, до свидания, прощай,
Только сына поцелуй в последний раз,
А сама ты, мама, не тоскуй,
И пожелай ты мне хорошего всего.

Его убьют на войне, вот в чем дело, подумал Николай Николаевич. Его, и того высокого с челюстью, который набросился на продавщицу, и того в платье, с накрашенными губами. Они все это чувствуют, а я про себя – нет. Я и сейчас готов думать про Калхаса и про космологического царя и вспоминать номера телефонов. Я столько знаю номеров на память и столько слов и на стольких языках и столько связей и объяснений, что кажется, что к концу жизни, перед смертью, могу знать в с ё! Всё, о чем я ни подумаю, будет соединено со всем

другим, где бы это другое ни находилось и когда бы ни случилось. Но смерть-то свою я воображаю именно как конец моей последовательно развивающейся жизни, после семидесяти или семидесяти пяти ее лет. И хотя тот милиционер на моих глазах был жив, а через мгновение мертв, и хотя всеми доступными мне средствами я внушаю себе, что то же сейчас может случиться со мной, я все-таки не верю в это, а они – сосед, и высокий, и ряженный – считают само собой разумеющимся. Самое смешное, подумал он и засмеялся вслух...

– Ты! – крикнул тот сзади.

– Самое смешное, – сказал Николай Николаевич, – что что бы я ни понял, это после опровергается. Всё. По прошествии большего или меньшего времени. Стоило мне убедить себя, что триада отцы–мы–дети универсальна, как я узнаю, что вы убили свою мать, и, значит, по крайней мере к вам закон неприменим, то есть это вовсе не закон. Но самое-самое смешное, – и он опять рассмеялся, – что проживи я и семьдесят пять, и восемьдесят лет, и выучи все номера и пяти- и шестизначные, и будь я даже Достоевским и Толстым одновременно, все равно: смерть опровергнет всё! То есть то, что называется «в могилу с собой не возьмешь». Ладно бы золота или там теплого клозета и пайка, а то и всех этих великих знаний и глубочайших психологий. И сколько ни повторяй себе этого, ничего в твоей жизни не меняется, глаза продолжают бегать по строчкам и мозговые извилины изощряться. А в вечности все это совершенно без надобности, совершенно. Вечность бесконечна, и «е» этих столько, что сколько часов, дней и лет их ни выводи, до «ч» так же далеко, как было в начале.

– Ножницы не режут, – сказал Копылов. – Не берут.

– Ну-ка, отойди! – проговорил тот, поднимаясь. Николай Николаевич почувствовал, что его отпустили, но тут же снова схватили за волосы, запрокинули голову, так что глаза стали вылезать из орбит, потом страшный удар в живот, и он потерял сознание.

Он приходил в себя тяжело, как будто сам себя тащил из черной глубины, где вместе и ослабел, как ребенок, и сделался чугунным. Он лежал у двери, в комнате пахло рвотой, и его тошнило. Кое-как ему удалось выпрямиться и прислониться к стене. Тот по-прежнему полулежал. Копылов сидел перед ним на табуретке, Юрий Владимирович на кровати.

– ...паж выхватил короткую шпагу и заколол герцога, герцогиня радостно вскрикнула... – говорил Копылов.

– Роман твой бездарный, – перебил его тот. – Все врешь. Почему герцог не защищался? И она не вскрикнула... Копылов, ты бабу-то голую видел? Хоть жену свою, а?

– Видел, – сказал Копылов.

– Ну, расскажи. Расскажи, чего она делала, как стояла, чего ты...

Копылов молчал.

– Копылов, потрох сучий, ты никак отказываешься?

– Я лучше другое...

– Копылов, слезь-ка. Оближи-ка мне сапоги.

– Иннокентий Иннокентьевич!

К соседу за стеной ввалилась из коридора компания с баяном. Пол под Николаем Николаевичем затрясся от топота. «Йех! йех!» – визжали женские голоса.

– Иннокентий Иннокентьевич!.. – повторил Копылов умоляюще. – За что же вы меня так? Что я вам сделал?

Тот глядел на него, не мигая, словно гипнотизировал. Копылов стал сползать с табуретки, продолжая хныкать. Потом, уже стоя на коленях, опустил голову, взял в руки носок сапога и лизнул. «Господи, подумал Николай Николаевич, Господи, Боже мой, уповаю на милосердие Твое. Как свиния лежит в калу, так и аз... Но Ты, Господи... Ангеле Божий, молися за меня ко Господу, говори Ему, что всегда, когда я думал о Нем,

я был серьезен, когда любил Его, был серьезен, и когда отдалялся, то тосковал и был серьезен. Господи, помилуй меня грешного хоть за серьезность мою... Господи милосердный».

Тот в углу хохотнул: Копылов, облизывая голенище, сплюнул в сторону.

«Сейчас я пойду на него, думал Николай Николаевич, и буду все время повторять: Господи, помилуй! Господи, помилуй! И если он выстрелит, а я успею подумать: Господи, помилуй! – а Господь не помилует меня, то, значит, Он бы не помиловал меня, сколько бы я еще ни прожил и как бы ни умолял Его».

Он стал подниматься, быстро повторяя про себя: Господи-помилуй, Господи-помилуй. Тот привстал, выдернув у Копылова сапог, и поднял револьвер. Николай Николаевич сделал два шага и замахнулся. Тот вскочил, ударил его револьвером в висок и подхватил, обмякающего, за рубашку на груди. Николай Николаевич хотел подумать еще раз: Господи, помилуй! – но вместо этого подвернулось: «Потух огонек!» – и отдаляющиеся: йех! йех! жарь! жарь! жарь! жарь!

октябрь 1977 года

НАЙМАН Анатолий Генрихович – родился в 1936 году в Ленинграде, учился в Технологическом институте. В последние годы жизни Ахматовой принадлежал к кругу близких ей молодых поэтов, был ее личным секретарем. Много занимался переводами, в частности, поэзии трубадуров. В 1989 году сначала в «Новом мире», затем в Издательстве художественной литературы вышла его книга «Записки о Анне Ахматовой». Книга его стихов готовится к выходу в издательстве «Эрмитаж». Член Французского Пен-клуба. Живет в Москве.

Поэты метрополии в гостях у «Континента»

Михаил Еремин

* *
*

Не глаголица и не кириллица,
А нелепица – генеалогия
Изготовлена под палимпсест.
И не рцы и не щцы,
А билеты на жительство,
Тиражированные Гознаком.
И не враг и не рок.
Русь.

1985

* *
*

У ней особенная статья –
Ф. И. Тютчев

Лихву в процентах – выгодность
Коллатеральных связей между
Мотонейронами – прикинув или вычислив,
Что знания ничтожней знания,
Освоить
Бег – цвета гладких мышц – на месте и –
Поличное смирение – профессией считать
И палача и жертву.

1985

* *
*

Где милостивый государь письмо?
Где мой любезный друг записка?
Где нежное послание?
Как, (обращение), не проигратся –
То чёт манит, то нечет вабит – в честь-и-нечисть?
Кто гражданина показания помянет эпитафией,
Подобной оттиску на клякспапире,
В отечестве товарища доноса?

1985

* *
*

Налиествовать как орфографическое «твердо»
В несчастный час,
Когда под городом ворочается пустота,
И рвутся цепи звонких окон,
Освобождая грани
От крепости углов,
А путник, соболезна владельцам штучной рухляди,
Имуществует без потерь.

1987

* *
*

Не хозтовар, а скобяной да москательный
(Электролампы, стало быть, аэрозоли и т. п.)
Переместить в соседний павильон,
И секуляризованную емкость,

Подмазав маковицы, реставрировав декор,
(А близ лабазов – рыбные ряды.)
Заполнить аспиком прищептывающего созерцания
Рукотворений древнерусской живописи.

1987

* *
 *

Не предначертано ли (Демпфер? Релаксация?)
Неметь? Не полусфере ли
(Гунявая равнина... Колеи, в которых
Осколки тверди со следами цафры...) равен
Телесный угол? К своду
Взывать ли, если нет посредника иного, чем
Толмач-афатик,
Преимник полоумной нимфы?

1987

* *
 *

Оставив девочек в декокте мелководья, девой
Явиться из ребра волны.
Бесследно отмель миновав, на берег
Взойти – разводистые лунки
По ситцу. Грудь и бедра
(У кончика ноги цветущий подорожник.)
Оправить вязкой сетью.
И множиться в зрачках и на устах.

1987

* *
*

Своя ли неловкость,
Взмах ветра, иной ли какой-то лихой комбаттант, –
Но красный колпак с голубою подкладкою
Ушел в элодейные гущи. «О как эти воды
Подобны летеysким, – шептал резиныяк. –
Не в этом ли омуте
Зимовье русалок из темных времен
Галантности по отношению к военнопленным?»

* *
*

'88

И ныне и
Ортодорсален (Двуреверсен:
Под обручем копеечного – прописью
И цифрой – гурта
Наличность или, может статься, лики Януса,
Компактнее зародышевых лепестков.) и
Взаимозаменяемы шарниры: тазобедренный,
Голеностопный, локтевой и прочие.

1988

* *
*

И-е

За тонким, толщиной в одно прикосновение губами
К открытой коже цвета лета,
И хрупким утром –
Неповторимое прозрачно –

Итеративы, терния, транспекты
И впадин битое стекло,
Так называемое отражение в зеркальных водоемах
Мерцающих над нами звезд.

1986

* *

*

Не выстрадать, а выгравировать (Эфес
Грабштихеля не вызолочен, без порока
Клинок.) гидрографические контуры
И (Лотовой, отмалчивавшийся, как заговаривали
Про Сциллу и Харибду, и – тифозные мандибулы –
На выдох переживший шкипера, был похоронен
На полуострове, уже не безымянном.) изобаты
Приглубостей и мелей.

1988

НЯНЯ ТАНЯ

Хоронят няню. Бедный храм сусальный
В поселке Вырица. Как говорится, лепость –
Картинки про Христа и Магдалину –
Эль фреско по фанере. Летний день.
Не то, что летний – теплый. Бабье лето.
Начало сентября... В гробу лежит
Татьяна Саввишна Антонова, она –
Приехала в тридцатом из деревни,
Поскольку год назад ее сословье
На чурки распилили и сожгли,
А пепел вывезли на дикий север.
Не знаю, чем ее семья владела,
Но, кажется, и лавкой, и землей,
И батраки бывали. Словом, это –
Типичное кулачество, я сам,
Введенный в классовое понимание
В четвертом классе, понимал, что это
Есть историческая неизбежность,
И справедливо в Самом Высшем Смысле;
Где рубят лес, там щепочки летят...
А я уже студентик Техноложки.
Мне двадцать лет, в руках горит свеча.
Потом прощанье. Мелкий гроб наряден.
На лбу у няни белая бумажка,
И надо мне ее поцеловать.
И я целую. ДО СВИДАНЬЯ, НЯНЯ!
И тихим-тихим полулетним днем
Идут на кладбище четыре человека:
Я, мама, нянина подружка Нюра
И нянин брат двоюродный Сергей.
У няни нет прямых ветвей и сучьев,
Поскольку все обрублены. Ее

Законный муж – строитель Беломора
Погиб от невнимательной работы
С зарядом динамита. Старший сын
Расстрелян посреди годов двадцатых
За бандитизм. Он вышел с топором
На инкассатора, убил, забрал кошелку
С деньгами, прятался в Москве
На Красной Пресне. Пойман и расстрелян.
И даже фотокарточки его
У няни почему-то не осталось.
Другое дело, младший – Тимофей,
Он был любимцем и примерным сыном.
И даже я сквозь темноту рассудка
В начале памяти могу его припомнить.
Он приезжал и спал у нас на кухне,
Матросом плавал на речных судах.
Потом война. Война его и няню
Застала летом в родовой деревне
В Смоленской области. Подробностей не знаю.
Но Тимофей возил в леса муку,
И партизаны этим хлебом жили.
А старший нянин брат родной Иван
Был старостой села.
Он выдал Тимофея, сам отвез
За двадцать километров в полевую
Полицию. И Тимофея там без лишних
Разговоров расстреляли.
А в сорок третьем няню увезли
Куда-то под Эйлау, в плен германский.
Она работала в коровнике (она
И раньше о своих коровах часто вспоминала,
Отобранных для общей пользы).
А дочь единственная няни Тани
И внучка Валечка лежат на Пискаревском,
Поскольку оставались в Ленинграде:
Зима сорок второго – вот и все!
Что помню я? Большую коммуналку

На берегу Фонтанки – три окна
Зеркальные, Юсуповский дворец
(Не главный, что на Мойке,
А другой), стоявший в этих окнах.
Няню Таню. А я был болен бронхиальной астмой.
Кто знает, что это такое? Только мы –
Астматики. Она есть смерть внутри,
Отсутствие дыхания. Вот так-то!
О, как она меня жалела, как
Металась. Начинался приступ,
Я задыхался, кашлял и сипел,
Слюна вожжей бежала на подушку.
Сидела няня, не смыкая глаз, и ночь,
И две, и три, и сколько надо,
Меняла мне горчичники, носила горшки
И смоченные полотенца, и плакала,
И что-то говорила. Молилась на иконку
Николая из Мир Ликийских – чудотворец он.

.....

И вот она лежит внизу, в могиле –
А я стою на краешке земли. Что ж,
Няня Таня? Няня, ДО СВИДАНЬЯ.
УВИДИМСЯ. Я все тебе скажу.
Что ты была права, что ты меня
Всему для этой жизни обучила:
Во-первых, долгой памяти, затем
Терпению и русскому беспутству,
Что для еврея, явно, высший балл,
Поскольку Розанов давно заметил,
Как наши крови – молоко с водой –
Неразделимо могут совмещаться.

.....

Лет десять будет крест стоять как раз
У самой кромки кладбища,
Последний в своем ряду.

Потом уеду я в Москву и на Камчатку,
В Узбекистан, Прибалтику, Одессу...
Когда вернусь, то не найду креста.
Но это все потом. А в этот день
Стоит сентябрьский перегар
И пахнет пылью и яблоками, краской
От оград кладбищенских.
ТАК, ДО СВИДАНИЯ, НЯНЯ. Спи, пока
Луи Армстронг, архангел чернокожий,
Не заиграл побудку над землей
Американской, русской и еврейской...

РЕЙН Евгений – родился в 1935 году в Ленинграде. Окончил Технологический институт, после нескольких лет работы инженером полностью перешел к профессиональной литературной деятельности. Принадлежал к группе молодых поэтов, близких к Анне Ахматовой. Первую книгу стихов смог издать только в 1984 году. Последние 20 лет живет в Москве.

СТИХИ ИЗ КНИГИ «МОСКОВСКИЕ КУХНИ»

* *
 *

Я хочу написать стихи корявые-прекорявые,
Кирзовые, скрежещущие, бессмысленно хихикающие,
Чтобы хрюкало, вякало, ревело коровою,
И торчало, как волосья плохо подстригши,
Чтоб кидало и в сон, и в смех, и в задумчивость,
То мелко семена, то грубо раскорячась,
И чтоб постепенно, теряя дымчатость
И приобретая прозрачность,
Из них вырастал
Кристалл.

27. 9. 69

В. ЕРОФЕЕВУ

Ты, Веня, да еще Чадаев,
Да я, да Пушкин – ну и проч.,
Кто до холопства не охоч, –
Мы не в чести у наших оч-
чень наблюдательных хозяев.

В сравнение с нами – Пушкин цвел:
Тон петербургский! Дух московский!
Кто Шаховской – и кто Чаковский?
Чай, Дельвиг «Литгазету» вел!

Лексан Сергеич *выбирал*,
Куды чего послать печатать.
Ему где надоть и не надоть
Бумагу цензор не марал.

У нас вот тоже – Полевой.
Да что равнять объем и плоскость?
Где прыгал орган половой,
Висит статья про яйценоскость.

Эт сетера, эт сетера...

И Пушкину вскрывали письма.
И Пушкину вставляли клизмы
За анекдоты и бон мо.
Но
Ежедневно жрать дерьмо
И присноханженские «изьмы»,
Когда не то чтобы в столе –
В сознание шарит соглядатай
И пребываешь на земле,
Как превентивно-виноватый.

Когда и в профиль, и анфас
Родня, знакомые, поступки;
Когда ничтожные уступки
Так обнадеживают нас...
– Уволь меня на этот раз! –
(Воскликнул принц).
– Куда уволь?
Никак нельзя-с: такая роль.
(Поэт сказал: такая участь.)
Мешает подлая живучесть.
Небытие скушней, чем боль.

...Так, Веня: где же *наш* журнал?
А вот он: ручка, да бумажка,

Да сам-третей пиит-бедняжка:
Не-член; не-профессионал.
Журнал назвали – так уныло! –
Жестяным словом: «Самиздат».
Тут ход истории виноват.
Увы. Начальство утвердило.

Зато корысти – никакой,
Окромя гордости и чести.
Плетнева просьбами не ести
И к Бенкендорфу ни ногой.
И Бенкендорфу – полный рай
Без суеты хватать за жопу
Нетитулованную шоблу
И отправлять в далекий край:
Кого в Сибирь, кого в Европу.

А деньги...
Деньги-денюжки-и-и...
Ах, Веня! Кто оценит слово
Поэта? Деньги – пустяки.
Хоть десять тыщ за «Годунова»,
Хоть с маслом шиш за «Петушки».

21 авг. 1972

* *
*

Не ради славы и наживы,
А ради счастья и любви
ЧТО люди делают с людьми –
Непостижимо!

И каждый прав,
И каждый зряч,
Доброжелателен к другому

И если режет по живому,
То как хирург, а не палач.

Где эта даль и глушь пастушья,
Среди каких кругов и сфер
Я встречу хоть один пример
Великодушья,
Когда бесчестен всякий торг
И люди жертвуют не в долг?

Я слаб еще, я слеп и скуп.
Моих расчетов подоплека
Пока все та же:
Зуб за зуб.
За око – око.

* *
*

Илье Габаю

Вот и мы с тобой в семидесятых.
Вот мы оба ходим в виноватых.
Но живем при этом в разных зонах,
В разных зонах – при одних резонах.

Ну – кино!
«Сапожники! Лаптежники!»
– Гражданин, в чем дело? – «Свет погас!»
– Гражданин, протрите ваших глаз:
Вы на воле,
А в тюрьме – заложники
Вместо вас
И как бы – из-за вас.

Бедное замученное стадо:
«Ах, не стройте из себя Христа!
Мы же не просили, нам не надо!
Без креста живем мы, без креста!...»

– Будто крест от этого растает.
Свято место пусто не бывает.
Крест и кровь – единственный залог,
Что однажды в нас проснется Бог.

Человечьих душ нещедрый свет
Держится лишь свежей кровью жертв...

* *
*

«В надежде славы и добра
Гляжу вперед...»
Слепой вы, что ли?
Добра и славы нету в *роли*.
Вас заморочила *игра*.

Ах, как мы падки на надежды!
Вон пять повешенных висят...
Кошмар!..
Но втайне мы утешены:
Пять.
А могло бы – пятьдесят.

70-71



Гипноз обыденной игры
В допросы, шмоны, кошки-мышки.
Действительность – как понаслышке,
Как понарошке – до поры,
До чур-чуры.

И оскорбленность невинных
И с той и с этой стороны...

Теория общественной вины –
И тупость тварей бездуховных.

25. 7. 72

ХРОНИКА

При Пушкине была холера –
Теперь при нас. Каков прогресс:
Микроб явился и исчез;
На докторов никто не лез
С дреколием: науке вера.

Кругом Москвы горят торфа,
Сии подземные дрова;
Жара и чад столицу душат,
И говорят в очередях,
Что это, мать их перетак,
Нам Штаты атмосферу сушат.

В Таганке вновь давали «Мать».
В Таганке много могут дать.

Лето 1972

* *
*

Из года в год все дальше счет
Моих друзей ненавещенных,
Иных краев непосещенных,
И меньше сил из года в год.

Ничья вина – моя беда.
Я к равнодушному покою
Влекусь без воли и стыда.

Все, что отпущено судьбою
На дерзновенные грехи,
На дикий выпад своеволия, –
Я сублимирую в стихи.

И напиваюсь алкоголя.

1972

* *
*

Что говорить, газеты правы.
У них, конечно, жуткий слог,
Но факт развития державы
Есть факт реальный. Видит Бог,
Жилья все больше, быт все чище,
Автомобили нарасхват.
У нас бы, кабы не винище,
И нищий бы имел «фиат».
Конечно, многое топорно:
Вот не пошла у нас реформа.

Пойдет другая! Как-нибудь
Когда-нибудь... А в общем-целом
Жить можно.
Ну-ка, между делом
Пойди, встряхнись, в толпе побудь,
В толкучке, в пестроте веселой,
Где музыка и голоса!..

...В толкучке, в пестроте веселой,
Где музыка и голоса –
Все тот же сон. Беспомощный. Тяжелый.
Невидящие голые глаза.

Сент. 1972

* *
*

Ни день, ни ночь, ни вечер, ни рассвет.
Ни бред, ни явь, ни утро, ни закат.
Есть воздух – и его как будто нет.
А там где перед – в то же время зад.

Что делать нам в постылый этот час,
В котором нет ни суток, ни минут?
Что делать нам в постылый этот час?
Сидим и ждем, когда они уйдут.

Чего-то там проходит мимо нас,
Кого-то там на кладбище несут –
Что делать нам в постылый этот час?
Сидим и ждем, когда они уйдут.

Нет, не сидим – мы заняты трудом,
Мы вовсе не сидим – хотя и ждем –
Мы прозреваем в голубой дали –

А ну-ка!..
Сядь.
Не надо.
Не ушли.

22. 04. 77

* *
*

Илья Муромец на печке
Спал и видел страшный сон.
Скрипел белыми зубами,
Плакал черными слезами,
Издавал невнятный стон.

Один раз чуть не проснулся,
Приоткрыл глазок-другой,
Даже рот открыл вдобавок,
И – зевнул,
И – с боку на бок,
И – опять уснул, герой.

А за этот промежуток,
Когда он открыл глаза
Да сказать хотел чего-то,
Да взяла его зевота –
Вся-то жизнь моя прошла,
От начала до конца...



Древни греки правду знали:
Боги бродят между нами,
И античные, и те,
Что явились по Христе.
И когда в начале мая
Ахнет бомба грозовая,
Это знаем, чьи дела:
Геба кубок пролила.
И когда поэт курчавый
Грянет песнью величавой,
Узнаем издалека:
Аполлонова рука.
А когда, не зная страху,
Ради нас идет на плаху
В пиджачишке гражданин,
Понимаем: Божий сын.
А когда в ночи бездонной
Раздается шепот томный,
Узнаешь ли, слышишь ты
Смех Венеры, вздох Мадонны,
Праздник Неба и Земли?

Жеребенок тонконогий,
Друг, возникший на пороге,
Гул талмуда, прана йоги,
Жизни лучшие дары –
Это боги,
Это боги.
Остальное – это мы.

1984



В молитвах Бога поминая,
Возводим очи к небесам,
Надеясь и предполагая,
Что царство Божье где-то там.

А там висит сырая туча,
Как полудохлый дирижабль.
Над ней, антеннами мяуча,
Летит космический корабль.

Там – Бога нет.

В своих распутьях
Душой лукавой не криви:
Бог явлен – здесь. В тебе да в людях.
В малейших проблесках любви.

Все небеса – в глазах окрестных.
В любом уроде – Божий лик.
И в богохульствах, самых мерзких,
Звучит Божественный язык.

И в том-то вся загвоздка, братцы,
Как отвращенье превозмочь,
Открыть в себе такую мощь,
Чтоб различить – и отозваться.

И к небу мы возводим очи,
Возносим тонкие кресты
Для наших главных средоточий
Ища посильной высоты.

КИМ Юлий – один из самых значительных русских бардов 60-х гг.
Пишет стихи и песни с 1956 г.

Родился в 1936 г. в Москве. Окончил историко-филологический факультет МГПИ им. Ленина. Многие годы преподавал в школе (на

Камчатке и в Москве). В 1969 г. из школы вынужден был уйти в связи со своей правозащитной деятельностью. С этого же времени ему было запрещено выступать с концертами. Все последующие годы он работал, сочиняя пьесы и песни для театра и кино, под псевдонимом Ю. Михайлов. Все эти пьесы шли или идут на сценах страны. Московский молодежный музыкальный театр-студия «Третье направление» поставил спектакль по песням Ю. Кима «Не покидай меня, весна» и мини-оперу «Юбилей» (по мотивам рассказа А. П. Чехова). Репетируется мюзикл «Московские кухни». По его сценариям сняты два детских музыкальных художественных фильма. Вышла первая авторская пластинка «Рыба-кит» и множество других – с песнями из кинофильмов: «Бумбараш», «Обыкновенное чудо», «Двенадцать стульев», «Пеппи Длинный Чулок», «Красная шапочка», «Человек с бульвара Капуцинов» и т. п. Живет в Москве.

Георгий И в а н о в

Несобранное

*Под редакцией и с комментариями
Вадима Крейда*

Antiquary, 1987

Первое комментированное издание неизвестных
стихотворений Георгия Иванова

Заказы посылатъ по адресу:
Emanuel Szein
594 Chestnut Ridge Road,
Orange, CT 06477 USA

ПЛАВАНИЕ

...а кой должен, а тот пошел,
куды его очи понесли.

*Хождение за три моря
Афанасия Никитина*

1. ПРОЩАНИЕ

Коли нет ничего, окромя живота и долгов,
прощайся с любимой, иди за три моря,
иди, куда тебя очи и парус несут,
то ли буйную голову сложишь,
то ли славу добудешь
себе и отчизне.

Я, за славой отплывая,
отправляюсь в дальний край,
ты мне что-нибудь, родная,
на прощанье пожелай.

На прощание землю возьму из следа твоего,
той землею наполню цветочный горшок,
пусть расцветут золотистые бархатцы в нем,
да не увянут цветы до твоего возвращенья!

2. ОЖИДАНИЕ ВЕТРА

Мы сидели у моря и ждали погоды,
и ревмя ревели стервы морские, сирены,
а вокруг судов увивался старик-бусурманин
и два дня и две ночи сидел

на берегу морском
колдун, торгующий ветрами,
он мореходов ждет с тремя мешками

А на третью ночь мы к нему подошли:

– Дедушка, что в мешках у тебя?

– Как первый раскроешь мешок,
тиховейный найдешь ветерок,
а второй раскроешь мешок,
фуртовину морскую найдешь,
а в третьем мешке –
ураган.

– А дорого ль ты за мешочки возьмешь, бусурман?

Заплати золотой,
пропадешь ни за грош,
ветер посеешь,
бурю пожнешь.

Открывай мешки да приговаривай:
Вей, ветерок,
вей, ветерок,
ветропляс, ветроплет, ветросвист.

На, бери золотой,
по рукам!
Мы в долгу, как в шелку,
подставить парус ветрам
рады мы,
рады-радешеньки,
по хвалынским волнам,
по морям,
нынче здесь, завтра – там,
позади ничего-ничегошеньки.

Минула полночь. Близится час, когда
сходит на нет вода.
Облизав окраины суши,
уходит отлив и уносит с собой
наши нищие души.

3. ХОЖЕНИЕ

И бежали есмь парусом
мы от хозар и татар,
и поймали нас
и голыми головами
за море нас отпустили,
и напали на нас морские разбойники-тати,
и последнюю рухлядь они задумали взять.

Ветры дули, шапку сдули,
кафтан сняли,
рукавицы сами спали.

На челне нас осталось мало,
может быть, трое, а может быть – двое,
иных убили татары,
иных поймали тати,
и пошли домой наши братья,
те, у которых был дом,
а мне идти было не с чем.

И прошел я первое море,
и огонь негасимый видал,
и в земли попал,
где едят, покрываясь платом,
и трапезы не разделяют
ни с женой, ни с другом, ни с братом.
И все ходят черны и наги,
а все жонки брюхаты

и детей родят
каждый год.

И пришел я в Гурмыз, что на острове,
варное солнце в том граде,
человека сожжет, а море по дважды на день
поимает тот город волнами.
И там я в первый раз
заговел и взял Велик День.

И пошел я по морю другому
и дивился дивам заморским
и диковинным бутам,
а перед бутом стоит
вол вельми великий
и болванам тем каменным молятся

а еще на деревьях ореси растут,
в тех великих оресех – и питье, и пища обильная,
и вина чинят в этих оресех.

И тогда я опять заговел
и ничего, кроме хлеба, не ел,
сыты не пил, воду хлебал,
и с жонками никакими не спал.

Аж же, рабища Божий,
сжалихся по вере Христьянской
и много плакал о ней.

В той земле Гундустанской
гостей по подворьям разводят,
а ести варят на гости
господарыни, и постелю стелют и спят
и плату берут за то господарыни.

А бояре сильны и пышны
и ездят на людях,
а носят их на кроватях
золотых и серебряных,
а коней перед ними
водят в снастях золотых.

Из всего, что я вывез, остался
только один жеребец у меня,
и забрал князь бесерменский коня,
и сказал: «Стань в нашу веру,
и коня возверну и тысячу дам золотых,
а не то взыщу их с твоей головы».

И заплакал я, и пошел искать я
заступников, и свершилось чудо:
заступник помог, а так, братья,
кто захочет идти в бесерменскую землю,
веру свою оставь на Руси.

И в третий раз я тогда заговел
и пригорюнился: о благоверные
христиане! Иже кто по многим землям
много плавает, во многие грехи
тот впадает и веры ся да лишает Христовы.

А все черные люди все злодеи,
а жонки все бляди да вежи,
да тати, да ложь, да зелие,
зелием морят своих осподарев.

А еще там птица гугук
летает ночью, кричит кук-кук,
а на чьем доме сядет она,
там человек умирает,
а захочет убить ее кто,
птица огонь из рта выпускает.

Надо мной кружит, порхая,
птичка малая, лесная,
птичка малая, неясить,
я живу, о том не зная,
я точу с соседом лясы.
Кабы знал я, кабы ведал,
я б, наверно, не обедал,
попросил бы эту птичку:
Эй ты, птичка-невеличка,
ты снеси-ка мне яичко,
да яичко непростое,
а с кощеевой иглою.
С той иголочкой скорее
улещить смогу кощя.

И поплыл я в таве с коньми
и достиг я краев, где вар сильнее всего
и буйные ветры в пустыне,
бегом духа их называют,
усмиряют духа того кулаками,
бьют по воздуху палками,
устрашают его головнями.

И песок там крутящийся,
и красная туча-самум разъяренный,
и пошел весь народ сражаться с тем ветром в пустыню,
и налетело на них красное облако-туча,
и закружился песок сыпучий,
и поглотил весь народ,
и народа не стало,
сокрыл его сыпучий песок,
а меня же, раба недостойного, Бог уберег.

В Бидаре Великом
в Бесерменской земле
в Великую ночь на Великий день я смотрел,
как Волосаны да Кола в зорю вошли,
а Лось головою стоял на восток.

Больше нет мочи жить чужаком на чужбине,
а чужую веру принять, стать чужаком на Руси.

Господи! Призри на мя и помилуй мя,
яко твое есть создание!
Не отврати лица Твоего
от раба Твоего,
яко в скорби есмь, Господи!
Настави мя на путь правый,
Иса рух оало, Иисус, дух Божий,
Заступник, Спаситель,
покажи мне пути, камо поиду на Русь.

Уж ты гой еси, гнилая колодина,
приплыви ко мне да ты по бережку,
перевези меня да на ту сторону,
на родную мою на сторонущку.

4. ВОЗВРАЩЕНИЕ

И дошел я Божию милостью
до третьего моря, до Черного.
Я видел заморские дива
и карбункулы, и диаманды,
и жемчуг, и лал бадахшанский,
камку, парчу и шелка,
и зверей диковинных видел,
и великие грады,
я видел земли обильные вельми,
а Русскую землю
Бог да хранит!
Пусть устроится эта земля,
а то мало в ней справедливости, Боже!

Хотя русская вера добра,
но правды нет на Руси.

А правую веру – Бог знает,
а правая вера – Бога единого знати,
Имя Его призывати,
Бога бояться и правду творити,
и жить чисто во всяком месте,
все люди едины у Бога,
и Бог знает, кому достанется перстень.

И пришел я в землю родную
голым, как прежде.
Посеченный всеми ветрами,
я три моря прошел
от края до края
и веру пронес,
потерпев за нее премного,
весь путь свой
взглядом одним обнимая,
славлю единого Бога
словами Корана,
русский с арабским мешая.
Все, что в жизни содеял,
содеял не только корысти ради,
оставляю потомству
эти тетради,
ты, потомок, их перечти!
А я, не закончив пути,
теперь умираю.

1987 г.

ПРОБШТЕЙН Ян – родился в 1953 году в Минске. Окончил Минский институт иностранных языков. Работал преподавателем английского и испанского языков, журналистом, переводчиком. Опубликовал переводы из Г. Лонгфелло, Г. Ибсена, Т. С. Элиота, Чеслава Милоша, а также из латышской и белорусской поэзии. Живет в Москве.

* *
*

Как, не ударясь в крик, о фанерном детстве,
бетонном слоне, горнистах гипсовых в парке,
творожном снеге Невы, небе густейшей заварки,
о колоколе воздушном, хранившем меня?

Вечером мамина тень обтекала душу...
не знала молитвы, но все же молилась робко...
в сети ее темных волос золотая рыбка,
ладонь ее пахла йодом. Сонная воркотня.

Всей глубиною крови я льну к забытым
тем вавилонским пятидесятым,
где подмерзала кровь на катке щербатом,
плыл сладковатый лед по губам разбитым.

Время редееет, скатывается в ворох,
а на рассвете так пламенело дерзко –
и застывает памятью в наших порах,
пением матери на ледяных просторах,
пряжами вьюги над глубиною невской...

* *
*

Всадник бел на оснежённой горе.
Дрогнет яблоко в кожуре,
Зарумянясь на замше перчатки.
Вышли деды: «Здравствуйте, генерал!»
Овчина шапок: «Здравствуйте, генерал,
Будь вам наши яблоки сладки!»

Мне приснился Скобелев-генерал,
Невысокий утоптаный перевал,
Крап кровавый и кремь Шипки.
Турок нам – то что твой басмач,
Славянин – воитель и бородач –
Переможет, конечно, в сшибке.

Заведу избу, а в ней образа,
А под ними – картинку – смотреть глазам,
Как гарцует Скобелев на лошадке...
Вот и пристань. Здравствуйте, генерал...
Коммунисты – слышали, генерал?..
Нам отчизны сумерки сладки..

* *
*

Ничего не проси у страны – ни любви, ни суда,
Первородства души не оценишь ее чечевицей.
Сколько можно несущее непосильное бремя труда
Соглядатая, очевидца.

Робкий шепот окраин, столиц заговорщицкий шум
Чуть колеблют и дразнят листы летописного свода,
Но как тайный судья, соучастник судьбы, тугодум,
Вывожу на полях неизвестное слово «свобода».

Не возьму ни гроша и ни капли вина не пролью
В причащеньи души ко стыду нерастраченной силы,
Нерожденной судьбы, к одиночеству в отчет краю,
К этой грязной бумаге, где жизнь изошла на чернила.

* *
*

Византийская синь. Молочный дым.
Кристаллический иней. Граненый снег.
Голенастым, хмурым и молодым
Я запомню тебя навек.

Я запомню сияющий ломкий наст
Да утраты свежую полынью:
На Хованском кладбище страшный пласт –
Там сховали подругу мою,
Как потом отворялся колодец сна
И лечила звездная немота...
Утешенья вода голуба, черна,
Обручальным золотом повита.

* *
*

Мне никогда не вернуть перепелок в полях,
влажный их куст, возникающий сразу на взлете,
шороха ночью в сарае и детям на страх
россказней про кабанов на заросшем болоте.

Бабка учила письму на коротком письме,
путались мамины строчки, и все-то мне снилось:
невод волос ее темных – и слово ко мне,
слово любви искалеченным золотом билось,

Старое русло моя заливала судьба,
ствол кровеносный полнился помнящей кровью –
братьев моих голоса, бабок моих ворожба –
что вы сулили, сходясь по ночам к изголовью?

* *
*

Пела и на клиросе
и под небесами,
как звезда, светила
в деревянном храме.
Обходя без устал
городок-пустыню,
площади и улицы
все перекрестила.
Все согреть старалась
каменное ложе
Ксения Петербургская –
тайная надежда.

* *
*

Муза гражданственной скорби – гражданка Петрова,
(время линяет, меняет былой колорит)
только она не стареет, смотрит сурово,
пламя котельной за ней непреклонно горит,
скорби народной... (лампочка слабо мигает...)
Что мы – пороли горячку? смыкали каркас
времени?... Дарья, Савраска, Сенная –
все из беспамятства вырвет пылающий газ –
и под луною Сенатскую, спящую глухо.
Тенью от бронзы мерцает бумажный конек,
на невезухе-лошадке писатель-непруха
гиблого слова из лесу вывозит возок...

Теперь скажу – тяжеловесный Спас
Поставлен на крови царя и террориста.
Сюжет трагический. Но отчего ребристый,
Лазоревый, глазурный, в завитках,
Собор сверкает весело для глаз?
О Александр больной, о нищий Гриневицкий!

Две горсти праха спорят до сих пор:
– Тиран, душитель, если б знал ты тяжесть...
– Дурак, мальчишка, если б знал ты тяжесть...
Но общая их повенчала тяжесть –
Облитый светом, лакомый собор.

Ай, молодцы художники России –
Отпраздновали, счистили, замыли –
Любая кровь – фундамент для искусств.
И молодцы сапожники России –
Собор под склад сначала запустили,
Потом взорвать хотели да забыли –
И он стоит теперь смертельно-пуст,
Неясный символ, странное строенье –
Храм Светлого Христова Воскресенья.

* * *

Наши святочные гаданья:
картонный король, валет с алебардой
заслоняют от страха жизни.
Пошевелила смерть чешую хребтов Кавказских,
встала графитной тучею над Украиной,
тычет в затылок: «вэсти, вестимо, вáсти...»
и растирает в крошки дешевый ластик,
сотни имен стирая.

В святки раскрыта книга, карты в цветных рубашках...
И парафин в воде, и потеки кофе
свились, слились в одно: «Сохрани их, Боже...»
Слово в слезах восходит. И в ледяном кристалле
невском – оттаял квадрат крещенской купели.



E. Sztein's Antiquary

PUBLISHING AND INTERNATIONAL DISTRIBUTION
594 CHESTNUT RIDGE RD. ORANGE, CT 06477 - U. S. A.
Phone (203) 387-0597

Издательство «Антиквариат»

ВАДИМ КРЕЙД

«ПРАПАМЯТЬ»

– антология русской поэзии о реинкарнации.

* * *

Есть на ботинки дратва,
но нету лекарств от старости.
В семнадцать хотелось драться,
а в тридцать пришла усталость.
За драку не будет скидки,
за мордобой – прощенья,
а будет мне очень стыдно
уйти, не дождавшись отмщенья.
Чудесное приспособление!
Транзисторы тоньше волоса!
О счастье приспособления,
когда не глаза, а лишь голос!
Давайте же – приспособимся.
Живыми зато останемся.
Встанет вопрос о совести?
Что ж, пусть стоит и старится.
Зато мы останемся честными –
и для себя, и для многих.
В сердце прибавится черствости?
Что ж, виноваты дороги,
которые нас выбирают,
порывы юности тушат,
а после – как трал выбирают –
не рыбу, а ду́ши! ду́ши!
Ах, что там – грозят посадками...
Зато не грозят поступками –
вино-то дает осадок!
друзья-то становятся суками!
А сердце болит одиночеством
и внутренней эмиграцией.

И хочется, да и колется,
и не с кем, и не за что драться.
От каждого – по способностям
к помпеям или вандеям...
Давайте же приспособимся!
Может, и я сумею...

ПОКОЛЕНИЕ С ПЕРЕБИТЫМИ НОГАМИ

1

Поколение с перебитыми ногами!
Поколение с заклеенными ртами!
Догорает, догорает...

Догорают
все надежды и все встречи между нами.

Может, доктор Илизаров, ты излечишь
всех друзей моих каким-то средством новым,
на чуть-чутьточку, на старое изменишь
и научишь снова их живому слову?

Поколение ты на ноги поставишь,
поколение недоверчиво-печальных,
и заставишь,

и заставишь,

и заставишь

прокричать – о чем мы двадцать лет молчали.

Погоди, еще горит свечи огарок,
и на мир глядит усталыми глазами
поколение с перебитыми ногами,
поколение с заклеенными ртами.

Какая была погода
 в эпоху гражданской войны?
 Среди катаклизмов и горя
 кому эти факты нужны?
 Давно уже все закончилось,
 годов забубенный гул,
 и дикая красная конница
 в зеленом московском снегу,
 и время, звеня подковой,
 загладило чувство вины,
 и мы позабыли погоду
 эпохи гражданской войны.
 Не может она повториться,
 страшнейшая из погод,
 как будто бы вечно длился
 тридцать проклятый год!
 Давно оттремели походы,
 эпохи скривился лик...
 А ты опять про погоду,
 которой давно прошли!
 Да. Быть мы всегда готовы.
 И помнить всегда должны
 какая б у д е т погода
 эпохи гражданской войны.

Тихо по улицам дождик метет,
 тихо по улицам тихий народ.
 Мчатся машины в дом угловой –
 эти машины едут за мной.

Люди уснули, город не спит,
 и на Лубянке окошко горит:

серый мужчина с отвисшей губой –
он посылает машины за мной.

Годы проходят. Сменяется власть.
Только сажают все так же, все всласть.
Мчатся машины и этой зимой,
едут за кем-то, едут за мной.

В доме тревога. Родная жена
дверь на запор – ни мертва ни жива.
Грохот на лестнице – видно, за мной.
Крутится-вертится шарф голубой!

4

Бьют часы на Спасской башне
у зеркальных стен Кремля.
Здравствуй, здравствуй, день вчерашний,
палачи и лагеря!
Время думать об озимых
и о глупости диет...
Здравствуй, наш отец родимый,
наш вампир и людоед!
Пусть тебя на век прославят
наши деды и отцы,
дорогой товарищ Сталин,
за великий геноцид.
Кушай, кушай наши трупы,
наши силы и умы.
Пусть дымок великой трубки
крематорием дымит.

Пока мы идем, и пока еще вместе.
Пока мы живем, и пока еще с песней,
пока мы не за

поминальным столом –

пока мы живем.

Светлы, как преданье, как ветер, как листья,
как наши румяные юные лица –

– мы всех гениальней!

кровь наша с огнем!

(пока мы живем)

Что ж с нами случилось?

Нет, это не старость.

Тогда почему нас так мало осталось
и вновь выбивает огнем день за днем,
пока мы живем?

Не статны. Не стары. Не стойки строги.

Но от парафраза и до перестройки
несли кровь с огнем

(а донес кто – с вином,

пока мы живем).

Неужто остались лишь детства проказы?

А что показать – никому не покажем?

И вновь на колени?

И вновь взять живьем?

Пока мы живем?

Не взять нас живьем.

Зачем чудеса человеку?

Не может без них человек.

Но так уж ведется от века,
он хочет, чтоб пел соловей.

Он хочет, чтоб утром ромашки
сияли от солнца колец,
и чтобы в хороших романах
всегда был счастливый конец,
и чтоб у принцессы-лягушки
сбывались по праздникам сны –
пусть рядом с тобой на подушке
лицо не принцессы – жены.

Давно нам известны ответы.
Давно мы привыкли ко лжи.
Каких же чудес человеку
теперь еще нужно – скажи?
Состарились наши подружки...
Хотя мы живем без оков,
бульдозеры дают лягушек
и прочих народных врагов.
Домов над лесами громады...
Проблемы детей и отцов...
Все меньше хороших романов,
все меньше счастливых концов.

Зачем чудеса человеку?
Его неизвестное жжет.
Он ждет ХХІ века.
А век его вовсе не ждет.
От леса остались опушки.
Повсюду неправда видна.
И, как ты ни просишь лягушку,
не станет принцессой она.
Наутро гремят барабаны –
скликают на пир подлецов...
И нету хороших романов,
и нету счастливых концов.

1988

БАТШЕВ Владимир – родился в Москве в 1947 году. Один из организаторов литературного общества «СМОГ». В 1966 году был арестован и осужден на пять лет заключения в исправительно-трудовой лагерь за тунеядство. В 1968 году освобожден по амнистии. Закончил сценарный факультет ВГИКа. Опубликовал под псевдонимом около трехсот юмористических рассказов. Автор трех пьес и семи сценариев, по которым поставлены фильмы. В Советском Союзе печатался лишь однажды. За рубежом публиковался в «Гранях» и в переводах на английский. Живет в Москве.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор
Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE
217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France
тел. 42 25 56 81, 42 25 57 94
телекс 64 98 13 Pensrus

**Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире**

**Информация о событиях в Советском Союзе, в
странах коммунистического лагеря, в странах
свободного и Третьего мира**

**Тексты авторов из СССР – самиздатские и напи-
санные специально для газеты**

**Аналитические статьи по политике и экономике,
литература, мемуары, статьи и заметки по лите-
ратуре и искусству**

Об условиях подписки справляться в редакции

НОЧЬ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Любе

Допивая «Иверию», заговорили о хорошей жизни и дальних странах.

– Главное, персики там... ну, вот такие персики! – Селивохин показал руками предмет величиною с голову, – я тебе, ей-Богу, говорю с полной ответственностью. А черешня, Господи Боже, ты и представить себе не можешь, какая бывает на свете черешня!

Рамзайцев и в самом деле не мог представить черешню и персики такими, какими их показал Селивохин. Да это его и не волновало, честно говоря.

– А пиво в Венгрии пьют?

– Хо! Пиво... То есть лю-бо-е. Пиво, брат, там...

– И темное?

– Говорю тебе – лю-бо-е. «Кроненбург». «Гиннес». «Туборг». Чешское, австрийское, баварское. Баночное. В бутылочках с золоченой фольгой. Серьезно – с золоченой фольгой! Да и при чем тут вообще фольга? На каждом углу, через дом, пивные – чешские, немецкие, просто венгерские! Входишь туда, – здесь простецкиширокая, но чрезвычайно живая, смышленная физиономия Селивохина выразила аппетит, – входишь и этак два пальца вверх: «Шор»!

– «Шор» – это что?

Пока Селивохин объяснял, что «шор» – это пиво, а «бор» – вино, и все к делу идущее прочее, Рамзайцев нежился и млел. Он и без объяснений понимал, разумеется, что в пивной просят именно пива, но с детства перебор знакомых, своих вещей был для него самым приятным видом беседы. Он в эти минуты физиологически ощущал время; оно провисало, никуда не

шло, и это провисание было единственной формой жизни времени, которая его устраивала.

– Ну вот, значит, ты еще только: «Шор»! – а посреди столика уже – тарелочка, а на тарелочке, брат, не соль и не сушки, а заметь себе – тарталеточки... С мозгами тарталеточки, с гусиной печенкой, тают во рту – хоть ты что! Господи Боже Ты мой, как же там жрут... Мать честная! То есть – просто... В магазине, в любом, есть такой вроде кафетерия... Копченые фазаны с лимонным желе. А? И пивка, пивка тебе, – тут Селивохин сделал рукой «козу», – из такого пистолетика в высокий бокал! Или «Траубесода», кока, оранжад. Египетская сила! Не говоря о ресторанах... Сидишь, скажем, на Балатоне, тут тебе из озера рыбку – цап, и моментально – моментально – подают на блюде уже зажаренную. На чистейшем оливковом масле. Вот так, брат.

И они приняли еще по сто «Иверии».

– Вот этого там, конечно, не пьют, – вопросительно заметил Рамзайцев.

– Что ты! Какая может быть бормота, когда хорошее вино дешевле минеральной воды. Ну, есть форинты – само собой, пожалуйста – «Мартини», «Джонни Уокер»... Вот, кстати, угощайся, остатки прежней роскоши.

И Селивохин протянул недокуренную пачку «Пэл Мэлл». Он неделю как вернулся из Будапешта, куда раз в год навещался к отцу, служившему там кем-то в консульстве. Рамзайцев более года назад перебрался в Москву из Куйбышева теми путями, о которых интересовавшимся этим вопросом сообщать незачем, а не интересующимся – незачем тем более. Рамзайцев писал прозу, Селивохин – стихи. Познакомились они три дня назад по пьяному делу, поссорились и помирились из-за той таинственной вещи, которая во всем подлунном мире ведома всегда только двум людям – ссорящимся и мирящимся по пьяному делу, а стоит только этим двоим

протрезвиться, как тайна той вещи окончательно покрывается мраком.

И вот теперь новые приятели сидели в двухкомнатной квартире Селивохина, куда Рамзайцев нанес первый дружеский визит.

Стоял молодой сентябрь, и магазин был под боком, и денег хватало на вторую. На два часа стало так необъяснимо легко жить, что Рамзайцев не способен был сейчас завидовать венгерским прелестям; так легко за последние пятнадцать месяцев, за 450 с чем-то дней, за многие тысячи часов первые два часа... так странно легко. Он сделал долгий глоток и сказал:

– В Москве тоже жить можно, Селивохин.

– Что? Сравнил дерьмо с конфеткой! – и хозяин произнес речь, от которой любой честный мадьяр покрылся бы румянцем гордости. На одном перечислении речь эта блестящая могла держать голодного, интеллигентного человека – в состоянии неослабевающего интереса.

Пылкий Селивохин забыл, как полчаса назад беспрерывно ахал, слушая о жизни в Куйбышеве, областном и культурном центре: он забыл это по той простой причине, что в Куйбышеве не довелось ему побывать, в Будапеште же довелось, и не раз, а, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Рамзайцев понимал все это и не обижался. Кроме того, он чувствовал: чем вдохновеннее Селивохин расписывает всевозможные вкусности, тем меньше на самом деле способен проникнуться ими. Одно из двух: или Селивохин привык к ампула любителя пожить и желает поддержать лишний раз свою репутацию, или же он пытается заговорить зубы, и не столько собеседнику, сколько самому себе, желая отвлечься разговором на гастрономические темы от своих действительных, видимо, малоприятных проблем. Рамзайцев не обижался, однако и бедным родственником чувствовать себя не желал. И он с ударением повторил:

– В Москве тоже жить можно.

– Я ничего не говорю, – спохватился совестливый Селивохин и тут же честно вспомнил, что в Венгрии ему не понравилось. – Они же там все жлобы редкостные. Что ты, пригласят в гости, представляешь, вынут из шкафчика, нальют – и опять в шкафчик, еще и ключиком запрут. Египетская сила! – и Селивохин произнес вторую пылкую речь, противоположную первой: Венгрия – страна сытых лавочников, страна, где нечем жить и не о чем писать, и где таким, как они с Рамзайцевым, вообще делать нечего. Не век же кайф ловить, пробуя заморское пиво, со скуки подохнуть можно и с заморским пивом, и только здесь, на Покровке, в пивном автомате, имея двугривенный, можно так вот случайно встретиться, чтобы сойтись уже не случайно...

Вторая речь, столь же искренняя, как и первая, пришлась по душе Рамзайцеву. Вообще оба они пришли друг другу по душе и, отдав себе в этом отчет, поняли: время идти за второй.

А там, всею грудью набрав вечернего окраинного воздуха, отстояли они сколько требовалось в магазине. За вторую бутылкой выяснили они между прочим, что, кроме них, мало кто смыслит сегодня в искусстве; что поэзия – не прихоть полубога, но и не хищный глазомер простого столяра, а поэзия – это когда... и читали: «Мы с тобой на кухне посидим...»

Селивохин думал: «Все-таки нормальные, живые люди остались только в провинции».

А Рамзайцев вторично поймал себя на мысли о том, почему ему так легко, так уютно сегодня, в чужом доме, и вторично не стал доискиваться ответа. Эйфория, в которую он впал, делала его мышление и речь чисто регистративными, как в детстве. Подобно ребенку, ему хотелось называть вслух все, что он видит, задавать вопросы, которые он уже задавал и ответы на которые он уже знал. Хотелось произносить слова и сочетания слов самые непонятные, бессмысленные, нелепые,

лишь бы наполнить мир собой, своими звуками, высказать себя без усилий, как птица. Но Рамзайцев был уже взрослым, а взрослому, чтобы сказать что-то настоящему бессмысленное, надо как следует поднапрячься. Оставалось только задавать уже заданные вопросы и называть вслух все, что видишь. И он повторил вопрос, заданный им Селивохину еще в очереди за первой:

– Значит, ты не считаешь, что портвейн «Иверия» крепят коньяком?

– Я считаю, что портвейн «Иверия» крепят говном, – в тон ему ответил Селивохин.

– Тогда это не настоящий портвейн, – умозаклучил Рамзайцев, – настоящий портвейн крепят коньяком.

Селивохин не возражал; тема, таким образом, была закрыта. Рамзайцев посмотрел в окно.

– Негр идет, – сказал он.

– Район такой, – оживился Селивохин. – Такой уж у нас район. – И сказал пару слов о своем отношении к неграм. Отношение это оставляло желать лучшего; впрочем, добавил Селивохин, он имеет в виду только московских негров. Заграничных негров он не знает и не будет о них говорить ничего плохого.

Селивохин в свою очередь глянул в окно:

– А вон, видишь, идет араб? Сириец. Этой публики здесь тоже вагон.

От бутылки осталось, как пишут в переводной прозе, на два пальца. Может, все дело в том, что у него район такой, подумал Рамзайцев. Отличный район. Негров много. Сирийцев. Шейх Кувейта – самый богатый человек в мире. Я курю «Пэл Мэлл». Может, все дело в районе?

– А вон идет клевая баба, – сказал он, переходя спяну на чуждый ему современный слог, – с кайфовой сумочкой.

Селивохин поглядел и сказал ехидно:

– Нравится?

Рамзайцев подтвердил, что нравится, и добавил еще несколько слов на том же, нелюбимом им, жаргоне. Он сам не знал, кого в этот момент «представляет», от чьего лица заговорил вдруг; знал только, что этот возникший вдруг «некто» – совсем не он, Рамзайцев, и на него ни капли не похож; а быть не собой и вообще неизвестно кем, сбросив стеснительную оболочку человеческой определенности, – этого ему сейчас только и хотелось.

– Так в чем же дело? – завелся Селивохин. – Пойдем познакомимся.

– Лень.

– Все равно придется, – Селивохин поскуучнел, – это моя жена идет с работы. А сумочка у нее французская, куплена в Венгрии, и в сумочку эту влезло шесть блинчиков с мясом, по два на нос, могу сказать тебе с полной ответственностью. Она звонила.

Жену звали Лида, инженер по профессии. Увидев две пустые бутылки, она вздохнула, но не сказала ничего. Спустя какое-то время дан был Лидой обед, то есть: зеленый пенный суп из баночного шпината с яйцом и сметаной и обещанные Селивохиным блинчики. Рамзайцев неожиданно для себя сохранил после выпитого почти ясную голову и почувствовал раскованность, обычно ему не свойственную; он был в ударе – не застенчив и не нагл, разговорчив, но не болтлив; явно понравился Лиде, развлек ее. Ей явно было скучно, и она хотела внимания. Но она ушла и занялась своими делами; Лида дала понять, что у нее есть свои дела, не уронила себя, и Рамзайцев почувствовал, что плохо или хорошо, но в этом доме налажен свой семейный порядок. А Селивохин сказал:

– Между прочим девять.

– Ну и?

– В кафе «Терек» есть еще коньяк.

– В кафе всегда есть коньяк, – резонно заметил Рамзайцев. – Но денег у нас нет.

– Да-а... Я-то у Лидки вынул из заглашника 15 рублей. Заняла она тут на пальто, да ведь, братец, сколько ни занимай, всего не купишь...

– Слушай, Селивохин...

– Брось ты. Что за дела? Добавит. Она же работает. Она же соль земли, не то, что ты да я.

– Красивая у тебя жена, – назидательно сказал Рамзайцев.

– Подумай лучше не о чужой жене, а о своей душе. В плане «Терека».

И они пошли в «Терек», и взяли дагестанского «три звездочки», взяли так, как берут в кабаке перед его закрытием, то есть в той атмосфере скандала и назревающей драки, которая никогда почти не раздражается дракой и которая послана, должно быть, только затем, чтобы, скрепив участием в общей переделке случайное по видимости приятельство, санкционировать новообразованную, ненадежную, острую дружбу...

Искушенный провинциал Рамзайцев грел стакан с коньяком в руке и смаковал каждый глоток, думая, как все-таки малокультурны даже лучшие из москвичей: пить коньяк залпом, словно он уже ничего лучшего не достоин; искушенный москвич Селивохин прямой рукой направлял коньяк в горло: после двух бутылок «Иверии» он не видел никакой возможности расчувствовать вкус и запах чего бы то ни было и мог в создавшемся положении стремиться только к тому, чтобы по крайней мере дойти до кондиции, памятуя при этом, что прямая – наикратчайшее расстояние между двумя точками; все-таки эти... из глубинки, ласково думал он, глядя на ладонь Рамзайцева, бережно охватившую стакан, безнадежные снобы, даже вот такие миляги...

Что интересно: алкоголь вовсе не обнажал «ядра» или «глубины», никаких «масок» не «срывал», а как раз наоборот – чем дальше, тем ретивее и искреннее исполнял каждый свою сегодняшнюю роль свободного художника, роль, наполняемую Селивохиным характер-

ностью «московского озорного гуляки», а Рамзайцевым – немного навязчивой, но в целом приятной серьезностью провинциала; и чем дальше каждый уходил от самого себя, от того, что в них обоих, да и во всех людях действительно было общего, – тем с большим удовольствием почему-то они братались, словно союзные войска на Эльбе.

Потом выпили по последней, хлопнули, не сговариваясь, так просто, словно еще оставалась выпивка, словно не надо было растягивать удовольствие. А между тем оба были уже в той стадии, на которой кончается шальная радость опьянения, на которой некрепкие люди торопятся заснуть или отправляются в ванную; но где зато квалифицированно пьющие, взяв, наконец, нужный разгон, катят далее без остановок и, ставши частицей стихии питья, воспринимают всякое ограничение в спиртном столько же болезненно, как вечером ребенок – уход родителей из дому; именно к таким людям принадлежали и два новых друга. Но, сочувственно глядя на многочисленных своих собратьев, уничительно тянувших последнюю рюмку, распределяющих ее на три-четыре глотка, шарящих потом по шкафам в поисках недопитого, и Рамзайцев, и Селивохин воспитали в себе умение пить последнюю, умение на свой лад столь же редкое, как умение уходить из гостей. И мгновенно в две души оценили они – каждый в другом – именно себе подобного, умеющего о т к а з ы в а т ь с я, и этот приятный пустячок сблизил их окончательно.

Потом Селивохин ушел спать, постелив сначала Рамзайцеву белое белье на продавленном диване. Было три часа утра.

Лида спала неслышно, прижавшись к стенке и оставив мужу две трети места и одеяла. Селивохин лег на спину и, вдыхая взамен выдохнутого перегара все то, чем тянет в открытое окно первого этажа от земли и

травы под утро в начале сентября, попытался заснуть. Сделать это было непросто. Ни в чем так не сказывается истинный, нематериальный характер действия алкоголя, как в самочувствии человека, прервавшего, наконец, длительное застолье, чтобы отойти ко сну. Оставшийся в конце концов наедине с собой человек чувствует особенно остро, что то самое состояние, которое еще пять минут назад доставляло радость и душе его, и телу, – что оно же самое пять минут спустя воспринимается как мучительное, непереносимое состояние. Ибо спиритуальная энергия, внесенная спиртом в душу, зовет ее на иллюзорные подвиги, ведет к миражным дружбам, общностям, любовям, щедро вознаграждая до поры до времени иллюзорными же радостью, теплом и блаженством; когда же человек остается в одиночестве, энергия эта, не имея возможности перемещения, перетекания из одного партнера в другого, соединяя их пьяным захлестом – словом, всех возможных иллюзий полноты и динамики жизни, обнаруживает вдруг свой разрушительный, демонический характер, мучительно-ощутимо отравляя своего временного хозяина или, точнее, раба. Хуже всего в этом состоянии человеку, находящемуся, как это было сейчас, с Селивохиным, в том скверном промежутке между четкой «нормой» и резким перебором, где человеческий организм не только испытывает сотрясение от происходящих в крови и душе дурных процессов, но еще и слышит это сотрясение, недостаточно оглушенный, чтобы заснуть. В голову лезло все то, о чем он меньше всего хотел бы думать.

Селивохин давно уже знал, что может быть в этой жизни только поэтом и больше никем. Он написал довольно много, пока не начал писать по-настоящему, а как только это произошло, стихи перестали даваться ему легко. Тогда-то он понял, что писать стихи – работа, которую трудно совместить с нормированным рабочим днем. И он сделал выбор: стал профессиональным поэтом, то есть человеком, устраивающимся на работу

лишь тогда, когда чувствовал шестым чувством – чувством поэта, а значит правонарушителя, что им вот-вот заинтересуются, – и лишь до тех пор, пока его терпели на очередном месте (будь то Дом народного творчества или Общество спасения на водах), потому что служебная карьера человека, внутренне не держащегося за свое место, всегда висит на волоске. И он уважал себя за то, что осмелился на выбор в наше неразборчивое время.

Но Селивохину очень трудно было все время уважать себя: здравый рассудок его, рассудок душевно здорового, взрослого, семейного человека смеялся над его же сознательным выбором, говоря, что профессия – это то, что кормит, а хорошая профессия – то, что хорошо кормит. Профессия Селивохина в этом смысле профессией вовсе и не являлась, и гордая мысль о нищете какого-нибудь Рембрандта или Верлена мало помогала. Верленова жизнь спрессовалась в одну точку прошлого, а жизнь Селивохина состояла из бесчисленных мучительных минут настоящего. А между тем Селивохин помногу работал и твердо знал, что пишет сейчас лучше, точнее и свободнее очень многих. И знала это вся молодая поэтическая Москва; но толку от этого было едва ли не больше, чем с козла молока. Стихи Селивохина странным образом «не шли» и, что бы ни делал он с ними, добросовестно пытаюсь сохранить овец и накормить волков, продолжали «не идти» по-прежнему.

Одним словом, Селивохин – человек 28-ми, с душой, по-русски доступной голосу совести, – к нынешнему, 1978 году прочно сидел на шее родных и близких. Вот почему, хотя он и не сомневался в правильности своего выбора, но очень сомневался в самом своем праве на этот выбор. Стол его не вмещал уже исписанной бумаги, а люди, начинавшие с ним в одно время, один за другим, опубликовав положенную пару книг, вступали в Союз. Чувства вины, страха и одиночества постоянно томили его. Он знал: где-то рядом бродят

собратья по выбору; их не может не быть в восьмимиллионном городе. Только вот где они? Как нужен хоть кто-нибудь, хотя бы один такой же, как ты, встреченный на утомительном пути искусства, где труд подобен крестьянскому: сезонные работы чередуются с сезонным бездельем, и главное – не спиться до весенней пахоты за долгую зиму непризнания.

Селивохин устал ждать попутчика, как устал еще раньше ждать успеха, и держался только привычкой к верности себе, иначе называемой терпением. И вот, когда уже и терпение иссякло, наконец-то пришла подмога. Подмога эта, как и всегда, пришла оттуда, откуда на нее менее всего приходилось рассчитывать: из какого-то Куйбышева, одной из множества дыр на карте страны, о которой Селивохин знал только то, что находится она где-то на Волге и раньше называлась как-то иначе. Кажется, Саратов или Самара. Или Сызрань. Но, как бы ни называлась эта дыра, вылезший вдруг из нее Рамзайцев сделал это весьма своевременно. Наверное, он писал плохую, провинциально-манерную, может быть, даже ненавистную Селивохину интеллектуальную прозу. Но что-то было в его «глубинном» занудстве, в гусиной косой постановке его головы на длинной изогнутой шее, в выворотной, лапчатой походке гуся; что-то стояло в его тоскливых, тощих глазах такое, что было важнее прозы и даже стихов. То, отчего Селивохин почувствовал наконец: жить стало веселей.

Дудки. Покуда можно – живи как живешь и думай не о выходе в свет, а о вещах посерьезнее. Да и что такое этот «выход в свет»? Больше одного тонкого сборника в пять лет молодому поэту не грозит ни при какой погоде. А если через пять лет – война? Это очень даже может быть! Кто запомнит хотя бы имя «В. Селивохин»? В серии, допустим, «Молодые голоса»? Никто и никогда не запомнит! А кто запомнит, того шарахнет бомбой, и все. Селивохину стало не по себе, как становилось все чаще.

Он прижался к равномерно теплой спине жены. Взрослый мужик не имеет права жить в долг, подумал Селивохин, напоенный оптимизмом женского тепла: по крайней мере, у него не должно быть ощущения, что он живет в долг. И потому... потому я выступлю на совещании молодых... через два месяца... и меня... могут... наверняка рекомендуют на книгу... мне есть что показать... я не зря... не зря, египетская сила... Селивохин еще крепче прижался к Лиде. Он любил ее, как умел. То есть всегда возвращался к ней, что бы там ни было. Ему нужна была тревога сближения, неизвестности, кочевая воля случайной встречи, нужна, чтобы – жить, так как жизнь поэта и есть, собственно, всегда встреча и освоение открывающейся ему в этой встрече неизвестности. Но жизнь обжитая, знакомая, с в о я нужна была Селивохину еще больше: чтобы выжить. И потому он любил Лиду пусть и не той невозможной после 9 лет брака любовью, которой именно и хотят почему-то женщины, но зато любил любовью по-своему верной и, безусловно, основательной.

Селивохин заснул, и приснился ему обычный сон: остановка сердца и падение в черную яму. Он знал, что это всего лишь сон, и сделал усилие, чтобы проснуться.

Сигареты кончились. Рамзайцев, пошарив в пепельнице, нашел бычок поприличнее и занялся милым сердцу делом: залез в чужую библиотеку. Достаточно было одного тренированного взгляда на книжные полки, чтобы понять: хозяин их, Селивохин – хотя и мастер пить стаканом, но человек редкой в художественной среде любознательности. Уже одно соседство бергсоновской «Материи и памяти» и доэмигрантской книги С. Н. Булгакова «Два града» могло о многом порассказать; а на соседних полках, среди обычной всячины, попадались книжки ничуть не менее интересные. Импортный дымок раздваивался на волокна – серое и голубое; Рамзайцев, опять ощутив давление сконцентрированно-

го покоя – на сей раз, правда, пополам с головной болью от отрезвляюще-долгого питья, – в третий раз пытался ответить себе на вопрос, откуда он, этот покой. Он чувствовал, что разгадка совсем рядом, она более чем проста. Но разгадка не давалась ему.

Он напряг все силы, чтобы заставить себя расслабиться. Не ломать понапрасну голову. Он протянул руку, взял не глядя книгу с полки, лег; он не мог заснуть, не прочитав хотя бы десяти строк. Старые пружины закрипели: Рамзайцев раскрыл книгу наугад и с усилием – похмельная боль вступила в затылок – всмотрелся в страницу. «Д'Артаньян чувствовал, что тупеет». Он вздрогнул и посмотрел на номер страницы: 318. Книга выпала из его рук. Все сомкнулось; разгадка пришла.

Как это бывает часто в нашем сознании, где вспыхивает вдруг и тут же исчезает образ, говорящий: ЭТО с нами уже было, – так именно происходило сейчас с Рамзайцевым на с а м о м д е л е. Точно так же когда-то у себя дома снимал он перед сном не глядя книгу с полки, и всегда почти это оказывались «Три мушкетера», точно такие же, издания 1959 года, в серии «Библиотека приключений», и открывалась книга чаще всего на той же 318 странице (что при желании можно было, конечно, объяснить какими-то особенностями брошюровки всего тиража или его большей части), и глаз упирался в ту же самую фразу. Д'Артаньян чувствовал, что тупеет. Рамзайцев чувствовал, напротив, что в мозгу у него просветлело; он ясно увидел теперь, что не только завершение вечера, но и весь долгий сегодняшний вечер в точности, до мелочей воспроизводит то, что происходило когда-то. Совсем недавно. Давным-давно. Дома. Когда у него еще был свой дом.

И его дома ждал такой же обед, только мать сначала крошила яйцо в тарелке, а потом заливала зелеными щами, и блинчики были не из кулинарии и подавались не со сметаной, а с растопленным маслом. И тот же треп по вечерам, и та же «Иверия» или «Колхети» за те

же 2.72, перешедшие потом в те же 3.10. Та же шести-метровая кухня, белый потолок; и белое белье. И каждому свое полотенце в ванной...

Сегодняшнее чувство легкости и уюта объяснялось всего-навсего тем, что из настоящего, всегда чреватого будущим, а значит – всегда несущим неизвестность, угрозу, опасность, он на несколько часов переместился в прошлое, в у ж е п р о и с ш е д ш у ю часть жизни, то есть в жизнь с отжатой, выкачанной (подобно кофе с выкачанным кофеином) из нее неизвестностью будущего и потому милой той особенной милотой мира и безопасности, которая свойственна еще разве что детям и домашним животным.

Только тем, что его инстинкт самосохранения медленно, но верно затапывал и утрамбовывал сначала былые привычки, затем – самую память об этих привычках, и наконец – мысль о том, что ему, Рамзайцеву, вообще как индивидууму свойственно иметь индивидуальные привычки, – только наступившим в конце концов забвением объяснялось, что простейшая, элементарнейшая разгадка так долго не приходила ему в голову.

А ведь я так хорошо забыл всё Все свое забыл с собой Я думал мое это уже чужое Что я не я

Он забыл себя на двухнедельной раскладушке в Чертаново и в январском холоде нового, неоттапливаемого дома в Ясенево; в восьмиметровой, одна – на троих, комнате с соседкой-шизофреничкой на Дмитровском шоссе и в кресле-кровати, подобном гробу, стоящем по адресу Яблонный пер., 26/1 – этого адреса никто не знал, хотя переулок находился в самом центре: дома 26/2, 25, 24, 5, 4, 1 и др. по этому переулку отсутствовали.

Он забыл свое прошлое, зато помнил все адреса, куда его пускали на две, три недели «за так» – знакомые знакомых, просто Христа ради. Но он помнил и другие места, стоявшие денег. Это были: ул. Красный Казанец, метро «Ждановская» – квартира с доморо-

щенным дизайном типа «зашибись»; Есенинский бульвар, метро «Кузьминки», с двумя стариками-политка-торжанами; Рязанский пр., метро «Рязанский проспект», пол паркетный, вторая комната с мебелью и книгами заперта... Ему начало казаться, что он так и умрет где-нибудь в дороге по этой ветке метро, в лучшем случае в районе «Пролетарской», не доехав до Садового кольца, где, казалось ему когда-то, так приятно пройтись. По Чистым прудам, конечно, по Чистым прудам, где, как известно каждому провинциалу с запросами, лебедь белый плывет...

Но и это было только одной из забытых привычек, точнее, одной из немногих не совсем забытых. Чистые пруды давно не веселили глаз, и проехать на трамвае от метро «Кировская» до пивной на Покровке было куда приятней пешей прогулки по Чистопрудному бульвару. Особенно зимой.

Зимой Рамзайцева продуло насквозь, зимой из него выдуло множество дурных привычек. Зимой он точно понял: каждый получает то, чего он хочет. Главное – не ошибиться в желаниях. Дома он хотел свободы, пространства. Мира, а не мирка. Ему выдали первое, второе и третье. Тоску одиночества, декабрьский ветер от Бирюлева до Бибирева, расставленные на десятки километров друг от друга точки п р и - тковения. Явки. У-у, змеиные щели, мышьиные дыры, тараканьи пищащие трубы! У, эти разговоры... Разговоры о тантризме и чань-буддизме, о Флоренском и Федорове, Симеоне Новом Богослове и блаженном Августине. И – голодание по Брэггу, сыроядение, диеты Шелтона. Душа, желудок и выезд. Главное – выезд. Без национальностей, прошу вас. Там и нашим, и вашим хватит места, Европа большая – был бы человек хороший. Все туда, в 4-й интернационал. Но – письмо Пушкина Чаадаеву, но – Ахматова. Мне голос был, он звал утешно... В рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Остаемся. Все остаемся на родной убогой родине. Но Ива-

нов, но Петров, но Рабинович... Да о чем речь, все равно ведь не выпустят. Рамзайцев не возражал ни тем, ни другим. Родина, судьба, крестный путь... Пусть так. Но кто может знать наперед, в чем его крест, и как измерить участие в судьбе родины проживанием внутри или вне государственной границы? Можно привести сколько угодно исторических примеров – и с той, и с другой стороны; но что они доказывают? Но личный опыт миниэмиграции подсказывал Рамзайцеву куда более простое: получаешь всегда меньше того, что теряешь. Ибо получаешь то, чего не имел, с чем не успел еще сжиться; теряешь всегда то, что имел, то есть часть себя. А этого лучше не делать, потому что, когда между тобой и тобой же образуется разрыв, расстояние, оно неизбежно заполняется ранее незнакомой, невыносимой тоской разрозненных частей по утраченной целостности самоощущения, той неистово-безнадежной жаждой воссоединения, которая – а вовсе не сам по себе оставленный дом, город или страна – и есть ностальгия. И бояться потому надо не чужого языка, обычая или привычки работать, а не бить баклуши, не того, что там все «другое», а того, что ты – уже не «свой». Бояться надо неизвестной величины времени, которое потребно, чтобы утраченное «свое» стало чужим – ибо тогда только чужое может стать «своим». Бояться нужно того, что не хватит сил прожить это время с тоской по себе в груди, дожидаться, когда его пройдет столько, сколько нужно, чтобы ты умер и родился заново. Сил пережить свою смерть.

Случай Рамзайцева был куда проще: он мог поехать домой в любой момент. Он мог вообще вернуться домой. Насовсем. Но он знал, что это невозможно. Прав Кафка, записав в дневнике: почему чукчи живут на Севере? В любой другой точке земного шара им жилось бы лучше. И ведь все, что возможно, происходит. Да, но происходит только то, что возможно. Но, мог бы добавить Рамзайцев, по той же неведомой причине, по кото-

рой всем вообще чукчам невозможно покинуть Север, тем немногим чукчам, которым все-таки предначертано его покинуть, невозможно возвратиться назад.

Рамзайцев кое-чему научился. Понял, что беда не в одиночестве, а в тоске от одиночества. А тоска – это такая вещь, которая уже зависит от тебя. Это порождение твоей же мысли о том, что тебе плохо. Это все та же п а м я т ь о себе. Когда чувствуешь себя частицей хаоса, выделенной из хаотического целого. Это неверно. Если сменить представление о вещах на более верное, все остальное подстроится само собой. Он так и поступил и понял, что поступил правильно. И вот, привыкший наконец к холоду и раздражению нервов, научившийся брать, где дают, спать, куда положат, и безо всякой жалости расставаться с любой случайной радостью, будь то выставка или выпивка, приятный собеседник или милая женщина, забывший о собирательстве книг и любом вообще тяжелом имуществе, расставшийся со всеми иллюзиями относительно своей значимости и важности своих неповторимых переживаний, – и вот теперь битый, ученый, поумневший Рамзайцев столкнулся в чужом доме с тем, что, казалось, было оставлено им так далеко позади, чего, может быть, и вовсе не было никогда в его жизни. Но теперешняя встреча с прошлым доказывала, что оно Б Ы Л О, и доказывала еще, что все, что б ы л о – е с т ь; а значит забвение – липа, значит, он, Рамзайцев, обречен на то, чтобы всегда, до самой смерти, носить в себе то, что он безвозвратно утратил. Обречен на сизифов труд ностальгии, в то время как счастливицы вроде Селивохина просто по праву рождения... Мысль эту не хотелось додумывать до конца, так как это грозило последствиями, предсказать которые было легче, чем пережить.

Вечное возвращение. Восточный циклизм. Платон. Эта жизнь как припоминание того, что уже было в прежней. Тьфу ты пропасть, подумал Рамзайцев, куда

меня занесло. Куда мы приехали. Вот же ёкорный бабай, как говаривал когда-то друг мой дядя Гриша Пипси.

Он чувствовал, что мертвое прошлое тянет его назад всей домашней, ласковой и неодолимой силой многолетней привычки, тянет цепкой рукой мертвяка, желающего утянуть с собой все живое; можно было только радоваться, что ты пьян и не в состоянии испугаться по-настоящему. Все-таки он принял меры и блокировал очаги возбуждения. Он всегда имел при себе набор успокоительных и снотворных, которые использовал смотря по обстоятельствам. Прикинув теперешние обстоятельства места, времени и образа действия, Рамзайцев решил обойтись простым элениумом.

Но и во сне – если считать сном то неопишное, во что ввергнул он себя, помножив действие отечественного спиртного на силу импортной химии, – его не оставляла все та же мысль; лишь наутро ее вытеснила другая – о холодном пиве. Почему все-таки нет ни одной вещи о которой потерявши ее ты не заплакал бы что имел ее и не сохранил Ни одной даже самой дрянной и гадкой даже такой что глаза бы на нее не смотрели что ты даже из дому уехал чтобы только на нее не смотреть и вот на тебе Почему обо всем прошедшем омертвевшем ороговевшем стоит что-то порвать стоит оставить всего лишь место где все происходило произошло и прошло вспоминаешь непременно как об утраченном с ч а с т ь е Обо всем, обо всем без исключения обо всем...

Лида проснулась от стога Селивохина, с привычной ненавистью и привычной нежностью потянула мужа за плечо. Тот что-то пробормотал, открыл глаза, убедился, что жив, и моментально заснул снова. Лида, если просыпалась, заснуть не могла. Голова раскалывалась. Из открытого окна глядела серая тихая Москва и тянуло всем, чем тянет от земли и травы на рассвете.

Лида терпеть не могла омерзительного запаха утренней сырости. Слишком часто приходилось ей встре-

чать рассвет, вся поэзия его сосредоточилась для нее в одном слове: выспаться. Лида работала ровно восемь часов в день, от звонка до звонка – и ровно восемь часов от звонка до звонка ненавидела свою работу. Она ненавидела ее беззаветно. Но в те дни, когда Лида еще и спала 4-5 часов в сутки, в душе ее просыпались добавочные силы и она ненавидела уже не одну работу, но весь мир, а более всего – бездельника-мужа, который, устроив ей веселую ночь, спокойно спал, когда она вставала, спал, когда она уходила, и продолжал себе спать даже тогда, когда она уже приступала к работе.

Все. Теперь она уже не заснет. Знакомая мысль возникла в ватной ее голове. Мысль эта была много моложе, чем сам недосып, но тоже родилась не вчера. Поэтов можно в книжках любить если есть свободное время а замуж выходить так за хорошего человека но пока ты до этого сама дойдешь пока вся дурь выйдет он у тебя всю твою душу вытянет и захочешь не уйдешь потому что никаких сил уже не будет хотеть по-серьезному потому что ничего у тебя дура умная не останется за душой кроме него.

Эту мысль не следовало понимать буквально. Лида вовсе не хотела другого мужа. Просто она хотела, чтобы ее собственный муж к ней по-другому относился. Она простила бы сотни часов недосыпа. С любовью, с тихой любовью просыпалась бы она по ночам, охраняя спокойный сон Селивохина. За одно только. Чего не дожидаться никогда.

За то, чтобы не: «Я – поэт». «Я – поэт», сквозящее в каждом его слове, жесте, поступке. В его приходах под утро или наутро, в его пьянках, в его не-звонках и не-предупреждениях, в его виноватом презрении к упрекам, угрозам, просьбам и требованиям. «Я – поэт», – то есть: «Я – человек». Она – жена, кухарка, уборщица, но не-поэт, то есть: не-человек. Ее можно жалеть, любить, терпеть, но не: считаться. Вот что не давало ей покоя даже и теперь, когда она кое-чему научилась. Терпению

и милосердию, которые она считала непростительной женской слабостью.

Хуже всего, что это его «Я – поэт» не было программным. Напротив, искреннейшим образом Селивохин презирал всякую позу, «наделенность». Он обиделся бы или устыдился, упрекни его в этом. И стыдился, и обижался, и отвергал, и вытравлял из души, да, видно, горбатого могила исправит. У каждого свой крест; особенно если он – поэт, подумала Лида и поймала себя на том, что уже и думает себе вопреки, в манере мужа.

Из-за стены раздался густой храп Рамзайцева. Надо же, тоскливо удивилась Лида, на вид – так не скажешь, что может храпеть, как извозчик; хорошо, хоть мой не храпит. Рам-зайцев. Рамзес. Зайцев. Так-то он ничего, держится приятно, хоть и дерганый. Хоть и петух, как все пьяные мужики. Вот странное дело, что пьяная баба самой себе противна – и правильно, а пьяный мужик собой налюбоваться не может. Нет, честное слово, им бы начать штукатуриться и завиваться, припудривать мешки под глазами, посидеть разок-другой перед зеркалом – глядишь, научатся видеть себя со стороны. Да вот беда, им нужды нет, их не за красоту берут. А так – ничего этот Рамзайцев. Интеллигентный. Но пьет – моему под стать. Надвигается волна событий. Жизнь идет. Не соскучишься.

Все так. Жизнь идет. Скоро зарплата. Доложу тридцатку, куплю пальто. Но...

Все-таки она не могла до конца понять. Она понимала, что Селивохин заинтересован в ней. Что этого достаточно, чтобы взрослые люди не кидались друг другом. Но она бы хотела самую капельку, чтобы он еще и испытывал к ней, скажем, интерес. Это очень, очень приятно – когда ты вызываешь у мужа интерес. Лида пробовала проверять, способна ли она вызывать у мужчин интерес, но в тот самый момент, когда убеждалась – безусловно способна, почему-то остро чувствовала:

по-настоящему ей хотелось заинтересовать собой только одного мужчину – Селивохина.

Но почему же он?.. Привык? А вот ей же не мешает привычка. Призвание уводит? Но ведь вот же физиков и всяких... Тоже ведь уводит, а она читала, среди них много таких... хороших. Эйнштейн вроде бы. Цветы поливал. Лида представила себя цветком, который поливает Селивохин. Из большой голубой лейки. Лида была скромна, но считала такое к себе отношение вполне заслуженным. Она – бутон. Чайная роза. Вот она просыпается, раскрывается на рассвете. Навстречу солнцу – мужу. С радостью, без злобы и головной боли. Мечта! Гос-по-ди... Несчастливая жизнь, несчастная.

Голова раскалывалась. Подушка слежалась. Шею ломило. Лида высунула левую пятку навстречу потоку сырого воздуха. Холод чуть-чуть успокаивал, заставлял чувствовать, как тепло и уютно под одеялом. Но мысль о необходимости заснуть и страх неотвратимой, скорой пробудки, противоречия друг другу, держали в напряжении. Ах, думала она. Ах, Селивохин же ты Селивохин. Почему ты не Эйнштейн? Почему не Маленький принц?.. Лида заснула в половине седьмого. В семь должен был прозвенеть будильник.

А там, от Юго-Запада до Преображенки, от Беляева до Мёдведкова, от Каховской до Речного Вокзала, там, в Чертанове и Бирюлеве, в 18 микрорайонах Ясенева общей площадью с Краков или Бонн, и еще дальше, в Люберцах, Мытищах, Одинцово, Поварово, – там уже шло целенаправленное движение. Перемещение огромных косяков людей внутри круга радиусом около 20 км с пересылочными пунктами в центре началось около 6 часов утра. Уже к половине седьмого миграция приняла повальный характер. Пока еще уходил под землю, в нижний город, в преисподнюю жизнь Москвы, где сталкивался на короткое время и навсегда расходился, пока еще брал с боя электрички в основном фабрично-

заводской люд, продавщицы и учителя. Кое-где мелькал и портфель посолиднее учительского, и галстук в тон костюму, и костюм под стать галстуку, впрочем, не целиком, а так, краешком, лацканом или застежкой виновато выглядывал в мир из гущи сдавленных и сдавливающих масс. Час второй утренней очереди, час, когда гармонические взаимоотношения галстука и костюма хоть отчасти отвоюют себе право на жизнь, еще не пробил; он пробьет в 8 – 8.10 и уже в 9 сменится часом двуспальных авосек через плечо, а там, в результате многих эволюций, диффузий, пробьет час социального равенства, то есть час пик: лайковый австрийский пиджак смешается с сэвовскими брюками и тульско-рязанской олимпийкой, улыбнется с пластикового мешка Джоконда – и вдруг протечет размороженной кровью мяса, влекомого из Лианозова на Казанский вокзал; а там уже, стиснувшись до хруста костей, сокрушения чрева, скрежета зубов, сольется, смешается все в одно многоголовое, страшное существо и... но все остальные живы, а это главное.

Сейчас, в половине седьмого, пиджаки, и портфели, и галстуки – это пока еще собаководладельцы, еще физкультурники, еще слушатели первой программы радио. Они еще кое-что мнят о себе. Но пробьет, пробьет и их час выйти из дома, и очень скоро пробьет, как, повторяю, пробьет час и всех нас... Но не стоит об этом.

Там, внутри круга радиусом 20 км, уходили под землю, чтобы где-то выйти на землю, люди первой очереди. Они не представляли себе зрительно отношение той точки внутри круга, где они спускались, к той, где они поднимались. Они и не думали об этом, ни о многом другом. Те, у кого была семья, думали о том, о чем думает человек рабочий и семейный, а холостые думали о том, о чем думают рабочие и холостые. И не было среди них стариков и детей, чтобы думать о такой ерунде, как круг и точка, секунда и вечность, смысл жизни и назначение смерти.

Стариков и детей не было среди них. Но среди них было много мужчин и женщин. Женщин с правом на труд. И многие женщины были красивы и молоды, заводской или институтский пропуск лежал у них в косметичке рядом с английской или французской помадой, изготовленной где-нибудь в Сирии. Но и красивые, и некрасивые, в равной мере имели гладкую или шершавую, глянцевую или пористую кожу, и разнообразные глаза со зрачками в них, и брови, и губы в прожилках, как доли апельсина, и голубые вены, обозначенные там, где положено, и обтянутые кожей крылья ключиц, и кисти рук с характерными женскими, эллипсовидными ногтями, и множество других дивных вещей, которыми Сила Небесная их – одарила. Вещей, которых могло и не быть, и даже скорее всего; и то, что они есть, эти локти, спины и зады, и даже прыщи, угри и бородавки, гораздо значительнее того, считаются они красивыми или не очень.

Сколько из всех этих женщин за одно только: «Я – поэт. Иди ко мне. Я назову все, чем ты одарена, правильным именем – чудо», – отдали бы жениха из общечития, мужа из соседнего цеха, КБ или СМУ, пропуск, самое право на труд, оставив себе разве только молодость и косметичку? Кто сочтет? Но поэты не часто попадают на их пути, а попавшись, как правило, проходят мимо, и, может быть, в этом только они и правы. Печальное существо – женщина, не узнавшая любви и очарования, но разочарованная женщина печальнее всего крат.

Через полчаса встанут и пойдут под землю сослуживцы Лиды: и те, что завидуют, и те опытные, что сочувствуют ее замужеству, и те, что с н и с х о д я т, имея настоящего мужа. Уже встали или встанут через полчаса-час и те мужчины, которые завистливо или фамильярно, и чем завистливей, тем фамильярней будут пить с Селивохиным, когда тот сделает, наконец, себе имя. А некоторые с удовольствием выпьют с ним и

раньше – те, кто подвержен не гипнозу имени, а обаянию личности, столь счастливо обнаглевшей, чтобы не иметь ни гроша и спокойно спать до десяти.

Но в круге радиусом 20 км найдутся даже такие, кто в половине седьмого утра не просыпается, не засыпает и не спит. Этим утром к ним принадлежу я. И еще араб, которого видел Рамзайцев из окна квартиры Селивохина. Араб этот вовсе не сириец, а палестинец из Организации Освобождения. Он никого не содержит, не пьет, не курит и много думает. Тихо лежит он в номере общежития квартирного типа в Беляево, лежит в кровати с язвой в желудке, с думой на сердце и с серьезной девушкой рядом. Эта девушка приехала в Москву по лимиту. Она приехала лечиться от несчастной любви. Сегодня она забеременела и начала по-настоящему серьезную жизнь – жизнь будущей матери. Но она еще не знает этого; тихий араб ласково гладит ее по голове, смотрит в окно на серое небо и думает о жаркой, покинутой Палестине.

Москва. 1980

ЛАПИДУС Юрий – литературный псевдоним Юрия Малецкого. Родился в Куйбышеве, по образованию филолог, живет в Москве, работает экскурсоводом, сейчас ему 36 лет. В «Континенте» была напечатана его повесть «На очереди».

ПРЯЖА АВГУСТА

Мих. Генделеву

1

Дым исповеди – зыбкая забава.
И ест глаза.
И разрывает грудь.

Возьмем почин недавних лет.
К примеру – письма.
В них непременно жалобы на солнце...;
ну что тут скажешь? –
гнусный климат.
А где хранить наследие такое?
Разбухло все от сырости, раздулось.

Вот я и мыслю – будем экономней.
Давайте соберемся хором,
письмо напишем –
ничего не утаим.

2

Листья тех ручьев начальных
заведомо любимы
как в памяти их тени ворошишь.
Еще бы! –
подпалить гербарий!
оставить лишь клочок палитры!
А были хрупкие –
уронить боялся!

Вот –
так и сказано: казнил.
И только тьма проглядывает.
Там...

3

...летим.
И извергаем семя
в словесность нашу брошену в пески.

Один – другому,
– Тогда и потаскался по Синаю ищущи места.
Мало Палестины.
Еще как йог
душа к спине могла прилипнуть
на день-второй без ломтя,
молод был.
Теперь не то.
Рассохся. Рассыпаюсь.
Ведь тридцать три никак!
Не просто тридцать два.
Смотри-ка, снова звезды...
Да, и представь –
набрел!
Родник из глыбы пробивался.
Холоднющий!
А рядом
с сердцевиною ядовитою
стояло дерево.
Я пил
и жесткие плоды срывая
в тени пережидал
зенит Весов.

Затем
когда уйти пришлось –

оскомину набил
исповедальный мрак пустынный –
два неразгаданных огня
вдали перемещались.
Я шел за ними.

4

Итак!
вернемся в русло жанра.
Свое поместье опишу в подарок.

Чисто.
Ни пылинки.
Зато какая птица
тончайшей бронзы ножками уперлась
в льняные занавеси струи.
Ус.
Глазок.
Брюшко кинжальное.
Павлиньи лилии слюды сокрылий.

Ну,
и еще перо –
изгрызанное гнutoго металла.
Кусочек сердца – тоже золотой –
звенит в ладони.
Устья уст.
Язык.

СТЕЛА

Что создано огнем
огню принадлежит по праву, –
счастлив кто видал
моей земли и грань и пуповину.

Напоминаю –
чаша мертвых вод
заросшая вся в каменных морщинах
стоит на углях.
В ней
улыбкой тени магний блеска тает.
То свиток разворачивает высь.

И от начал от самых
эта стынь
стоит к востоку –
там пылает свет.
Бескрайний воздуха собор
его волной захлестнут,
все пути прозрачны.
Какой земли так выстилан им прах!
Каких еще просторов?

Я – свидетель:
блажен
кто восходил к ее истокам.

ТАРАСОВ Владимир – родился в 1954 году, в Москве. Эмигрировал в Израиль в 1974 г. Соредактор (вместе с Сергеем Шаргородским) и участник литературного альманаха «Саламандра». Автор стихов и поэм «Азбука» и ряда критических статей и эссе. Основные публикации – журнал «22», альманах «Саламандра».

СОЛО НА ИБМ

Из записных книжек

ОТ РЕДАКЦИИ: Десять лет назад автор опубликовал свои записные книжки под заглавием «Соло на Ундервуде». Сейчас им подготовлен к печати их следующий выпуск, который будет называться «Соло на ИБМ», поскольку в новую книгу войдут записи, сделанные уже в эмиграции.

Зашла к нашей матери приятельница. Стала жаловаться на Америку. Американцы, мол, холодные, черствые, невнимательные, глупые... Мать ей говорит:

– Но у тебя же все хорошо. Ты сыта, одета, более-менее здорова. Ты даже английский язык умудрилась выучить.

А гостья отвечает:

– Еще бы! С волками жить...

В Ленинград приехала делегация американских конгрессменов. Встречал их первый секретарь ленинградского обкома Толстиков. Тут же состоялась беседа. Один из конгрессменов среди прочего заинтересовался:

– Каковы показатели смертности в Ленинграде?

Толстиков уверенно и коротко ответил:

– В Ленинграде нет смертности!

Лет тридцать назад Евтушенко приехал в Америку. Поселился в гостинице. Сидит раз в холле, ждет кого-то. Видит, к дверям направляется очень знакомый старик: борода, измятые штаны, армейская рубашка.

Несколько секунд Евтушенко был в шоке. Затем он понял, что это – Хемингуэй. Кинулся за ним. Но Хемингуэй успел сесть в поджидавшее его такси.

– Какая досада, – сказал Евтушенко швейцару, – ведь это был Хемингуэй! А я не сразу узнал его!

Швейцар ответил деликатно:

– Не расстраивайтесь. Мистер Хемингуэй тоже не сразу узнал вас.

Знакомый режиссер поставил спектакль в Нью-Йорке. Если не ошибаюсь, «Сирано де Бержерак». Очень гордился своим достижением.

Я спросил Изю Шапиро:

– Ты видел этот спектакль? Много было народа?

Изя ответил:

– Сначала было мало. Пришли мы с женой, стало вдвое больше.

Помню, раздобыл я книгу Бродского 64 года. Уплатил как за библиографическую редкость приличные деньги. Долларов, если не ошибаюсь, пятьдесят. Сообщил обо всем этом Бродскому. Слышу:

– А у меня такого сборника нет.

Я говорю:

– Хотите, подарю вам?

Иосиф удивился:

– Что же я с ним буду делать? Читать?!

Бродский обратился ко мне с довольно неожиданной просьбой:

– Зайдите в свою библиотеку на радио «Либерти». Сделайте копии оглавлений всех номеров журнала «Юность» за последние десять лет. Пришлите мне. Я это

дело просмотрю и выберу, что там есть хорошего. И вы опять мне сделаете копии.

Я пошел в библиотеку. Взял сто двадцать (120!) номеров журнала «Юность». Скопировал все оглавления. Отослал все это Бродскому первым классом.

Жду. Проходит неделя. Вторая. Звоню ему:

- Бандероль мою получили?
- Ах да, получил.
- Ну и что же там интересного?
- Ничего.

Врачи запретили Бродскому курить. Это его очень тяготило. Он говорил:

– Выпить утром чашку кофе и не закурить?! Тогда и просыпаться незачем!

Разница между Кушнером и Бродским есть разница между печалью и тоской, страхом и ужасом. Печаль и страх – реакция на время. Тоска и ужас – реакция на вечность. Печаль и страх обращены вниз. Тоска и ужас – к небу.

Дело было лет пятнадцать назад. Судили некоего Лернера. Того самого Лернера, который в 69-м году был заметным активистом расправы над Бродским.

Судили его за что-то позорное. Кажется, за подделку орденских документов.

И вот объявлен приговор – четыре года.

И тогда произошло следующее. В зале присутствовал искусствовед Герасимов. Это был человек, пишущий стихи лишь в минуты абсолютной душевной гармо-

нии. То есть очень редко. Услышав приговор, он встал. Сосредоточился. Затем отчетливо и громко выкрикнул:
Бродский в Мичигане,
Лернер в Магадане!

Алексей Лосев приехал в Дартмут. Стал преподавать в университете. Местные русские захотели встретиться с ним. Уговорили его прочесть им лекцию. Однако кто-то из новых знакомых предупредил Лосева:

– Тут есть один антисемит из первой эмиграции. Человек он невоздержанный и грубоватый. Старайтесь не давать ему повода для хамства. Не сосредотачивайтесь целиком на еврейской теме.

Началась лекция. Лосев говорил об Америке. О свободе. О своих американских впечатлениях. Про евреев – ни звука. В конце он сказал:

– Мы с женой купили дом. Сначала в этом доме было как-то неуютно. И вдруг на территории стал появляться зайчик. Он вспрыгивал на крыльцо. Бегал под окнами. Брал оставленную для него морковку...

Вдруг из последнего ряда донесся звонкий от сарказма голос:

– Что же было потом с этим зайчиком? Небось, подстрелили и съели?!

Всех интересует, что там будет после смерти? После смерти начинается – история.

Двое ребят оказались в афганском плену. Затем перебрались в Канаду. Затем один из них решил вернуться домой. Второй пытался его отговаривать. Тот ни в какую. «Девушка, говорит, у меня в Полтаве. Да и по матери соскучился». Первый ему говорит:

– Ну ладно. Решил, так езжай. Но у меня к тебе просьба. Дай мне знак, как сложатся обстоятельства. Пришли мне свою фотографию. Если все будет нормально, то пришли мне обычную фотку. А если худо, то пришли мне фотку с беломориной в руке.

Так и договорились. Юноша отправился в советское посольство. Уехал на родину. Через некоторое время был арестован. Получил несколько лет за дезертирство.

Проходит месяц. Приезжает в лагерь капитан госбезопасности. Находит этого молодого человека. Говорит ему:

– Пиши открытку своему дружку в Канаду. Я буду диктовать, а ты пиши. «Дорогой Виталий! С приветом к тебе ближайший друг Андрей. Уже шесть месяцев, как я вернулся на родину. Встретили меня отлично. Мать жива-здорова. Девушка моя Наталка шлет тебе привет. Я выучился на бульдозериста. Зарабатываю неплохо, чего и тебе желаю. Короче, мой тебе совет – возвращайся!..» Ну и так далее.

И тут Андрей спрашивает капитана госбезопасности:

– А можно я ему свою фотку пошлю?

Тот говорит:

– Прекрасная идея. Только месяц-другой подождем, чтобы волосы отросли. Я к этому времени тебе гражданскую одежду привезу.

Проходит два месяца. Приезжает капитан. Диктует эзку очередное сентиментальное письмо. Затем Андрей надевает гражданский костюм. Его под конвоем уводят из лагеря. Фотографируют на фоне пышных таежных деревьев.

Друг его в Канаде распечатывает письмо. Читает. «Живу, мол, хорошо. Зарабатываю отлично. Наталка кланяется... Мой тебе совет – возвращайся на родину». И тому подобное. Ко всему этому прилагается фото. Стоит Андрей на фоне деревьев. Одет в приличный

гражданский костюм. И в каждой руке у него – пачка «Беломора»!

Спортивный комментатор Озеров ехал по Москве в автомобиле. Увидел на бульваре старика Ворошилова. Подъехал:

- Разрешите, – говорит, – отвезу вас домой.
- Спасибо, я уже почти дома.

Озеров стал настаивать. Ворошилов кивнул. Сел в машину.

Подъехали к дому. Попрощались. Озеров уже развернулся. Неожиданно старик возвращается и говорит, запыхавшись:

– Внуки мне не простят, если узнают... Скажут – ну и дед! С Озеровым в машине ехал и автографа не попросил... Так что, распишитесь вот здесь, пожалуйста.

Ленинград. Гигантская очередь. Люди стоят вместе часов десять. Естественно, ведут разговоры. Кто-то говорит:

– А город Жданов скоро обратно переименуют в Мариуполь.

Другой:

– А Киров станет Вяткой.

Третий.

– А Ворошиловград – Луганском.

Какой-то мужчина восклицает:

– Нам, ленинградцам, в этом отношении мало что светит.

Кто-то возражает ему:

– А вы бы хотели – Санкт-Петербург? Как при царе-батюшке?

В ответ раздается:

– Зачем Санкт-Петербург? Хотя бы – Петроград. Или даже – Питер.

И все обсуждают эту тему. А ведь пять лет назад за такие разговоры могли и убить человека. Причем, не «органы», а толпа.

Сильные чувства – безнациональны. Уже одно это говорит в пользу интернационализма. Радость, горе, страх, болезнь – лишены национальной окраски. Не абсурдно ли звучит:

«Он разрыдался, как типичный немец»?

Был у меня в Одессе знакомый поэт и спортсмен Леня Мак. И вот он решил бежать за границу. Переплыть Черное море и сдать турецкому командованию. Мак очень серьезно готовился к побегу. Купил презервативы. Наполнил их шоколадом. Взял грелку с питьевой водой.

И вот приходит он на берег моря. Снимает футболку и джинсы. Плышет. Удаляется от берега. Миллю проплыл, вторую...

Потом он мне рассказывал:

– Я вдруг подумал: джинсы жалко! Я ведь за них сто шестьдесят рублей уплатил. Хотя бы подарил кому-нибудь... Плыву и все об этом думаю. Наконец повернул обратно. А через год уехал по израильскому вызову.

Академик Козырев сидел лет десять. Обвиняли его в попытке угнать реку Волгу. То есть, буквально угнать из России – на Запад.

Козырев потом рассказывал:

– Я уже тогда был грамотным физиком. Поэтому, когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато когда объявляли приговор, мне было не до смеха.

У Хрущева был верный соратник – Подгорный. Когда-то он был нашим президентом. Через месяц после снятия все его забыли. Хотя формально он был много лет главой советского правительства.

Впрочем, речь не об этом. В 63-м году он посетил легендарный крейсер «Аврора». Долго его осматривал. Беседовал с экипажем. Оставил запись в книге почетных гостей. Написал дословно следующее:

«Посетил боевой корабль. Произвел неизгладимое впечатление!»

Драматург Альшиц сидел в лагере. Ухаживал за женщиной из лагадминистрации в чине майора. Готовил вместе с ней какое-то представление. Репетировали они до поздней ночи.

Весь лагерь следил, как подвигаются его дела. И вот наступила решающая фаза. Это должно было случиться вечером. Все ждали.

Альшиц явился в барак позже обычного. Ему дали закурить, вскипятили чайник. Потом ээки сели вокруг и говорят:

– Ну, рассказывай.

Альшиц помедлил и голосом опытного рассказчика начал:

– Значит, так. Расстегиваю я на гражданине майоре китель...

Панфилов был генеральным директором объединения «Ломо». Слыл человеком грубым, резким, но отзывчивым. Рабочие часто обращались к нему с просьбами и жалобами. И вот он получает конверт. Достает оттуда лист наждачной бумаги. На обратной стороне заявление – прошу, мол, дать квартиру. И подпись – рабочий Фоменко.

Панфилов вызвал этого рабочего. Спрашивает:

– Что это за фокусы?

– Да вот, нужна квартира. Пятый год на очереди.

– А при чем тут наждак?

– А я решил – обычную бумагу директор в туалете на гвоздь повесит...

Говорят, Панфилов дал ему квартиру. А заявление продемонстрировал на бюро обкома.

Это произошло в 20-е годы. Следователь Шейнин вызвал одного еврея. Говорит ему:

– Сдайте добровольно имеющиеся у вас бриллианты. Иначе вами займется прокуратура.

Еврей подумал и спрашивает:

– Товарищ Шейнин, вы еврей?

– Да, я еврей.

– Разрешите, я вам что-то скажу как еврей – еврею?

– Говорите.

– Товарищ Шейнин, у меня есть дочь. Честно говоря, она не Мэри Пикфорд. И вот она нашла себе жениха. Дайте ей погулять на свадьбе в этих бриллиантах. Я отдаю их ей в качестве приданого. Пусть она выйдет замуж. А потом делайте с этими бриллиантами, что хотите.

Шейнин внимательно посмотрел на еврея и говорит:

– Можно и я вам что-то скажу как еврей – еврею?

– Конечно.

– Так вот. Жених – от нас.

Лев Никулин, сталинский холуй, был фронтовым корреспондентом. А может быть, политработником. В оккупированной Германии проявлял интерес к брон-

зе, фарфору, наручным часам. Однако более всего хотелось ему иметь заграничную пишущую машинку.

Шел он как-то раз по городу. Видит – разгромленная контора. Заглянул. На полу – шикарный ундервуд с развернутой кареткой. Тяжелый, из литого чугуна. Погрузил его Никулин в брезентовый мешок. Думает: шрифт я в Москве поменяю с латинского на русский.

В общем, таскал Лев Никулин этот мешок за собой. Месяца три надрывался. По ночам его караулил. Доставил в Москву. Обратился к механику. Тот говорит:

– Это же машинка с еврейским шрифтом. Печатает справа налево...

Так наказал политработника еврейский Бог.

Был день рождения Веры Пановой. Гостей не приглашали. Собрались близкие родственники и несколько человек обслуги. И я в том числе.

Происходило это за городом, в Доме творчества. Сидим, пьем чай. Атмосфера мрачноватая. Панова болеет.

Вдруг открывается дверь, заходит Федор Абрамов.

– Ой! – говорит, – как неудобно. У вас тут сборище, а я без приглашения...

Панова говорит:

– Ну что вы, Федя! Все мы очень рады. Сегодня день моего рождения. Присаживайтесь, гостем будете.

– Ой! – еще больше всполошился Абрамов, – день рождения! А я и не знал! И вот без подарка явился...

Панова:

– Какое это имеет значение?! Садитесь. Я очень рада.

Абрамов сел, немного выпил, закусил, разгорячился. Снова выпил. Но водка быстро кончилась.

А мы, значит, пьем чай с тортом. Абрамов начинает томиться. Потом вдруг говорит:

– Шел час назад мимо гастронома. Возьму, думаю, бутылку столичной. Как-никак у Веры Федоровны день рождения...

И Абрамов достает из кармана бутылку водки.

Михаила Светлова я видел единственный раз. А именно – в буфете Союза писателей на улице Воинова. Его окружала почтительная свита.

Светлов заказывал. Он достал из кармана сотню. То есть дореформенную, внушительных размеров банкноту с изображением Кремля. Разглядел ее, подмигнул кому-то и говорит:

– Ну что, друзья, пропьем этот ландшафт?

Была такая поэтесса – Грудина. Написала как-то раз стихи. Среди прочего там говорилось:

«...И Сталин мечтает при жизни
Увидеть огни коммунизма...»

Грудинину вызвали на партсобрание. Спрашивают:

– Что это значит – при жизни? Вы, таким образом, намекаете, что Сталин может умереть?

Грудина отвечала:

– Разумеется, Сталин как теоретик марксизма, вождь и учитель народов – бессмертен. Но как живой человек и материалист – он смертен. Физически он может умереть, духовно – никогда!

Грудинину тотчас же выгнали из партии.

Сидели мы как-то втроем – Рейн, Бродский и я. Рейн, между прочим, сказал:

– Точность – это великая сила. Педантической точностью славились Зощенко, Блок, Заболоцкий. При на-

шей единственной встрече Заболоцкий сказал мне: «Женя, знаете, чем я победил советскую власть? Я победил ее своей точностью!»

Бродский перебил его:

– Это в том смысле, что просидел 10 лет от звонка до звонка?!

Как известно, Лаврентию Берии поставляли на дом миловидных старшекласниц. Затем его шофер вручал очередной жертве букет цветов. И отвозил ее домой. Такова была установленная церемония. Вдруг одна из девиц проявила строптивость. Она стала вырываться, царапаться. Короче, устояла и не поддалась обаянию министра внутренних дел. Берия сказал ей:

– Можешь уходить.

Барышня спустилась вниз по лестнице. Шофер, не ожидая такого поворота событий, вручил ей заготовленный букет. Девица, чуть успокоившись, обратилась к стоящему на балконе министру:

– Ну вот, Лаврентий Павлович! Ваш шофер оказался любезнее вас. Он подарил мне букет цветов.

Берия усмехнулся и вяло произнес:

– Ты ошибаешься. Это не букет. Это – венок.



ПАМЯТИ ВИКТОРА НЕКИПЕЛОВА

(29.IX.1928 — 1.VII.1989)

Глубоко скорбим о безвременной кончине Виктора Некипелова. Мы всегда будем помнить его мужество, стойкость, непримиримость, его доброту и самоотверженность, его светлый поэтический дар.

Разделяем горечь утраты с его семьей.

Александр Есенин-Вольпин, Лариса Богораз, Татьяна Великанова, Генрих и Александр Алтунян, Марина Меликян, Софья Калистратова, Мальва Ланда, Александр Лавут, Евгения Печуро, Кронид Любарский, Галина Салова, Тамара и Сергей Григорьянц, Раиса и Микола Руденко, Ирина Кристи, Сергей Генкин, Сергей Мюге, Мария Петренко-Подъяпольская, Юрий Федоров, Надия Светличная, Зарина и Вадим Щегловы, К.Нилан, Т.Левина, Марина Макушечева, Виктор Файнберг, Татьяна Ходорович, Татьяна Любич, Сергей Ходорович, Ирина Якир, Ирина Делоне, Владимир Буковский, Нина и Жан Кехаян, Светлана и Герман Андреевы, Юлия и Юрий Ярым-Агаевы, Ирина Иловайская, Корнелия Герстенмайер, Антонио Станго, Арина и Александр Гинзбург, Наталья Кузнецова, Георгий Владимов, Зинаида Григоренко, Наталья Дюжева, Наталья Горбаневская, Татьяна и Владимир Максимовы, Евгений Кушев, Семен Мирский, Владимир Малинкович, Элен Жаффе, семьи Корягиных, Плющей, Сорокиных, Финкелей, Гастевых, Можайских, Жестковых, Макаренко

Россия и действительность

Виктор К уд р и н

ГОРБАЧЕВСКАЯ ПЕРЕСТРОЙКА В СССР

ПРИЧИНЫ, ЦЕЛИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Сейчас много говорят и пишут о перестройке и гласности в СССР. К сожалению, на мой взгляд, нет попыток проанализировать перестройку как назревший этап в развитии советского государства. Нельзя понять причины, состояние и перспективы перестройки, если не найти ее место, на мой взгляд закономерное, в развитии советского общества.

Жизнь такого государства как Россия-СССР слишком богата и разнообразна, чтобы можно было в журнальной статье проанализировать, выявить связи и закономерности его развития во всем многообразии. Поэтому в настоящей статье никак не упоминаются многие стороны жизни, влияющие на ход исторического процесса. Выбраны только, на мой взгляд, наиболее существенные для понимания перестройки стороны жизни общества, делается попытка анализа их развития, обсуждается вопрос о закономерности перестройки и о ее возможном развитии.

В статье нередко употребляются выражения типа «Горбачев решил...». Хотя это, по-видимому, понятно без пояснений, все же хочу подчеркнуть, что такие выражения употребляются только для краткости изложения. Их нужно понимать так: «Руководство СССР в то время, когда Горбачев был генеральным секретарем ЦК КПСС, решило...». Наверное, решения обычно принимаются не лично Горбачевым, а какой-то группой лиц, имеющей достаточную власть в стране, чтобы принять решение и осуществить его исполнение. Я не знаю состав групп при принятии того или иного решения. Да это и не интересно. Иногда, особенно во времена Сталина, решения принимались и одним человеком.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Все годы своего существования советское руководство преследовало две основные цели.

1. Обеспечение устойчивости режима внутри страны. Ввиду его антидемократичности устойчивость могла быть достигнута только с помощью тех или иных репрессий против населения.

2. Экспансия во внешней политике, то есть распространение существующего в СССР строя общества на другие государства, прямое или косвенное подчинение их.

Такие же цели, как улучшение условий жизни народа, повышение его культурного и нравственного уровня и т. п., никогда не были основными. Иногда что-то делалось в этих направлениях, но лишь настолько, насколько это не противоречило основным целям.

Вышесказанное о целях советского государства очевидно для думающих советских граждан или бывших советских граждан. В статье будут приведены примеры практических действий советского руководства по реализации этих целей в прошлом. Перестройка – логический этап реализации этих целей в современных условиях.

Существование у советского руководства первой цели очевидно, и пояснений по этому поводу не требуется.

Вторая цель требует пояснения. Как будет показано ниже, экспансия необходима советскому руководству для сохранения власти, для обеспечения устойчивости государства при существующем режиме власти.

До своей победы в России большевики были убеждены, что планируемая ими русская революция является только толчком к революции в более развитых европейских государствах. Они верили в то время, что для построения социализма необходимо предварительное полное развитие капитализма в стране. Поскольку в России еще были сильны докапиталистические классы и отношения между людьми, считалось, что самостоятельное построение социализма в ней невозможно. После победы большевиков в России, основываясь на этой точке зрения, догматики, вроде Троцкого, требовали перманентной революции, перенесения ее в Европу. Попытки такого перенесения – первые попытки экспансии создающегося большевиками в России нового режима – были сделаны в

Венгрии и Германии. Они оказались безуспешными частично потому, что в то время советское правительство не могло оказать революциям в Венгрии и Германии вооруженную поддержку. В то время экспансия носила характер ободрения своих сторонников и призыва их к попыткам коммунистических переворотов, идеологической и эмоциональной поддержки коммунистов в капиталистических странах. Была и попытка военными средствами установить коммунистический режим в Польше.

Ленин понимал опасность для большевистского государства в России существования более развитых демократических государств вблизи его границ. Слова, что для победы нового общественного строя он должен обеспечить более высокую производительность труда, чем имел предыдущий строй, означают просто необходимость для нового строя обеспечить более высокий уровень жизни для своих граждан. Если новый строй этого не сделает, то, естественно, народ захочет возвратиться к старому строю. Его желание можно подавлять некоторое время, обещая успехи в будущем, но в обществе все время будет напряжение, которое неизбежно когда-нибудь приведет к контрреволюции.

Именно поэтому марксисты не считали возможной социалистическую революцию в отсталой стране. Они понимали, что для устойчивости нового социалистического общества необходимо добиться преимущества в уровне жизни над капиталистическими государствами достаточно быстро. Это возможно только в том случае, если социалистическая революция победит в стране, уже имеющей высокую производительность труда. В относительно отсталой России, они полагали, победа социалистической революции невозможна. Поэтому русские социалисты считали желательным не социалистическую революцию, а создание в России условий для более быстрого развития капитализма.

Эти положения марксизма Ленин ревизовал. Для него в революции «главное – это власть». Мне кажется, Ленин верил в преимущества социалистического общественного строя над капиталистическим. Он считал возможной социалистическую революцию в России, ибо надеялся на быстрое развитие производительных сил при социализме. Нужно только дать социализму время. При демократическом общественном устройстве он это время получить не мог. Народ проголосовал бы за

возврат к капитализму до того, как социализм докажет свое преимущество. Поэтому Ленин ревизовал одно из основных положений социал-демократии. Он отказался от демократии. В этом – его коренная ошибка. Отказ от демократии сегодня ради будущего изобилия и свободы – применение классического и всегда порочного принципа «цель оправдывает средства». Дальнейшее применение этого принципа Сталиным – убийство десятков миллионов людей ради счастья их потомков – естественное продолжение.

Теоретики европейских социал-демократических партий всегда считали, что социалистический строй должен обеспечить народу не только большее изобилие материальных благ, но и большую свободу, чем он имеет при капитализме. Разрыв с ними и с демократией Ленин подчеркнул, выбросив из названия своей партии слово «демократическая».

Все же Ленин явно сомневался, что отказ от демократии обеспечит ему достаточно длительное время для доказательства преимущества социализма над капитализмом. Он помнил о необходимости революции в Европе для устойчивости большевистской власти в России. Поэтому был создан Коминтерн – орган советского правительства для пропаганды коммунизма и организации коммунистических переворотов в развитых странах. В ленинские времена нельзя было и думать о военной экспансии. СССР был слишком слаб. Коминтерн был его единственной надеждой на экспансию.

При жизни Ленина социалистическая Россия не сократила отставание по уровню производительности труда от развитых капиталистических государств. Не сократила и после его смерти. По логике вещей, руководствуясь марксизмом, советские руководители должны были бы отказаться от созданного ими строя. Строй не выполнил основное условие, необходимое для доказательства законности своего существования в человеческой истории с марксистской точки зрения: не обеспечил преимущество в производительности труда над капитализмом.

Но у Ленина было больше прагматизма, чем веры в идеалы и теории. Как мы уже видели, он легко отказывался от положений марксизма, если они его не удовлетворяли.

Сталин, как и последующие советские руководители, был законченным прагматиком. Все идеалы и теории социализма им были быстро забыты. Однако он хорошо понимал цели советского государства, сформулированные в начале статьи,

и руководствовался ими в своей практической деятельности. Сталин построил жизнеспособное государство, которое он по традиции и для привлечения симпатий зарубежных идеалистов называл социалистическим. Он отлично понимал непривлекательность происходящего в России для внимательного и непредубежденного наблюдателя. Поэтому им была создана беспрецедентная система изоляции страны от внешнего мира. За границей не должны были знать правду о положении в стране. Советский народ не должен был знать правду о жизни за границей. Вернее, он должен был знать то, что Сталин полагал народу нужным знать. Плюс фантазии и сказки, чтобы ребенок (простите, народ) не плакал. Была создана система потемкинских деревень для обмана тех посетителей из-за границы, кто хотел быть обманутым. Эта система состояла из конституции, метрополитена, МГУ, ВДНХ, «передовых» колхозов и заводов, пионерских лагерей вроде «Артека» и тому подобных декораций. Была создана система угнетения и репрессий для тех граждан СССР, кто не обманывался или о которых «органы» думали, что они не обманываются.

В таком государстве не было надобности заботиться о более высоком уровне жизни, чем за границей. Перед экономикой страны такая задача и не ставилась. В книге «Основные экономические проблемы социализма» Сталин сформулировал на самом деле не реальные задачи советской экономики, а фиктивно-декларативные. Реальные задачи экономики вытекали из основных целей советского государства:

1. Обеспечить ликвидацию форм хозяйства, хотя бы потенциально опасных для режима. Тех форм, при которых хозяйственники имеют какую-то независимость от государства. Это было достигнуто национализацией, коллективизацией и централизацией.

2. Создать достаточно сильную военную промышленность, обеспечивающую возможность внешней экспансии, когда для нее придет время. Это достигалось плановыми льготами для военной промышленности и для отраслей хозяйства, наиболее нужных военной промышленности.

Экономика была реорганизована, чтобы наилучшим образом выполнять эти задачи. Увеличение производительности труда, чему придавал большое значение Ленин, стало второстепенной задачей. Тем более второстепенным было удовлетворение потребности населения в товарах и услугах.

Сталинское государство было устойчивым в свое время. Никаких серьезных угроз строю внутри страны не возникало.

Все же Сталин активно готовился к внешней экспансии. Видимо, он понимал, что абсолютно надежной изоляции не бывает, а в случае ее нарушения в стране усилится напряжение и возникнет неустойчивость. Армия, добровольные военизированные общества, авиационные и иные парады всегда были в центре внимания страны.

Затемняет сталинские экспансионистские планы то обстоятельство, что утверждения о необходимости усиления обороны были оправданы. В его время возникли милитаристско-экспансионистские режимы в Италии, Германии и Японии. Так как направления экспансии этих государств затрагивали интересы демократических государств, возникла война между экспансионистскими государствами, с одной стороны, и демократическими – с другой.

Немедленно, воспользовавшись этой войной, СССР начал экспансию. Им были захвачены некоторые пограничные территории в Европе.

После присоединения в войне к блоку демократических государств и победы в этой войне СССР закрепил за собой захваченные перед войной территории и захватил новые. В результате этих акций были присоединены Прибалтика, части территории Финляндии, Польши, Румынии, Чехословакии и Германии на западе, Японии – на востоке. Кроме того, ряд оставшихся формально независимыми государств Восточной Европы и Северная Корея в Азии были также фактически присоединены к СССР. Это – яркое свидетельство экспансионистских устремлений Сталина. Советские историки объясняют предвоенную экспансию необходимостью подготовки к неизбежной войне с Германией. Допустим. Тогда почему после войны, когда никакой угрозы ниоткуда не было, СССР не только не предоставил свободу ранее оккупированным территориям, но оккупировал и фактически присоединил к себе новые территории? Почему эта ситуация с той поры не изменилась? Неужели и сейчас они утверждают, что такова воля народов этих территорий?

Настоящая причина – экспансионистская природа советского государства. Хотя Сталин установил в стране жесточайший террор и изолировал ее от внешнего влияния, он всегда боялся прорыва этой изоляции. Экспансия давала шанс осво-

бодиться от этого страха. И я не уверен, что Сталин удержался бы от наступления на Западную Европу после победы над Японией, если бы не атомные бомбы Хиросимы и Нагасаки. Слишком велик был соблазн для него. Реальный в тех условиях захват Европы покончил бы с тем, что называлось капиталистическим окружением. Близ советских границ не было бы государств с жизненным уровнем выше советского. Сопровождение изнутри на оккупированных территориях его не пугало. Он знал эффективные методы его подавления.

Впрочем, он, возможно, и не решился бы на попытку захвата Европы. Сталин был трус. Если дело было рискованное, он отступал, не ввязываясь без необходимости в драку, которую мог проиграть. Так он поступил в Греции, Иране, Корее, Западном Берлине. В Европе был только шанс, а не стопроцентная гарантия успеха. Ведь еще оставалась Америка, которая была ему явно не по зубам.

Хрущев и Брежнев ничего не изменили в основах созданного Сталиным общества. Как писали Джилас и Восленский, в стране возник и укрепился новый правящий класс. Этот класс (слой общества) хотел обезопасить свои привилегии и сохранил хорошо подходящий для этой цели сталинский общественный строй. Единственное существенное изменение – прекращение за ненадобностью массовых репрессий сталинского типа. Во-первых, они выполнили свою роль по уничтожению возможной оппозиции и воспитанию народа в послушании властям. Во-вторых, при достаточной массовости репрессии неизбежно затрагивают и правящий слой, как бывало при Сталине.

Жить в стране стало все же легче. Люди перестали дрожать от страха по ночам.

Сейчас годы правления Брежнева называют застойными. Может быть, они и были такими в некоторых отношениях. Но не во всех. Именно на эти годы приходится беспрецедентное усиление советских вооруженных сил. Именно в эти годы СССР сравнялся с США (а может быть, и превзошел) по общей мощи своей армии и флота. Построено огромное количество ракет и атомных боеголовок к ним. Точность их наведения на цели существенно улучшилась. Военно-морской флот по числу подводных лодок вышел на первое место в мире. Создавались новые лучшие модели танков, самолетов и другого оружия. Как по численности своей армии, так и по количеству

многих важных видов оружия СССР занимал первое место в мире, и разрыв его с другими странами увеличивался. Все это создало условия для нового витка внешнеполитической экспансии, чем Брежнев не преминул воспользоваться. Советское правительство помогало оружием, деньгами, советниками, а также войсками своими и своих сателлитов всем и всюду, где имелаась надежда на создание и укрепление просоветских режимов: Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Ангола, Южный Йемен, Мозамбик, Эфиопия, Никарагуа, Афганистан. Всюду новые правители этих государств действуют по старому, проверенному практикой советскому рецепту. Они создают эффективные аппараты насилия и пропаганды, а при удобном случае начинают и внешнюю экспансию. Вспомним действия Кубы в Африке, Никарагуа в Сальвадоре, попытку Северной Кореи захватить Южную. Конечно, их возможности пока ограничены, но стремления те же, что и у «старшего брата».

На Западе часто говорят о неэффективности создающихся Советским Союзом режимов, так как хозяйство у них работает плохо, жизненный уровень населения падает. На самом деле, эти режимы эффективны в выполнении своих целей. Западные наблюдатели не понимают, что декларируемые и реальные цели этих режимов не совпадают. Как и в СССР, пришедшие там к власти коммунисты или «демократы» объявляют об освобождении народа от угнетения, о повышении его материального и культурного уровня как о своей главной цели. Эти цели, конечно, не достигаются. Но на самом деле они и не были основными. Основная цель – не декларируемая, а реальная – укрепление своей власти, как этому учил Ленин. И этой цели они добиваются успешно. Поэтому любое движение по освобождению (демократизации) государств советского типа имеет мало шансов на успех, несмотря на то, что во всех этих государствах большинство населения стало жить хуже, чем они жили до коммунистического переворота. Таков советский, весьма профессиональный подход освоения вновь захваченных территорий.

ЭКСПАНСИЯ РОССИИ И СССР

Некоторые считают, что советская экспансионистская политика унаследована от империалистической политики России прошлых веков, является ее прямым продолжением. Это –

опасное заблуждение. Опасное потому, что преуменьшает цели и средства советской экспансии. На самом деле экспансионизм дореволюционной России и современного СССР имеет мало общего.

В прошлые века экспансионизм был общепринят. Считалось нормальным для сильного государства захватывать более слабые и тем самым становиться «великим». В XX веке ситуация изменилась. Почти все колонии великих держав получили государственную независимость. Сильные государства сейчас даже стараются (хотя и не всегда успешно) помочь слабым государствам стать независимыми также и экономически. Расцвет экономики Южной Кореи, Тайваня, Сингапура стал возможен потому, что сильные государства способствовали их развитию. В этой статье не рассматриваются причины изменения политики великих держав, но такое изменение – факт.

Русский экспансионизм прошлого отнюдь не выделялся среди экспансионизма других великих держав. Русское население империи даже в период наибольшего ее расширения было примерно равно нерусскому населению всех захваченных территорий. Европейские великие и околорусские державы контролировали территории с населением, превышавшим население метрополии во много раз. Кроме того, русский экспансионизм носил локальный характер, был направлен только против соседей.

Советский экспансионизм начался и продолжался в то время, когда экспансионизм уже перестал быть «в моде», когда другие государства от него отказались. За последние 70 лет, если исключить мелкие конфликты, только несколько государств, помимо СССР, захватывали чужие территории: Италия, Германия, Япония, Израиль. Первые три государства потеряли все захваченное, Израиль, по существу, сейчас находится в состоянии войны и, вероятно, захватил территории временно в процессе самообороны. Значительную часть захваченного – египетские территории – он уже возвратил. Только СССР реально сохраняет захваченные территории.

В отличие от России, советская экспансия носит глобальный характер. Трудно вообразить, чтобы Россия пыталась распространить свою экспансию на Кубу, Вьетнам, Анголу. Второй отличительной чертой советской экспансии является ее стратегический характер. Экспансия великих государств прошлого преследовала главным образом экономические

цели. Стратегическая часть их экспансии была направлена на облегчение экономической части экспансии и защиту ее от других великих государств.

Экспансия СССР экономически невыгодна. СССР тратит больше на поддержку просоветских режимов, чем получает от них экономических выгод. Объяснить такую экспансию можно только наличием у СССР стратегических целей: использование подконтрольных территорий в будущем для дальнейшей экспансии. Следовательно, советская экспансия далеко не закончена. Наиболее вероятная ее конечная цель – уничтожение свободных демократических государств. Все остальное – не цель экспансии, а ее средства.

НАКАНУНЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

На первый взгляд, для власть имущих в стране все шло хорошо. Перемены, казалось, не нужны. Внутри страны полная устойчивость. Конечно, были недовольные, диссиденты например. Но с ними успешно справлялись даже и без массовых репрессий. К моменту прихода Горбачева к власти диссидентское движение было практически ликвидировано. Кое-кого из видных диссидентов выслали из страны, другие сидели в психушках и лагерях, кто-то изолирован в Горьком. Не было ни малейшей угрозы стране извне. Даже неудачи в Афганистане – последнем шаге советского экспансионизма – не были значительными. Был просчет в возможной силе сопротивления народа. Но ничего не стоило удвоить или утроить численность советских войск там и сломить сопротивление. Следовало уже планировать какие-то действия в послехомейнистском Иране. В Польше положение нормализовалось. В других странах-сателлитах спокойно.

Жизненный уровень советского народа по-прежнему был ниже, чем в любой развитой стране. Но это обстоятельство не оказывало существенного влияния на политику руководства страны, ибо при созданном Сталиным строе оно не было опасным для режима.

Однако было одно обстоятельство, диктовавшее необходимость изменений в стране. Советское военное превосходство, а следовательно, и возможность дальнейшей экспансии оказалось под серьезной угрозой. Наиболее дальновидные

военные руководители (может быть, Огарков), видимо, поняли, что Советскому Союзу грозит в ближайшем будущем серьезное ослабление его вооруженных сил, серьезная потеря их боеспособности. Более того, в пределах созданного Сталиным строя не было видно выхода из создавшегося положения.

ПОЛОЖЕНИЕ С НАУКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНИКОЙ, ОБРАЗОВАНИЕМ

В течение двух-трех предгорбачевских десятилетий в мире произошла революция. Ее Брежнев и брежневцы просмотрели, а если что-то и видели, то не поняли. Слова Горбачева о застое в брежневские времена, наверно, относятся к тому обстоятельству, что в стране не делались преобразования, необходимые для адаптации ее к новым изменившимся условиям существования в мире. Упорное цепляние Брежнева за сталинскую модель общества не могло не привести, как будет показано ниже, к отставанию от передовых демократических государств.

Наиболее существенными элементами происшедшей в мире революции являются:

1. Значительное увеличение влияния науки на повседневную жизнь отдельных людей, государств, мировой экономики.
2. Значительное увеличение влияния информации на жизнь в мире, развитие методов ее хранения, переработки, распространения и использования.

Советские руководители всегда утверждали, что советское общество строится на научных основах. Далекие от науки люди иногда даже верят им.

Реальность далека от этого.

Абсолютно необходимым условием для создания и развития науки является ничем не ограниченная свобода научной дискуссии. Даже хорошо обоснованные и всеми признанные положения науки возможно и полезно подвергать сомнению. Любой ученый может назвать немало случаев, когда, казалось бы, бесспорные положения науки впоследствии отвергались, изменялись, получали новую трактовку. Если бы советские руководители действительно хотели научных основ для создаваемого ими общества, они поддерживали бы необходимую для науки свободу обсуждения и сомнения, включая и свободу

сомнения, имеет ли смысл строить это новое общество, не порочно ли оно в своих основах. Наука об обществе в СССР ничего подобного не знала и не знает. Ленин, Сталин и другие советские руководители всегда указывали, где находится «истина». Задачей же «ученых» так называемых общественных наук было, естественно, не поиск истины, а «обоснование» той «истины», на которую им указывали вожди. Такой процесс неизбежно приводит к неправильным результатам. «Наука» об обществе в СССР быстро выродилась в набор лозунгов и заклинаний.

Такое отношение к науке об обществе сознательно или бессознательно переносилось на науку вообще.

В естественных науках и математике обычно не было и нет сейчас непосредственного идеологического контроля, кроме некоторых исключений: биология, кибернетика, обязательность стандартных фраз о диалектическом материализме. Но и здесь создан климат, способствующий развитию авторитарной организации исследований. Только авторитеты определяют направление и методы исследований. Даже в тех случаях, когда авторитетами являются хорошие специалисты, действительно получившие серьезные научные результаты, такая централизация мышления не способствует новым научным открытиям. Слишком часто успешные ученые становятся чиновниками от науки. Они становятся заведующими и директорами, прекращают собственную творческую деятельность, но определяют как и что должны делать другие. Во всем мире новые открытия обычно делают молодые ученые. Но для успеха они должны иметь больше свободы в выборе тем и методов исследования, быть более независимыми в своем творчестве, чем это возможно в СССР. Им необходима свобода участия в научных конференциях (особенно за границей), перехода из одной лаборатории в другую в поисках подходящих для них тем и научного климата, меньшая зависимость от необходимости делать карьеру, занимать должности. Всему этому мешают реалии советской жизни: прописка, трудность (почти невозможность) найти квартиру в другом городе, низкий заработок начинающих научных сотрудников. Они вынуждены вместо наиболее перспективных и интересных с научной точки зрения тем выбирать наиболее «диссертабельные» темы. Вместо руководителя с оригинальными, но трудными для разработки научными идеями искать руководителя

авторитетного и пробивного. Нельзя винить в этом молодых ученых. Они находятся в возрасте, когда появляются семья, дети, и они ответственны также перед ними, а не только перед наукой. Тем временем лучшие для творчества годы уходят.

Существует и такая нелепость, как план научных исследований и получения научных результатов. Ведь ясно, что планируемый научный результат не будет научным открытием. В научном планировании совершенно необходим обман. Директор института, в котором работала моя жена, академик, один из наиболее заслуженных ученых СССР, говорил своим сотрудникам: план нужно выполнять, но и о науке не следует забывать. Поэтому планируйте от достигнутого. В план будущего года включайте только те результаты, которые вы уже получили.

Еще можно упомянуть плохое обеспечение оборудованием для научной работы, трудности с опубликованием результатов, секретность, «общественную работу». Есть и другие причины растраниживания времени и сил. Незадолго перед тем, как я покинул СССР, наш директор – академик – рассказал нам на заседании Ученого совета о новом порядке защиты диссертаций. Особенно он подчеркнул, что впредь общественная работа диссертанта будет не менее важна для присуждения ему ученой степени, чем научные результаты. Я тогда с грустью подумал, что найден еще один способ ухудшить научные исследования, отвратить способную молодежь от науки.

Есть и более глубокие причины низкого качества научных исследований в СССР.

Начиная с детского сада, а затем в школе и университете учебный процесс старательно отучает учащихся думать. Вместо этого в их головы стараются вдолбить знания. Чтобы научить учащихся думать, нужно, по возможности, не давать готовых рецептов и ответов. Нужно стараться пробудить любознательность и самостоятельное мышление. Соответствие ответа или сочинения учащегося взглядам учителя или учебника не должно обеспечивать высокую оценку. Самостоятельность и вдумчивость ученика при работе над темой, даже если при этом он приходит к выводам, не разделяющимся учителем, должны поощряться. Тогда многие сегодняшние отличники перейдут в разряд троечников, где им и надлежит

быть. Школьные отличники нередко являются посредственностями в науке и наоборот.

Лучшие советские ученые много знают, некоторые из них умны и талантливы. В своей области они общепризнанные в мире специалисты. Авторитет их вполне заслуженный, отнюдь не дутый. Одно у них редко встречается: выдающиеся научные результаты, намечающие новые направления исследований, определяющие развитие науки. У них мало результатов уровня, за который присуждают Нобелевские премии — общепризнанный в научном мире «знак качества» научных исследований. За последние 30 лет более 100 американских ученых получили Нобелевские премии по науке и только 5 советских ученых. Причем более трех четвертей американских нобелевских лауреатов родились в США и получили образование в американских школах и университетах.

Об уровне воспитанной честности, совершенно необходимом качестве для занятия наукой, свидетельствует такой эпизод. После присуждения А. Д. Сахарову Нобелевской премии мира в советской печати началась грязная клеветническая кампания против него. Оставим в стороне письма доярок и сталеваров, написанные корреспондентами и журналистами. Но ведь писали и ученые. Сами писали или, по крайней мере, подписывали. Конечно, некоторые из них сумели уклониться от участия в этой травле. Но кто из них выступил с протестом? Как защитила Академия наук достоинство своего академика и свое? Никто, никак. Можно понять тех, кто в сталинские времена не осмеливался защищать Н. И. Вавилова и других репрессированных ученых. Тогда такая защита могла стоить им жизни. Во время преследования А. Д. Сахарова выступление коллеги-академика в его защиту не грозило ему даже потерей работы. Разве что он не смог бы продвинуться вверх по чиновничьей лестнице. Но настоящему ученому это и не нужно.

Сказалась воспитанная в детском саду, школе, университете, на работе чегоизволительская привычка поддакивать начальству (воспитателю, учителю, профессору, директору, генеральному секретарю). Эта же привычка мешает сказать смелое слово в науке. Просто и мысли не идут в не одобренном авторитетами направлении.

Поэтому, когда ученые дореволюционного воспитания и их ученики, которым они все же привили какое-то понима-

ние научной культуры, ушли из науки, новые поколения советских ученых оказались менее плодотворными исследователями, и наука в СССР стала все более отставать от мировой науки.

Неверно, конечно, думать, что в СССР совсем нет выдающихся ученых. Страна богата талантами, и поэтому, несмотря ни на что, они есть. Но их количество и вклад в науку недостаточны, чтобы СССР мог поспевать за быстрым развитием науки в современном мире.

Если раньше научные открытия пробивали дорогу в жизнь в течение десятилетий, то сейчас на Западе они подхватываются на лету и немедленно внедряются в повседневную практику. Например, пока в СССР преследовали генетиков, в свободном мире они произвели зеленую революцию, благодаря которой исчезли объективные причины для голода. В наши дни недостаток сельскохозяйственного производства, не говоря уже о голоде, — следствие только неразумной, а иногда и преступной политики руководителей некоторых государств.

Особенно большое значение наука имеет для деятельности, где требуется как можно быстрее получить преимущество перед соперниками, например в военном деле.

Ввиду такого высокого потребительского спроса на научные результаты, темпы развития науки возросли неимоверно.

Все сказанное о науке вообще еще больше относится к информации, науке о ней и технологии ее использования.

Из всех определений современной жизни наиболее отвечает ее сущности название «век информации». Современные информационные средства и методы существенно изменяют экономику, делая ее более эффективной. Они помогают развитию науки, становятся все более необходимыми вооруженным силам, без них невозможно успешное управление государством, они оказывают все большее влияние на повседневную жизнь в развитых странах.

Но информация — именно то, чего больше всего боялись, что больше всего пытались уничтожить или исказить советские руководители от Ленина до Черненко.

Информация, как и наука, может успешно действовать и приносить пользу только в условиях свободы. Любая несвобода, любое ограничение превращают информацию в дезинформацию. А в таком виде она вместо положительного оказывает отрицательное влияние на все, к чему она прилагается, — от науки до военного дела и управления страной.

Возьмем только один пример: военный самолет. В годы Второй мировой войны превосходство над противником обеспечивалось скоростью, маневренностью и вооружением. Теперь этого недостаточно. В современном самолете пилот должен непрерывно получать информацию о цели и окружающей обстановке с помощью технических средств. И должен иметь возможность помешать противнику получить точную информацию о себе. Управление самолетом в бою, его маневры требуют столь быстрого реагирования на изменение ситуации, что человеческих способностей на это не хватает. Работают радары, лазеры, компьютеры. Без превосходства в информированности победа сейчас невозможна. Во время Ливанской войны израильтяне уничтожили 70 сделанных в СССР сирийских самолетов, не потеряв ни одного своего. Главным было превосходство израильтян в информированности и их умении дезинформировать противника с помощью современной информационной техники.

Нынешние темпы развития науки и техники, особенно информационной, приводят к тому, что в мире все быстро устаревает. Это не всегда беда для обладателя устаревшей вещи. Он может мириться с ее недостаточной современностью, если она удовлетворяет его потребности. Но в тех случаях, когда фирма или государство конкурируют в борьбе за первое место, нужно почти непрерывно изменять технологию, создавать новые, более конкурентоспособные изделия более эффективными методами.

Во все годы своего существования советское правительство было предано идее создания наиболее сильной в мире армии. Оно отказывало народу не только в масле, но и в хлебе, чтобы армия, ее вооружение, ее тренированность была лучшей в мире. Второе и тем более эзное место его никак не устраивало, ибо это означает конец всякой возможности для экспансии, а прекращение экспансионизма в течение не очень длительного времени приведет к изменению существующей в СССР системы власти, ввиду невозможности в этом случае выполнения ее второй цели.

Чтобы обеспечить армию хорошим вооружением, оказалось необходимым выделять на военные нужды все большую долю национального дохода. Из-за этого относительно меньше оставалось средств на развитие народного хозяйства и потребление населения. Развитие экономики замедлилось,

очереди в магазинах росли. Со временем средств стало не хватать для поддержания экономики даже на стабильном уровне, так как и для этого необходимо из года в год увеличивать вложения в нее ввиду старения основных фондов. А следовательно, начало страдать и военное хозяйство, так как оно зависит от других отраслей. Если бы экспансия шла достаточно быстро, чтобы обеспечить победу в мире до того, как экономика совсем развалится, то серьезных проблем для режима не возникло бы. Но экспансия замедлилась, а с приходом Рейгана в Белый дом прекратилась. Перед приходом Горбачева к власти советское руководство осознало, что огромные вложения в вооруженные силы начинают катастрофически быстро обесцениваться.

Ввиду отсталости в технике, особенно информационной, советские самолеты имеют мало шансов на успех в бою, как случилось в Ливане. У Сирии были не лучшие советские самолеты. Но и у лучших информационные возможности уступают возможностям потенциальных противников, а следовательно, и у них шансы на победу невелики. Это же касается других видов оружия. Танки и боевые корабли тоже станут легкой мишенью для более информированного, обладающего более передовой техникой противника. Не все еще плохо для СССР сегодня. Но положение с каждым годом ухудшается. СССР стоит перед необходимостью выбросить на свалку значительную часть своей военной техники и заменить ее новой.

Новая техника сложнее и дороже предыдущей. Ресурсов для ее создания в стране не хватает. Отнять что-либо еще от других отраслей хозяйства уже просто невозможно. Еще больше ухудшить снабжение населения – тоже. Действовать старыми темпами, единственно доступными стране сейчас, бессмысленно. Пока новая техника будет создана, она уже устареет, так как на Западе наука и техника развиваются быстрее. Выручавшая иногда ранее советских конструкторов кража передовой технологии на Западе тоже теряет смысл при современных темпах ее развития. Пока ее освоишь и внедришь в производство, она устареет. Кроме того, кража технологии способствует общему технологическому отставанию СССР. То, что дается в готовом виде, понимается хуже и меньше помогает росту мастерства, чем то, к чему конструктор пришел на основе собственных исследований (здесь есть аналогия с обучением). Главное Управление По Кражам (хотя, может

быть, соответствующее управление КГБ официально называют как-нибудь иначе) и его, вероятно, лучшие в мире воры (в СССР они почему-то называются разведчиками) внесло свою лепту в технологическое отставание страны.

Перед советским руководством встали две неотложные задачи:

1. Создать в стране условия для более быстрого развития науки, техники и экономики.

2. Добиться прекращения или хотя бы замедления развития на Западе новых видов военной техники, основанных на достижениях науки.

Выполнение этих задач совершенно необходимо для того, чтобы советское руководство имело хотя бы какие-то шансы на успех в достижении своих основных целей.

В СССР немало говорили о научно-технической революции. Но, как правильно утверждает восточная пословица, «сколько ни повторяй „халва“, во рту слаще не станет».

ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ НАКАНУНЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

Брежнев добился определенных успехов в достижении стратегического превосходства над США.

За годы его правления советские вооруженные силы стали значительно сильнее. Однако достаточного превосходства для победы над США не было достигнуто. США имели превосходство в качестве оружия, хотя и тратили на вооружение меньше ресурсов страны, чем СССР. Сказывалось превосходство в подготовке специалистов, организации хозяйства и технической базе.

Брежнев пытался также замедлить развитие американских и европейских вооруженных сил. Для этого велась активная агитационно-подрывная деятельность во всем мире. Мировой антиамериканизм имеет свои корни и существовал бы и без поддержки советских органов. Многие сторонники пацифизма, одностороннего разоружения, создания безъядерных зон и тому подобных движений пришли бы к своим взглядам и без советской пропаганды. Однако советские подрывные органы усиливали эти движения, подсовывая их сторонникам информацию (обычно липовую) и снабжая их средствами (обычно в тайне от большинства участников этих движений).

Хотя сторонники таких движений или нет, но, подрывая обороноспособность демократических государств и никак не влияя на военное строительство тоталитарных государств, они способствуют относительно ослаблению свободы в мире, усилению тирании и, следовательно, увеличению угрозы войны. Брежневская политика имела определенный успех. Даже американский конгресс и президент США не проявили достаточной государственной мудрости, допустив понижение боеспособности американской армии в картеровское время.

В брежневское время СССР захватил также некоторые плацдармы, опорные пункты для будущего наступления. Однако, по-видимому, захватывалось то, что легче давалось, без какого-либо стратегического плана. Поэтому эта часть советской деятельности не принесла СССР больших успехов. Возможно, она даже сказалась отрицательно на силе СССР из-за больших расходов на содержание захваченных плацдармов.

Рейгану, после избрания его президентом США, удалось увеличить расходы на оборону и выработать стратегию отпора советской экспансии. Это убедительно показало советским руководителям бесперспективность их усилий по достижению решающего превосходства над США. Ведь на самом деле оборонные расходы рейгановской администрации были не очень значительны. В процентах от национального дохода они были меньше, чем во времена президента Кеннеди. Но даже при таких ограниченных усилиях, по-прежнему уступая СССР в расходах на военные нужды, Америка стала быстро увеличивать боеспособность своих вооруженных сил, быстрее, чем это мог делать СССР.

Советское руководство вынуждено было прекратить дальнейшую экспансию. Вспомним, как оно вначале отказалось даже обсуждать нулевой вариант Рейгана для ракет среднего радиуса действия в Европе. Видимо, оно рассчитывало по инерции на пацифистское и антиамериканское давление в Европе и отступление американского президента (как поступил Картер с нейтронным оружием). Когда же эти надежды не оправдались, советское руководство, уже с Горбачевым во главе, приняло предложение Рейгана. Кстати, весьма вероятно, что если бы пацифисты и Картер не помешали в свое время размещению нейтронного оружия в Европе, уже было бы достигнуто соглашение, ликвидирующее советское танковое превосходство в Европе в обмен на отказ НАТО от нейтронного оружия.

Горбачев умнее своих предшественников. Поэтому он не должен был стать генеральным секретарем при естественном ходе событий. Даже в Политбюро ему не место. Ну, в Политбюро он попал в сенильные годы Брежнева, когда тот уже не ориентировался в обстановке и мог допустить ляпсус. Тем более, что Горбачева проталкивал, говорят, Андропов, с которым Брежнев, наверное, не хотел ссориться.

До Горбачева при выборе следующего руководителя государства работал вполне очевидный и «разумный» принцип: следующий руководитель должен быть глупее предыдущего. Этого требовал сам способ отбора. Новый руководитель выбирался из ближайших сотрудников предыдущего. Этих сотрудников выбирал и назначал на должности сам предыдущий руководитель. А кто потерпит, чтобы среди приближенных были люди умнее его?

Результат известен. Давайте посмотрим на цепочку руководителей советского государства: Ленин – Сталин – Хрущев – Брежнев – Черненко. Разве не очевидно увеличение глупости и уменьшение ума со временем? Говорят, что Андропов, затесавшийся между Брежневым и Черненко, выпадает из правила. Вероятно, у Андропова была особая сила убеждения, заимствованная им из его предыдущей работы и помогшая ему добиться исключения из правила. Замечу в скобках, что если Андропов хотел добиться превосходства советской экономики над экономикой развитых государств с помощью ловли в банях уклоняющихся от работы, то никакое он не исключение, а находится на своем месте в цепочке.

А кто такой Горбачев? Ставропольский секретарь, затем неудачливый сельскохозяйственный секретарь. Какие средства убеждения могли оказаться у него?

Существуют две причины избрания Горбачева генеральным секретарем.

Во-первых, он, наверное, был единственным человеком в Политбюро, предлагавшим новые средства для укрепления государства. Средства: перестройка и гласность – вероятно, были подозрительными для других членов Политбюро. Но все другие мыслимые средства уже были испробованы. От всеобщей кукурузации до ловли лодырей в банях (последнее я написал для красного словца, но, право же, все предлагавшиеся

средства были не лучше). Ничего не помогало. Страна стояла перед возможностью катастрофы всего режима в течение короткого времени (на мой взгляд, 15–30 лет). Конечно, уж очень сомнительные средства предлагал Горбачев, и быть бы генеральным не ему, а человеку без завиральных идей, простому и понятному Гришину, наверное, вполне созревшему для очередного места в руководящей цепочке, но произошло

во-вторых. США начали работы по созданию стратегической антиракетной обороны. Уверен, что еще до выбора Горбачева генеральным секретарем Политбюро получало панические доклады от военных. Если обычные виды вооружения советской армии начали обесцениваться в результате быстрого научно-технического прогресса в свободных государствах, то ракетно-ядерные силы оставались могучими, способными уничтожить любого противника. Воевать было нельзя, так как противник также мог уничтожить СССР, но шантажировать слабых духом было можно.

СССР не имел шансов при соперничестве с США в создании своей стратегической антиракетной обороны. Он не мог значительно увеличить военные расходы и не имел достаточного количества нужного качества специалистов для соперничества с США в этом новом направлении научных и технических исследований.

На мой взгляд, решающий голос, обеспечивший избрание Горбачева генеральным секретарем, принадлежал Рейгану, хотя сам Рейган об этом не знал. Если Горбачев до сих пор не жалеет о том, что занял свою нынешнюю должность, то ему следовало бы поблагодарить бывшего президента США.

Работы по антиракетной обороне велись давно и в СССР и в США. Были даже подписаны соглашения об ограничении ее обороной одного-двух районов в каждой стране. Соглашение было достигнуто во время существования и проектирования примитивных форм такой обороны, основывавшихся на существовавшей технике. Требовалось только ее улучшение. Надежная оборона при такой технике была невозможна.

В СССР, по-видимому, работы по созданию более надежной антиракетной обороны начались задолго до того, как США объявили о своем проекте. Я никаким образом не участвовал в этих работах и не знаю никаких технических деталей. Но помню, что в начале 70-х годов (может быть, в конце 60-х) меня вызвали в первый отдел и дали прочесть изменен-

ный перечень запрещенных к публикации сведений. Я тогда обратил внимание на перевод в категорию высшей секретности всех работ по изучению лазеров. До этого считалось, что такие работы имеют лишь теоретический интерес и не подлежат ограничениям для печати. Первой мыслью было, что наблюдающие за секретностью деятели совсем сошли с ума, запрещая публиковать все подряд. Но потом, из бесед со специалистами, я понял иное. Лазеры оказались перспективным средством создания новых типов оружия. Наверное, именно в то время начались в СССР работы по надежному антиракетному оружию.

Почему советские руководители начали работы по антиракетной обороне?

Хотя уровень интеллекта в цепочке советских руководителей непрерывно снижался, даже последние из них не могли не понимать, что угрозы нападения на СССР со стороны демократических государств Запада не существует. Со стороны Японии в обозримом будущем тоже. Едва ли причиной была китайская угроза, хотя ее нельзя было полностью исключить во времена Мао. Наиболее вероятно, СССР пытался создать существенное стратегическое преимущество над США, чтобы с помощью войны или, скорее, угрозы войны заставить их капитулировать на выгодных для СССР условиях.

ПЕРЕСТРОЙКА И ГЛАСНОСТЬ

В догорбачевские времена в советскую систему были внедрены абсолютно ненужные вещи. Объяснить их внедрение можно только глупостью внедрявших. Делалось это с целью укрепления советской системы власти, но на самом деле только ослабляло ее, вызывая ненужное раздражение людей, усиливая их недовольство системой. К ним относятся, например, ненужные ограничения в области культуры: ждановские указания и разгромы, запреты на издание и исполнение абсолютно не имеющих антисоветского содержания произведений, мелочное регулирование там, где оно совсем не нужно. В науке – требование от ученых «общественной работы», оценка их деятельности не столько по научным результатам, сколько по степени преданности режиму, и многое другое. Горбачев хочет укрепить систему, ликвидировав это глупости.

Более существенно его намерение изменить сталинскую систему управления страной, адаптировать ее к нуждам современного мира.

Последнее не означает изменение целей государства, сформулированных в начале статьи, но означает изменение методов, пересмотр сроков, новые нюансы, новую стратегию.

Сталинская идея отгородить страну от мира, дабы в нее не проникла зараза вольномыслия, вначале работала хорошо. Однако, как это бывало и в прошлом, с течением времени все больше сказывались отрицательные стороны изоляции: замедление развития, затем отсталость. Мир идет вперед, а изолирующие себя от него страны неизбежно остаются позади. Да и технически в наши дни изоляция становится все более трудной и дорогостоящей. Горбачев это понял и решил «в Европу прорубить окно», а заодно и в Америку, Японию и другие государства.

Горбачев понимает, что в борьбе против развитых государств при наличии ракетно-ядерного оружия имеет значение только решающее стратегическое превосходство. Он отказался от брежневской политики мелкого жулика: хватай все, что плохо лежит. Вместо этого он пытается проводить политику государственного деятеля. Его внешнеполитические шаги направлены на завоевание доверия в мире к его мирным намерениям, в том числе на завоевание доверия со стороны государственных деятелей других стран. Ему необходимо добиться от демократических государств существенного сокращения усилий по совершенствованию своей обороны. Особенно важно добиться сокращения, а если удастся, и прекращения работ по созданию стратегической антиракетной обороны. Ради последнего он будет готов пойти почти на любые уступки. Исключение: собственные исследования в этой области. Возможно, антиракетная оборона всей страны — дело далекого будущего. Но даже надежная оборона отдельных районов или возможность уничтожить пусть не все (практически абсолютная защита не бывает возможной), но 95–98 процентов атакующих ракет имеет далеко идущие военные, политические и психологические последствия.

ЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ И ОЖИДАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА

Несмотря на чуть бóльшую, чем раньше, открытость советского общества, во многих существенных компонентах оно будет закрыто, как и раньше.

Работы по созданию стратегического преимущества над Западом будут по-прежнему вестись максимально возможными для СССР темпами. Темпы этих работ не зависели и не будут зависеть от разоружения или вооружения свободных демократических государств. Они диктуются только внутренними возможностями СССР.

Чтобы ускорить эти работы, необходимо развитие современной техники темпами, опережающими западные темпы. Такое развитие невозможно без создания условий для столь же быстрого качественного развития науки.

Для последнего необходимо улучшить условия работы научных сотрудников и перестроить образование. Все это сделать возможно, талантливых людей хватит, но необходимо изменение всей жизни страны в направлении реальной свободы, что едва ли входит в планы Горбачева. Также нужно время, много времени.

Научным сотрудникам необходима свобода информации и свобода передвижения, причем для всех, ибо неизвестно заранее, кто окажется лучшим исследователем. Им нужна полная свобода работать в любой заграничной лаборатории, если они смогут получить приглашение от нее. Поездки за границу на конференции и по приглашениям не должны ограничиваться. Прописка и жилье не должны мешать свободному переезду из города в город. Партийность и показная преданность режиму не должны давать никаких преимуществ ученому в его работе. «Общественная работа» должна оцениваться как отрицательный фактор при выборе на научные должности и защите диссертаций, так как свидетельствует о неумении или нежелании концентрировать свое внимание на науке.

В образовании нужно сделать упор не на заучивание, а на обучение творчеству, на воспитание свободы мышления. Ученики должны иметь возможность выбирать, в каких-то пределах, предметы для обучения, свободно излагать свои взгляды вплоть до антикоммунистических. При этом нельзя снижать требовательность к ученикам.

Следует уменьшить численность армии в два-три раза, чтобы освободить руки для производительного труда. Это никак не уменьшит ее боеспособность. Более того, избавившись от устаревшей техники и наиболее неспособных офицеров, армия станет сильнее.

Можно и нужно также уменьшить производство новейших видов танков и другого оружия, так как оно все равно устареет до того, как появится потребность в его применении.

Зато будет ускорена разработка новых, более совершенных типов оружия.

Эта смена стратегии будет подаваться миру как одностороннее разоружение, чтобы получить пропагандистские дивиденды и побудить свободные государства к уменьшению оборонных усилий.

Будет перестроена экономика. Сталинские принципы экономических взаимоотношений работали хорошо в его время и для его целей. Развитие нужной для Сталина экономики было экстенсивным, но быстрым. Имеются в виду так называемые средства производства и военная промышленность. Но экстенсивное развитие имеет естественные ограничения, сказавшиеся в полной мере уже в послесталинское время. Оно ограничено имеющимися человеческими ресурсами и, более важно, не способствует развитию передовой технологии, что со временем приводит к упадку. Упадок усугубляется происшедшей научно-технической революцией. Горбачев постарается интенсифицировать хозяйство, используя современные технические и организационные достижения свободного мира. Наиболее важно создать заинтересованность в интенсификации, внедрении научных достижений, повышении производительности труда как у организаторов хозяйства, так и у рабочих. Такая заинтересованность существует и работает автоматически при капиталистическом способе ведения хозяйства. Горбачев постарается внедрить некоторые капиталистические методы в советское хозяйство, включая и чистый капитализм через деятельность в СССР зарубежных фирм.

Чтобы добиться вышеперечисленного, необходимо ослабить тоталитарный контроль над жизнью советских граждан. Это напоминает ленинский НЭП. Тогда Ленин пошел на частичный возврат капиталистических форм ведения хозяйства, ввиду выявившейся несостоятельности чисто социалистических методов в России того времени. Заметим, что в те

годы увеличилась свобода для народа, в том числе и для деятелей культуры, по сравнению с годами военного коммунизма. Сейчас Горбачев идет на ослабление тоталитаризма, ввиду выявившейся непригодности его в условиях научно-технической революции в мире свободных государств. В этом смысле Горбачев такой же прагматик, как и Ленин. Как и Ленин, Горбачев хочет сделать шаг назад для укрепления системы, для исправления ранее допущенных ошибок. Но шаг назад делается только для того, чтобы позже, при более благоприятных обстоятельствах, сделать два шага вперед для усиления тоталитарного контроля. Ленин умер до того, как пришло время делать шаги вперед. За него их сделал Сталин, может быть, слишком поспешно. Горбачев, возможно, сделает шаги вперед сам, когда придет время для этого, или их сделает кто-нибудь из его продолжателей. Но они будут сделаны, если перестройка будет успешной. Это следует понимать при оценке перестройки.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

В эту версию я не верю, но вера в нее распространена, и будет справедливо изложить и ее.

Некоторые думают, что горбачевские реформы на самом деле являются революцией. Ее цель – преобразовать советское государство из репрессивного и экспансионистского в демократическое правовое государство. При этом руководители его не обязательно отбросили мысль о превосходстве коммунистического строя над капиталистическим. Но они первый раз в истории СССР решили доказать это превосходство делом. Они хотят добиться, чтобы СССР по производительности труда и уровню жизни обогнал все капиталистические страны. Тогда и другие государства, убедившись в преимуществах коммунизма, преобразуют свою жизнь на коммунистических началах. В этих условиях не нужны репрессии и подавление свободы своего населения. Не будет и никакой необходимости внешней экспансии со стороны СССР. Единственным препятствием распространению коммунизма в мире будет наличие в нем недемократических государств. Поэтому во внешней политике советское правительство будет больше всего озабочено защитой и расширением демократии. Оно бу-

дет поощрять все государства с недемократическими формами правления перейти к демократии. Не к коммунизму, заметьте, а к демократии. Поощрять будет примером, убеждением, материальной помощью ставшим на путь демократии государствам. Насилие в этом деле будет исключено. Тогда цели советской внешней политики будут в основных чертах совпадать с целями американской внешней политики, а также политики других демократических государств. Это создаст такое сильное давление на недемократические государства, что в обозримое время возможно будет ожидать демократических преобразований повсюду.

В демократических государствах нет непреодолимых препятствий мирным социалистическим или коммунистическим преобразованиям. Более того, во всех развитых демократических государствах жизнь сейчас построена на смеси капитализма с социализмом в различных пропорциях. Социалистические преобразования в этих государствах начались после Первой мировой войны и усилились после Второй. Последнее время они застопорились, а кое-где социалистический сектор даже начал уменьшаться, ввиду проявившихся отрицательных свойств излишней социализации.

Горбачевский Советский Союз предложит свою более эффективную модель социализма демократическим государствам и в мирном соревновании с ними попытается доказать ее преимущество по сравнению с другими формами общественного устройства.

Горбачев хочет создать открытое общество. В нем граждане будут иметь все права, имеющиеся у граждан других демократических государств. В том числе, конечно, и свободу изменить существующий в СССР строй общества на любой другой по своему выбору. Будут созданы правовые и материальные возможности для деятельности граждан и организаций, несогласных с политикой правительства. Будут созданы легальные процедуры замены существующего руководства страной, если большинство в стране поддержит его противников.

Горбачев хочет преобразовать экономическую структуру государства, ликвидировать излишний централизм, развить инициативу у хозяйственников, добиться экономической эффективности каждого предприятия. Вместо субъективно-бюрократических оценок деятельности предприятий будут

введены объективно-рыночные оценки. Цены на товары будет устанавливать рынок, а не бюрократия. Будет обеспечена свобода создания и деятельности кооперативных и частных предприятий во всех областях хозяйства. Они будут конкурировать с государственными через посредство рынка. Только таким образом можно получить объективную оценку деятельности государственных предприятий. Только тогда появится возможность эффективного планирования, основанного на фактах, а не на бюрократической показухе и фантазиях руководства. Противиться этому будут только те, кто не верит в преимущества социалистической системы и поэтому боится поражения в свободном соревновании с частной и кооперативной экономикой. Но таким не место в коммунистической партии.

Так как целью Горбачева является создание более эффективной экономики, чем экономика капиталистических государств, то необходимо научиться сравнивать эффективность советской и капиталистической экономики. Единственным объективным средством такого сравнения является международный рынок, если в нем будут участвовать советские предприятия, а не государство (монополии искажают рыночный механизм). Для участия в нем советских предприятий СССР откажется от монополии внешней торговли и сделает рубль конвертируемым. Тогда станет известна истинная стоимость производимой в СССР продукции. Тогда советское руководство узнает наконец, какая у него экономика. Тогда появятся объективные оценки состояния советской экономики, появится реальная возможность количественного сравнения ее с экономикой других государств. Когда на основе вышеизложенного появятся объективные оценки деятельности предприятий, можно будет реально оценивать, к чему приводят капиталовложения, реорганизации или любые другие действия по улучшению экономики. На этой основе появится возможность поиска оптимальных действий, оптимального планирования. Сейчас такой возможности нет, как бы ни уверяли руководство в противном советские экономисты.

Есть у Горбачева и резервы. Совершенно безболезненное для страны сокращение бюрократического аппарата, армии, КГБ позволит освободить средства и работников для производительного труда. Кстати, назначение руководителя зарубежных операций КГБ руководителем всего ведомства, может

быть, означает начало ликвидации отделов, занимающихся подавлением свободы советских граждан. Можно сократить расходы на содержание сателлитов и на подрывную деятельность за границей. Какие-то средства будут вложены в советскую экономику и зарубежными фирмами, если они смогут получать прибыль в конвертируемой валюте, особенно после отмены монополии внешней торговли.

Конечно, не всё сразу. Преобразования будут делаться по мере того, как появятся шансы на их успех. Поэтому сделанное до сих пор нужно оценивать не само по себе, а в перспективе. Сейчас создается лишь база для настоящих изменений. Хорошо, если бы Горбачев мог рассказать о своей настоящей конечной цели. Тогда он привлек бы на свою сторону всех, желающих блага своей стране. Но нужно понимать, в каких условиях он работает. Не только правящая верхушка, но и значительная часть народа не хочет кардинальных изменений в своей жизни. Если все узнают об истинной цели Горбачева, он будет смещен, так и не успев ничего сделать. Пока же Горбачев и, может быть, кучка заговорщиков с ним во главе идет по правильному пути, единственно возможному в сегодняшних советских условиях. Мы же, кто это понимает, должны ему помогать и желать успеха.

ПЕРЕСТРОЙКА СЕГОДНЯ

На сегодняшний день действия Горбачева выглядят весьма сомнительными с точки зрения второй версии, хотя, вероятно, некоторые преобразования, описанные в этой версии, Горбачев действительно желает осуществить.

Законодательное изменение структуры органов власти в СССР отнюдь ее не демократизирует. Сталинская структура формально выглядит более демократической, чем горбачевская. Конечно, в сталинские и послесталинские времена официально закрепленная в конституции структура власти не существовала на самом деле. Создававшиеся на основе конституции органы власти были только декорацией. Реальная власть принадлежала назначаемой сверху партийной бюрократии, иногда органам госбезопасности и никаким образом не была оформлена конституционно. Сейчас Горбачев как будто хочет, чтобы конституционные органы обладали ка-

кой-то реальной властью. Но одновременно он требует, чтобы высший государственный пост в стране и все высшие региональные конституционные посты занимали руководители соответствующих центральных или территориальных партийных органов. Произойдет сращивание реальных и декоративных органов власти. Как и прежде, нет прямых выборов на те должности, где сосредоточена реальная власть. Такое новшество, как несколько кандидатов, поддерживающих правительственную политику, на одно место ни в какой мере не является демократизацией. Даже создание, дополнительно к КПСС, других политических партий может быть не демократизацией, а способом укрепления антидемократического строя. Подобные партии существовали в странах Восточной Европы после оккупации ее советскими войсками, не мешая реальной монополии власти коммунистов.

Демократизация – это облегчение деятельности тем, кто не согласен с целями и действиями правительства. В частности, создание для них юридических и фактических возможностей объединяться в союзы или партии и выставлять свои кандидатуры во все органы реальной власти. Как хорошо заметил Буковский, свобода – это свобода антиправительственных действий. Свобода действий в поддержку правительства обычно гарантируется и при самых репрессивных режимах. Горбачевское правительство действительно что-то изменило в стране. Кому-то эти изменения нравятся. Они получили возможность излагать и пропагандировать свои взгляды, так как теперь эти взгляды – взгляды правительства. Нет ничего плохого в том, что кто-то поддерживает правительство, если оно ему нравится. Но не нужно называть это демократизацией. Мне кажется, что те, кто желает демократии, должны добиваться свободы взглядов и свободы ненасильственных действий для всех граждан страны. В том числе и для тех, взгляды кого им не нравятся. Возьмем, например, общество «Память». Мне трудно судить о его деятельности издалека. Но доступная мне информация об этом обществе не дает оснований для обвинения его в насильственных действиях или намерениях. Мне кажется, что, хотя для демократически настроенных граждан взгляды членов этого общества ненавистны, им все же следует выступать против его запрещения. Нужно взглядам членов этого общества противопоставлять свои взгляды, их статьям – свои статьи, их демонстрациям – свои демонстрации.

Это единственный способ убедить народ в порочности взглядов оппонентов. Запрет может привлечь к обществу внимание и симпатии. Особенно важно, чтобы русская демократическая интеллигенция активно выступала против антисемитизма «Памяти». Такие традиции у нее есть. Вопрос только в том, возможна ли в современном СССР для демократов пропаганда своих взглядов. Возможно ли им издавать свои газеты и журналы, иметь свои передачи по радио и телевидению. Если нет, то это порок существующего общества, и бороться нужно за его демократизацию, а не за запрещение неудобных взглядов. Аморально бороться за право изложения своих взглядов и одновременно требовать запрета изложения чужих взглядов. Аморально поддерживать правительство потому, что оно теперь разрешает мне высказывать мои взгляды, если оно запрещает другим высказывать их взгляды.

Продолжается укрепление вооруженных сил. Некоторое уменьшение численности не означает их ослабления. Уменьшение численности на 2–3 миллиона вполне может сочетаться с их усилением, с реорганизацией на более передовой технической основе. Это же касается возможного уменьшения численности конкретных видов оружия. Такое уменьшение всегда можно сделать, уничтожив устаревшие модели, являющиеся на самом деле только обузой для армии. По данным западной разведки и независимых источников, занимающихся стратегическими исследованиями, производство современных видов оружия ведется в СССР прежними, догорбачевскими темпами. Наверное, прежними темпами ведутся также новые научно-технические разработки для армии.

СССР тратит на свои вооруженные силы, по разным оценкам, от 15 до 25 процентов своего национального дохода. Ничего подобного нет ни в одной крупной стране мира.

Если Горбачев действительно хочет отказаться от экспансионизма, то он должен стремиться к всеобщему контролируемому разоружению в мире. Все годы после Второй мировой войны не было угрозы нападения на СССР. Единственное возможное исключение – маоистский Китай, но и оно не было серьезным, ввиду неравенства сил. Несмотря на это, СССР выделял на армию значительно бóльшую долю своих ресурсов, чем любое другое сильное государство. После конца войны США и Англия немедленно начали разоружаться, а СССР продолжал вооружаться. Когда последнее обстоятель-

ство стало известно на Западе, а Советский Союз к тому же предпринял ряд агрессивных актов, США также начали восстанавливать свою армию. Поэтому СССР сейчас должен сделать первый шаг к реальному разоружению. Сокращение расходов на армию примерно в 20 раз, сокращение одностороннее и проверяемое, было бы доказательством перестройки мышления советских руководителей, доказательством их мирных намерений. После такого сокращения СССР тратил бы на армию примерно 1% своего национального дохода. Столько сейчас тратит на армию Япония. Горбачев достаточно умен, чтобы понять безопасность для СССР такого разоружения. Он понимает отсутствие угрозы войны со стороны демократических государств. Из собственного опыта жизни в СССР я пришел к выводу, что там это понимают почти все достаточно интеллигентные люди. Только на Западе существует слой образованных людей, думающих иначе. Хочу еще раз подчеркнуть, что разоружение должно быть реальным. Наверное, и сейчас, по советским способам оценки расходов на армию, они меньше, чем по западным оценкам, из-за заниженной в СССР цены вооружения и ничтожных расходов на содержание солдат. Легко получить еще большее «снижение» расходов на армию, понизив цену танков и другого оружия. Сравнение трат СССР и Запада на армию должно включать одинаковый способ оценки расходов на технику и военнослужащих.

Экономика. Горбачев лихорадочно изыскивает средства для вложения в экономику страны. По-видимому, будут сокращены расходы на армию, КГБ, бюрократию, спутников. Будут поощряться иностранные капиталовложения.

Будут частично внедрены в экономику капиталистические методы в надежде повысить ее эффективность. Ключ здесь в слове «частично». Хозяйство с центральным планированием работает по одним законам, хозяйство с рыночным регулированием – по другим. Сочетание этих двух типов хозяйства едва ли будет плодотворным, хотя может немного оживить экономику страны. Такое сочетание – исключительно благоприятная смесь для коррупции. Она возникнет, и никакими силами ее не уничтожить. Коррупция при Брежневе покажется невинными цветочками по сравнению с тем, что будет.

Напряжение в хозяйстве усилится. Возникает и будет усиливаться вполне справедливое недовольство населения из-за

все растущей разности в уровне жизни. Неизбежно какая-то часть населения получит возможность иметь значительные доходы, а другая, бо́льшая часть свое положение не улучшит. Связи и коррупция будут определять успех частных предприятий не в меньшей степени, чем умелое хозяйствование. Слишком велик будет соблазн получить какие-то товары и льготы от планового сектора по ценам ниже рыночных. Это будет снижать эффективность экономики в целом. Подобные явления в капиталистической экономике играют небольшую роль. Но они и там существуют, особенно при работе по государственным заказам.

Горбачев не решится перевести экономику полностью на рыночные отношения, ибо в итоге получится чисто капиталистическая экономика, слабо зависящая от правительства.

Гласность и демократия. Как-то получается, что гласность в СССР весьма однобокая. Действительно, сейчас говорят и пишут то, за что недавно сажали в тюрьмы и психушки. Облегчены контакты с иностранцами, прекратилось глушение радиопередач, появилась какая-то возможность поездок за границу, создания «неформальных» объединений, кооперативов и т. п.

Однако. Разгул гласности в печати почти целиком направлен на поддержку Горбачева и его перестройки. Пишут о сталинском терроре и брежневском застое. Пишут о коррупции, преступности и о сегодняшних бюрократах. Но все это «в русле». Именно этого ждет от пишущих Горбачев. Мне могут возразить: разве не хорошо писать правду, критиковать сталинизм, например? На мой взгляд, хорошо. И мы должны быть благодарны Хрущеву и Горбачеву за предоставленную возможность. Но ведь недаром в суде требуют говорить всю правду. Неполная правда может оказаться хуже лжи. А полную правду по-прежнему сказать нельзя. Можно говорить только ту правду, что угодна нынешнему руководству страны. Иногда сейчас, при ослабленном контроле за печатью, а вернее, при еще не отработанных новых способах контроля за ней, прорывается в печать и кое-что неуютное правительству. Но это все же – исключения.

Разве не вызывает сомнения то обстоятельство, что на последней партконференции резолюции в поддержку перестройки и гласности собрали 100% голосов депутатов. Было бы больше уверенности, что происходят реальные изменения

в направлении свободы, если бы были громче слышны противники перестройки, а то получается, как когда-то получалось с каким-то таинственным Пастернаком, который во время оно будто бы написал какой-то роман. Роман никто не читал, но все знали, что он плохой, если судить по советским газетам. О противниках перестройки мы знаем не намного больше, чем в то время о романе Пастернака. Было бы больше уверенности, что голосование на партконференции отражает взгляды делегатов, если бы, например, резолюция в поддержку перестройки собрала 75% голосов, резолюция, осуждающая перестройку и требующая возврата к брежневской политике, – 20%, а резолюция, осуждающая Горбачева за слишком медленные темпы перестройки, – 5%. А если сегодня 100% за, то завтра легко может оказаться 100% против.

Так же сомнительно выглядит история с Ельциным. Никому в Москве неизвестный свердловчанин вдруг (наверное, единогласно) «избирается» руководителем московской партийной организации. Он снимает с работы первых секретарей райкомов и назначает новых, затем снимает новых и назначает новейших. Потом начинает заменять и новейших. Может быть, Ельцин действовал разумно и выгонял действительно не умеющих работать секретарей. Но где же партийная демократия? Пример демонстрирует, что при Горбачеве, как и раньше, ею не пахнет. Ведь партийное руководство района избирается коммунистами района, а не назначается начальством. Можно ли говорить о демократии, если коммунисты всех районов (единогласно) снимают и назначают своих руководителей, как только появляется соответствующее желание у секретаря горкома. Впрочем, как только секретарь горкома не угодил чем-то генеральному секретарю ЦК КПСС, все московские коммунисты прозрели и (опять единогласно) сняли с должности и самого Ельцина.

Начиная со сталинских времен и по сей день все резолюции на партийных съездах и конференциях принимались единогласно. Это может быть только по одной причине. Партийные съезды и конференции, как и органы конституционной власти, являются декоративными органами, а не органами реальной власти. Реальная власть принадлежит партаппарату, а внутри партаппарата строго ранжирована. Выше пост – больше власти. Сам аппарат реально комплектуется не выборами, а назначениями вышестоящего начальства. Так было,

так есть и, думаю, так будет. Если партаппарат решит прекратить перестройку, то очередной партийный съезд также решит ее прекратить (единогласно).

Чтобы правильно определить цели развития, чтобы работа шла не впустую, нужно проанализировать прошлое, найти корни допущенных ошибок. Только тогда можно будет понять, почему страна попала в положение, требующее перестройки, и как избежать такого положения в будущем. Ничего подобного гласность не делает. Причина, я думаю, та же, что и раньше. Цели определены высшим руководством. А задача гласности – создать нужную атмосферу, разъяснить, помочь правительству в выполнении его целей. Содержание гласности по анализу прошлого сводится к тому, что к власти как-то пробрался злой дядя Сталин и всем было плохо. Затем стал править глупый дядя Брежнев, и было тоже плохо. (И, кстати, это правда, но не вся правда). Теперь правит добрый и умный дядя Горбачев, и скоро всем станет хорошо.

Как во времена Сталина, Хрущева и Брежнева, так и сейчас, во времена Горбачева, нет попыток объективного исследования развития советского общества. Как и раньше, исследователям заранее известен результат. Разница в том, что раньше результат указывался Сталиным или Хрущевым, а теперь Горбачевым. Конечно, результат сейчас другой, так как у Горбачева не те взгляды на построение общества, какие были у Сталина или Брежнева. Горбачеву не опасны Троцкий и Бухарин. Поэтому их можно реабилитировать. Иллюзия близости современных публикаций к истине возникает из-за того, что упоминаются имена, не упоминавшиеся ранее (те же Троцкий и Бухарин, например), упоминаются события, не упоминавшиеся ранее (репрессии, голод, коррупция). Но все это служит горбачевской цели развенчания предшественников, обоснованию необходимости изменения общественных структур и общественных взаимоотношений, как этого хочет Горбачев. Настоящие причины жалкого положения страны, рабского и нищенского существования населения не анализируются.

В этой статье упомянуты некоторые причины такого состояния страны. (Конечно, далеко не все. Читатель может дополнить.) Повторю их кратко еще раз.

1. Отсутствие свободы. Из-за этого невозможно достаточно плодотворное творчество во всех областях жизни.

Следствие: низкая производительность труда, влекущая низкий уровень жизни.

2. Изоляция от других государств из-за боязни информации о более свободной и обеспеченной жизни в них. Она приводит к тем же следствиям, что и отсутствие свободы.

3. Как следствие первых двух пунктов, образование и воспитание молодежи не может быть полноценным. Недостаточно развиваются у нее самостоятельность мышления, творческие способности, инициатива.

4. Низкий уровень жизни диктует режиму необходимость внешней экспансии в эпоху быстрого распространения информации. Для экспансии необходимые мощные вооруженные силы. Непомерные расходы на их содержание, в сочетании с органическими недостатками самого общественного строя, привели к относительному уменьшению расходов на экономику и культуру до уровня, при котором их деградация становится неизбежной.

5. Расходы на паразитические государства – созданные Советским Союзом плацдармы для дальнейшей экспансии. На самом деле, они не приносят ему никакой пользы. Они только способствуют уменьшению популярности СССР в мире, так как являются примером неэффективности и античеловечности коммунистического руководства, с точки зрения цивилизованного общества: Куба, Вьетнам, Эфиопия и др.

6. Бюрократический способ управления экономикой.

Существуют и более глубокие причины жалкого положения страны, никак не освещаемые гласностью.

Главная причина происходящего в стране – преступный антидемократический переворот, так называемая Октябрьская революция. Если Горбачев хочет сейчас демократии, он должен осудить причину ее отсутствия в стране – Октябрьскую революцию, должен признать преступными действия большевиков в то время. Если бы большевики тогда хотели демократической и социалистической России, то после Февральской революции для них не было никаких препятствий прийти к власти демократическим путем при условии поддержки их программы большинством населения страны. Но они выбрали насильственный переворот и уничтожение демократии. Демократия в России была уничтожена не Сталиным, а Лениным и его сторонниками во время революции. Теперь Горбачев

утверждает, что хочет ее восстановить. Пока он не осудит ее уничтожение в 1917 году, трудно в это поверить.

Вторая причина. Вспомним второй съезд РСДРП. Раскол на большевистскую и меньшевистскую фракции. До сих пор нет попыток разобраться в сущности этого события. Вероятно, это не легко было сделать сразу после раскола, так как многие насущные мелочи заслоняли смысл происходящего. Хотя некоторые чувствовали его уже тогда. Последовавшие события осветили смысл раскола достаточно ясно. Все же и сейчас, в эпоху гласности, никто не осмеливается написать об этом в советской печати. Сущность в том, что в 1902 году русские социал-демократы разделились на демократическую фракцию – меньшевики – и тоталитарную – большевики. Ленин с самого начала старался установить тоталитарные порядки в своей фракции. Только Ленин мог выражать взгляды фракции, которой он руководил единолично. Все несогласные с ним члены фракции шельмовались и, если упорствовали в своем несогласии с ним, изгонялись из фракции. Неудивительно всегдашняя ненависть Ленина к интеллигенции – к людям, старавшимся выработать собственную точку зрения, способным самостоятельно анализировать происходящие события на основе фактов и знаний, не склонным к предрассудкам и слепому послушанию вождям. К моменту революции в партии большевиков интеллигентов почти не было. И после революции доступ интеллигентам в коммунистическую партию был затруднен, хотя реально подавали заявления о вступлении в партию не столько интеллигенты, сколько люди с высшим образованием. Но и их, по традиции, идущей от Ленина, партийная номенклатура недолюбливала. Когда ленинская партия пришла к власти в 1917 году, тоталитарный режим, естественно, был установлен во всей стране.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ И ВЛАСТЬ

Кульм личности Горбачева уже существует и растет. Некоторых обманывает то, что нет прежних атрибутов культа. Но ведь прежние атрибуты тешили тщеславие руководителей более низкого интеллектуального уровня. Горбачев понимает, что эти атрибуты будут только принижать его образ, делать из него посмешище (вспомните Брежнева).

Последователи Горбачева обычно всю перестройку, все свои надежды на изменение общества к лучшему связывают лично с Горбачевым. Сам Горбачев создает государственную структуру, в которой формально одному человеку принадлежит больше власти, чем это было когда-нибудь раньше в советской истории. Конечно, важнее фактическое положение вещей. Хотя Сталин формально не был главой государства, фактически он сосредоточил в своих руках больше власти, чем Горбачев имеет сейчас, и, наверное, больше, чем Горбачев когда-нибудь будет иметь. Но формальная сторона также имеет значение. Она может улучшить его образ за границей, побудить руководителей государств рассматривать его не как представителя узурпировавшей власть клики, а как законного представителя государства. При определенных условиях она может помочь ему в укреплении и расширении своей власти.

Демократически настроенным советским гражданам не нравится происходящая сейчас формальная централизация власти. Многие при этом, однако, оговариваются, что при Горбачеве централизация не опасна, но станет опасной, когда власть перейдет в другие руки. Это не так. Концепция доброго царя себя не оправдывает. Нельзя связывать надежды с деятельностью одного человека. Необходимо стремиться создавать общественные структуры, сами по себе обеспечивающие невозможность или, по крайней мере, чрезвычайную трудность для одного человека, какой-нибудь группы лиц или партии захватить монопольную власть.

Предлагаемые Горбачевым структуры узаконивают власть правящего слоя. Этому слою, видимо, уже недостаточно фактически вершить делами страны, ему нужно формальное признание его власти.

Некоторые видят положительную сторону горбачевской структуры управления страной в том, что при ней увеличивается ответственность власть имущих. Теперь, мол, именно они, а не зиц-председатели будут отвечать за провалы руководства и поэтому будут стремиться управлять страной лучше. Это наивно. Начальство (да и народ) всегда знало, кто есть руководитель на самом деле. И спрашивало с него. Спрашивало в первую очередь с Ларионова и Медунова, а не с их зиц-председателей.

Всякое разумное руководство в любой стране и при любом строе хочет, чтобы подчиненные работали, а не без-

дельничали, чтобы не было коррупции, очковтирательства и тому подобных вещей. В брежневские времена многие руководители забыли об этом. Горбачев хочет восстановить нормальную требовательность к подчиненным. Хочет дополнить ее каким-то контролем снизу (гласность). Это хорошо, но перестройка здесь ни при чем. Требовательность бывала и раньше. Горбачев заменит, по возможности, неспособных, обленившихся и коррумпированных чиновников. Им на смену придут более молодые, энергичные, еще себя не скомпрометировавшие чиновники. И это неплохо. Но управления страной это существенно не улучшит. Следовало бы создать новую систему взаимоотношений между элементами общества, удаляющую гнилые элементы автоматически, а не в результате контроля, так как, хотя он и необходим, он всегда недостаточно эффективен. Только такое общество будет в достаточной степени застраховано от разложения. Можно привести пример рыночного механизма в капиталистическом обществе. В США и других странах свободной рыночной экономики случается, что по тем или иным причинам в руководстве фирмы оказываются неспособные или обленившиеся деятели. Но это обстоятельство довольно быстро сказывается на ее делах. Прибыль уменьшается, затем фирма начинает терпеть убытки. Тогда либо происходит реорганизация и смена руководства, либо фирма терпит банкротство. В обоих случаях происходит оздоровление общественного хозяйства, очищение его от гнилых элементов. Этот процесс происходит обычно быстро в маленьких фирмах, может затянуться на долгие годы в крупных, но плохое хозяйствование в конечном итоге всегда наказывается.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

По прошествии нескольких лет Горбачев убедится, что цели перестройки (укрепление системы власти в СССР) не выполнены и выполнены не будут.

Возможно несколько продолжений.

1. Сделать вид, что цели достигнуты. В этом случае в стране начнется застой, подобный брежневскому. Страна по-прежнему будет отставать от развитых демократических государств. Надежд на победу в мирном соревновании с ними не

останется. Горбачев правильно постоянно подчеркивает, что перестройка – последний шанс советской системы на выживание. Так вот, этот шанс исчезнет. Чтобы спасти режим, будет восстанавливаться в той или иной форме изоляция СССР от мира. Возобновятся репрессии против инакомыслящих, число которых будет расти быстрее, чем когда-либо в прошлом, ибо перестройка и гласность притупят страх. Возобновятся и попытки внешней экспансии. Понадобится вновь усилить госбезопасность и армию. Но все это будет лишь усиливать отставание и в конечном счете ослаблять систему.

2. Начать новый этап перестройки. На этот раз поставить задачу действительно демократизировать общественную жизнь в стране и перейти к действительно эффективным методам хозяйственного строительства, не требуя от них обязательно заботиться о сохранении существующей системы власти. Тогда жизнь населения страны будет улучшаться, СССР перестанет быть угрозой миру, прекратится экспансия, будет достигнуто реальное разоружение и сотрудничество с другими демократическими государствами. Наверное, из-за этой гипотетической возможности многие поддерживают перестройку в СССР. Я оцениваю вероятность этого продолжения как чрезвычайно низкую, хотя и не равную нулю. Против высокой оценки вероятности этого продолжения говорят несколько соображений. Во-первых, судя по его действиям до сих пор, к этому продолжению не стремится Горбачев. Во-вторых, это продолжение вызовет отчаянное сопротивление правящего слоя общества. В-третьих, оно не получит широкой поддержки народа из-за разочарований, вызванных первым этапом перестройки, из-за всеобщего неверия в добрые цели руководства, из-за нежелания перемен еще раз, из-за усилившейся в результате неудачи предыдущего этапа перестройки апатии тех, кто в нее верил и мог бы поддержать это продолжение. В-четвертых, не видно, кто может быть организатором этого продолжения, особенно если ему будет сопротивляться Горбачев.

3. Реально управляющий страной слой общества придет к выводу, что перестройка угрожает его правящему положению в стране. Это может произойти и до того, как сам Горбачев убедится в провале перестройки. В этом случае Горбачев будет смещен и новое «истинно ленинское» руководство возвратится к какому-то варианту сталинской модели общества.

Отличие от первого варианта возможного продолжения перестройки в том, что репрессии будут более энергичными и жестокими, лишение народа всех прав более последовательным. Несмотря на кажущуюся привлекательность такого продолжения для правящей клики, на самом деле он для нее самый плохой. На возникшую угрозу войны Запад ответит усилением своей обороны, и советские руководители быстро убедятся в бесперспективности надежд на военную победу. Тем временем экономика начнет быстро разваливаться по тем же причинам, что и в догорбачевские времена. Произойдет крушение государства. Возможны различные варианты этого события, предсказать, который из них осуществится, я не берусь. Последнее продолжение хуже других для руководителей государства потому, что при нем велика вероятность их физического уничтожения в процессе краха. При перестроечных продолжениях более вероятно лишь их отстранение от власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перестройка — только этап в развитии советского государства, попытка адаптировать его к современным условиям с сохранением власти в руках партийного аппарата. Она нужна режиму для того, чтобы повысить научную и экономическую эффективность, создать на этой основе современные вооруженные силы, способные обеспечить СССР успех на новом этапе экспансии.

От Сталина до Черненко советские руководители закрывали глаза на происходящие в мире перемены. Они не знали, как на них реагировать, и поэтому уверяли себя и других, что ничего не происходит. Как всегда в таких случаях, болезнь зашла далеко и требует теперь радикальных методов лечения, если только она еще излечима.

Только Горбачев имел какие-то идеи лечения советского общества. Поэтому он оказался у власти. Началась перестройка. Появилась гласность. Но с самого начала в действиях Горбачева сказывалось желание и капитал приобрести и невинность соблудности, что приводит к недостаточно эффективным методам лечения.

Для коренного улучшения положения страны следовало бы отбросить соблюдение социалистической невинности. Но не для этого Горбачев получил власть.

Трагедия Горбачева в том, что все шаги для реального укрепления советского государства в своем развитии приводят к уничтожению этого государства.

Реальное укрепление государства требует расширения свободы для всех граждан и преобразования его в демократическое правовое государство.

Горбачев, по-видимому, мечтает найти золотую середину. Сделать несколько шагов в направлении свободы для улучшения жизнедеятельности страны, но во время остановиться, дабы не создать серьезную опасность для советской системы власти.

Это не получится по двум причинам.

1. Небольшое расширение свободы недостаточно, чтобы страна могла достичь уровня более свободных государств по уровню жизни населения, развитию культуры, потенциальной возможности создания сильной армии.

2. Чем больше у советских граждан будет ограниченной свободы, тем сильнее они будут желать еще большей свободы, тем более они будут неудовлетворены своей жизнью, тем острее будет недовольство государством, тем активнее они будут стараться изменить сущность государства. Чувство удовлетворения полученной ограниченной свободой скоро пройдет. Возникнет более сильное недовольство остающимися ограничениями свободы, чем оно было при почти полном отсутствии свободы. В сталинское время противодействия диктатуре практически не было. Критика существующего положения, инакомыслие, какие-то попытки борьбы с несвободой возникли только после его смерти, когда люди почувствовали чуть больше свободы.

Тоталитаризм и свобода – основы для более устойчивых состояний общества, чем состояния с частичной свободой. В прошлом, из-за отсутствия хороших средств информации и ограниченных транспортных возможностей, состояния общества, промежуточные между свободным и тоталитарным, были достаточно устойчивы. В наши дни эти промежуточные состояния становятся все более неустойчивыми, ибо информация о свободной и достойной жизни в демократических государствах проникает в полусвободные государства и вызывает там желание лучшей жизни. Одним из проявлений этого

обстоятельства является сильнейшее эмиграционное движение из несвободных и полусвободных государств в свободные. Все больше людей понимает, что большего материального благополучия можно добиться, только добившись большей свободы. Реальной свободы, а не декларируемой.

Тоталитарному строю для своего сохранения необходимо быть все более тоталитарным и жестоким.

Поэтому горбачевские реформы, имеющие своей целью укрепление советского антидемократического режима через предоставление гражданам частичной свободы, обречены на неуспех. Либо общество, независимо от желаний Горбачева и его сторонников, будет развиваться в направлении реальной свободы, возможной в мире сегодня, либо, что, к сожалению, более вероятно, боязнь правящего слоя потерять свои привилегии приведет к реставрации тоталитаризма сталинского образца, хотя и не обязательно с сталинским размахом террора.

Но, как я уже писал, возврат к сталинизму не решит проблем государства, и через некоторое время потребуется опять «перестройка».

Если исключить всеобщую катастрофу человечества в ядерной войне, все же рано или поздно советский общественный строй должен исчезнуть, и на его месте возникнет демократическое государство.

Как оценить перестройку.

Есть небольшой шанс, что она на втором этапе приведет к реальным демократическим преобразованиям в стране, даже если этому будет противиться Горбачев. Если же он сам имеет такую цель, то я могу только сказать: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж», – и пожелать ему успеха.

Более вероятно, что горбачевская перестройка сведется к смене декораций. В случае своего частичного успеха (полного быть не может) по укреплению советского строя, она приведет только к затягиванию его агонии, увеличению страданий народа, дополнительным жертвам по сравнению с катастрофой режима без перестройки.

ЗАМЕЧАНИЕ

В статье многократно употребляется термин «свободное общество». Необходимо его уточнение.

В любом человеческом обществе нет абсолютной свободы для всех его членов. Она всегда ограничена моралью, законами, обычаями. Более того, я убежден, что, в зависимости от уровня самосознания общества, существует некоторый оптимальный уровень свободы, наиболее благоприятствующий развитию культуры и благосостояния этого общества. По мере изменения общественного самосознания (культуры в наиболее общем смысле этого слова) изменяется и оптимальный уровень свободы для этого общества. Превышение этого уровня (слишком много свободы) так же отрицательно сказывается на жизни членов общества, как и недостаток свободы. Главное – в понимании того, что увеличение свободы означает и увеличение ответственности за свои поступки.

Невозможно теоретически определить оптимальный уровень. Каждое общество ищет его методом проб и ошибок, получая в процессе поисков синяки и шишки.

Мне понятна тревога тех, кто боится слишком быстрого распространения свободы в СССР. Уровень свободы может оказаться выше оптимального для нынешнего состояния общественного самосознания, что приведет к отрицательным последствиям. Некоторые отрицательные последствия видны уже сейчас, хотя свободы имеется с гулькин нос. Но все же, мне кажется, вся история человечества – история борьбы свободы с несвободой – показывает развитие его в направлении свободы, развитие безусловно не прямолинейное, с зигзагами и возвращениями вспять, но все же развитие.

Что можно сказать о готовности советских народов пользоваться свободой? Мне кажется, что в полной мере пользоваться уровнем свободы, имеющимся сейчас в наиболее свободных государствах, советские граждане еще не умеют. Но ведь нужно учиться. Можно ли научиться плавать, только изучая теорию, не входя в воду? Сомневаюсь. Нельзя также научиться жить в свободном обществе, только наблюдая издали, как живут в нем другие. Без сомнения, учение – нелегкая вещь. Будут ошибки, будут синяки и шишки. Но, на мой взгляд, уровень самосознания советских народов достаточен, чтобы они смогли научиться жить в условиях свободы, не утонуть в ней. Тем более, что от этого никуда не уйти. Пора становиться взрослыми.

КУДРИН Виктор Дмитриевич. В 1958 году окончил математико-механический факультет Ленинградского университета. С тех пор до выезда на Запад работал в Сибирском отделении АН СССР. Заведовал лабораторией в академическом институте. В США специализируется по анализу коммуникационных систем.

ПАМЯТИ АРХИЕПИСКОПА ИОАННА (ШАХОВСКОГО)

Было это лет пять назад. Умер старый писатель-эмигрант. Книги из его библиотеки раздавались знакомым. Среди доставшихся мне одна носила название, сразу же возбуждавшее интерес, — «Московский разговор о бессмертии». Автор — Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской). Так началось мое знакомство с этим выдающимся христианским пастырем и миссионером. Сначала по книгам его. Потом по переписке, завязавшейся между нами после того, как Владыка прочитал переведенную мной на русский язык замечательную книжку английского профессора и писателя Клайва Льюиса «Сущность христианства». Прежде он читал ее в оригинале, высоко ценил и не раз цитировал в собственных работах.

Не на всё в христианстве смотрели мы одинаково: он — высокий иерарх Православной Церкви, русский князь, и я, еврейка из «3-й волны», рядовая прихожанка церкви Евангельских христиан. Но нас сближало главное — любовь к Господу нашему Иисусу Христу и безграничное доверие Ему. Это главное и стало основой той дружбы, которой удостоил меня Дмитрий Алексеевич Шаховской.

Большую часть своей жизни отдал Владыка проповеди Христовой истины, исполняя завет Господа Его ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие...» (Мк. 16:15). 40 лет вел он духовные передачи по «Голосу Америки» на Россию, рассказывая нашим соотечествен-

никам, обманутым и обездоленным атеизмом, о Боге. В этих радиопередачах и в многочисленных своих статьях и книгах он обращался к христианам всех номинаций, да и к нехристианам, к неверующим – тоже. В одной из работ он как-то высказал мысль, что «право-славные», т. е. «правильно» (в значении – искренне, от сердца) Бога исповедующие и славящие, имеются в *каждой* из христианских номинаций.

В прошлом году, уже тяжело больной, он пригласил меня навестить его в Санта Барбаре, где жил последние годы. В моем сознании эти 12 дней подобны тем дням, что до революции проводили у старцев Оптиной пустыни люди, приезжавшие туда в поисках мудрости и мира.

О поразительной духовной проницательности о. Иоанна мне известно из рассказов знавших его ближе, чем я. Но вот пример, имеющий отношение ко мне лично. Поначалу Владыка, зная, что я замужем, абсолютно ничего не знал ни о моем муже, ни о характере наших отношений. Но вот однажды, заканчивая телефонный разговор, просит: «Передайте сердечный привет вашему мужу, Ирина Ионовна, – он ведь ваш Ангел-хранитель». Я пережила нечто вроде мгновенного шока. Да, именно «ангелом-хранителем» всегда был и остается для меня мой муж. Но откуда известно это Владыке?

С тех пор, как стало возможным посылать в Россию Библии и духовную литературу, разными путями идут туда книги Архиепископа Иоанна. Имеют их и все мои многочисленные родственники и знакомые. Сказать, что за них благодарят, – это сказать мало. Вот отзывы лишь двух женщин (в недавнем прошлом – атеисток), музыковеда и переводчицы: «Много читаю, благо что чтением завалены. А копать с души смываю книгой о. Иоанна. Спасибо Вам за нее!»

«Переписка с генералом Красновым произвела большое впечатление, как и все, что выходит из-под пера Шаховского. Сейчас прочла главу «Русский реализм» из его «К истории русской интеллигенции» и была потрясена ... Прочла на расвете и заснуть уже не могла. Книгами его упиваюсь. Читаю их обычно перед сном, понемногу, вместе с Библией».

Минули недели и месяцы со дня кончины Архиепископа Иоанна. Да упокоится душа его, много возлюбившая Господа и много потрудившаяся для Него на земле, в вечных Его обителях, где нет ни слез, ни боли, ни воздыханий!

Ирина Череватая

Восточноевропейский диалог

Чеслав М и л о ш

КОНЕЦ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА

(О Юзефе Мацкевиче)

Прушинский, Ивашкевич... А теперь меня одолевает совсем не похожий на них человек и писатель – Юзеф Мацкевич. Перед войной он был сотрудником виленского «Слова», редактор которого, его брат Станислав Мацкевич, устраивал много шума, сражался статьями, политиканствовал, дуэлянтствовал (на саблях), попал за оппозиционность в лагерь в Березе Картуской. А Юзеф сидел где-то в редакции, и это все, что о нем было известно.

В 1938 году Юзеф Мацкевич издал «Бунт топей». Это были его репортажи с Виленщины, собранные в путешествиях автобусом и конной повозкой по дорогам Белоруссии. Когда я теперь в Калифорнии думаю об этих краях, они кажутся мне пленительными, обладающими редким богатством переплетенных национальных, вероисповедных, классовых нитей и богатейшей историей. Я тем более могу это оценить, что кое-что читал об истории колоний, например Караибских островов. Экзотика, пальмы, тропическое море – и кошмар полной исторической пустоты, алчности, эксплуатации, в лучшем случае летопись преступлений белых авантюристов и пиратов. Довоенная Виленщина, хоть и серая, между сосновым бором и топью, должна была и своим прошлым, и настоящим вдохновить многих писателей. Что ж поделать, если их не было. Наверно, они появились бы: двадцатилетие – слишком краткий период. Кроме того, существовали препятствия. Пишущие по-польски росли в традициях шляхетского поместья, и, чтобы увидеть более широкую действительность, им пришлось бы вырваться из этого заколдованного круга. Белорусы, окостенелые в своем национальном сопротивлении, еще не находили сил ни на что, кроме поэзии (Максим Танк);

виленская группа, писавшая на идиш, «Юнге Вильно», того же поколения и склонностей, что «Жагары»,^{1*} была поэтической. Вильно породило выдающегося прозаика – Хаима Граде, летописца еврейских местечек в Литве и Белоруссии, но вернулся он после войны в Америке, так же, как Исаак Башевис Зингер.

Юзеф Мацкевич в «Бунте топей» составлял свои репортажи с независимостью и чувством противоречия, которые позднее принесли ему всяческие несчастья. Он вышел за рамки обычной польской орбиты и вместо поместья занялся провинцией «тутэйших», независимо от того, говорили они дома по-польски или по-белорусски, особенно явлением распространённых в этой провинции религиозных сект, равно враждебных как католицизму, так и православию. В книгу широко вошла и повседневная жизнь этих краев. Схожая Виленщина показана в романе Флориана Чарнышевича «Ребята из Новошишек», написанном в Аргентине. Его главная тема – столкновения между католиками и православными в пределах одной деревни, что означало выбор не столько национальный – быть поляками или белорусами, сколько государственный – за Польшу или за Советы. Как в конечном счете включалась бы в эту неразбериху сектантская Виленщина, мы никогда не узнаем.

Юзефа Мацкевича во времена своей виленской молодости я почти не знал. Ворчливый, из тех, чей кривоватый нос будто в рюмку заглядывает, в фуражке с околышем, часто в домотканной одежде и сапогах, он мог бы сойти за серенького мелкого шляхтича прямо из деревни. Он любил по ночам выпивать в виленских ресторанах, как и другой сотрудник «Слова», Ежи Вышомирский, но, в отличие от него, литературой не интересовался. А уж о поэзии с ним наверняка не удалось бы поболтать. Хотя, кажется, он обладал начитанностью нередкого тогда у нас рода – в русской литературе XIX века.

* Примечания переводчика – в конце текста.

Я не сумел бы вообразить его варшавским или краковским литератором. Он жил в городе, который оставался для него столицей Великого Княжества Литовского, и был патриотом этой земли. Думаю, что уже сегодня более молодым поколениям трудно себе представить, о каком переплетении лояльности тут шла речь и почему такие, как он, с одинаковой неприязнью относились как к польским патриотам, так и к патриотам литовским или белорусским. Недавно я перечитывал статьи и эссе Мацкевича, изданные в Лондоне, где он говорит о «внутреннем разделе» Великого Княжества, произведенном поляками, литовцами и белорусами. «Наследник целого не объявился. Попросту не было такого. Каждый хотел только урвать себе кусок». Я считаю его в высшей степени правдивым писателем и думаю, что он отнюдь не преувеличивает, когда пишет: «Отсюда произошел спор, перерастающий в открытую борьбу за языки, за культуру, за традиции, за истолкование истории, за религию. Бои велись и кулаками, дубинками по святым церквям и костелам, ножами, оглоблями, пистолетами и, наконец, во время последней войны – доносами в гестапо или НКВД. Ненависть, по всем законам природы, порождала ненависть».

По мнению Мацкевича, польская сторона несет, возможно, наибольшую ответственность, ибо «преемники наследия всех земель Великого Княжества» были полонизированы и культурно, и политически, так что нарождающимся национализмам умели противопоставить только польский национализм. «В результате, они оказались в своей стране в невыносимом положении: глашатаев чужого государства, а от этого до отношения к ним подавляющего большинства населения как к иностранным агентам оставался только один шаг».

Пример моей семьи? Мой родственник Оскар Милош был первым представителем независимой Литвы в Париже, что для поляков равнялось измене. Родители моей матери, Куна-ты, были лояльными гражданами Литвы, польской национальности, по-литовски не говорили. У моей матери было двойное гражданство – литовское и польское, по национальности она всегда считала себя полькой, литовский язык знала слабо. Зато ее сестра говорила по-литовски свободно. Мой

отец в Литве был объявлен изменником за свою принадлежность к ПОВ². Его внесли в черный список, и въезд в страну, где он родился, был ему закрыт. Тем не менее, 17 сентября 1939 года, когда ему удалось добраться до литовской границы из местечка Глембоке, где он работал уездным инженером, литовцы оказались великодушны, как тогда по отношению к множеству беженцев из Польши, и, хотя знали, кто он, в Литву впустили. Там он не подвергся преследованиям за давние грехи.

Мацкевич считает единственным сознательным патриотом Великого Княжества Литовского Людвика Абрамовича, редактора-издателя «Пшеглёнда виленского». Абрамович претендовал на целостное наследие, при полном предоставлении равных прав народам, населяющим эти земли. Его программа отличалась от всех федеративных помыслов, в т. ч. и от федерализма Пилсудского, ибо все они руководствовались прежде всего польскими национальными и государственными интересами. В этой перспективе нарушение поляками Сувалкского договора и захват Вильно, как и фиктивность «Центральной Литвы»³, отягощали счет сторонников «ягеллонской идеи». Не знаю, как относился Мацкевич к свящ. Валериану Мейштовичу, который считал Литву созданием своих предков, чуть ли не собственностью родового дворянства, и прославлял патриархальные отношения между поместьем и мужиком. Вероятно, он включал его в число тех, польский дух которых, «сам собою разумеющийся», нес ответственность за недоверие литовцев и белорусов к идее Унии, так что они предпочитали лучше иметь дело с откровенными националистами.

* *
*

Довоенное Вильно вернулось ко мне, когда я сейчас читал (в корректуре) записки Люси С. Давидович (Lucy S. Davidovich. From that place and time). Выросшая в Нью-Йорке, она провела в Вильно 1938/1939 год, занимаясь исследовательской работой в тамошнем Еврейском научном институте. Это очень полезное чтение: оно напоминает о другом важном Вильно, еврейские традиции которого принесли ему имя «Северного Иерусалима». Примерно треть населения города мало что общего имела с государством, в котором оказалась; она гово-

рила на идише и частично, в своих верхних слоях, по-русски. Записки Давидович, не знающей польского языка, касаются прежде всего разделения на «мы» и «вы», а также преследований. Один из ее виленских друзей, журналист, лишился глаза во время студенческих антисемитских волнений 1931 года (эти волнения я помню). Последний год перед войной принес полную победу эндецкой⁴ программы, проводимой в жизнь ОЗОНОм: пикетирование еврейских лавок, проекты закона, запрещающего ритуальный убий скота, множество мер по принудительной полонизации, главное же – антисемитская пропаганда, в которой соревновались правительственная печать и пресса позднейшего святого о. Максимилиана Кольбе. Вильно, по свидетельству Давидович, было опасным городом: повторялись нападения хулиганов, вооруженных тростями, так что каждая встреча с молодыми поляками грозила избиением. Давидович признаёт, что женщин и детей не били, что, однако, не уменьшало зловещего урожая таких событий.

Это Вильно, пожалуй, стоит припомнить, когда идет разговор об окончательной гибели Великого Княжества. Задиристая польская молодежь, избивающая палками своих коллег в университете и устраивающая охоту на прохожих, вскоре смогла увидеть советские танки, окруженные восторженной толпой еврейской молодежи, хотя сомнительно, связались ли у поляков в головах причина со следствием. Сцены этой радостной встречи на улицах Вильно описывает в своей автобиографической книге Хаим Граде («My mother's sabbat days», перевод с идиш), а поскольку он был честным писателем и заботился об объективизме, он рассказывает также, как зашел в тот день в Кафедральный собор и как жаль ему было собравшейся там, смертельно печальной толпы верующих.

Ближе я познакомился с Мацкевичем в 1940 году, когда Юозас Келюотис, редактор «Науойи Ромува», помог мне попасть в ставший литовским Вильнюс, что я, кстати, рассматривал как временный этап. Мацкевич редактировал одну из двух выходивших тогда в Вильнюсе польских газет – «Газету цодзенную». Заместителем редактора был мой коллега по «Жагарам» Теодор Буйницкий. Я стал сотрудником газеты, как и многие литераторы – местные и беженцы, – в т. ч. Святопелк Карпинский и Януш Минкевич. Много лет спустя полемизируя с моим эссе о Буйницком, Мацкевич («Об одной последней попытке и застреленном Буйницком») не согла-

шается с моим определением его программы как защиты «польского кантона» в пределах Литвы. И верно: никакой «польский кантон», ни Польша и ни Литва не могли удовлетворить этого наследника Великого Княжества, раз уж он хотел идти по пути Людвика Абрамовича. Однако на практике программа «Газеты цодзенной» сводилась к этому, что отличало ее от «Курьера виленского», который стал голосом польской ортодоксальности, исповедуемой большинством польского Вильно: для них принадлежность Вильно к Литве была попросту литовской оккупацией.

С Мацкевичем я ближе не сошелся: иное поколение, иной склад ума. Я уважал его как писателя и как человека доброй воли, который делает все, что может, и от этого уважения никогда не отказывался. Что не мешало мне размышлять над его запутанной судьбой. Среди шляхты Великого Княжества было немало ярких авантюристов, к которым я причислил бы его брата Станислава, но известен был и тип авантюриста тихого и ярого, такого, который ни перед чем не отступит. Именно таким я представляю себе Юзефа. Возникает вопрос, в какой степени самовольная и никого не признающая личность, убежденная, что правота на ее стороне, имеет право или обязанность выступать против общественного мнения. Чтобы забыть, что представляет собой это общественное мнение, забыть о нашей к нему симпатии или антипатии, требуется немалое усилие, но только тогда вопрос о социальной роли конформизма приобретает смысл. Мацкевич жил в своей виленской шляхетской среде бывших кавалеристов – как и он, участников войны 1920 года, теперь обычно чиновников, но также дуэлянтов и охотников, как, к примеру, его друг Михал Павликовский с Минщины, который редактировал охотничье приложение к «Слову» под заглавием «Где же, где трубят охотничьи рога...» (так, с многоточием!). Но Мацкевич проламывал рамки и этого круга. Получив неизгладимый отпечаток русской гимназии и своего, школьных лет, фантастического интереса к книгам по зоологии и орнитологии (в чем мы были схожи), он по образованию и по навыкам наблюдения был естествоиспытателем. Может быть, эта как бы позитивистская закваска выработала в нем скептицизм в отношении к «польскому Вильно». Он вызвал возмущение этого Вильно с первых номеров «Газеты цодзенной», печатая статьи, в которых отчаяние и гнев по поводу сентябрьского поражения

разряжались в бешеных нападках на всю довоенную Польшу, от которой не оставалось камня на камне. Он не любил ни Пилсудского, ни санацию (хоть и работал в санационном «Слове»), но чтобы найти теперь себе сотрудника в лице Петра Ковнацкого, «народовца»⁴, и вместе с ним издеваться над правлением «полковников», хотя прежде ничто его с Ковнацким не соединяло, — это было уже слишком. Это выглядело измывательством над потерпевшей поражение Польшей ради того, чтобы понравиться литовским хозяевам. Без усталости кромсаемая цензурой и обвиняемая литовцами в подрывных тенденциях (ибо что это за коварные разговоры о Великом Княжестве?), «Газета цодзенна» положила начало губительным сварам, в которых скрытым аргументом против нее было «сотрудничество с оккупантом». Иначе говоря, Мацкевич проявил талант выбирать такую позицию, чтобы быть битым с обеих сторон. Нет сомнения, что чувства гнева и горечи после поражения были широко распространены и что он выражал их из действительной озабоченности, а не затем, чтобы кому-то понравиться. Но большинство, испытывая те же чувства, сдерживалось, ибо как-то нехорошо стирать грязное белье в такой печальный момент.

Вильно этого короткого периода, т. е. включенное в независимую Литву, перегруженное беженцами, подвергнутое ускоренной литуанизации законодательно, а если надо, то и дубинкой (тех, кто недавно бил евреев, хотя не их одних, теперь били за пение в костёле по-польски), текло млеком и медом, как это умеют устроить хозяйственные литовцы, обладало замечательными ресторанами и кафе, где торговали валютой, покупали паспорта и визы, планировали поездки на Запад, прежде же всего оно было городом разнообразнейших сплетен и всегда зловещих слухов. Литва, окруженная враждебными державами, словно остров спасения, притягивала несчастных, готовых рисковать своей шкурой в путешествии через зеленую границу, но, оказавшись у цели своих мечтаний, они обнаруживали, что попали в ловушку. Самолеты из Каунаса на Запад, через нейтральную Швецию, некоторое время курсировали. Я и сам обратился в неофициальное польское представительство в Каунасе, был записан, уже получил место, когда выездам положили конец.

Не думаю, что напряженные польско-литовские отношения меня волновали. Хотя дружба с Келюотисом, который

устраивал польско-литовские встречи, т. е. встречи польских и литовских репрезентативных фигур, должна была меня увлечь в этом направлении. Замечу, что Келюотис, родом из Каунаса, польского языка не знал и как во время моего визита в Каунасе в 1938 году, так и теперь мы разговаривали по-французски. (Его парижское образование оказалось плохой подготовкой для будущего многолетнего узника ГУЛАГа.) Размах и ужас событий отнимал значимость у польско-литовских стычек, и я, пожалуй, просто пожимал плечами. Мацкевич в вышеупомянутом эссе обвиняет меня в искажении истины, когда я говорю, что «во многом ненависть между поляками и литовцами была предана забвению». Как он замечает, в Вильно, вследствие националистической и неумной политики литовских властей, враждебность говорившего по-польски населения росла. Локально это верно. Однако, независимо от обустороннего ожесточения, существовал основной факт — факт человеческого поведения Литвы в дни сентябрьского поражения, а также, как я сказал, неуместность, даже смехотворность национальных споров.

Не сумею восстановить своих тогдашних мыслей. Это одна из моих фаз огромной, почти психопатической боли, внешне выражающейся в службе одной навязчивой идее. Я не мог писать стихи, что, если говорить обо мне, достаточный симптом заболевания, зато всю энергию расходовал на усилия вытащить Янку из Варшавы и забрать ее на Запад, но границы одни за другими оказывались слишком опасными или непреодолимыми. Хватало забот, чтобы избегать ясного осознания обстановки. Впрочем, кто в ней тогда ясно разбирался? Шок сентября 1939 года был так велик, что это переживание требовало времени, чтобы отстояться.

* *
*

Итак, Вильно неясное. Все же не настолько, чтобы я утратил свои политические склонности. Мое сотрудничество с «Газетой цодзенной» в значительной степени объясняется фигурой Буйницкого, так как главным образом он занимался в редакции литературой. Кроме того, мне действительно ближе были «местные», чем правоверно патриотические поляки, а

как родственник Оскара Милоша, который хотел Вильнюса для Литвы, я не мог лелеять в себе враждебность к «литовской оккупации».

Правительство литовского государства ничего, нам, однако, не облегчало, а наоборот, проводило в Вильно неразумную политику, действуя вопреки своим же интересам. Разделение жителей на разнообразные категории ставило на большинство из них клеймо «пришлых» или «беженцев», и в этих группах оказались даже виленчане с несколькими поколениями виленских предков. Право на литовское удостоверение личности было дано только поселившимся здесь в определенный период, кажется, начиная с 1920 года, но графа «национальность» в тех же удостоверениях имела целью ограничить число полноправных граждан. Я предпочитал удостоверение личности, а не беженские документы, но какую же национальность я мог указать, как не поляк? Впрочем, это удостоверение мне вскоре пришлось уничтожить при переправе с Зофьей Рогович на территорию «Генеральной губернии»⁵, ибо оно противоречило поддельному пропуску для жителя Сувалок.

С теми давними жагаристами, которые ушли в коммунизм, контактов я не искал. Пакт Молотова – Риббентропа их полностью погубил. Одно из моих последних связанных с ними выступлений на страницах «Попросту» было одобрением Народного фронта в 1936 году, но довольно кислым, и я много дал бы за то, чтоб сегодня его перечитать. Правда, я был приглашен на собрание, когда обсуждали заглавие новой газеты после того, как цензура убила «Попросту». Это заглавие, «Карта», – мой вклад; как и «Жагары», он происходил из моего скромного запаса литовских слов. *Karta* значит поколение, *viena karta* – раз, по-польски значение другое, так что возникает желательная многозначность. После нескольких номеров журнал исчез, тоже запрещенный.

Политически мне теперь в Вильно были ближе всего социалисты. Это была группа, создавшая собственную организацию «Вольность», в которую входили беженцы и местные. Из новоприбывших Владислав Малиновский и его жена Галина, Стефан Сальман (известный позднее как Стефан Арский) с женой Магдой Герц, Збигнев Митцнер, Зофья Рогович, Вацлав Загурский, из местных Рената Майенова, Владислав Рынца. Я держался с ними. У этой группы был могучий опекун за границей – Оскар Ланге, тогда профессор эконо-

мики в Чикагском университете. Благодаря ему Малиновские и Сальманы добрались до Америки через пространства России и Японии, кажется, со шведскими паспортами. Митцнер, Загурский, Зофья Рогович и я выбрались через зеленую границу в Варшаву – я с Зофьей, которая уже пару раз совершала маршрут Суващина – Восточная Пруссия – Райх – Генеральная губерния как курьер. Она была женой литератора Вацлава Роговича, ей уже было лет пятьдесят. Я вспоминаю ее как хорошего товарища.

В кафе Рудницкого напротив Кафедрального собора – и вдруг страшный грохот железа, въезд советских танков. До сих пор это для меня остается одним из самых печальных событий моей жизни, ибо я испытывал ясное сознание необратимости и отвратительное чувство, что я свидетель того, как топчут беззащитных, без оглядки на какие бы то ни было права наций. Именно так выглядит познание несчастья. Как раз тогда пала Франция. Два чудовища делили добычу, начиная тысячелетнее, как им казалось, господство над Европой.

Что бы стало, если б я не бежал? В «Виленскую правду», как Буйницкий, или к белым медведям. Хотя Януш Минкевич и другие спаслись, заведя литературное кабаре. Впрочем, каково было содержание их текстов, я не знаю. То, что тогда наступило, верно описано в повести Мацкевича «Дорога никуда».

С Мацкевичем я не виделся с лета 1940 до лета 1944 года, когда он добрался в Варшаву. Таким образом, я не был свидетелем его деятельности в оккупированном немцами Вильно. Обвинения в коллаборантстве⁶ исходили из тех же кругов, для которых он был мишенью еще в 1939–1940 гг., так что дорожка была проторена. Когда над одним из крупнейших польских писателей устраивают тайное судилище, без права на защиту, стоит, пожалуй, задуматься: какие взгляды провозглашал он в своих сочинениях, и кем были его обвинители? Мацкевич в том, что он пишет, никогда не прибегает к уловкам. Ему можно верить, когда он разъясняет недоразумение вокруг фамилии – в статье «„Редактор“ Богдан Мацкевич». Можно ему верить и тогда, когда в своих романах и послевоенных эссе он неприкрыто выражает свои позиции. И его позиции, думаю, были столь абсолютно не-польские, т. е. противоположные всему, что считалось очевидным в умах огромного большинства поляков, что, если б он даже был безупречен,

ему полагалось бы прицепить вину. Ортодоксальный польский взгляд на идущую войну предполагал верность западных союзников и восстановление польского государства в границах 1939 года. Так верило «польское Вильно» и его армия – АК. Для Мацкевича это были грезы одного национального меньшинства, которому хотелось мимолетное состояние 20 довоенных лет признать постоянным. В этой части Европы победа могла принадлежать или Германии, или России, и как литовцы, так и белорусы и украинцы знали, что не могут делать ставку на Запад. Население земель бывшего Великого Княжества (за исключением поляков и евреев) приветствовало немцев восторженно, и, как известно, только непонятное немецкое безумие привело к перемене настроений. Оставался коммунизм, который Мацкевич считал за большее зло. Борьбу с ним он ставил на первое место, поверх национальных интересов, и обвинял АК в том, что, действуя вроде бы в пользу союзников, она по существу помогает победе их союзника, т. е. Москвы. По истечении нескольких десятилетий пора признать, что эта оценка хорошо резюмировала судьбу Польши, которая, сопротивляясь тем и другим, возлагала надежды на далеких и равнодушных третьих. К сожалению, эта реалистическая оценка хорошо служила только Мацкевичу-романисту, позволяя безжалостно показать тупики истории. Как политическая программа она ничего не стоила. Никто, даже сам Мацкевич, не поддержал бы участия в немецком крестовом походе, донельзя скомпрометированном самими немцами.

Из его сочинений следует, что если бы он мог воскресить царскую Россию, то воскресил бы, ибо считал ее государством, уважающим закон и терпимым, особенно в сравнении с тем, что наступило везде в результате Первой мировой войны. Здесь он тоже шел совершенно против польского мнения, которое охотно ставит знак равенства между Россией и коммунизмом, чему, впрочем, трудно удивляться, если, например, политика массового вывоза поляков с украинских и белорусских земель, начатая сразу после революции, была продолжением царской политики XIX века, только средства стали применяться более жестокие. Мацкевич категорически выступал против признания коммунизма специфически русским творением и не испытывал никакой вражды к русским, на которых попросту пало бедствие коммунистической власти.

Что он советовал бы в Вильно под немецкой оккупацией, трудно сказать. Если бы речь шла о войне между Россией и Германией, он заведомо, не поколебавшись, встал бы на сторону России, но поскольку шла большая игра за освобождение народов от коммунизма, то теоретически он, казалось, был сторонником какого-то выжидания или договора с Германией, что, честно говоря, не отличается от коллаборантства. Это можно вывести из его послевоенных сочинений, потому что тогда в Вильно активным коллаборантом он не был.

Один из главных аргументов, используемых теми, кто безоговорочно осуждает Мацкевича, – статья Павла Ясеницы «Моральный труп окраинного шляхтича», написанная человеком, который тогда был в Вильно и – как сам говорит: «Я служил в Армии Крайовой, был назначен заниматься пропагандой, и внимательное чтение продажной прессы входило в мои обязанности». Я задал себе труд и разыскал книгу Ясеницы «Следы стычек», в которой фигурирует этот текст. Ясеница – это, как известно, псевдоним. Под ним писал мой коллега по Студенческому клубу бродяг в Вильно, в те времена студент-историк, Лех Бейнар, которого мы звали Бахусом. Фамилия отнюдь не еврейская, как на это намекали⁶, а татарская. Бейнар происходил из татарской шляхты, хотя, насколько знаю, уже не был магометанином. И имя Лех, и позднее взятая фамилия Ясеница свидетельствуют о католическо-пястовских⁷ склонностях и его, и семьи.

Если серьезный историк и очевидец событий пишет нечто, столь преступно легкомысленное, то что же говорить о других. Бейнар был человеком чистым и неустрашимым – не желая смириться с тем, что было ясно для Мацкевича, он до конца сражался в отряде Лупашко⁸ и после войны был приговорен к смертной казни. Спас его, кажется, Болеслав Пясецкий, глава «Пакса»⁹. Не помню, чтобы в нашем Клубе бродяг Бейнар декларировал свою политическую принадлежность. Ярый эндек у нас был один – Казимеж Халабурда; его отправили в советские лагеря, где он умер от дизентерии. Из других членов клуба: наш старейшина Гасюлис был расстрелян советскими властями за то, что срывал плакаты; Буйницкий – застрелен за сотрудничество с этими же властями; Ендрыховский был «избран» в Сейм Литвы и голосовал за присоединение Литвы к Союзу.

Моральное возмущение Бейнара искренно, и, повторяя за «Сердцем темноты» Конрада, «позор! позор!», он, наверно, выражает чувства многих своих ровесников. Однако, читая его статью внимательней, в ней мало что обнаружишь, кроме эмоций.

Первый упрек относится к характеру Мацкевича, которого Бейнар обвиняет в трусости, ибо если он советовал сопротивляться коммунизму пусть даже ценой уничтожения всей польской нации, то почему не ушел в партизаны (как он сам, Бейнар)? Для тех, кто знал Мацкевича, это всего лишь демагогический прием. Второй упрек относится к роману «Дорога никуда», который Бейнар называет подлым. Почему? Потому что другие национальности в нем показаны доброжелательно, а поляки очернены и потому что в ней нет упоминания о ЗВЗ¹⁰, из которого позднее родилась АК. А также потому, что в этой книге нет любви к родной земле, как в «Пане Тадеуше» (?). Но «Дорога никуда» существует и сама защитится. Нападки на нее, быть может, позволяют понять причины, по которым трудно быть польским прозаиком. Если бы в прошлом веке кто-нибудь изобразил Польшу так, как Гоголь в «Мертвых душах» Россию, то, несомненно, заслужил бы звание подлеца. Наконец, третий упрек: что Мацкевич печатался в газете, выходившей при немцах. Наверно, ему не следовало бы это делать. Но что он печатал? Как раз несколько глав «Дороги никуда», которую Бейнар счел пасквилем.

В травле Мацкевича приняла участие странная компания: и патриоты, и скрытые агенты тех, кто устроил катынское убийство. В высшей степени в интересах этих последних было объявить свидетеля фашистом и коллаборантом. Как раз теперь я заглянул в папку с письмами Мацкевича ко мне 1969–1970 годов. Они касаются моих стараний рекомендовать его книги американским и немецким издателям, малоуспешных, потому что каждый раз подворачивался какой-нибудь поляк, заботящийся о том, чтобы в корне задуть намерение издания книги. Мацкевич и его жена, Барбара Топорская, тоже замечательная писательница, жили в крайней нищете. Я должен согласиться с тем, что писал Мацкевич в одном из писем: в сравнении с ними Гомбрович жил отлично.

Мацкевич расплачивался за свою поездку в Катынь в 1943 году по приглашению немецких властей. Из польских писателей туда ездил также Фердинанд Гетель. В Варшаве помнили его довоенную открытую апологию фашизма, а в 1940 году он проявил робкую склонность к коллаборантству: зарегистрировался как лицо свободной профессии, литератор, и коллег уговаривал сделать то же самое. Многие зарегистрировались: якобы так было безопасней. Однако Гетель обладал развитым ощущением общественного давления и заповедей патриотического кодекса, поэтому дальше в сотрудничестве с немцами не пошел. И, хотя он поехал в Катынь, никто его потом в эмиграции не клеймил как коллаборанта. Мацкевич же, который со всеми был на ножах, не считался с общественным мнением и по темпераменту был склочник, поехав в Катынь, укрепил враждебные ему настроения — никого не интересовало, что он поехал с согласия польских подпольных властей.

Должны ли были поляки, во имя высших дипломатических интересов, делать вид, что решительно ни в чем немцам не верят, и прибавить катыньские могилы к числу других гитлеровских преступлений? Для этого требовалось бы подавить в себе моральный протест, требовалась бы почти сверхчеловеческая дисциплина. Советское государство прилагало огромные старания, чтобы убедить весь мир в своей невиновности, и его союзники принимали это за чистую монету либо делали вид, что принимают, то есть поляки оставались одни — с правдой, которую гласили их враги. И кто же им поверил бы, коли они были известны своими антисоветскими «травмами»? Парадоксальное уравнение, достойное философского анализа.

Недавно, в гостях у знакомых, я взял случайно с полки толстую книгу американского корреспондента в Москве Гаррисона Солсбери «Journey for our times. A Memoir» (1983) и наткнулся на фрагмент, где рассказывается о поездке западных дипломатов и журналистов в Катынь. Я читал, и меня чуть не тошнило.

«Кати Гарриман была в Москве со своим отцом, тогда послом в Москве. Она занимала должность в Office of War Information и выполняла роль хозяйки дома, внося жизнь и

веселье в банальную обстановку. Бальный зал посольства она превратила в корт для игры в бадминтон и нашла на чердаке запас старых голливудских фильмов. Они были такие хрупкие, что все время рвались при показе, но мы их все равно крутили.

Кати присутствовала, когда объявили новость о Катини, и сказала, что хочет поехать. Русские немедленно пригласили ее и Джона Мелби, молодого атташе посольства. Они приготовили специальный поезд: международные спальные вагоны, вагон-ресторан, обитый красным деревом, множество икры, шампанского, масла, белого хлеба, копченого лосося, пирожных, беф-строганова, киевских котлет, — и мы тронулись, чтобы посмотреть на одну из великих трагедий войны.

Русские отбили Смоленск в сентябре 1943 года и теперь готовились к запуску своей пропагандистской бомбы. Западные корреспонденты были приглашены как часть декорации. Я не думаю, что участие Кати Гарриман и Джона Мелби было частью расчетов политики США. Думаю, что это произошло в результате продиктованного минутным настроением рефлекса, хотя Авереллу Гарриману действительно надоели «лондонские» поляки и, вернувшись из Катини, он сказал мне, что давно был убежден в том, что поляки попались на удочку немецкой версии преступления, и увиденное им укрепило его в этом убеждении.

Я глубоко благодарен советскому отделу печати за устройство этой поездке. Она была (и остается) хорошим уроком советских методов. Неуместной была роскошь этого поезда, снабженного белоснежным постельным бельем, перинами, душистым мылом, одетыми в белое официантами, роскошь, словно для царя.

Впрочем, это мог быть один из царских поездов. Сидеть в вагоне-ресторане за столом, полным бутылок, хрусталя и серебра, тарелок, на которых громоздились закуски, и из-за кружевных занавесок видеть рядом, на соседних путях, деревянные теплушки, откуда раненые красноармейцы, с головами в кровавых бинтах, руками в гипсе, ампутированными ногами, смотрели на нас, трясаясь возле своих печурок, было почти невыносимо».

Автор этого свидетельства, как и другие журналисты, не был убежден мнимыми доказательствами, которые им пред-

ставили. Поэтому он воздержался и не высказал мнения, чьих рук дело Катынь. Но американский посол в Москве Аверелл Гарриман дал себя убедить. А иметь своим врагом американского посла – это, конечно, усугубляло катастрофическое положение польского правительства в Лондоне.

Юзеф Мацкевич видел катынские могилы и написал то, что увидел. Случайно он оказался также свидетелем того, как немцы уничтожали евреев в Понарах, и об этом тоже оставил содержательный отчет. И пока будет существовать польская словесность, два эти описания ужаса XX века должны постоянно оставаться в памяти, чтобы давать критерии тогда, когда литература слишком отдаляется от действительности.

Мацкевич был писателем-реалистом, и в сравнении с его страстным воспроизведением «как это было на самом деле» другие виды реализма обнаруживают свою бледность или фальшь. Ему была чужда вся высокая софистика литературных дискуссий, и он не размышлял над непреодолимой дистанцией между действительностью и словами. Ни над повсеместно объявленным концом романа. Старосветский из упрямства, он пользовался языком как инструментом, не позволяя стилю захватить самостоятельность и одержать верх над пишущей рукой. Роман по-прежнему был для него «зеркалом на большой дороге», и он заботился об абсолютной верности деталей.

«Дорога никуда» вместе с «Не говорите об этом вслух» составляет эпос конца. Это конец Великого Княжества Литовского или же его остатков, какими они сохранились к 1939 году, конец и Вильно как города с польским и еврейским населением. Другой летописи, кроме этого романа, нет. Это картина жизни при советской власти с июня 1940 года по июнь 1941-го, т. е. до нападения Германии на своего вчерашнего союзника, а затем при немецкой оккупации. Последние главы второго романа дают картину Варшавы 1944 года, где тогда оказался Мацкевич, беженец из Вильно.

Произведения Мацкевича о войне совершенно исключительны в обширной польской литературе на эту тему. В ней обязывает патриотический стандарт, борьба поляков с немцами. Мацкевич к этому стандарту остался более или менее равнодушен, в чем можно усматривать его собственную неприязнь к расхожим понятиям и влияние международного Вильно. Две фундаментальные польские позиции сталкивались друг с

другом в этом веке: независимость Польши как цель всех боев и трудов и жертвование этой независимостью во имя коммунистического интернационализма. Ни одна из них не находит у Мацкевича одобрения – более того, он относится к ним враждебно. Те, кто отверг независимость во имя коммунизма, как в Вильно Дембинский или Ендрыховский, для него являются не столько изменниками Польше, сколько агентами государства, несущего бедствие людям разных народов. А борцы за независимость – и отсюда его негативная оценка АК – ослеплены своей сосредоточенностью на борьбе с немецким оккупантом и не отдают себе отчета, что, рассчитывая на победу западных союзников, они готовят победу союзника этих союзников, т. е. России. Мацкевич в своих романах и публицистике выступает как сторонник антисоветского интернационализма, или антикоммунистического интернационализма. Из этого вытекают серьезные последствия, в т. ч. и художественные, ибо его персонажи делятся не по национальным критериям. Среди тех, к кому он относится с сочувствием, есть поляки, литовцы, белорусы, русские эмигранты, вплетенные в разные подпольные движения, потенциальные участники коллективного, международного сопротивления системе.

Трудно трактовать всерьез все, что писал Мацкевич-антикоммунист. Некоторые его статьи своей одержимостью почти граничат с паранойей, согласно известному образцу выискивания агентуры повсюду, даже в Ватикане. Так что, составляя сборник его публицистики, следовало бы помнить, что он платил фантазиями или даже безумием за постоянство своих взглядов. Отсев очевидных ошибок – посмертный удел, пожалуй, всех пишущих, и мысль об этом должна предостеречь нас от выступлений в тоге суровых судий.

* *
*

Два полученные вчера письма стали для меня переживанием: одно от Я., другое от М. Эти мои ровесницы и соученицы по юридическому факультету Университета им. Стефана Батория в Вильно не только ведут меня ниточкой чувств в прошлое, но существуют как личности столь ценные, что я считаю себя счастливым, имея возможность думать о них. Ибо

в этом нашем городе были необыкновенные девушки, и сколь же нищи все те, чья память не может обратиться к таким высоким человеческим образцам. И я это говорю сейчас, когда они поселились и растят внуков, а я более или менее знаю их жизнь, полную ошибок и трагедий.

С М. мы никогда не были близкими друзьями, но я обращал на нее внимание. Записываю себе в плюс, что выпуклые стекла близорукой девушки не помешали мне оценить ее очарование. Она была прелестна, хорошо сложена, но, конечно, ей было не до финтифлюшек, поскольку она упрямо преследовала великие цели. Она и ее сестра принадлежали к узкому кругу вокруг Ендрыховского и Дембинского, а позднее, в послевоенной Польше, к известным фигурам «виленской группы»¹¹. Они выросли в глубоко католической семье и в коммунизме обрели новую религию, так же, как Зося Вестфалевич, жена Дембинского, сестра которой была монахиней.

Письмо М., написанное ее смелым, решительным почерком, комментирует, между прочим, мое стихотворение о нарушении табу бросанием камня в змею, которое она нашла в изданном в Польше «Свидетельстве поэзии», и прибавляет: «Но раз уж мы говорим о змее, напишу тебе о рыбах. В детстве я вошла в кухню, где прыгали живые, очищенные прислужой рыбы. Я всегда чувствовала близость к животным. И я принялась убивать их (из жалости), разбивая им голову об стену. Я вся была в их крови. Это была ситуация, из которой не было хорошего выхода. Но я задумываюсь, не была ли я потом, уже взрослая, как те воспитанники Сорбонны».

В нескольких фразах М. (наш юридический факультет растил людей выдающегося ума) дает историю свою и своей группы. Жалость к людям вела к ангажированности, которая не была хорошим выходом. А воспитанники Сорбонны, выросшие на философии Сартра, практиковали террор и геноцид в Камбодже.

Далее М. пишет:

«Чтобы было веселей, напишу, как я тебя помню. Спуск из зала Снядецких, ты летишь во главе группы рабочих и студентов, прогоняя эндецких штурмовиков, которые хотели разогнать вечер поэзии разных народов. У тебя такая мина вурдалака, которую ты умел строить, зубы оскалены, глаза вытаращены, в руке обломки стула. И вопишь диким голосом.

Другая картинка: мы стоим у стола в Кружке правоведов и о чем-то спорим, не помню о чем – пожалуй, о политике, потому что ты говоришь мне со злостью: «Ты всегда была и останешься фанатичкой». Видно, попал в точку, если я это помню. Я пережила два фанатизма, на третий меня не станет. Это результат не только старости, но еще и литературы, которая сопутствует мне с детства».

В другой части письма М. говорит о речи Бродского в Стокгольме в честь литературы: «Иосиф Бродский в своей Нобелевской сказал то, что я хотела тебе написать, только куда лучше».

То, что я думаю о них, этих девушках из Вильно, а ныне старых женщинах, собственно не поддается пересказу прозой, ибо так нагружено эллипсами и так многослойно, что потребовало бы какого-то особого рода любовной поэзии. Время в ней, наверно, отодвинулось бы в те годы, когда мы были в младших классах гимназии, когда М. убивала рыб в кухне, а Я. носила матросский воротничок формы школы сестер Назарьянок. Вероятно, в этих упорно возвращающихся образах общности через детство выражается моя тоска по возврату, по *arokastasis*, т. е. начинанию заново, а значит, по моменту, когда еще ничто не должно было быть так, как стало позднее, когда мы еще (воображая себе какую-то совершенно иную эпоху, иные обычаи и т. д.) не должны были быть разделены. А кто знает, не рождается ли такая любовная поэзия из грез об «ангельском поле» Сведенборга, из желания полного отождествления, почти превращения в другого, не бесполо, а с проникновением также в его иной пол.

О письме Я., беспокоящейся о моем здоровье, лучше не писать. А то пришлось бы вытянуть сразу много нитей. Озадачивает меня ее постоянная минорная склонность к преуменьшению себя, вплоть до того, что, если ей верить, неправда то, что она обладает выдающимся умом и характером. А о себе, о своей болезни, о вероятности скорой смерти – всегда небрежно, как бы пожимая плечами.

Вечер поэзии разных народов, о котором вспомнила М. Противясь «национальному» Вильно, мы заводили разные контакты, и думаю, что некоторые следы их вспоминаются, например, в 1972 году в поезде Роттердам – Париж, когда, возвращаясь с фестиваля поэзии, мы распили четвертинку с Аб-

рамом Стуцкевером, который пережил виленское гетто и стал автором самой главной книги о немецких преступлениях в Вильно. Думаю также, что эти контакты объясняли, хотя бы частично, секрет Владислава Рынца. Ибо как стать миллионером во время войны, основав транспортную фирму? Рынца (в просторечье «Рука») был родом из Силезии. В Вильно он оказался как студент – еще один мой коллега по юридическому факультету. Политически он был родом из «Стрельца» – как другие (Ендрыховский) из «Легиона молодых», а это был период «полевения» этих организаций санации. В университете он стал одним из главных активистов нашего антиэндецкого блока на выборах в «Братскую помощь»¹², отличился также как замечательный оратор. Что он делал в 1934–1939 гг., не могу сказать (адвокатура?) и, наверно, уже не сумею разузнать, как из бедного шахтерского сына он превратился в финансового магната, оперируя с 1941 года – где? – на линии Вильно – Минск – Варшава, т. е. на национально смешанных территориях, как раз на тех, которые описал Юзеф Мацкевич в романе «Не говорите об этом вслух». Мне кажется, что одним из заслуживающих внимания факторов было огромное количество наличных в Вильно, – в золоте и долларах, – которые ни во что не окупалось вкладывать. Компаньон Рынца, Кривицкий, был рижский еврей и, возможно, мобилизовал эти капиталы. Кривицкий работал в бюро фирмы в Вильно и Минске, которые были ликвидированы по мере приближения фронта, и в 1944-м явился в Варшаву, где я с ним познакомился. Его спасали отличные «арийские» бумаги, в Вильно вообще была одна из самых артистических мастерских поддельных документов. Из Варшавы, не дожидаясь, пока придут русские, он выехал в Прагу и там погиб при неизвестных мне обстоятельствах. Другим фактором успеха Рынца был, наверно, его дипломатический талант и отсутствие национальных предрассудков. Фирма имела прикрытие как занимающаяся поставками для армии и держала на жалованье высокопоставленных немцев. На самом деле она проводила крупные валютные операции на черном рынке. А грузовики шли нагруженные чем угодно, только не поставками для армии, и оружием, конечно, но не предназначенным для немцев. Рынца был членом нашей социалистической «Вольности» (и связным между Бундом в виленском гетто и Бундом в варшавском гетто), а следовательно, принадлежал к «лон-

донскому» подполью, для которого важна была возможность пользоваться такой транспортной сетью. Он возил деньги и оружие для отрядов АК, но полагаю, что дорогу на Минск, шедшую через леса под контролем советских партизан, он сумел обезопасить благодаря соответствующим отношениям и оказываемым услугам. Его грузовики перевозили также спасенных из виленского гетто евреев — не за деньги, если судить по истории Северина Тросса. Тросс печатался перед войной в журнале «Орка на угоже», как и мой брат Анджей, и в Вильно прибыл беженцем из Варшавы. Мой брат скрывал этого своего коллегу в виленской квартире наших родителей на Заречье, на Поповской улице. Затем Тросса и его жену посадили на грузовик Рынцы и довезли до Варшавы, где я нашел для него хорошую хату. К сожалению, они погибли во время варшавского восстания, не как евреи, а просто в числе гражданского населения. Вся деятельность фирмы была, с немецкой точки зрения, преступной, и трудно себе представить, что не было ни одного провала. Талант Рынцы и тут показал себя, ибо он создал коллектив (помню его шоферов), на который мог полностью полагаться, скрепленный более здоровыми принципами, чем отношения начальника с подчиненными. Семейственность этой группы «своих парней» из Вильно исключала донос, самую частую причину катастрофы.

Я писал о Владеке Рынце в «Родимой Европе», называя его буквой В., но снова к нему возвращаюсь, ибо он мне действительно импонировал и я до сих пор стараюсь понять, как он это все делал. После войны он основал, как и планировал, издательскую фирму и наверно стал бы магнатом издательского рынка, однако предприятие тут же прикончили в рамках борьбы с частной инициативой. Тогда он стал адвокатом и специализировался по делам о наследствах, в частности американских, пользуясь тем, что в результате связей с «виленской группой» получал паспорта на заграничные поездки.

* *
*

Судить Мацкевича по политическим критериям близоручко. Допустим, он был маньяком, Дон Кихотом, утопистом, тем

не менее, его политическая страсть питала его писательство, которое было строго реалистическим, но одновременно хотело служить, то есть проводить определенную тенденцию. А тенденции вытекали из его честности и морального возмущения. Он постоянно спрашивал: «Как это возможно?» – и хотел быть гласом вопиющего в пустыне, когда все остальные молчали. К счастью, он не был политиком.

Последние главы романа «Не говорите об этом вслух» позволяют понять меру различия между Вильно и Варшавой, как ее чувствовал прибывший из Вильно летом 1944 года Мацкевич. И нарисованная им картина Варшавы, сошедшей с ума, легкомысленной, равнодушной к раздающимся то там, то здесь выстрелам, гордой своим героизмом, веселой, ибо победа близка, – эта картина верна. Для Мацкевича это была беззаботность детей, которые не желают знать, что вот-вот – и от их игрушек ничего не останется, как не осталось в Вильно.

Приехав в Варшаву, Мацкевич выразил желание встретиться со мной и Янушем Минкевичем. У нас был долгий разговор. С его стороны это был повторяемый на все лады вопрос: «Как это возможно?» Теперь, когда всем ясно, что союзники далеко, – и ничего? Никакой попытки договориться, хотя бы в последний момент, с терпящими поражение немцами, уже склонными к уступкам? Теперь же можно было бы издавать журнал или газету, чтобы вслух говорить правду о советской оккупации, подавляемую польским подпольем на службе Лондона, а косвенно – Москвы. Мы слушали недоверчиво, как слушают полоумного. И высмеяли его. Мы сказали ему, что он совершенно не знает здешних настроений, что никто бы с таким изданием не стал сотрудничать, что коллаборантам Эмилю Скивскому и Феликсу Рыбицкому никто руки не подает, а он, начини издавать такой журнал, будет заклеен как предатель. Мацкевич ничего не сказал нам о газетке «Аларм», три номера которой они, кажется, выпустили весной 1944 года вдвоем с женой.

Рассказывая это, я не считаю, что даю обвинительный материал на Мацкевича, который в этом случае выступал за коллаборантство, из чего можно было бы сделать вывод, что он занимался этим и раньше. Вывод такой неверен. Тогда это был человек в отчаянии, быть может, в большем отчаянии, чем я и Минкевич, так как мы сохраняли какую-то надежду.

* *

*

Хорошо, что я вспомнил о Владиславе Рынце и его деятельности в треугольнике Вильно – Минск – Варшава, ибо это дает некоторое представление о невероятной густоте и путанице тамошних человеческих судеб во время немецкой оккупации. Их картина может противоречить польским представлениям, сильно искаженным патриотическими условностями. Действительность военных лет на этих территориях к тому же полностью скрыта и переработана официальными историками. Фактом является то, что немцев там встречали как освободителей, и если бы не их безумие, то народы полностью стали бы на их сторону. А в сравнении с тем, как все сложилось, схема борцов и коллаборантов включает едва малую частицу правды. Это была трехсторонняя игра, причем огромное большинство населения лавировало, ища гарантий у тех и других, а кроме того, существовали независимые анклав, словно бы отдельные крошечные государства, основываемые вооруженными вожаками. Знание всего этого изменяло угол зрения Мацкевича, хорошо служа его объективизму.

* *

*

Романы Мацкевича склоняют к скептицизму в отношении литературы, неустанно приготавливаемой поочередно под разными соусами, под соусами принятой в данный момент моды, идеологии, политики и т. д. В его романах живое повествование, они захватывают так, что «нельзя оторваться», т. е. исполняют все условия, необходимые в те времена, когда роман занимал место, занятое позднее кино и телевидением. Пожалуй, всегда существовали литературы профессиональная и непрофессиональная. Мацкевича никто не хотел признавать своим: и потому что он такой литературно отсталый, и потому что жуткий реакционер, – но читали взахлеб. И, по-моему, он побил своих соперников, пишущих более изысканной прозой. Побил художественно. К ним можно отнести высказывание советского солдата: «*Французы в шелках, а войну проиграли*». Его проза – плотная, экономная,

функциональная, то, что он описывает, видишь, а уж особенно пейзаж его родных мест. Из известных мне польских писателей никто так не писал. Но и Прус и Жеромский были в сравнении с ним профессиональными писателями. Серенький шляхтич, как я его назвал, один из тех упрямых, презрительных, яростных молчунов, писал мало. Назло всему свету, который черное называет белым и нет никого, кто наложил бы вето. Именно в этой страсти секрет его стиля.

Перевод с польского Н. Горбаневской

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

(В примечания не даны пояснения к понятиям и особенно к именам, для понимания смысла которых в контексте данной статьи достаточно того немногого, что сказано о них в самом тексте.)

¹ «Жагары» – группа молодых виленских поэтов, к которой принадлежал Чеслав Милош.

² ПОВ (Польская организация войскова) – подпольно сформировавшиеся военные соединения, созданные в 1914 году в Варшаве по инициативе Ю. Пилсудского.

³ В октябре 1920 года части польской армии, в нарушение заключенного в Сувалках договора между Польшей и Литвой, отвоевали Виленщину и создали там отдельное государственное образование – Центральную Литву, в 1922 г. включенную в состав Польши.

⁴ Эндеки – национал-демократы, партия, существовавшая с конца XIX века под несколькими меняющимися названиями. ОЗОН – правительственный Лагерь национального объединения, проводивший политику санации (оздоровления), в которой нашли отражение многие эндецкие идеи, хотя сами национал-демократы находились в оппозиции к правительству.

⁵ Западная часть Польши была прямо включена в земли Третьего Райха, центральная и восточная получила название Генеральной губернии.

⁶ Имеется в виду травля Павла Ясеницы коммунистической пропагандой в 1968 году в рамках кампании, имевшей выраженную антисемитскую окраску. Тогда-то Гомулка, а за ним и другие усиленно подчеркивали настоящую фамилию Ясеницы.

⁷ Пястовские идеи, в отличие от ягеллонских, федеративных, – идеи национально однородного польского государства. Можно заметить, что Гитлер, уничтожив евреев, и Сталин, сдвинув границы Польши на запад, сформировали в Польше коммунистическое государство «пястовского» типа.

⁸ Майор Лупашко (наст. фамилия Шендзележ), командир 5-й виленской бригады АК, участвовавшей в освобождении Вильнюса, но

не явившейся на место сбора – встречи с Красной армией, где другие виленские части АК были разоружены, а отошедшей к западу и после окончания войны частично оставшейся в лесах. В 1946 г. большинство ее бойцов, как те, что вышли из лесу по объявленной амнистии, так и те, что оставались в партизанах, были расстреляны без суда в Гданьской тюрьме. Лупашко был схвачен в 1947 г. и повешен.

⁹ «Пакс» – прорежимная католическая организация. Ее вождь Болеслав Пясецкий до войны возглавлял праворадикальную организацию фашистского толка «ОНР-Фаланга».

¹⁰ ЗВЗ (Звёнзек вальки збройной), Союз вооруженной борьбы – создан осенью 1939 года. В 1942 г. преобразован в АК (Армия Крайова).

¹¹ «Виленская группа» – по нынешней терминологии, неформальная, но влиятельная группа довоенной виленской коммунистической и прокоммунистической интеллигенции, стоявшая близко к партийному руководству, главным образом благодаря видной роли в нем Стефана Ендрыховского. Упомянутый в тексте Хенрик Дембинский в 1941 г. расстрелян гитлеровцами.

¹² «Братская помощь» – организация студенческой взаимопомощи.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В опубликованной в № 60 «Континента» статье В. Страда «Сталинизм как европейское явление» по недосмотру редакции не было указано, что статья эта – вступительный доклад, прочитанный на конференции «Сталинизм в итальянской левой», организованной Итальянской социалистической партией (Рим, 16 – 17 марта 1988). Приносим извинения автору и читателям.

УМЕР ВИКТОР НЕКИПЕЛОВ — поэт, человек удивительной силы духа.

Последние годы в угасающем сознании этого смертельно больного человека еще сохранялась память о муках и пытках, которым он подвергался в тюрьме. Он хотел писать об этом — и не мог.

Но многое мы знаем и сами. И никогда не забудем.

В Чистопольской тюрьме москвичей никогда не помещали в одну камеру, и потому я не был с ним вместе. Но, когда наши камеры были рядом, уже тяжело больной, с большим трудом наклоняясь к трубе, он передавал мне привет и спрашивал, нет ли каких новостей от родных.

Его стихи зэки передавали друг другу, его книгу «Институт дураков» не переставали обсуждать. И уже одно то, что где-то рядом по соседству находится Виктор Некипелов, для многих заключенных было большой поддержкой.

С возвращением из Чистопольской тюрьмы в 35-ю пермскую зону для Виктора Некипелова началась та последняя проверка духа и стойкости, результаты которой не могут не поражать даже людей, многое повидавших в тюремно-лагерной жизни.

Начальство решило сломить смертельно больного человека. Виктора Некипелова поместили в лагерную тюрьму («помещение камерного типа»). В ужасающем холоде, полуодетый, едва живой, он должен был ежедневно работать. При этом ему выдавали карцерную норму питания — его кормили через день, меньше и хуже, чем кормили заключенных в Освенциме.

Он замерзал и изнемогал от боли. Каждый день к нему приходил врач (начальник медчасти) и с подчеркнутой любезностью убеждал зэка, что он, врач, лучше знает, что ему нужно. Замерзая, Некипелов просил хотя бы ватник и вновь получал издевательский ответ, что ватник ему не нужен.

Да впрямь и этот советский медик-садист, и представитель КГБ в зоне, и начальник лагеря точно знали, что им нужно. Им нужно было сломить этого умирающего человека. И именно это им не удалось.

Тяжело больной и измученный, Виктор Некипелов проявил такую силу духа, которой могут позавидовать и многие здоровые.

Сегодня демократическое движение в стране стало уже массовым. И такие люди, как Виктор Некипелов, их борьба, их пример побуждают к действию уже не десятки и даже не сотни, а может быть, тысячи людей.

И именно поэтому еще есть надежда, что в условиях грядущей зимы нам вновь удастся устоять. Ведь у нас есть такие замечательные учителя.

Сергей Григорьянц

Запад – Восток

Альберт Л е о н г

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Очень немногие русские писатели и художники представляются нам фигурами более легендарными и гиперболическими, чем русско-американский скульптор и философ Эрнст Неизвестный (род. 1926), провидец и гениальный скульптор, чей свободный творческий дух нарушил запреты, наложенные на него тоталитарным советским государством; человек, создавший новый визуальный язык, язык, в котором синтезированы искусство, наука и техника; офицер-десантник Второго Украинского фронта времен Великой Отечественной войны, посланный на смерть и чудом выживший, чтобы прославлять своим искусством таинство жизни и смерти; философ, развившего видение всемирной гармонии в своем всеобъемлющем памятнике человеческому творчеству «Древо жизни».

Сложные и полемичные, жизнь и творчество Неизвестного подвергались различным толкованиям. Джон Бергер, в своем первооткрывательском исследовании о скульпторе «Искусство и революция: Эрнст Неизвестный и роль художника в СССР» (1969) описывает Неизвестного как марксистского скульптора, работы которого являются «эпохальным монументом выдержке, необходимой в начале мировой борьбы с империализмом». «Эрнст Неизвестный: искусство и действительность» (1981) Николая Новикова изображает художника монументалистом в экзистенциальной изоляции. Исследование итальянца Марио Де Микели «Эрнст Неизвестный» (1978) характеризует Неизвестного как католического скульптора. В документальном фильме «Одно слово правды», созданном по материалам «Нобелевской лекции» Солженицына, Неиз-

вестный представлен образцовым художником, радостно работающим как «простой подмастерье под Божьим небом». А в книге Эрика Эгеланда «Эрнст Неизвестный: жизнь и творчество» (1984) Неизвестный назван «спиритуалистической дионисийской личностью». В моем эссе «Эрнст Неизвестный: синтез Востока и Запада», напечатанном в каталоге передвижной выставки Неизвестного в Тайване в 1988 г. в связи с проектом скульптора «Новая статуя свободы», Неизвестный описан как «уникальный сплав Востока и Запада» и как воплощение русской концепции синтеза. В книге, над которой я работаю в настоящем, «Искусство свободы: Эрнст Неизвестный и русская культура», впервые будет обсуждена проблема человека и искусства в контексте русской культурной и интеллектуальной истории, а также связь Неизвестного с художниками и теоретиками русского революционного авангарда и – через эту связь – с традициями синтеза русской философии и культуры.

2. РУССКИЙ АВАНГАРД

В интервью с Беллой Езерской в «Мастерах» (1982) Неизвестный так ответил на вопрос, каких русских художников он считает своими учителями:

Я считаю себя учеником русского авангарда – Малевича, Кандинского. И отчасти – кубофутуристов. Но, в отличие от своих учителей, которые двигались от человека к машине, я иду в обратном направлении: от машины к человеку. Но уже – на новом витке исторической спирали. Как я уже говорил, я стремлюсь к синтезу. Это – извечное стремление русского авангарда. Книга Кандинского так и завершается словами: «Будущее – в монументальном синтезе».

В своей работе «Содержание и форма» (1910) Василий Кандинский (1866–1944) писал:

Каждый вид искусства имеет уникальную форму, ему свойственную. Эта форма, постоянно изменяясь, создает форму отдельных произведений. Таким образом, несмотря на эмоции, которые выражаются в произведениях искусства, каждый вид искусства создает уникальную форму, чтобы передать ту или другую эмоцию... Заменить одно произведение другим невозможно. Отсюда возникают возможность и потребность монументального искусства... Это монумент-

тальное искусство представляет собой унификацию всех искусств в одном искусстве... Великая эпоха Духовности начинается... Скоро начнется одна из величайших битв духа с материей... Это столкновение двух начал ярко выражается в области вечного искусства... У нас на глазах является Эпоха Великой Духовности, и искусство этой эпохи служит именно пророком, который руководит людьми чистой души и всем миром.

Это красноречивое представление духовного искусства воплощено в архитектурно-скульптурном монументальном сооружении Неизвестного «Древо жизни», посвященном творческому гению человечества. В своей основополагающей работе «О синтезе в искусстве» (1982) Неизвестный описывает визуальную концепцию «Древа жизни»:

ТЕМА: «Древо жизни» есть прославление души человека и человеческого знания. Это образ внутреннего мира человека, утверждающий неотделимость духовного начала от математического и чисто логического, от науки. Через духовное соединение искусства с современной наукой и технологией «Древо жизни» манифестирует симбиоз Веры и Знания. В единстве они обогащают друг друга и тем самым придают целенаправленность одухотворенной вселенной. Материальные достижения человека часто оказывались результатом низменных побуждений: гордости, жадности, лени, зависти, злобы, скупости, похоти. И они же порождали человеческие страдания в круговороте рождения, детства, старения и смерти – снова и снова. И все же дух и вера воссоединяются, чтобы преобразовать все это в величественное чудо свершений человечества.

Более того, физическое описание «Древа жизни» сходно с описанием грандиозного «Памятника Третьему Интернационалу» Владимира Татлина (1885–1953), русского авангардиста, скульптора-конструктивиста и московского наставника Неизвестного. В 1920 г. искусствовед Николай Пунин описал татлинскую башню как «органический синтез принципов архитектуры, скульптуры и живописи». Сам же Татлин годом позже заявил:

Изучение материала, объема и конструкции позволило нам в 1918 году приступить к объединению в художественной форме таких материалов, как железо и стекло, – материалов современного классицизма, которые можно сравнить по их строгости с мрамором классической древности.

Таким образом возникает возможность соединения чисто художественных форм с утилитарным замыслом. Примером может служить проект памятника Третьему Интернационалу.

Результатом этого являются модели, которые побуждают нас к изобретательности в работе над созданием нового мира и призывают своих создателей к контролю форм, встречающихся в нашей повседневной жизни.

В книге «Русский эксперимент в искусстве: 1863–1922» (1971) Камилла Грей пишет:

Татлинский монумент был бы в два раза выше, чем Эмпайр Стейт Билдинг. Его предполагали выстроить из стекла и железа. Спиральный железный каркас должен был поддерживать корпус, состоявший из цилиндра, конуса и куба, сделанных из стекла. Эту основную часть предполагали подвесить на подвижной ассиметричной оси, подобно наклонной Эйфелевой башне, и таким образом продолжать ее ритмичное спиральное движение все выше и выше. Подобное «движение» нельзя было ограничивать рамками статичной конструкции. Основная часть монумента предполагалась подвижной в самом буквальном смысле слова. Цилиндр должен был совершать полный оборот за год: в этой части здания предполагалось проводить лекции, конференции и конгрессы. Конус, в котором должны были разместиться исполнительные комитеты, совершал бы полный оборот за месяц. Самая верхняя часть монумента, куб, предназначенный для информационного центра, должен был совершать полный оборот ежедневно. Задачей информационного центра был постоянный выпуск новостей, деклараций и манифестов с помощью телеграфа, телефона, радио и громкоговорителей. Отличительной особенностью центра должен был стать подсвеченный по ночам открытый экран, с которого постоянно передавались бы самые последние новости, и вмонтированный в него специальный прожектор, который в облачные дни отбрасывал бы слова в небеса, сообщая лозунги на каждый день – «особенно полезный совет северянам».

В то время как татлинский «Памятник Третьему Интернационалу» был задуман как светский храм, «Древо жизни» Неизвестного должно стать современным собором философии целостности:

ОПИСАНИЕ: В центре будет скульптура примерно 150 метров высотой и 150 метров в диаметре, расположенная внутри круга из пересекающихся дорог, образующих розу ветров: север, юг, восток, запад. Идеально было бы, чтобы эта роза ветров была опущена во впадину в земле, как в гигантскую чашу.

Названо «Древо жизни» – ибо это организм, который произрастает из семи корней, уходящих в землю, каждый корень символизирует один из смертных грехов. Корни образуют систему туннелей, подземный лабиринт. В надземной части монумент состоит из семи спиралей или лент Мёбиуса, каждая – одного из семи цветов спектра, образующих ассиметричную форму человеческого сердца: «Сердце Человека». Семь дорог сходятся лучами к центру монумента. Идя по ним, посетитель приближается к огромным буквам, служащим порталами и символизирующим врата познания, врата понимания. Миновав эти врата, посетитель может рассмотреть монумент в деталях.

Библейская цитата экуменического характера выгравирована на круге, опоясывающем сооружение. Она – на четырех языках: английском, русском, иврите и китайском. Лифты, поднимающиеся в центральном стволе, останавливаются на каждой из семи спиралей. Они доставляют публику во внутренние помещения, в которых расположены скульптуры, росписи. Новейшие достижения науки и техники органически входят в архитектурно-изобразительную композицию, становясь элементами эмоционального воздействия.

Слышна музыка. Стенды с экспонатами, являясь органичными для всего замысла, должны меняться по мере устаревания, чтобы сохранить вневременной характер «Древа жизни», ибо, даже становясь древностью, «Древо жизни» должно сохранять характер новизны и отражать изменения научно-технических достижений времени.

Формы открыты. Монумент – одновременно и интерьер, и экстерьер. Посетитель оказывается одновременно и внутри, и снаружи, и по сути, двигаясь внутри него, сам становится его составной частью: каждый есть кровяная клетка, пульсирующая в сердце человечества.

Внешние поверхности покрыты пластическими и кинетическими работами, над которыми я работаю на протяжении жизни и которые с самого начала были задуманы для этой цели.

Эти поверхности омываются светом прожекторов с меняющимися цветами. Интерьер еще более полифоничен: скульптура и графика, цвет и музыка, движение людей – все это должно сливаться в образ вечности, в образ духовного мира.

Электронная программа будет руководить изменением цвета, музыки и движением механических элементов синхронно, в ритме пульсации сердца.

Низменное, жалкое, ничтожное соединяются постоянно и вечно в вере, чтобы стать благородным, величественным, осмысленным.

Казимир Малевич (1878–1935) был третьим художником-авангардистом, повлиявшим на формирование Неизвестным его концепции искусства. В своем манифесте «От кубизма и футуризма к супрематизму: новый художественный реализм

(1915) Малевич писал: «Творить значит жить, постоянно создавая что-то новое. Художник может превратиться в создателя только когда форма в его произведениях не имеет ничего общего с природой, потому что искусство – это способность создавать произведения, основанные не на взаимосвязи формы и цвета, и не на основе эстетического вкуса или красоты, но на основе веса, скорости и направления движения».

Деформация природы и кубофутуристические принципы динамизма являются отличительными чертами картин, рисунков и скульптур Неизвестного. В «О синтезе в искусстве» Неизвестный описывает мир, в котором природа и человек как ее составная часть находятся в динамичном взаимодействии со «второй природой», созданной человеком и ставшей продолжением его рук, мозга, глаз и сердца. В результате наш современный мир включает в себя и пантеистическую космогонию, и техническую космографию, в которых привычные символы, метафоры и терминология уже неадекватны. Определяя скульптуру как диалог плоти и духа, Неизвестный видит ее уникальные перспективы в монументальном синтезе разнородных элементов. В связи с тем, что современная жизнь – это бесконечный диалог живой природы и «второй природы», «природы» машин, роботов и компьютеров, монументальные полифонические скульптуры, такие как «Древо жизни» Неизвестного, являются лучшим олицетворением современной жизни. Основной прием Неизвестного – деформация или «сведение» природы – дает ему возможность сопоставлять и объединять самые разнообразные элементы от крайнего абстракционизма до крайнего натурализма в одном и том же произведении.

Ключ к пониманию эстетики Неизвестного можно найти в знаменитом стихотворении Пушкина «Пророк» (1826):

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он –
И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую вонзил.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моею
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Пушкинское стихотворение о духовном перерождении странника, ставшего пророком, также воскрешает странные и жуткие воспоминания о документированных случаях клинической смерти и возвращения к жизни. Об этих воспоминаниях пишет Кэннет Ринг в книге «Жизнь при смерти: Научное исследование о присмертном опыте» (1980). Будучи воздушно-десантным офицером Второго Украинского фронта во время Великой Отечественной войны, восемнадцатилетний Неизвестный был ранен разрывной пулей в грудь. Пуля раздробила его кости и внутренние органы и образовала большое углубление в спине. Военно-полевые доктора признали его мертвым, и его «тело» было брошено в подвал, где Неизвестный чудодейственно ожил. Джон Бергер заметил огромный интерес Неизвестного к мотивам увечья, деформации в его ранних послевоенных скульптурах: кажется, что Неизвестный в своем искусстве деформирует или приводит человеческие фигуры в то же состояние, в которое его собственное тело было приведено оружием, порожденным человеком. В пушкинском стихотворении пророк, созданный скульптором-серафимом, иллюстрирует идею Неизвестного о сведении гетерогенных элементов – глаз, ушей, языка, сердца – в единое, неразделимое живое существо – в пророка. И памятник тому

самому пушкинскому пророку стоит в центре монумента «Древо жизни».

В зарегистрированных случаях клинической смерти наблюдается одно и то же ощущение: видение туннеля, ведущего в мир по другую сторону смерти. Очень часто в этом видении присутствует проводник или ангел, помогающий человеческой душе пройти этот путь. В «Древе жизни» Неизвестного ленты Мёбиуса, закручивающиеся кверху, представляют собой этот переход от жизни к вечному царству, где Мёбиус символизирует бесконечность. Подобным же образом в пушкинском стихотворении шестикрылый серафим, проводник странника, является представителем духовного преображения самого поэта. По словам Неизвестного, «Древо жизни» в совершенно законченном виде представлялось ему в видениях трансцендентальной гармонии в самом упадке его карьеры в Советском Союзе. И, наконец, нужно заметить, что «Древо жизни» Неизвестного – это сложный по своей структуре символ жизни (дерево, сердце) и одновременно смерти и воскресения (Христос, крест).

3. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

В то время как американские историки и критики по искусству знакомы с формальной и конструктивистской сторонами русского революционного авангарда, Неизвестный заметил, что «они не имеют представления о фундаменте, на котором он был построен в годы до и после революции. По этой причине они не в состоянии полностью осознать, что я, как преемник авангардистов, пытаюсь сделать».

По мнению Неизвестного, концепция синтеза, являясь важнейшей идеей русского авангарда, является также и основой русской философии. Кандинский, Малевич, Филонов и Татлин были артистами целого, и их работы были устремлены к синтезу будущего. Трактат Кандинского «О духовном в искусстве» (1912) представлял абстракционизм как форму всеочищающего искусства, подготавливающую почву для монументального синтеза будущего. Филонов представлял безупречное искусство в виде постоянно цветущего дерева. Татлин мыслил конструктивизм в виде целесообразного со-

оружения, а «Памятник Третьему Интернационалу» в виде светского храма. Под влиянием фабианской социалистической философии, по которой технический прогресс должен привести мир к утопии, Татлин поддерживал метафизический подход к техническому прогрессу, подобно русскому философу Николаю Федорову (1828–1903), который отождествлял технический и моральный прогресс с идеей Бога. По мнению Неизвестного, Федоров «был глубоко верующим христианином, чья концепция мира представляла собой идею всеобщего искупления. Он считал технический прогресс глубоко значительным. Пришествие новой технологической цивилизации означало осознание Божьей цели; цели, по которой человечество, являясь Его инструментом, должно господствовать на земле. Техника была частью Его плана мироздания». В настоящее время Неизвестный описывает свои собственные взгляды как сплав «послерелигиозной русской философии и идеи русского авангарда». Неизвестный приводит слова отца Павла Флоренского, чей первооткрывательский труд о системе знаков предлагает синтез математики, эстетики и топологии звуков и слов с пространством.

Второй концепцией, которую разделяли и русская философия и русский авангард, был максимализм. По Неизвестному, максимализм является частью «эсхатологического темперамента русской философии и искусства», т. е. находится в близком родстве с эсхатологической, максималистской и революционной природой русского авангарда. Разумеется, русская революция черпала вдохновение в политических лозунгах и надеждах русского авангарда.

По мнению Неизвестного, философия как формальная дисциплина развилась в России поздно. Первым русским философом в западном смысле этого слова был Григорий Сковорода (1722–1794). В результате, русская философская школа многим обязана творчеству поэтов и художников. Первыми русскими философами стали художники. Андрей Рублев (1370?–1430?), например, рассматривался как художник «с даром умозрения в красках». Даже наиболее рациональные русские философские школы никогда не представляли собой чистой философии, как философия классическая или философия Канта. В русской философии всегда можно было найти элементы поэзии, как, например, в философских работах Владимира Соловьева (1853–1900). Соловьев был «философ-

ствующим поэтом», а не формальным философом западного типа. Таким же образом, философия Николая Федорова является в основном формой христианского утопизма. Поэтому-то и существует самая близкая связь между русской философией и русским авангардом. Федоров, например, верил в особую форму перевоплощения и оказал глубокое влияние на таких представителей авангарда, как Татлин и Маяковский. В то время как символисты, такие, как Блок, являлись прямыми наследниками идей и образов соловьевской философии, теоретики русского авангарда, несмотря на очевидную близость, не находились под непосредственным влиянием русской философии. Она была предметом общего интереса, подхода и настроений, разделявшихся Малевичем с Федоровым или Кандинским с Соловьевым.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Будучи основой работы жизни Неизвестного, «Древо жизни» включает в себя его концепцию универсального синтеза и примиряет дуалистические противоречия между человеком и природой, между человеком и машиной. Для Неизвестного «Древо жизни» является осуществлением центральной темы его искусства, темы полифонического синтеза, мотивы которого были развиты им в иллюстрациях к «Божественной комедии» Данте, «Преступлению и наказанию» Достоевского и в его иллюстрациях работ Эмпедокла, Платона и Самюэля Бекетта. Когда он изучал работы Кандинского, Неизвестному пришла идея монумента, в котором все искусства объединены в прославлении великой эпохи Одухотворения. При помощи работ своего наставника Татлина он развил идею монументального сооружения, в котором сочетаются чисто художественные формы с их утилитарным применением. Малевич вдохновил Неизвестного на создание абстрактного произведения, основанного на весе, скорости и движении, вечного и футуристического одновременно. И от Филонова Неизвестный перенял идею «сделанности» в искусстве, которое в ближайшем будущем вступит в стадию мирового расцвета. Идя от русской философии и русского революционного авангарда, Неизвестный, объединяя в своих работах идеи цельного синтеза и эсхатологического максимализма, философствует через свое творчество.

Таким образом, полифоническое искусство Неизвестного, символизированное «Древом жизни», примирило явные противоречия русского революционного авангарда. Являясь монументальным синтезом искусства и идеи в великой традиции русской культуры от Рублева до Федорова, Соловьева и русского авангарда, «Древо жизни» Неизвестного – символ духовного объединения искусства, науки и техники, гармонического симбиоза веры и знания и возможности мира и примирения в эпоху ядерной бомбы.

ЛЕОНГ Альберт. Окончил Чикагский университет и является специалистом по русской литературе и культуре, заведующим кафедрой русского языка и директором центра по изучению России/СССР и Восточной Европы в Орегонском университете (США).

ИЗДАТЬ ТРУДЫ Д. М. ПАНИНА

С 1976 по 1980 г. ежеквартальный журнал «Выбор», созданный ассоциацией «Друзья Димитрия Панина», распространял его идеи и идеи его единомышленников: швейцарского журналиста Д. Пинто, французской писательницы С. Лабен, пастора Ж. Хофмана, польского писателя Ю. Мацкевича, русского журналиста В. Чернявского и других. Димитрий Панин изложил в этом журнале свою критику марксизма, способ проведения революции в умах, концепцию общества независимых, критику атеизма.

Параллельно выходит его философская работа «Теория густот», где сформулирован открытый им закон движения вещей.

В 1983 г. вышла его работа «Созидатели и разрушители».

С 1979 г. он работал над объяснением природы явлений классической и релятивистской механик и незадолго до смерти закончил последнюю, четвертую часть своей «Механики на квантовом уровне». Труд его увенчался открытием по конструкции легкого лазера, которое он не успел изложить на бумаге: остались лишь расчеты и краткие записи.

Димитрий Панин был всегда во всех ситуациях человеком мужественным, решительным, бескомпромиссным, глубоко верующим, настоящим рыцарем без страха и упрека. Увы, мир не прислушался к его свидетельству.

Благородство души Димитрия Панина отражалось и в его внешнем облике.

Остались рукописи социологических, философских, научных работ, наговоренные кассеты – мысли о России, ее писателях, религии. Наш общий долг донести их до читателя, и я призываю всех людей доброй воли помочь их изданию.

*Франсуа Росинье, председатель общества
«Друзья Димитрия Панина» (Тулон)*

Пожертвования на издание рукописей Димитрия Панина следует отправлять в нашу ассоциацию (Les Amis de Dimitri Panine – ADP) по адресу:

ADP, BP 79, 75762 Paris Cedex 16.

Факты и свидетельства

Р. Грязев

КАК ЗАПРЕТИЛИ КЛУБ «РАБОЧАЯ ИНИЦИАТИВА»

Перестроечные процессы в обществе разбудили активность рабочих. Одним из первых проявлений этого было создание в середине 1987 года общественно-политического клуба «Рабочая инициатива». Его председатель и лидер – электромонтер ЛНПО «Красная Заря» Виктор Тягушев.

С первых дней своего существования «Рабочая инициатива» заняла активную позицию по широкому спектру вопросов, касающихся не только внутризаводских дел, но и демократизации жизни общества, защиты интересов рабочих. В клубе проводились дискуссии на политические и экономические темы, обсуждались проекты законов, он принял активное участие в предвыборной кампании. Но главная его задача – это постоянная работа с людьми, как в клубе, так и вне его, направленная на осознание ими значимости своей личности, на пробуждение социального творчества, смелости и независимости суждений, на искоренение психологии «маленького человека».

У клуба на заводе был свой стенд (сейчас его нет), пользовавшийся неизменной популярностью. Из вывешиваемых на нем материалов рабочие могли черпать полную информацию о его работе. Любой желающий мог прийти на заседание «Рабочей инициативы» и принять участие в обсуждении волнующих его проблем.

Сам Тягушев не замкнулся во внутриклубной деятельности. Как член совета трудового коллектива он стремился на практике реализовать идеи и предложения, выдвигаемые рабочими.

Из ленинградского независимого журнала «Рубикон» (1989, № 7, периодическое издание клуба «Демократизация профсоюзов»).

Актуальность, злободневность поднимаемых в клубе вопросов, а не пустопорожняя болтовня (как в объединении «Память» или в теоретическом кружке Л. П. Павлова), четкая, незавуалированная демократическая направленность, практическая нацеленность на защиту интересов рядового работника, а не попытки приобрести спекулятивными приемами дешевую популярность позволили клубу в короткое время приобрести широкую известность. Материалы, посвященные клубу (либо с упоминанием о нем), опубликовали журналы «Советский Союз» (№ 8, 1988), «Огонек» (№ 41, 1988), «Советские профсоюзы» (№ 6, 1989), «Клуб» (№ 1, 1989); газеты «Ленинградский рабочий» (ноябрь 1988), «Ленинградская правда» (декабрь 1988), «Смена» (ноябрь 1988). «Труд» (апрель 1989). Правда, не все статьи были позитивного характера. Например, «Ленинградская правда» подвергла клуб резкой критике, но это лишь подтверждает, что клуб действительно работает.

И вдруг 18 апреля текущего года решением организации-учредителя – комитета ВЛКСМ ЛНПО «Красная Заря» – клуб «Рабочая инициатива» был распущен. Какие же противоречия закону действия, допущенные клубом, послужили тому причиной?

Приведем полностью постановляющую часть выписки из протокола № 102 заседания бюро комитета ВЛКСМ ЛНПО «Красная Заря» от 18. 4. 89, чтобы читатель сам понял, насколько нелепы и надуманны причины роспуска клуба.

«...ПОСТАНОВИЛИ:

Работа общественно-политического клуба „Рабочая инициатива“ не носит молодежного характера. Клуб не ставит перед собой задач по решению социально-экономических проблем молодежи. За последние полтора года клуб не смог доказать свою необходимость в трудовых коллективах, оставаясь на уровне небольшого кружка (не более 10 человек). Нет взаимодействия клуба с общественными организациями объединения.

Принимая во внимание все вышеизложенные аргументы, комитет ВЛКСМ ЛНПО „Красная Заря“ по праву организации-учредителя распускает общественно-политический клуб „Рабочая инициатива“.

Секретарь комитета ВЛКСМ

ЛНПО „Красная Заря“ (подпись) И. В. Марохонов».

Вы поняли, читатель? Оказывается, общественно-политический клуб не поставил перед собой задач по решению социально-экономических проблем! Как будто он Совет Министров или ведомство помельче, например, Минводхоз, который на народные миллиарды поворачивает реки и вместо квартир строит сомнительные дамбы и каналы, или, на худой конец, просто владелец производственных мощностей и денежных средств (который все равно использует их «не туда»).

Он виновен в том, что не вырос в мощную общественно-политическую организацию, а остался «на уровне небольшого кружка». Надо полагать, честолюбивый комитет ВЛКСМ, учреждая клуб, надеялся, что тот быстро превратится в новую политическую организацию, обладающую большим влиянием «в массах», но прошло полтора года, а в клубе «не более десяти человек». Поди проверь, что у учредителей было и есть на уме!

Нет, дело не в «вышеизложенных аргументах». Здесь члены комитета ВЛКСМ покровили душой. Истинные причины роспуска «Рабочей инициативы» в ином. Клуб попытался у себя в цеху пошатнуть устои административной системы, замахнулся на ее привилегии – права на всевластие и распределение благ.

Рассмотрим события, предшествующие упомянутому постановлению, в хронологическом порядке.

7 декабря прошлого года на заседании совета трудового коллектива цеха Тягушев предложил взять под контроль СТК распределение цехового фонда материального поощрения. Предложение вполне в духе времени, отвечающее функциям СТК. Оно уже реализовано на некоторых предприятиях и в организациях. Однако результаты голосования оказались таковы: за – 4 человека, против – 6, воздержалось – 10. Подобный расклад голосов весьма характерен для нынешнего состояния общества. Оно уже сдвинулось с мертвой точки, но большинство все еще не уверено в себе, все еще нерешительно озирается по сторонам: а что скажут там, «наверху».

«Наверху» же свое отношение выразили однозначно: уже на следующий день Тягушев был лишен премии на 100%, якобы за упущения в работе. Но это его не остановило. На следующем заседании СТК, которое состоялось через неделю, он вновь поднял тот же вопрос, но предложил решить его тайным

голосованием. Начальник цеха, пытаясь удержать ситуацию в своих руках, выдвинул встречную формулировку, по сути повторяющую предложение Тягушева. Предложение было принято. Победа – одержана.

В январе Виктор пошел дальше – предложил взять под контроль СТК расходование фондов заработной платы цеха. При полном хозрасчете это – неперемное условие эффективной и высокопроизводительной работы, полностью отвечающее новым производственным отношениям, устанавливаемым в экономике. Но члены СТК, видя крайне отрицательное отношение администрации цеха, испугались взять ФЗП под свой контроль.

Тягушеву этого, конечно, не простили. Он опять был лишен премии на 100%. Кроме того, за отказ выехать на точку, находящуюся под Выборгом, ему был объявлен строгий выговор. Направление на работу на целый день за пределы города заведомо провоцировало конфликт, так как во второй половине дня Тягушев должен был присутствовать на предвыборном собрании в Ленинградском государственном проектном институте, коллектив которого выдвигал его кандидатом в депутаты. Мотивы этого распоряжения – очевидны, особенно если учесть, что Тягушев ранее ни разу на эту точку не выезжал. Кстати, Виктор был отпущен с работы (разумеется, в счет переработки) только после его обращения в партком.

Но и это не все. С Тягушевым не продлили договор на 10-процентную доплату за совмещение профессии слесаря, которую он получал почти четыре года. В своем стремлении досадить «возмутителю спокойствия» администрация решилась пойти на потерю оперативности в выполнении ремонтных работ, на нарушение ритмичности производственного процесса, на дополнительные расходы, наконец, так как электромонтер Тягушев не может приступить к ремонту электротехнической части оборудования, пока новый слесарь (со 100-процентной зарплатой) не подготовит ему «фронт работ».

Далее события развивались в том же русле, но уже не в экономической, а в политической сфере деятельности клуба. Используя право, предоставляемое законом о выборах, клуб вывесил в цехе листовку с призывом голосовать против зам. председателя Ленгорисполкома А. А. Большакова, так как «нет выборов без выбора». Как тут всполошились, засуеги-

лись на заводе! Простой электромонтер и его клуб посмели выступить против такого высокого лица, кандидатура которого одобрена самим «хозяином»!

Стремясь хоть как-то загладить вину перед «инстанциями» за действия своего «нерадивого работника», администрация опытного завода, в одном из цехов которого работает Тягушев, срочно организовала предвыборное собрание, на которое товарищ Большаков, однако, не явился, а прислал вместо себя доверенное лицо. По заводскому радио была проведена специальная передача, в заводской многотиражке опубликована статья, в которых действия Тягушева подвергались критике и осуждению. Но и это показалось недостаточным. Произошел, пожалуй, уникальный случай: в предвыборную кампанию включился СТК завода. СТК – орган, который избирается для решения внутрипроизводственных и тех самых, не поставленных клубом, социально-экономических задач, – решил, что этих функций ему мало и следует заняться еще и политической деятельностью. Он выступил с обращением к работникам «Красной Зари», выдержки из которого приводятся ниже:

«Краснозареццы! В цехах нашего объединения появилась листовка, выпущенная от имени клуба «Рабочая инициатива» В. Н. Тягушевым. В ней нас пытаются ввести в заблуждение в отношении правомочности окружного собрания 19 округа и платформы кандидата в народные депутаты т. А. А. Большакова.

Со своей стороны СТК опытного завода заявляет: ...(следует изложение платформы и документов кандидата в народные депутаты)... Вы убедитесь, что Тягушев В. Н. от имени клуба «Рабочая инициатива» пытается обмануть нас.

СТК опытного завода обращается ко всем трудящимся «Красной Зари» с призывом принять активное участие в выборах 26 марта и отдать голоса наиболее достойным».

Теперь уже известно, как выполнен этот призыв: кандидат с треском провалился! Может быть, вместо того, чтобы брать на себя решение вопросов, в которых СТК не компетентен, ему лучше заняться своими непосредственными функциями?! Или все заводские проблемы уже решены?

7 апреля администрация цеха опять попыталась оказать давление на Тягушева, в результате чего, как он пишет в своем заявлении на имя председателя профкома ЛНПО «Красная

Заря» т. Дербина В. Г., он «был доведен до стрессового состояния и приступов боли в сердце, после чего был вынужден обратиться к врачу, который освободил меня от работы». Непосредственные участники этого акта – механик цеха Соколов Ю. М. и зам. начальника цеха Шкиртиль.

Читатель может поинтересоваться, как же отреагировал профсоюз на «выкручивание рук» и грубое физическое воздействие (а было и это), которое допустил Соколов? А никак!

12 апреля было написано цитируемое выше заявление, а 18 апреля решением комитета ВЛКСМ клуб «Рабочая инициатива» был распущен. С рабочей инициативой Тягушева и его друзей было покончено.

Прискорбно, что и учредители-комсомольцы, и руководство цеха и завода видят себя, скорее всего, в рядах перестройщиков. Так и слышится: «Мы за перестройку! Мы призываем рабочих к активности, поддерживаем их справедливые требования!» Но это, когда они думают о тех рабочих, которые где-то там, далеко. Когда же перестройка коснулась лично их, они засуетились, заволновались, и вот уже в ход пущены методы и приемы, достойные лишь мелкого пакостника. И «Рабочую инициативу» – ниже пояса, и на рабочую инициативу – аркан, и потуже его!

Так почему же все-таки запретили «Рабочую инициативу»?

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

Истоки

Алла Туманова

ИНГА

В этот день Торонто плавился от жары. 35 градусов в тени. Вечером мы ждали гостей, понимая, что лучшим угощением в такой день будет прохлада нашего кондиционированного дома. Народу ожидалось много – за сравнительно недолгий срок жизни в Канаде мы успели обрасти друзьями и знакомыми и из числа братьев-эмигрантов, и из аборигенов-канадцев. В саду были приготовлены шезлонги на случай, если к вечеру полегчает, и из оврага, над которым стоял наш дом, повеет прохладой. Тогда ужин будет сервирован на воздухе. Но пока на это надежд было мало. Время близилось к шести, а жара не спадала.

Как всегда, приход гостей возвещает наш пес Руслан. Как огромный снежный ком, он катится с лестницы с радостным лаем. На пороге первые гости, семейство Р-вых. Недавние москвичи, они всего несколько месяцев как поселились в Торонто. Для них все ново, и Лена с нескрываемым восторгом оглядывает наш дом.

– Это ваш собственный дом? – спрашивает она.

– Вроде того, – отвечаем мы, не желая вдаваться в подробности закладных и прочей мурсы, которую мы и сами еще понимаем смутно.

– И сад ваш, и овраг? Да это же совершенная сказка! – Лена изучающе смотрит на меня, по-женски внимательно оценивает мое нарядное длинное платье.

– Скажите, – продолжает она, – не кажется ли вам это сном? Вы не боитесь, что все вокруг может в одну секунду рассыпаться, исчезнуть, и мы снова вернемся в наш привычный, убогий мир? Разве могли вы представить себя там хозяйкой собственного дома, встречающей гостей в этом необыкновенном красном длинном платье?

И вдруг мне показалось, что я услышала другой голос. Бывают в жизни мгновенья, когда происходящее кажется

повторением чего-то давно минувшего. Я слушала мою гостью, и мне ясно чудилось, что в моей жизни все это уже было: кто-то когда-то сказал мне эти самые слова... Когда? И за секунду моя память перенесла меня на тридцать лет назад...

* *
*

Барак гудел, как улей, шевелился, как муравейник, источал десятки разнообразных запахов, смешивавшихся в густое зловоние. Слабые лампы под потолком освещали только середину длинного прохода между нарами. Сами нары тонули в полумраке, над которым подымался пар от сохнувшей в сушилке промокшей одежды рабочих. Мы сидели на верхних нарах, тесно прижавшись друг к другу, и, затаив дыхание, слушали гадалку, которая предсказывала мне будущее. Казалось, что в моей судьбе никакой тайны нет, все впереди известно – 25 лет исправительно-трудовых лагерей, а потом еще 5 лет ссылки, ну а потом и вовсе загадывать нечего: жизнь кончится. Но так судила злая ведьма. Можно ли в 19 лет в это верить?! А сейчас судьбу предсказывала добрая фея. Она держала мою руку и внимательно изучала линии на ладони.

– Я вижу тебя хозяйкой большого собственного дома... Ты в длинном платье принимаешь гостей... Ты будешь счастливой... – Гадалка отпустила мою руку. Я сидела не шевелясь, не в силах оторвать глаз от ее еле освещенного папиросным огоньком лица. Звали ее Инга...

Странная это была женщина. Седая, почти беззубая. Несколько передних зубов не давали ввалиться губам, зато щеки ушли глубоко под выступающие скулы. Темные небольшие глаза буравили собеседника, не отпуская его из поля внимания. Но улыбка необыкновенно молодила это лицо, и уже через несколько минут после знакомства я обратила внимание на удивительно гладкую кожу – морщин не было вовсе, даже в углах глаз они появлялись только при улыбке. Первое впечатление, что передо мной старуха, улетучилось очень быстро.

Инга была другом матери моей одноделки Кати П., Анны Ивановны, которая меня с ней и познакомила. Судьба Инги Роттенбахер была необычна даже для лагерей, хотя здесь можно было перестать удивляться чему бы то ни было. Не

помню точно, где она родилась, но прожила всю жизнь до ареста в Австрии, в Вене. Была она из очень состоятельной семьи, получила хорошее образование и удивительно чисто говорила по-русски. Этот ее безукоризненный, при первом впечатлении, русский всем в лагере внушал подозрение, что она действительно шпионка (по этому обвинению она и сидела). Сама Инга объясняла свое владение русским языком тем, что в детстве у нее несколько лет была русская бонна. Анна Ивановна ей верила безоговорочно, окружающие – нет. Не верили и ее красочным рассказам о прошлой роскошной жизни. В черном вороньем бараке совершенно нереально звучали воспоминания о балах, о туалетах, о любимой Венской опере, о путешествиях. Все это воспринималось, как пересказ всеми любимых книг – «Граф Монте Кристо» или «Три мушкетера». Мало кого заботила правдоподобность рассказов Инги. Просто всем было интересно, слушая ее, забыть хоть ненадолго о тяжелой нашей действительности. Как и полагалось в романах, юная и прекрасная (во что трудно было поверить, как и во все прочее) Инга мечтала стать актрисой. Для аристократической семьи Инги такая карьера была неприемлемой. Тогда семнадцатилетняя девушка сбежала из дому с пожилым господином и стала актрисой. Кажется, недолго она подвизалась на сцене. Через какое-то время Инга по большой любви вышла замуж и была очень счастлива.

Переломным моментом в ее судьбе оказалась война. Инга не сочувствовала фашизму. Как и многие австрийцы, она с презрением относилась к немцам, безоговорочно принявшим Гитлера. С гордостью рассказывала Инга, что она была ученицей знаменитого хироманта, который предсказал Гитлеру гибель, за что был расстрелян. Наука гадания очень пригодилась Инге в советских лагерях.

Наконец война кончилась. Австрийцы встречали американцев, англичан как освободителей, к русским относились с тревогой и осторожностью. Но все оккупационные войска хорошо себя чувствовали в этой стране. В Вене было три оккупационные зоны, три военные ставки с высшим командным составом. Инга к этому времени была владелицей кафе (или бара). Как она говорила – почетной хозяйкой. Кафе было знаменито тем, что в нем бывали многие великие сыновья Вены, в том числе – Йоганн Штраус. Понравилось это кафе и военным из всех трех зон. Там собирались самые высокие чины,

знакомились, беседовали за хорошей выпивкой и вкусной австрийской едой. У всех было благодушное и умиротворенное настроение победителей. Бывал там и Климент Ефремович Ворошилов, знакомством с которым Инга гордилась и все годы заключения писала на его имя безрезультатные прошения о пересмотре ее дела.

Не знаю, что произошло в этом кафе, может быть, и ничего, но пошел слух, что кто-то из военных русских, бывавших там, переметнулся к союзникам. Может, этого вовсе и не было, а понадобилось запятнать репутацию гостеприимной хозяйки, чтобы этим объяснить ее внезапное исчезновение.

Исчезла Инга таинственно и бесследно. Все газеты были полны сообщениями о пропаже всеми уважаемой фрау Роттенбахер. И советские выразили свое недоумение и соболезнование. Пошумели газеты и замолкли. Время было беспокойное, война только что отгремела, еще гибли люди от запоздалой пули то там, то здесь. Сколько времени убивался муж — неизвестно. Позже Инга узнала, что он предлагал большое вознаграждение за любые сведения о пропавшей жене. Но никто не откликнулся.

А бедная Инга в это время с утра до ночи плакала на загородной вилле недалеко от Вены. Она не могла понять, за что ее тут держат, за что похитили — силой втащили в проезжавшую машину, когда она шла по улице, заткнули рот кляпом, связали руки и, не говоря ни слова, увезли из города. Несколько дней под неусыпным надзором солдат в советской форме она провела в небольшой, полупустой комнате. Она требовала, чтобы ей объяснили причину ее ареста, кричала, стучала в стены. Она хорошо говорила по-русски и могла высказать свое возмущение и недоумение. Но охранники смотрели на нее равнодушными глазами и молчали, как будто не понимали ни одного слова. Если бы Инга порой не слышала тихих слов, сказанных солдатами между собой, то могла подумать, что не русские ее держат, хоть форма на них была советская. От этого молчания стерегущих ее — было особенно тяжело.

Через несколько дней после ареста, когда утром, как обычно, ее привели в ванную, Инга заметила в зеркале, что ее волосы как будто присыпаны белой известковой пылью. Она провела по ним рукой, стараясь стряхнуть пыль, и вдруг поняла, что поседела. Было ей в это время 36 лет.

Прошла бесконечная неделя. Однажды под вечер Ингу вызвал русский офицер и, не предлагая сесть, подал ей лист бумаги. На немецком языке там было написано несколько строк. И тут Инга поняла, что ее обвиняют в шпионаже против Советского Союза.

Не помню, рассказывала ли она подробно о следствии и было ли оно вообще. Только очень скоро ей предложили подписать постановление Особого Совещания (ОСО), что за шпионскую деятельность она приговаривается к десяти годам заключения в советских исправительно-трудовых лагерях. Инга потеряла сознание. Очнулась она в больничной палате русского госпиталя. Она не понимала, где она и что с ней происходит. Русский доктор объяснил, что от потрясения у нее произошел выкидыш – она была на четвертом месяце беременности. Инга закрыла глаза: никогда не будет у нее ребенка. А потом все было как в бреду – она плохо помнила, сколько пролежала на больничной койке, как забрали ее из больницы и увезли на поезде в Россию.

Ехала Инга до места назначения долго-долго, с одной пересылки на другую. Прошлая жизнь стала казаться чудным сном, о котором она с грустью рассказывала своим случайным, недолгим попутчикам. Слава Богу, языком она владела и была отзывчивой к людям – так что, оказавшись среди таких же несчастных, уже не чувствовала себя потерянной, погибшей, а одной из них, одной из многих.

Инга рассказывала свою историю и выслушивала другие, такие же горькие и не менее трагичные. Уже на пересылках, в зак-вагонах от нечего делать стала Инга предсказывать судьбу своим соседкам, гадать по линиям руки, по звездам. За такое развлечение люди ее благодарили, угощали своими жалкими запасами, куревом. Не раз в лагере Инга вспоминала своего немецкого учителя-хироманта.

За все долгие годы заключения она не получила ни одной посылки, ни одного письма – никто из близких так и не узнал о ее судьбе. А в лагерном товарообороте гадание было ходким товаром. Немного нужно было Инге, но табак водился у нее всегда. В своей прошлой жизни она много путешествовала, однако никогда не бывала в Советском Союзе. С давних времен ей хотелось приехать в страну, язык которой она знала с детства. Вот и довелось ей познакомиться с Россией таким нелегким путем.

Инга не знала, куда ее везут, но чем дальше увозил ее поезд, тем серей и однообразней становился пейзаж, который она видела из крошечного, зарешеченного оконца теплушки. Иногда конвой проговаривался, что едут они на север. Все меньше становилось лесов, все ниже были деревья, и низким свинцовым сводом висело небо над убогой землей. А потом появились сторожевые вышки и колючая проволока вокруг бесконечных лагерей, которые виднелись вдалеке. Их было так много, что они стали казаться неотъемлемой частью этой унылой природы. Скоро совсем пропали деревья и поплыли мимо снежные просторы – безлюдье и безлесье.

У Инги сжималось тоскою сердце – куда везут? Можно ли там выжить, или уготовлена ей гибель в этом заброшенном крае? Когда наконец поезд остановился и весь этап выгрузился на снежном поле, конвой объявил, что они доехали до места, где должны отбывать свой срок наказания. Тогда только Инга впервые услышал новое для себя слово – Воркута. Может быть, и слышала его раньше, на пересылках, но не примеряла к своей судьбе.

Вот ее новый дом! Надолго ли? На десять лет, то есть навсегда?! В это она не верила. Она напишет Ворошилову, все выяснится, и ее освободят, может быть, еще извинятся, и она как иностранная туристка поедет по России. Приедет в Москву, Ленинград... Так она думала. На это надеялась все восемь лет заключения! •

В лагере Инга тяжело работала, болела цынгой, теряла зубы, один за другим, но не теряла надежду. Я читала ее заявления в прокуратуру, жалобы на имя Сталина, Ворошилова. Они были написаны круглым, ученическим почерком, на хорошем русском языке, хоть и с грамматическими ошибками. Ответ был один: «Жалоба рассмотрена. Дело пересмотру не подлежит». Ко всему привыкла Инга, и к таким ответам тоже. Но она упорно писала снова и снова. В те времена, до самой смерти Сталина, заключенный мог подать одну жалобу в год. И каждый год посылала она свои письма в Москву. Может быть, они дальше оперуполномоченного лагпункта и не уходили, и ответ поступал от него же, все возможно. Во всяком случае, ее письма на родину всегда оставались без ответа, и она понимала, что переписка ей запрещена.

Встретила Инга в лагерях многих иностранцев, почти со всего света там были люди. Судьба их была сходна, многих

так же выкрали и без суда и следствия отправили во все стороны России: всюду были готовы для них ошестившиеся колючей проволокой лагеря. Своим гражданам было, как правило, легче, хоть письма получали, иногда – посылки, еще реже – свидания. Иностранцы были лишены всего этого.

Я очень жалела Ингу. Она нравилась мне своим оптимизмом, живым характером. Ее хриплый, прокуренный, почти мужской голос, вечная папироса во рту, хриловатый смех и порывистые движения – все в ее облике было озарено внутренним светом. Она не озлобилась на жизнь, на людей. Даже Россию как-то умудрялась любить, читала русских писателей, приглядывалась к обычаям.

Заклученные ее любили, исключение составляли некоторые интеллигентные дамы, считавшие всех, кроме себя, виноватыми, а ее виноватой вдвойне: немка-фашистка и шпионка. Меня такие «доброжелатели» не раз предостерегали: «Зачем дружишь с иностранкой, уж в чем-то она виновата, и верить нельзя ни одному ее слову!» Но я верила своей интуиции и бежала к Инге и Анне Ивановне в барак десятилетников.

В этот обычный день, похожий на вереницу подобных, было лишь одно волнующее событие: пришел большой этап в наш лагерь. В самом этом факте не было ничего особенного – этапы приходили и уходили часто, заключенных перемешивали, перетасовывали, чтобы не засиживались на одном месте, не привыкали, не обзаводились друзьями. Но мы всегда ждали, что вот со следующим этапом придет кто-то интересный, земляк, привезет свежие вести с воли.

Лагерь в это время пухли от новых и новых пополнений. Больше всего поставляла свежих зэков Украина, потом – Прибалтика. Это были всё так называемые националисты. Со всех концов страны текли в широкие ворота «религиозники», сектанты, словом, осужденные за религию. Потом – жертвы военного времени с бывших оккупированных территорий, из плена и т. д. Всех категорий не перечислишь! Из столичных городов, Москвы и Ленинграда, к нам ехали очаровательные молодые женщины, осужденные «за иностранцев» (за мимо-летнюю встречу или за законное замужество). Интеллигентные дамы еврейской национальности – за «национализм», и члены семей высоких партийцев – за родственников, слетевших со своих головокружительных постов и оказавшихся

«врагами народа». Вот в этой пестрой мозаике каждый хотел найти себе подобного, близкого по духу, родную душу.

Когда я забралась на верхние нары, на матрасе Анны Ивановны, кроме хозяйки, как всегда, сидела Инга с неизменной папироской, раскрасневшаяся после работы на морозе Катюша, а между ними незнакомая мне женщина, очень бледная, измученная, возраст которой трудно было определить. Говорила она тихо, вяло. Испуганные, оглядывающие все вокруг глаза изобличали новичка в лагере.

Меня познакомили с Наташей, только утром прибывшей с этапом в наш лагерь. Оказывается, она москвичка! Сразу накидываюсь на нее с вопросами: – Когда вы с воли?

– Давно, восемь месяцев. (То, что для нее «давно», то для нас вчера!)

– Где жили в Москве? Кто остался дома?

– Двое детей и бабушка.

– В какой тюрьме сидели? Какой срок получили?

Вопросы сыплются один за другим. Но мы, уже бывалые лагерники, спрашиваем только дозволенное лагерным этикетом. Нас, конечно, интересует еще очень многое, но мы знаем свое место и не зарываемся. Если наша знакомая захочет, сочтет нас достойными доверия, то расскажет сама, что найдет нужным: что у нее за дело, в чем обвинили, что правда, а что ложь, где муж.

Наташа рассказывает медленно, замолкает на время и с испугом вглядывается в темные лица заключенных. К нашему разговору прислушиваются и внизу, и на соседних нарах. Мы пьем горячий чай, заедая его ломтями черного хлеба, посыпанного сахарным песком. Очень вкусно! Тепло разливается по телу и клонит ко сну.

Но вот разговор неожиданно оживился. Инга, узнав, что Наташа с мужем после войны жила в Австрии, так и впилась в нее взглядом.

– Долго ли вы там жили? Бывали ли в Вене?

– Да, мы ездили из военного гарнизона в Вену за покупками и так, развлечься. Какое чудное это было время! Война позади, мы в Европе, о таком и подумать раньше не могли! Вена нам очень нравилась, казалось, ее война не коснулась.

– А бывали ли вы в знаменитом кафе на ...штрассе? – нетвердым голосом спросила Инга.

— Да, конечно, мой муж там бывал часто со своими друзьями-офицерами, и я пару раз побывала там с ним.

— Вы помните хозяйку кафе? — голос Инги звучит совсем глухо.

— Ну, как же! Такая красивая, яркая молодая женщина! Я ее хорошо помню.

Мы с напряжением следим за бедной Ингой. Ее глаза наполняются слезами, она глубоко затягивается папиросой и, захлебываясь, начинает кашлять. Наша новая знакомая, видимо, почувствовала странную реакцию на свои слова. Она замолчала, оглядела всех и спросила, не родственница ли эта дама Инге. И вдруг два образа соединились в ее сознании: та, далекая, беззаботная молодая австрийка и эта — седая, бледная женщина.

— Это были ВЫ, Инга? Фрау Инге, простите меня, мы все ведь теперь на себя не похожи, — сказала она в свое оправдание.

Долго сидели мы молча под впечатлением этой странной, горькой встречи. Инга курила, погруженная в свои воспоминания. Я думала о том, как несправедливы были многие, не верившие ее рассказам о прошлом. Вот и свидетель нашелся. Потом Инга и Наташа наперебой вспоминали Вену. И уже Наташе казалось, что не так сильно Инга изменилась.

— Вот только волосы покрасить, вставить зубы, и вы снова будете такая же красивая! Честное слово, — говорила раздумывая Наташа. Сама она тоже преобразилась, и стало видно, какая она еще молодая и милая. Мы потом долго с ней дружили, пока очередной этап не разлучил нас навсегда.

Среди похожих друг на друга будней только день получения почты был настоящим праздником. Больше всего радости приносили письма. Мои близкие писали мне часто, а я могла отвечать им только два раза в год. Мать ездила за город, чтобы отправлять мне продуктовые посылки — в Москве их не принимали. Получение посылки, уложенной руками мамы, было особым событием. Вчера я бежала к своим друзьям с угощением. Мы забирались на нары, расстилали полотенце и раскладывали на нем немыслимые богатства — колбасу, сало, печенье. Все исчезало в один момент, а потом мы вчетвером: Катя, Анна Ивановна, Инга и я — сидели до отбоя, осоловевшие от еды и усталости. Медленно вели беседу, вспоминали прошлое, слушали Ингины рассказы и мечтали о свободе.

Каждый из нас верил, что она где-то близко, хотя Сталин еще был жив, и из лагерей почти никто не освобождался. Шел пятьдесят третий год.

В один из таких счастливых лагерных вечеров – я не оговори-лась, эти вечера действительно в нашей тогдашней жизни были счастливыми: после двенадцати рабочих часов на лютom морозе наш мирный вкусный ужин с милыми друзьями был высшим блаженством – в один из таких вечеров Инга вдруг предложила: «Давайте, девочки, я вам погадаю».

Ее глаза вопросительно смотрели на меня. Инга знала, что я, атеистка, не верю мистическим предсказаниям, и, наверно, опасалась моего насмешливого отказа. Но я с радостью согласилась. Я уже была наслышана об ее удивительной способности рассказывать о прошлом человека, которому она гадала. После долгого изучения линий на ладони она всегда начинала с рассказа о прожитой жизни. Моя жизнь была коротка и так проста, что, и не обладая знаниями черной магии, можно было с легкостью в двух словах всю ее пересказать, что Инга и сделала. Ну, а что в моей «революционной» деятельности большую роль сыграло первое юношеское увлечение, влюбленность – тоже легко было догадаться (а может быть, и Анна Ивановна что-то ей рассказывала). Так я думала, пока Инга, попыхивая папироской, сквозь дым изучала мою руку. А потом началось самое интересное: предсказание будущего.

Я как будто и не верила в возможность узнать жизнь человека по датам его рождения или рисунку ладони. И все же холодок пробежал по коже, когда я услышала все, что меня ожидает. В хорошее хотелось тут же поверить, а плохое отметить как небылицу. Во-первых, меня и всех нас: и Катю, и Анну Ивановну, и ее самое – ждет скорая свобода. Что-то случится чрезвычайное, она не сказала что, и нас всех освободят. «Здесь почти никого не останется», – заключила Инга, и глаза ее радостно блеснули. Ну, можно ли было поверить Ингиным словам! Просто она добрая и хочет нас утешить, поддержать. Кругом такой мрак: только что осуждены врачи-отравители, по газетам видно, как сгущается атмосфера на воле. В лагере режим ужесточается изо дня в день. Прибывают всё новые этапы с только что осужденными – за анекдот, за случайно оброненное слово, за знакомство с иностранцем. И сроки какие-то немыслимые: пятнадцать – двадцать пять лет.

Софья Михайловна Бронштейн сказала, что евреи самые лучшие скрипачи в мире, — получила десять лет за антисоветскую агитацию и еврейский национализм. Группами прибывают разного вида «религиозники», сектанты. Среди них дети по шестнадцать — семнадцать лет!

И вот сейчас, в эту минуту, в многоголосом гомоне барака прозвучали слова о свободе для нас всех. Можно ли было в это поверить? Нельзя. И мы... поверили! Такая радость обуяла нас с Катюшей, что мы, обнявшись, повалились с писком на нары и начали тузить друг друга. Когда этот радостный порыв прошел, Инга снова взяла мою руку: «Когда ты выйдешь на свободу, тебя ожидают две близкие смерти». Она имела в виду смерть близких людей, но сказала именно эти слова. Я их никогда не забуду.

Я замерла — мать, отец?!

— Я не могу сказать, кто именно, — ответила Инга. — А потом твоя жизнь будет очень счастливой. Ты не будешь больше учиться. Это тебе будет не нужно. Я вижу тебя хозяйкой большого собственного дома. Ты в длинном платье принимаешь гостей. Ты будешь счастливой. — На этом предсказание Инги закончилось. Она отпустила мою руку и не сказала больше ни слова.

Удары по рельсу возвестили отбой. Надо было срочно убираться в свой барак, пока надзорки не застучали. Мы с Катей поспешили воссоединиться. Трескучий мороз не располагал к разговорам, и мы молча добрели до барака двадцатипятилетников. Пришли вовремя: сейчас нашу дверь закроют на огромный замок. После мороза барак показался уютным и теплым. Но ненадолго. Забравшись на верхние нары, мы задохнулись от спертых воздуха. Матрасы лежали узкими полосками, сжатые с боков соседними. Ночью почти невозможно было повернуться — так притиснуты мы были друг к другу. Встать со своего места ночью было опасно, потом не втиснешься обратно на свой матрас: тела смыкались, заполняя образовавшееся пространство.

Я долго лежала без сна, уткнувшись в Катин плечо. Мне казалось, что и она не спит, но говорить мы не могли, вокруг тяжелым сном спали намаявшиеся за долгий день работяги. — Так я буду счастливой! — в это я сразу безоговорочно поверила. Ну, а насчет длинного платья, собственного дома, приемов — так это все взято из Ингиного прошлого. Ведь ничего она не

знает о нашей вольной жизни: общие квартиры, очереди, перешитые по несколько раз платья, обноски. Для нее такая жизнь на воле была бы немногим лучше, чем в лагере. Вот и рассказала она мне сказку про Золушку. Смешно верить сказкам.

А две близкие смерти? Нет, я об этом забуду. Буду вспоминать только одно предсказание – скоро свобода! С этой счастливой мыслью я ушла.

Через два месяца после того вечера умер Сталин. Очень скоро были реабилитированы «врачи-отравители», а Берия с Абакумовым и Рюминым, подписавшие наше обвинение, расстреляны. События нагромождались одно на другое, к ним не успевали привыкнуть, как валились все новые и новые.

Радостное это было время! Все были полны надежд. Скоро, не дожидаясь конца срока, стали выпускать людей на свободу. А еще через короткое время почти всех иностранцев собрали в один лагпункт и стали их усиленно кормить. Потом на поезде отправили в Москву. Перед отъездом их всех приодели, чтобы не пугали своим видом по возвращении домой. Увезли и Ингу. На прощание принесла я ей последние дары из посылки. Она плакала, прощаясь с Анной Ивановной, чувствовала, что навсегда. Очень скоро мы получили от нее письмо. Она в Москве, ходит по улицам свободно и ждет отъезда домой.

Мы всё это время с нетерпением ждали перемен в нашей жизни. Лагеря таяли – предсказание Инги сбывалось на наших глазах!

Увезли с этапом Анну Ивановну и Катю в карагандинские лагеря. А еще через некоторое время я узнала, что Анна Ивановна освобождена. Мама написала мне, что она была у них в гостях. Родители моих однодельцев и моя мать хлопотали о пересмотре нашего дела. Я получала обнадеживающие письма. Но бюрократическая машина с трудом справлялась с непривычной миссией: незаконно осужденных освобождали только на законных основаниях. Ну, а мы, бунтари, должны были ждать дольше всех.

Только 25 апреля 1956 года мы все вышли на свободу, уже после XX съезда партии. «Мы все» – это тринадцать из шестнадцати членов организации. В ходе переследствия троим расстрелянным расстрел был заменен десятью годами заключения. Мертвым отменили смерть!

Весенним апрельским вечером мы с Катей, с которой по случайности оказались во время переследствия в одной камере, вышли из дверей тюрьмы на Лубянке. Взявшись за руки и не чуя земли под ногами, мы пошли по улицам Москвы.

Не буду рассказывать, что мы чувствовали, какая была встреча с родными. Скажу только, что радость свидания омрачилась двумя известиями: совсем недавно, не дождавшись нашей встречи, умерла в Киеве моя любимая тетка, и смертельно больна родная сестра мамы. Она была мне второй матерью. Через два месяца мы ее похоронили. Так сбылось немедленно еще одно предсказание Инги – меня ждали по возвращении «две близкие смерти».

Что касается третьего ее предвидения, то оно тоже сбылось, но в несколько трансформированном виде. Хотя я и окончила институт, но профессию свою не очень любила и не так долго работала в соответствии с дипломом.

И самая невероятная часть предсказания Инги осуществилась уже в эмиграции... Вот я, хозяйка уютного и красивого дома, стою на верхней ступеньке лестницы в длинном платье, встречая гостей. В этом не было бы ничего особенного, если бы не увидела все это Инга на нарах, в лагере, у самого полярного круга.

К сожалению, я не могу рассказать в деталях о дальнейшей судьбе Инги Роттенбахер. Некоторое время, в период хрущевских послаблений, Анна Ивановна переписывалась с ней. Мы узнали, что ее муж, потеряв надежду найти Ингу, женился. Пережив этот удар, Инга встретила в Германии человека, с судьбой, похожей на свою. Но были они вместе недолго. Потом она уехала в Америку. Последнее ее письмо и фотография были оттуда. За столом сидела веселая компания красивых, благополучных, хорошо одетых людей. С большим трудом мы узнали среди них Ингу. Белокурая женщина, улыбавшаяся нам с фотографии, мало чем напоминала нашу старую знакомую.

Очень скоро Анна Ивановна прекратила с ней переписку. Ее страшно напугало шуточное четверостишие о Хрущеве, написанное Ингой. Видно, Инга совсем забыла, откуда она вырвалась, и поверила, что у нас что-то может действительно измениться. Катя попросила в письме, чтобы Инга им больше не писала. Испуг был такой, что, когда я уезжала в эмиграцию, мои друзья не захотели дать мне ее адрес – как бы чего не вышло!

Вот и все, что я вспомнила в жаркий торонтский вечер о предсказании, услышанном мною в тусклом свете сталинского барака, и о страшной судьбе Инги Роттенбахер. Я пишу эти строки в Канаде, а Инга, может быть, где-нибудь в Америке. Наши пути ни разу не пересеклись и, наверное, никогда не пересекутся! А может, я забыла еще одно предсказание Инги, и нам суждено еще где-то встретиться?

ТУМАНОВА Алла – родилась и училась в Москве. В 1950 году, по окончании 10-го класса, стала членом молодежной группы, состоявшей из школьников и студентов, которая ставила своей целью восстановление ленинских принципов и построение справедливого общества. В начале 1951 года 16 членов организации были арестованы. После года одиночного заключения состоялся закрытый процесс военного трибунала, и участники группы были осуждены. Трое приговорены к расстрелу, а большинство (в том числе Алла Туманова) – к 25-ти годам. В 1956 году дело было пересмотрено, и оставшиеся в живых амнистированы. Вернулась в Москву, окончила биофак Педагогического института, работала в качестве биохимика. С 1974 года живет с семьей в Канаде. Печаталась в журнале «Время и мы».

ДЫРА В БЮДЖЕТЕ, ЛИШНИЕ ДЕНЬГИ И РЕФОРМА

«Билеты на концерты виднейших экономистов не достать, хохот стоит дикий. Публика уже смеется не над словами, а над цифрами... Вот я и думаю: а может, нас для примера держат. Весь мир смотрит на нас и пальцем показывает – видите, дети, так жить нельзя». (Жванецкий)

Исключая пошлые истины, ни одно утверждение (в том числе и это) не бывает стопроцентно верным.

Следуя известной традиции опираться на руководящие цитаты, напомним, что в начале 1989 финансовое состояние, денежное обращение, сбалансированность денежных средств и товаров названы «ключевым вопросом нынешнего положения в экономике», и далее: «Ситуация возникла не вдруг. Пожалуй, самое тяжелое наследство, которое мы получили от прошлого, – это дефицит госбюджета, который тщательно скрывался от общественности, но фактически он был. И, конечно, дефицит оказывает пагубное влияние на все народное хозяйство... если говорить в практическом плане, то самой острой и неотложной задачей... является обеспечение сбалансированности рынка и упорядочение финансовых отношений». В другом выступлении: «Ситуация на потребительском рынке такова, что он разрегулирован. Вращается огромная денежная масса, и она оторвалась от товарных ресурсов»¹. С этими словами М. С. Горбачева я совершенно согласен. Согласен и с двумя экономистами, назвавшими проблему дефицита «одной из наиболее острых, если не наиболее острой из сегодняшних экономических проблем» и предупредивших, что, «если не принять крупные меры, направленные на устранение финансовых диспропорций, неудача реформы предreshена»².

Так случилось, что я первый «открыл» дефицит советского государственного бюджета, и несколько страниц, относящихся к «истории вопроса», надеюсь, будут не чересчур нескромны, но помогут кое-что прояснить³. Затем я попытаюсь обратить внимание на различные аспекты проблемы, а закончу соображениями о наицелесообразных, как мне кажется, путях ее разрешения.

В списке источников – лишь цитированные более чем по одному разу. Обильно ссылаюсь на собственные публикации не токмо лишь из эгоцентризма; без нормального научного обмена они не попали в поле зрения советских коллег (этим объясняю отсутствие ссылок в их недавних публикациях о бюджетном дефиците), да и легче избежать детальных объяснений.

Как повторяют в СССР, благотворным экономическим изменениям должны предшествовать политические реформы. Мнение по политическим вопросам я изложил в недавней книге «Строить заново».

Оглядываясь назад

Я наткнулся на проблему, рецензируя в начале 1976 доклад ЦРУ о величине и структуре того, что называется по-английски Gross National Produkt, а по-русски, с недавних пор, валовым национальным продуктом (ВНП)⁴. Едва ли не самое первое столкновение с фундаментальным советологическим исследованием произвело весьма положительное впечатление⁵, но возникли и вопросы, два из них непосредственно относятся к нашей теме.

Первый. По расчетам ЦРУ, общая сумма денежных доходов населения получалась меньшей, чем сумма расходов. Теоретически такое может случиться в некотором году, но проверка обнаружила, что сим казусом отмечен каждый год. (Позже я проделал детальные расчеты за 1960-е и 1970-е годы⁶; через несколько лет, исследуя производительность советской экономики, считал и за 1980-е – результат тот же). Разумеется, этого не может быть, потому что не может быть никогда, и мы стоим здесь перед удивительной тайной статистики: показатель общей суммы денежных доходов населения не публикуется⁷.

Ниже мы вряд ли обратимся к загадке непосредственно, поэтому здесь некоторые соображения⁸. Очевидно, что мы в расчетах или завышаем расходы, или же занижаем доходы. Что касается расходов, уже тогда мне казалось, что показатели розничного товарооборота завышают соответствующие затраты населения⁹, но лишь очень большим завышением можно объяснить феномен. Что же касается доходов, то непонятны причины утайки: зачем скрывать доходы; поэтому интересна гипотеза, предложенная С. Фрейдзоном и детально развитая уже упоминавшимся Д. Штейнбергом. Именно: чтобы скрыть истинную величину советских военных расходов (СВР), статистика вырезает из открытых публикаций по всему комплексу показателей значительную часть военной промышленности, в том числе заработную плату работников этих отраслей. К СВР мы вернемся, а пока скажу, что мы вправе ожидать от советских статистиков объяснений небаланса денежных доходов и расходов населения¹⁰.

А вторая проблема привела меня к дефициту бюджета. Без расчетов и цифровых иллюстраций, просто скажу, что если взглянуть в обычные, невыносимо лапидарные публикации о государственном бюджете (в статистических ежегодниках или же в докладах министра финансов Верховному Совету и его статьях в журнале «Финансы СССР»), то всегда указывается превышение итога доходов над итогом его расходов, «прибыль бюджета»¹¹, а в постатейной расшифровке доходов имеются две дыры (по-научному, разрыва); то есть сумма «расшифрованных» здесь доходов меньше указанного общего итога. Одна, сравнительно скромная дырочка, – в доходах бюджета от населения; другая, зияющая дыра, – в доходах «от государственных и кооперативных предприятий и учреждений». В докладах министра финансов и учебниках дыра трактуется как «доходы от внешней торговли и прочие доходы».

С помощью бюджетных справочников¹² маленькая дырочка – в доходах от населения – полностью закрывается. С помощью тех же справочников, а также других источников чуть закрывается и большая дыра, но очень чуть. Доходы от внешней торговли (их величина тоже не публикуется, и ее приходится прикидывать) недостаточно велики, чтобы полностью закрыть разрыв. Какие же таинственные доходы входят в него еще?

Эксперты ЦРУ, не сумев расшифровать остаток и занизив доходы от внешней торговли, сочли его «прочими доходами» и бестрепетно сочли их реальными¹³. А я призадумался: зачем вообще нужна прибыль бюджета, в чем ее реальный смысл?¹⁴ Да и как это так – экономика явно unsuccessful, а бюджет сводится с прибылью? Как может быть, чтобы бюджет всегда – при неурожаях, недоперевыполнении плана и прочих напастях – давал прибыль? За счет чего? Полный абсурд – прибыль бюджета в конце войны! Никак не менее существенно: сама не поддающаяся расшифровке сумма разрыва слишком велика для «прочих» доходов, что это за зверь? А с другой стороны, явно идет эмиссия, и где же она отражается? Таким образом, несомненный вывод: бюджет дефицитен, а дефицит покрывается эмиссией.

Поделился всем этим с Рашем Гринслейдом, отставным шефом Отдела советской экономики ЦРУ, он нашел доводы, как говорится, заслуживающими внимания, и мы вместе подумали еще вот о чем. По прикидкам, если отнести весь остающийся разрыв на эмиссию, то она получается слишком большой. Но ведь вполне возможно, что наряду с эмиссией в наличное обращение происходит и, так сказать, эмиссия платежных средств в безналичное обращение.

Все это хорошо, но общие соображения не доказательны, да и конкретные числа нужны. Подразделение Министерства коммерции (называется ныне Центром международных исследований в составе Бюро цензов) заключило со мною контракт и в 1978 я отчитался вот в чем:¹⁵

а) перепроверил публикуемые суммы доходов бюджета из разных источников (главным образом – налог с оборота и отчисления от прибыли) и заключил, что в принципе они не занижены, то есть исключается возможность, что в соответствующих строках публикаций о бюджете не показана часть прибыли и налога с оборота и она закрывает разрыв. Разность между общим, объявляемым в публикациях итогом доходов бюджета и суммой специфицированных доходов составила, так сказать, исходный разрыв;

б) определил возможные доходы бюджета от внешней торговли. Впоследствии выяснилось, что, хотя путь был не наилучшим, я более или менее попал¹⁶. Полученную сумму доходов бюджета от внешней торговли тоже вычел из разрыва;¹⁷

в) оценил другие возможные и невозможные доходы, причем в сомнительных случаях старался зависить, но никоим образом не занижать их¹⁹. Разрыв опять несколько уменьшился, и остаток, собственно говоря, и есть настоящий дефицит бюджета;

г) хотя литература об этом помалкивала, прирост остатков вкладов в сберкассах (а также облигаций – я ниже не всегда это оговариваю) обращался в доход бюджета и покрывал часть дефицита. Приросты я вычел из общей суммы дефицита и вышел на сумму, которую надо было объяснить (ЦРУ принимало ее за «прочие доходы»);

д) попытался определить, сколько должно быть денег в наличной циркуляции (жуткий секрет в статистике еще со второй пятилетки¹⁹) и сколько накоплено «в кубышках»: по вынужденно грубой оценке – не менее 60 млрд. р. в 1978. На этой основе попытался высчитать эмиссию наличных денег за 1960-78. Разбросав ее по годам, получил покрытие дефицита эмиссией наличности;

е) поскольку и этого не «хватило», посчитал остаток, так сказать, эмиссией в безналичное обращение;

ж) пытаюсь объяснить, как покрытие дефицита «оформляется» (без чего трудно сохранить секрет), обосновал гипотезу, что банки дают бюджету кредиты²⁰.

В общем, я заключил, что тайными доходами бюджета являются доходы от внешней торговли (тайна – их громадная сумма), эмиссия наличности и рост объема платежных средств в безналичном обращении сверх нормальной надобности;

з) как показали подсчеты, бюджет уже с конца войны стал скрытно-дефицитным²¹;

и) в чем дефицит «накапливается»? Эмитированная наличность возвращается в сберкассы, идет в облигации и кубышки (часть оседает в обороте), но что насчет излишка платежных средств в безналичном обращении? Хотя переизбыток очевиден, его масштабы казались все же недостаточными по сравнению с масштабами дефицита (вопрос и сейчас не совсем мне ясен; хотя явным образом много ушло в разные потери, например: долги, списанные с колхозов, «накопление» незавершенки, запасы и т. п.);

к) указал, что денежные накопления советского населения представляют собой государственный долг и громадность их суммы (в кубышках, сберкассах и облигациях) есть одна из

главных экономических проблем режима; необходимо их изъять под угрозой крайне неприятных последствий. (Наиболее подробно рассмотрев вопрос в «Докатились», я писал, что изъять накопления экономически необходимо, а политически удобнее всего при смене караула в Кремле. В первые годы Горбачев упустил эту возможность, да еще утяжелил ситуацию непродуманными мерами, в частности, резким ограничением продажи алкоголя, а сейчас невероятно трудно найти политически приемлемый выход.) Предложил и специальный коэффициент, назвав его АЛБ, – отношение суммы накопленных населения к годовому денежному доходу, и эмпирически обосновал его значение²²;

л) объяснил механизм «прибыльности бюджета» и указал, что это маскировка (как видим, вполне успешная);

м) посмотрел немного бюджеты центральноевропейских социалистических стран. Оказалось, все, кроме Венгрии, рапортуют бездефицитный бюджет. Тоже странно, и я предположил, что дефицит там скрывают с помощью тех же приемов;

н) (вроде уже последний пункт, как бы алфавит не кончился) высказал такую гипотезу. Все, обращавшиеся к проблеме определения действительной величины советских военных расходов (СВР), знают, как трудно указать их источник – очевидным образом они колоссальны, но непонятно, за счет каких ассигнований проводятся. Поэтому я предположил, что сумма дефицита больше, чем это следует из самого бюджета, то есть имеются значительные затраты на военные цели, которые вообще не входят в расходную часть бюджета, а финансирование их тоже не покрыто; сказать то же самое по-иному: действительный размер дефицита еще больше. Назовем излишек «экстра-дефицитом». Как я уже отметил, Дм. Штейнберг независимо разработал сходную гипотезу и по его оценке суммарный дефицит достиг 180 млрд. р.

Ведущие американские советологи В. Тремль, М. Фешбах и Г. Шрудер, а позже А. Бергсон²³, (они и теперь ведут) забраковали отчет. Попытался обнародовать результаты, американские советологические издания отказывают. «Journal of Comparative Economics» не только отверг мою статью, но и не напечатал, по единодушному решению редколлегии, мое открытое письмо. Все же опубликовал две статьи в эмигрантских изданиях и две статьи в британском советологическом

журнале²⁴, но лишь в 1981 удалось издать в Голландии забракованный за три года до того текст («The Secret»).

Очевидным образом мне просто повезло, что раньше никто не обратил на все это внимания. И не «вывез» я секрет, финансами там не занимался, дружил с отлично информированными коллегами, но ничего даже отдаленно похожего не слышал. Внимательное чтение обильной финансовой литературы (в том числе множества учебников по госбюджету) ведет к выводу, что даже финансовые столпы, по-видимому, не догадывались о тайне²⁵; проблемой просто никто не занялся, ведь мой анализ основан на общедоступной литературе, и, без претензий на скромность, другие вполне могли бы его проделать.

Почему это не понимали на Западе? Часть объяснения – советологические исследования почти совсем игнорировали финансы (в лучшем случае, на основе официальных данных с помощью ухищрений, применяемых при анализе западных экономик, делали какие-то подсчеты, а также занимались расходной частью бюджета). Другая – советологи, как ни странно, не понимали тяжесть общего положения советской экономики²⁶, причем, не менее странно, они в общем верят советской статистике (лишь индексы цен подвергались сомнению). И не понимали, как сильно обособлены в советской экономике наличное и безналичное обращение. Так что, когда книга увидела свет, американские советологи (за исключением С. Росфилда и Г. Гроссмана) дружно игнорировали ее. Европейцы, А. Ноув и М. Лавинь, откликнувшиеся на книгу положительными и содержательными рецензиями, избежали чересчур определенной собственной позиции насчет дефицита, только П. Уайлс, критикуя частности, полностью согласился с общей линией рассуждений и выводами. В начале 1980-х Г. Гроссман упирал в паре докладов на безудержный приток средств в безналичное обращение через банковские кредиты.

А вот по поводу угрожающих размеров накоплений населения советологи ретиво спорили со мной, основываясь на измерениях «предельной склонности к накоплению», подходящих к западным экономикам, но не имеющих отношения к советской²⁷.

В марте 1988 ответственный чиновник ЦРУ в частном разговоре признал мою правоту, и в апреле агентство заявило о дефиците (без ссылок). Отмечу также книгу, автор которой полезно использует мою методику подсчетов²⁸.

Как бы то ни было, я больше не занимался финансами (в ряде мест отказали в контрактах) и возвращаюсь к теме главным образом потому, что проблема вылезла наконец на поверхность.

Что неясно

Советские справочники и литература до самого последнего времени дули в старую дуду и напрашивается вопрос – когда четыре года назад власть ухватил Горбачев, доложили ли ему о проблеме? Коли да, то почему не приняты сразу же меры; наоборот, увеличены капвложения в машиностроение, высажены новые десятки миллиардов в безумные водохозяйственные проекты и в сельское хозяйство, рос фонд зарплаты²⁹, урезана продажа алкоголя? Чем же теперешнее начальство лучше руководит экономикой, чем застойщики? А если не доложили, почему не наказаны финансово-экономические боссы?

Только в 1987, кажется, В. Д. Белкин в «Известиях» произнес роковые слова «дефицит государственного бюджета», но объяснил их изъятием у предприятий причитающейся по плану прибыли, даже когда она фактически не получена. Есть намек на дефицит в тезисах одного доклада Н. Шмелева. Лишь к середине 1988 сначала тезисы к партконференции, а затем и доклад Горбачева обнародовали великий советский финансовый секрет. По всей видимости, уже к этому времени набрали прекрасную статью Кагаловского «Поджаться», которая сказала, что «в условиях гласности нет нужды больше играть в прятки», объяснила, что к чему, и оценила дефицит в 15–17% от доходов бюджета (то есть порядка 65–75 млрд. р. для 1988). Появилась статья Перламутрова «Жить». Увы, доклад Б. Гостева Верховному Совету далеко не все прояснил.

После сессии, затвердившей дефицит на 1989 в 35 млрд. р., я написал, что он равен 80 млрд.³⁰, но четкая статья Гайдара и Лациса «По карману» назвала 100 млрд., а затем к оценке присоединился Л. Абалкин. Не мне спорить с советскими экономистами по этому поводу, им тут и секретные карты в руки, но настораживает, что показатель получен путем прибавления «средств общегосударственного ссудного фонда» к объявленному Гостевым дефициту. Здесь полезно детально разобраться.

Начать надобно с четких определений. Хотя принцип – дефицит бюджета есть превышение его расходов над доходами – прозрачен, конкретное рассмотрение обнаруживает массу сложностей. Например, эмиссия в пределах роста действительной потребности денежного обращения является нормальным, законным «заработком» бюджета, ничего плохого в ней нет. Точно так же некоторое приращение накоплений населения в сбербанках и кубышках может быть законным доходом бюджета³¹. Конечно, сегодня денежная масса громадно превышает надобность в ней, все же следует иметь в виду сказанное, в особенности «лишние деньги». Не прояснен и старый мой вопрос об эмиссии в безналичное обращение.

Не обмине: нет данных за прошлые годы³², а если верить оценке Кагаловского, лишь в 1989 дефицит возрастет на треть. Что же касается самих плановых цифр на 1989, то ведь советские планы редко выполняются.

Правильнее говорить не о бюджетном лишь дефиците, а об общей сбалансированности государственной финансовой системы. В особенности это относится к колоссальным банковским кредитам, не проходящим через бюджет, причем экономический смысл их роста почти равнозначен дополнительным расходам бюджета (в особенности при дефиците, а также потому, что часть кредитов не возвращается). Между тем, с банковскими операциями много тумана. Так, почему остаток краткосрочных ссуд после бурного роста начал в 1986 резко падать (1985 – 426, 1986 – 357, 1987 – 335 млрд. р.) при микроскопическом росте долгосрочных (быстро росли в 1970-е), причем преимущественно уменьшились краткосрочные кредиты в строительство³³? Названия таблиц в справочниках «Кредитование банками народного хозяйства и населения» и постатейная разбивка кредитов подсказывают, что в них не включены кредиты бюджету. Без показателей кредитов бюджету не определить реальное состояние финансовой системы, а с ними можно было бы прикинуть грубые оценки лишних денег в безналичном обращении (с поправками на рост цен и на нормальный рост оборота)³⁴.

Критически важно знать доходы от внешней торговли. Даже забавно, что ее объемы в валюте (переводных рублях) широко публикуются, а вот во внутренних ценах импорт с экспортом до доклада Гостева таились за многими печатями, и сейчас не все печати сорваны. У меня раньше получалось, что

в 1984 во внутренних ценах импорт превышал экспорт на 62 млрд. р.³⁵, но то 5 лет назад и неясно относительно учета в бюджете так называемого валютного сальдо. Гостев указал 60 млрд. р. «доходов от внешнеэкономической деятельности» по плану на 1989. Другой бы радовался близости чисел, а я задаю вопросы: что значат «доходы от внешнеэкономической деятельности», например, входят ли в них продажи золота, как включается сальдо неторговых операций, что с уплатой процентов на внешний долг?³⁶ И еще вопрос: если моя оценка для 1984 верна, то почему столько жалоб на потери от снижения мировых цен на нефть? (Объявляемые цифры показывают, что было бы, если бы цены не упали; поскольку физические объемы экспорта топлива растут, фактическое снижение доходов много меньше.)

Разумеется, нет и намека на «экстра-дефицит». Наоборот, уже после ответственных признаний, в том числе самого Горбачева, что бюджет показывает лишь часть СВР и что над пересчетами работают, Верховный Совет утвердил по-прежнему невероятно низкую сумму затрат на оборону. Подозрения останутся, пока неизвестны действительные военные траты.

Концентрируясь на текущем дефиците, мало говорят о *накопленных* суммах (лишних деньгах). То самое число, 100 млрд. р., повторяют на все лады³⁷, но если бы к началу 1989 уже не было сотен миллиардов государственного долга населению да многих сотен миллиардов, болтающихся в безналичном обращении, дела были бы куда веселее. В упомянутом диалоге О. Лацис говорит, что по мировой практике дефицит в 3% допустим для растущей экономики. Да, допустим, но только если уже не «перенакоплен» предыдущий дефицит.

Нет и сведений о размерах эмиссии³⁸. Критически важно тут было бы правильно исчислить денежные доходы населения. Я упоминал грубую оценку накопленной наличности в 60 млрд. р. к концу 1970-х, но непонятно, как подступиться к выяснению размера залежей презренных бумажек в кубышках теперь³⁹. (И до каких пор объем эмиссии будет таиться? Л. Абалкин жалился в ЛГ, что эти данные ему (!) недоступны. В конце января 1989 даже данные о вооружении и численности войск СЭВа опубликовали.) В целом, значение коэффициента АЛБ: 0,3 в начале 1960-х и 0,7 к концу 1970-х – теперь перевалило за 1.

По докладу Гостева, объем дефицита (разность доходов и расходов) 36 млрд. р. (утверждено 35), но он даже не намекнул, что точно имеется в виду. Можно догадаться, что в дефицит не занесено планируемое приращение остатков вкладов в сбербанках, но почему же так и не сказать, да и неизвестно, какой именно прирост планируют на 1989. И равен ли «оглашенный дефицит» эмиссии наличности? Заем из «средств общегосударственного ссудного фонда» планируется в 63,4 млрд. р., во сколько же оценен прирост остатков вкладов? Допустим, 30 млрд. р. Из чего же состоит тогда $63,4 - 30 = 33,4$ млрд.? Эмиссия в безналичное обращение?

Все же самая большая «тайна», а ее частенько забывают, связана с тем, что все измерения в советской экономике основаны на нелепых ценах. Но это отдельная тема.

Значение дефицита

Начну с того, что бедность страны и населения далеко не всегда сознается. Так, «угрожают» скатиться на уровень третьего мира к концу столетия. Увы, во всем, за исключением военной машины (и та сокрушительно поражена доблестным Афганистаном), страна уже скатилась. Более того, нет «объективных» причин надеяться, что страна начнет догонять, наоборот, даже при благоприятной раскладке отставание будет нарастать. Понятно желание людей жить по-людски, руководство тоже этого хочет, однако сие в близкой перспективе неосуществимо. Помимо всего иного, дефицит отражает разрыв между желанием жить лучше и сегодняшними возможностями. А бюджетный дефицит в большой части от того, что это не осознавали (не хотели осознавать), тратили не по заработку, по-детски не задумываясь о последствиях, и докатились до катастрофической ситуации.

Особенно бездумно тратили безналичные средства. «Омертвленные запасы» дико выросли, а объем незавершенки столь непристойно высок, что Нархоз-87 таит его объемы, а за 1988 дан лишь «сверхнормативный объем»⁴⁰. «Безналичный рубль безнадежно болен»⁴¹.

Вряд ли есть много, что добавить к написанному другими о губительности бюджетного дефицита, и я лишь перечислю основное. Дефицит – это результат не расцвета застоя, а самой экономической системы, причем его размер резко вырос за

последние годы. Указывают, в том числе сам Горбачев, что повлияли падение мировых цен на нефть, антипитейная кампания, Чернобыль⁴². Тут не вся правда, тем более, что, как мы видели, не все так уж просто с внешней торговлей. Надо добавить судорожное исправление социальных перекосов, ослабление контроля за ростом зарплаты да и явное ухудшение экономики в целом. Ошибочен первоначальный курс на преимущественный рост машиностроения, упор на бюрократические оргперестройки. Горбачев говорит, что в начале пятилетки «мы приняли решение дать приоритет развитию легкой и пищевой промышленности. И только на третий год мы получили темпы в 5% вместо 3,5 по тяжелой промышленности» (абсолютные объемы приростов в тяжелой промышленности несравненно больше, чем в легкой и пищевой). Оправдывает он это тем, что «наша экономика огромна, она имеет определенную инерцию». Нет, дело не в инерции экономики (американская экономика куда огромнее, но высоко динамична), а в инерции руководства. А конкретно на 1988 предусматривалось всего 7,9 млрд. р. на финансирование бюджетом легкой промышленности (плюс еще бытовых услуг, пассажирского транспорта и торговли)⁴³. Непростительно затянут и уход из Афганистана.

Язык с трудом поворачивается так сказать, но выходит, что экономика управляется не лучше, чем раньше. Под Брежневым – Косыгиным масса «лишних денег» достигла критического уровня (новая спираль гонки вооружений, переход на денежную оплату в колхозах и безграмотно проведенная реформа 1965, поднявшая фонд зарплаты без существенного улучшения производства⁴⁴), но под Горбачевым – Рыжковым положение не улучшилось. Корень – экономике пагубно управление, ее надо максимально освободить от государственной собственности и государственного вмешательства, но этого всё еще не понимают в Кремле.

До какого-то момента инфляция ограничивалась, сдерживалась, но объем лишних денег перешел уже критическую массу. Дефицит автоматически ведет к инфляции, а она не менее автоматически снижает жизненный уровень и расстраивает функционирование экономики (лишние деньги разрушают рынок как потребительских товаров, так и средств производства). В мире стабильность цен признается одним из самых главных показателей успешности экономики⁴⁵.

Если даже отобрать лишние деньги у населения, при нынешних размерах дефицита это принесет лишь короткое облегчение. А если не отбирать, единственный выход – карточки практически на все потребительские товары, сохранение системы фондового снабжения или же очень резкое повышение цен. Собственно, карточки (талоны) на продукты уже есть, но делать их всеохватывающими значит повернуть экономику вспять от курса на децентрализацию, убить в зародыше кооперативы и ИТД. Повышение цен вызовет взрыв недовольства, но единовременным актом все равно не отделаться, инфляция продолжится.

Можно ли жить в условиях инфляции? Можно, но плохо, очень плохо. Контроль над ценами не разрешит ситуацию, а ухудшит ее и создаст новые проблемы. Резкое повышение цен неизбежно, без него не обойтись, а в стране 18 млн. пенсионеров, получающих *менее* 60 р. в месяц.

Говорю все это потому, что без осознания крайней серьезности ситуации трудно понять необходимость очень решительных, радикальных мер. Судя по всему, такого понимания не было на высшем уровне⁴⁶, и сейчас оно приходит только постепенно. А коренную проблему не разрешить мелкими мерами, необходимы кардинальные шаги⁴⁷.

На пресс-конференции в январе 1989 Л. Абалкин, произнеся много верных слов о величине дефицита и серьезности ситуации, указал, что можно снизить его на 20 млрд. р. Но если к концу года накопления увеличатся еще на $100 - 20 = 80$ млрд. р., последствия станут непредсказуемыми. Недаром умный журналист А. Никитин писал осенью 1988 в ЛГ, что потребительский рынок уже распадается⁴⁸.

Что делать с внешней торговлей? Бюджетные доходы от нее имеют своим источником резкую структурную разницу внутренних цен и цен мирового рынка. Ликвидация ее монополии, гибкое ценообразование на импорт испарят основную часть этих доходов, что страшно ударит по бюджету. Возражат, что доходы эти по сути дутые и можно (нужно) соответственно уменьшить расходы, в том числе фонд заработной платы. Экономически это так, но политически невероятно трудно. А ведь производство нефти вот-вот начнет резко падать: «все крупные и высокодебитные месторождения в связи со значительной выработкой их запасов перешли на

стадию снижения добычи... освоение новых территорий... требует огромных затрат и усилий»⁴⁹.

Серьезнейшая проблема – размывание границы между наличным и безналичным обращением. В новых условиях (образование кооперативов, возрастающая самостоятельность предприятий) здесь потенциально лежит грозная опасность⁵⁰.

В декабре 1988 Н. Рыжков недоумевал на Совмине, почему при дефиците союзного бюджета республиканские «безубыточны», и сказано, что это отрегулируют. Не так просто: по какому принципу разверстать на республиканские бюджеты сумму дефицита (а также, например, доходы от внешней торговли)? Да еще в условиях, когда часть (пока!) республик требует экономической самостоятельности. Вообще вся сфера финансовых взаимосвязей союзного и республиканских бюджетов страшно запутана.

Очень коротко об общей (не только финансовой) дефицитности советской экономики, которую я зову экономикой недостат. Главная причина – затраты производятся без реального сопоставления с результатами⁵¹. Упоминавшееся обособление наличного и безналичного оборота тоже ведь свидетельствует, что в хозяйстве затраты не контролируются (ограничиваются) результатами. Другая причина – принципиальная беспомощность плановой техники и искреннее непонимание, что экономика не работает нормально без пресловутого перепроизводства; старания произвести не больше, чем надо (кажется надобным), неизбежно ведут к дисбалансам⁵². Еще: падает эффективность социалистического производства, что виднее всего в снижении фондоотдачи (прироста продукции на рубль капиталовложений)⁵³. Но, кроме этих важнейших причин, советская экономика является экономикой недостат не потому (не только потому), что производит мало товаров и услуг (в конце концов, ни одна экономика не производит сколько желается), а потому что она сильнейшим образом разрегулирована в макроэкономическом смысле, то есть платежеспособный спрос существенно превышает предложение.

Фундаментальный этот вопрос требует специального рассмотрения, здесь же ограничусь следующим. Конечно же, необходимо всемерно наращивать производство, причем конечных, а не промежуточных продуктов. Однако никогда, ни при какой системе человечество не сможет полностью удовлетворить все потребности; провозглашенный в 1848 в известном

манифесте лозунг, суливший потребление по потребности, хотя и воодушевил, к нашему несчастью, многих, не может быть в принципе реализован. А средствами финансового (финансово-рыночного) регулирования можно лучше сбалансировать экономику, в особенности привести платежеспособный спрос в соответствие производству. По-моему, задача в принципе неразрешима при экономической системе советского типа, но Алек Ноув указал мне пример Чехословакии, где, по его мнению, такая сбалансированность имеется⁵⁴.

Несколько фраз о различиях бюджетного дефицита в СССР и США (оставляю в стороне госруководство экономикой в СССР). Наше федеральное правительство лишь в небольшой степени покрывает дефицит выпуском наличности⁵⁵. Главное – займы, в основном в виде специальных облигаций, причем не бессрочные и под существенный процент (бывает и 10% годовых). Облигации продаются как внутри страны, так и за рубеж (по оценкам, до 30%, почти исключительно в Японию). В чем-то советским финансистам легче. Даже то, что дефицит госбюджета не покрывается зарубежными займами, облегчает дело: с домашними займодавцами проще справиться⁵⁶. Процент, уплачиваемый Сбербанком, в среднем порядка 2,4%, в несколько раз ниже, чем у нас. В капиталистических экономиках, где сферы наличного и безналичного обращения не разделены, нет возможности эмиссии в безналичную сферу. Единственное, где хуже покупки западных облигаций представляют часто, так сказать, цель в себе, а советские люди покрывают дефицит бюджета *вынужденными* накоплениями, отсрачивая спрос. Чуть упрощая, в капиталистических экономиках (я зову их экономиками избытков) расходы за счет дефицита госбюджета стимулируют спрос, что вызывает рост производства (с эффектом мультипликатора). А в экономике недостатч дефицит ведет к росту макроэкономического дисбаланса (товарно-денежная несбалансированность)⁵⁷.

Подчеркну принципиальное различие. В СССР накопление есть отсроченный потребительский спрос (и государственный долг). А в мире люди часто накапливают, чтобы инвестировать (инвестируют и рантье), да и сам процесс накопления чаще всего происходит в форме инвестиций. Советская идеология насмерть против частных инвестиций, и тут-то, помимо всего прочего, лежит основная трудность. Как я это понимаю,

без возможностей частных инвестиций не приходится в принципе надеяться на разрешение разрушительного финансового кризиса.

Заглядывая в будущее

Я начал согласием с недавними заявлениями Горбачева, но здесь должен сказать, что намерение отстроить, так сказать, иную социалистическую модель не кажется мне реалистичным. По-моему, заканчиваемый в этом году переход предприятий на новый статус превращает их в эквивалент достославных колхозов. А сами колхозы решено сохранить, и, называя вещи своими именами, глупее ничего не придумаешь. Говорят о создании рынка, но упорно не хотят понять элементарное – *без частной собственности рынок в принципе не может нормально функционировать*⁵⁸. Например, Л. Абалкин формулирует «три признака рыночных связей, которые в совокупности и определяют наличие рынка»: равноправные прямые связи потребитель–производитель, свободный выбор партнера и «экономическое соревнование за потребителя, его рубль»⁵⁹. Увы, это еще не рынок – нужна, так сказать, своя собственная собственность и устремление на прибыль. Поправляя себя, Абалкин верно сказал в интервью «Огоньку» в конце марта, что вопрос о рынке вторичен, а основным является вопрос о собственности, но на слова *частная собственность* он не решился.

Надо подчеркнуть, что введение некоторой новой социалистической модели было бы крайне трудно в более или менее нормальных условиях. Но сейчас, при острейшем финансовом кризисе, это невозможно.

Вне зависимости от моего мнения относительно работоспособности социалистических моделей, необходим общий план коренных изменений экономики, а то, что нам сообщили, таким планом не является⁶⁰. Так, решили сначала перевести предприятия на новую систему, а цены пересмотреть потом и уткнулись в неразрешимую проблему. Пути реформы ценообразования все еще дискутируются, и далеко не все осознают, что централизованное ценообразование не менее губительно, чем централизованное планирование. И никто не знает, что делать теперь, ведь предприятия, уже переведен-

ные на пресловутый полный хозрасчет, работают не лучше остальных. И как – сначала ликвидировать бюджетный дефицит, а также лишние деньги, или уповать на магическую силу все тех же реформ? Главная же проблема заключается в том, что массы не всколыхнулись, семейные и арендные подряды в деревне и в городе их не колышат⁶¹. Лучшее, что можно сказать о намеченных мероприятиях: они направляют советскую экономику по путям, испробованным в Югославии и Венгрии. Судя по последним речам и постановлениям, центр просто не знает, что делать.

Что предлагалось? Говорят об увеличении производства потребительских товаров. Говорят; согласно авторитетному источнику, А. П. Бирюковой, выпуск «товаров народного потребления» увеличится в 1989 на 18-20 млрд. р., а в 1990 – еще на 30 миллиардов⁶². Мизер. (По ее же словам, неудовлетворенный спрос на товары и услуги превышает 70 млрд. Советники подвели шефа – невозможно в это поверить при 300 млрд. р. только на сберкнижках.)

Предлагали (например, Эд Хьюет из Брукингса) срочно закупить за рубежом много потребительских товаров. Я и тут согласен с Горбачевым, что для подобных предложений «большого ума не надо» и такая политика была бы «безответственна»⁶³. Действительно, на такое можно было бы пойти, только будучи абсолютно уверенным в скором возрождении экономики.

Ничуть не лучше вкладывать деньги в развитие предприятий с фиксированным сроком (до 10 лет) и высокой ставкой процента. Один автор полагает, что «предприятия, объединения и даже совхозы и колхозы... смогут мобилизовать десятки миллиардов рублей, на которые в предельно сжатые сроки будут выпущены дефицитные товары»⁶⁴. Зачем при инфляции вкладывать деньги на 10 лет, тем более что денежной реформы в том или ином виде все равно не избежать? Да и нужды у предприятий в дорогих кредитах нет, меньше всего выпуску дефицитных товаров мешает недостаток денег. Всё настойчивее пишут об акциях, и кое-где что-то делается, однако выпущенные бумажки – не акции, и вряд ли население станет их покупать⁶⁵.

Предлагают не финансировать убыточные предприятия. А как же с их продукцией при всеобщем дефиците и полной разбалансированности экономики? Кагаловский писал о пере-

даче убыточных предприятий кооперативам. Почему бы кооператорам возжелать именно убыточные предприятия? Да и почему «передавать», отчего не продать?

О. Лацис предлагает теперь же «резко и беспощадно» сокращать расходы бюджета⁶⁶. Насчет беспощадности он прав, но надо четко определить – что сокращать. Стоит полностью остановить всякое новое строительство; а главное, конечно, СВР, о которых ниже.

Много говорили об отмене дотаций (90 млрд. р. по плану на 1988) и компенсации потерь населения от неизбежного при этом повышения цен. Экономически вполне разумная мера, однако дефицит от нее не уменьшится, не говоря о политических проблемах.

Горбачев обсуждал введение прогрессивного (то есть прогрессивно-возрастающего) налога⁶⁷. Налоговые системы на Западе (в частности, в США) невероятно запутаны (причем платит главным образом средний класс, платит и клянет власти), и я еще не видел человека, который считал бы их разумными, справедливыми, эффективными, но модификация невероятно сложна – понимает ли советское руководство, во что оно влезает; опыт с налогообложением кооперативов свидетельствует, что тут предельно легко надеть глупости. Далее, прогрессивный налог кажется (не всем!) социально справедливым, но экономически он не слишком оправдан. В странах, где высшая ставка велика (Англия), капитал «бежит за границу», и, наоборот, решение администрации Рейгана резко спустить наивысшую ставку было, пожалуй, одним из самых умных шагов, поведших к беспрецедентно длительному подъему экономики. Да и не очень понятно, сколько бюджет заработает на прогрессивном налоге, по-моему, немного. Вообще надо отметить стремление собезьянничать какие-то элементы западных экономик (те же кредитные карты) без реального понимания, что они хороши только в системе.

Разумно предложение В. Белкина, П. Медведева и И. Нита о введении особых денег, зарабатываемых выпуском потребительских товаров⁶⁸. Как я понимаю, ликвидируется «независимость» безналичного оборота, предприятия, при ряде условий, будут больше ориентированы на выпуск конечной продукции, сократится искусственный разрыв между оптовыми и розничными ценами. Трудно понять, почему пред-

ложение не осуществляется. Но, отнюдь не в порицание авторам, мера не заменит коренное переустройство экономики.

Я цитировал в начале слова о предрешенности неудачи реформы без «крупных мер» – пока их не видно. Не назовешь ведь такой Постановление Совмина о контроле над ценами⁶⁹, при всех благих намерениях оно идет против реформы, а инфляцию не остановит. Приходится сказать, что руководство не справляется с ходом событий: экономика работает все хуже, старая система дышит на ладан, а новой нет. Как плохо это ни звучит, но и ежу понятно – без отъема денег у населения ситуацию даже временно не поправишь.

Итак, еще раз: продолжение принятого курса не оздоровит экономику, способа избежать коллапса не видно. Поэтому позволю себе закончить словами о необходимости решительного перехода на частную (частно-кооперативную) экономику. Собственно, уже и в советской печати теперь об этом почти прямо говорят⁷⁰, но я уже скоро 15 лет могу говорить совсем прямо.

Несколько замечаний об этом. Друг пишет: а разве то же Ай-Би-Эм – частное предприятие, ведь им владеют акционеры? Отвечаю: да, частное, а акционеры – это несколько крупных капиталистов и много мелких капиталистиков. Да и термин такой есть – «акционерный капитал». Указывают случаи покупки рабочими-служащими в США предприятий. Да, но почти всегда неудачно. Утверждают, что капиталистическая экономика увеличивает социальное неравенство. Но ни в одной стране, называющей себя социалистической, социальное равенство не достигнуто, в бедной экономике оно невозможно. Наши обездоленные живут по советским меркам замечательно. Лучше поддерживать неимущих социальными программами, но зато иметь рациональную экономику. Говорят, не пойдет советское руководство на такие экономические изменения, не желая расстаться с политической властью. На самом деле, длить самоубийственное государственное владение-управление экономикой еще более рискованно⁷¹. Говорят, в том числе тоже на прошлогодней конференции, о частной (частно-кооперативной) собственности лишь на мелкие предприятия. Нет, этого недостаточно, и нет причин, кроме безнадежно отжившей идеологии, ограничиться лишь мелкими предприятиями.

Переход на частную собственность немедленно поможет также и с дефицитом. Так, можно отказаться от основной части бюджетных «расходов на народное хозяйство», составляющих в последние годы 57% всех расходов⁷², хотя далеко не все тут просто.

В затратах на народное хозяйство, грубо говоря, 100 млрд. р. субсидий на поддержание низкого уровня ряда цен. Поскольку бюджет не только расходует на народное хозяйство, но и получает от него свыше половины доходов, переход на налогообложение частной промышленности (торговли и т. д.), замещение прямыми налогами косвенных требует тщательного продумывания.

Здесь же крупные суммы СБР (как минимум, многомиллиардные капиталовложения в оборонную промышленность). Вроде бы советское руководство уже нацелилось на их сокращение⁷³. Разумеется, надо сокращать СБР и по другим бюджетным статьям, в частности, в составе расходов на науку.

Говоря о СБР, обращу внимание на следующее. По оценкам ЦРУ, они составляют 15-17% от ВВП⁷⁴, а и некоторые единомышленники эту оценку критикуем и полагаем их не менее 25%. Иначе говоря, уполовинив их, советское руководство сразу ликвидировало бы дефицит. Но во всех случаях резкое и немедленное уменьшение СБР сильно облегчило бы ситуацию. Вообще, надо сказать определенно: самая раззамечательная программа экономического восстановления, то есть реального сокращения бюджетного дефицита, просто не может иметь шансов на успех без радикального, в несколько раз, сокращения СБР. А тут еще полет на Марс проталкивают.

Добавлю, что наиболее эффективной представляется срочная договоренность с Западом о *полном прекращении производства любого вооружения* (кроме стрелкового) с международной инспекцией; лишнего вооружения ничуть не меньше, чем лишних денег. Альтернатива: или немедленно переключить все оборонные заводы на выпуск гражданской продукции, а где не получается, закрыть на крепкий (!) замок и поправить экономическую ситуацию, или же нищать дальше.

Возвращаясь к расходам на собственно народное хозяйство, надо действительно «беспощадно» запретить всякое новое строительство (в первую голову водохозяйственное!). Пора и остановить производство ненужного. Скажем, хорошо известно, что производится в 6 раз больше тяжелых тракто-

ров, чем в США. Строительство тракторного завода в Елабуге остановили, неужто Горбачеву не хватает власти, чтобы закрыть (перепрофилировать) еще несколько тракторных заводов?

Есть и совсем бессмысленные затраты. Мало кто знает, что госбюджет содержит Союз писателей; кому, кроме чиновников от литературы, он надобен? Академия Педнаук? А нужно ли госбюджету содержать аппарат Академии Наук, наряду со специальным Комитетом по науке? Кстати о науке, затраты на нее в 4 раза превышают годовой эффект от новой техники в промышленности⁷⁵.

Переход на частную собственность может помочь и с «лишними деньгами»: появится возможность *продать* населению землю⁷⁶, заводы, а также жилища. Земли под пашней 228 млн., под сенокосами 33 млн. и под пастбищами 291 млн. га.⁷⁷ Продажа в частное владение, скажем, 20% этих земель по средней цене в 1000 р. принесла бы 110 млрд. р. Не так уж мало. Резонно также продавать, а не сдавать землю в аренду кооперативам. Это по крайней мере справедливо: хочешь быть хозяином — купи, а для этого накопи или займи, не хочешь (не ощущаешь себя способным) — продолжай в колхозе-совхозе.

Большие деньги принесла бы продажа жилищ, ведь миллионы годами стоят в очередях на строительство кооперативных квартир (лишь 22% городского жилого фонда в личной собственности). Я не опоздал с предложением, хотя постановление было еще в декабре и об этом много пишут⁷⁹, практически почти ничего не делается.

Но больше всего можно получить продажей магазинов, складов, грузовых автомашин, фабрик-заводов, оборудования совхозов и т. п.⁷⁹ На начало 1988 производственные фонды сельского хозяйства составляли около 350, торговли — 100 и промышленности — 850 млрд. р.

Сознаю, что мои предложения вряд ли придутся ко двору, но тогда не избежать очень крутых мер, например, заморозить деньги в сберкассах; что-то надо делать и с наличностью. Что бы по этому поводу ни говорилось, какие бы обещания ни давались, власти вынуждены будут пойти на резкий пересмотр цен и денежную реформу. Горбачев: «При решении вопросов ценообразования мы не должны допустить снижения жизненного уровня трудящихся»⁸⁰. Увы, придется.

Что касается лишних безналичных денег, то, кажется, что лекарство тут найти легче, скажем, «удорожить» их, подняв процент на кредит. Однако не устану повторять: пока предприятия принадлежат государству, то есть никому, и здесь порядка не будет.

Много пишут насчет перехода на конвертируемый рубль. Что, собственно, это означает? Сейчас можно без препон обменять, скажем, доллары на рубли, то есть рубль в одну сторону конвертируется (только на советской территории, но это техническая деталь). Зачем? Чтобы истратить рубли на товары или услуги в СССР, что сильно невыгодно по официальному курсу. А советский человек обменять рубль на доллар не может. При двухсторонней конвертируемости советским банкам понадобится много долларов. Кто же захочет менять доллары на рубли, иностранцу нечего покупать на них. Курс обмена придется сильно двинуть, скажем, до 10 р. за доллар, но будет ли и при этом значительной потребность за границей в рублях, чтобы покупать советские товары, ценой или качеством лучше иностранных? Насчет качества говорить не стоит, а дешевизна при свободном курсе создается разницей ценовой структуры, эта разница начнет сходить на нет. Конечно, конвертируемый рубль это хорошо, однако в нынешних условиях советская экономика может оказаться беззащитной. Серьезный таможенный контроль еще более понизит курс. И, конечно, до перехода на конвертируемость надо выправить хотя бы основные перекосы в ценах, уменьшить накопления населения и т. д. Как говорил В. Белкин, сначала надо сделать рубль полностью «конвертируемым» внутри страны⁸¹, то есть сначала одолеть дефицит бюджета.

Итак:

- дефицит, длящийся десятилетиями, и его быстрый рост в последние годы – результат политико-экономической системы и ошибок руководства;

- значительная часть дефицита бюджета покрывается эмиссией в безналичное обращение;

- информации еще мало, нужно определиться с кубышками, с накопленными излишками в безналичном обращении, с доходами от внешнеэкономической деятельности и т. д.;

- надо не только ликвидировать «текущий» дефицит, но и изъять лишние деньги – наличные и безналичные. Соответ-

ствующие меры, которые больно ударят по населению, неизбежны;

– объявленные экономические реформы недостаточны. Их главный недостаток – неосновательная надежда (иллюзия), что можно создать рыночную экономику без частной собственности. Продолжение курса приведет к югославской ситуации;

– такое впечатление, что у руководства нет четкого плана действий, продуманной программы переустройства экономики в условиях острейшего финансового кризиса;

– единственный выход – быстрый переход на частную (частно-кооперативную) экономику. Его следует сопровождать продажей жилищ, земли и других средств производства;

– без радикального сокращения военных трат ничего не получится. Разумно было бы договориться о немедленном полном прекращении производства всяких вооружений.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Известия», 8. 1. 89, с. 1 и 24. 1. 89, с. 1.

² Гайдар и Лацис, «По карману», сс. 26 и 28.

³ Текст войдет в отчет (to The Office of Net Assessment, DOD) об экономической реформе в СССР, подготавливаемый по договору с The Foundation for Soviet Studies (2417 Homestead Dr., Silver Spring, MD, 20902, USA). Доклад отражает личное мнение автора.

Спасибо Андешу Ослунду: мы обсуждали с ним проблему, а в конце 1988 он советовал написать о дефиците.

⁴ The Central Intelligence Agency. *USSR: Gross National Product*, 1970. Nov. 1975.

⁵ Я и теперь довольно высоко оцениваю попытки, предпринятые по методологии (модели), разработанной А. Бергсоном (и дополненной А. Беккером), с помощью которой советские национальные счета представляются по концепции GNP (по-русски – «валового национального продукта по методологии ООН»). Лишь потом мне стала ясна тяжелая методологическая ошибка – этой моделью и ограничились. Как убедительно продемонстрировал Дм. Штейнберг, на ее основе не обнаружишь многие тайны советской статистики.

⁶ Приведены в «Secret». Разумеется, в них есть условности и грубые прикидки (например, выплаты военнослужащим, компенсация командировочных расходов, страхование), но не видно, где эти расчеты могут быть неверны, так сказать, на миллиарды. Свежий пример: для расчета фонда зарплаты я прикинул численность персонала КГБ и получилось 236 тыс. чел. (с. 270). Согласно *The Washington Post*, Feb. 5, 1989, p. D4, она составляет 240 тыс.

⁷ Впрочем, не публикуется и общий фонд зарплаты рабочих и служащих (и приходится перемножать численность на среднюю зарплату), что тоже, по меньшей мере, странно.

⁸ Я обсуждал загадку с известными советскими экономистами, они не ведают о ее существовании. Увы, экономистов, грамотных в базовой народнохозяйственной статистике, не безумно много.

⁹ В розничный товарооборот включен «мелкий опт», однако его величина неизвестна. Одна статья в 1969 указывала, что его доля 5,9%, этот показатель обычно и использовался.

¹⁰ Любопытно, как Б. Орлов («Иллюзии», с. 13) определил, что «за 1966–85 денежные доходы населения возросли более, чем в 3 раза»?

¹¹ Такое превышение показано и в Нархоз-87, с. 587 (подписан к печати 8.9.88) – 4,6 млрд. р. за 1987, хотя в том году план доходов бюджета выполнен на 98% и недобрано 8,8 млрд. р. (16,2 млрд. в 1986) – Кагаловский, «Поджаться», с. 67 (Гостев дал немного другой показатель – см. ниже).

¹² Например – Министерство финансов СССР, Бюджетное управление. Государственный бюджет СССР и бюджеты союзных республик. 1971–1975 гг. Статистический сборник. М., «Финансы», 1976. Последний такой справочник – Министерство финансов СССР, Сводный отдел государственного бюджета. Государственный бюджет СССР. 1988. Краткий статистический сборник. М., «Финансы и статистика», 1988.

¹³ В конечном результате операции дефицит бюджета полностью включался в общий объем ВВП, завышая его (мы к этому еще вернемся).

¹⁴ Разумеется, в нормально функционирующей экономике превышение доходов над расходами гасит государственный долг.

¹⁵ Пересказываю столь подробно, так как моя книга «Secret» на английском, да и не очень доступна в СССР (в каталоге Ленинки я ее не обнаружил). Конечно, я опускаю массу деталей.

¹⁶ Уже потом я опять обращался к ним, описал результаты в статьях «The Soviets» и «A Note» и указал, что неправомерно зачислять их в объемы произведенного национального продукта, так как эти доходы не «произведены», а следуют из особой (если не сказать хуже) структуры советских цен.

Госкомстат, рапортуя последние годы большой рост национального дохода в постоянных ценах, чем в текущих, по догадке А. Третьяковой, определяет внешнеторговую компоненту, «учитывая» падение зарубежных цен, что уже полная нелепость.

¹⁷ Я определял доходы от самой внешней торговли, поскольку, как можно понять, они зачисляются в произведенный национальный доход. Есть еще и доходы от «неторговой» деятельности, продажа золота, но есть и уплата процентов. Вроды бы, по советским ме-

тодикам, их сальдо составляет часть разницы между национальным доходом произведенным и национальным доходом использованным.

Гостев впервые указал и расходы, «связанные с внешне-экономической деятельностью», 28,6 млрд. р., то есть «чистый» доход примерно 30 млрд.

¹⁸ Я тогда оценивал эти другие доходы в 9 млрд., а по докладу Гостева «О Государственном» получается, что уже в 1989 они будут порядка 2,5 млрд. р. Поэтому оценка дефицита занижалась, и в 1988 я тоже ее занизил – см. ниже. По этой причине, а также потому, что лишь позже я сумел лучше высчитать объем доходов от внешней торговли, не буду приводить тогдашние числа.

¹⁹ Уже в первой пятилетке печатные станки Гознака сильно невыполнили план (Б. Орлов, «Иллюзии», с. 5).

²⁰ Гостев («О Государственности») подтвердил гипотезу.

²¹ Статистика за 1940-е – 1950-е крайне скудна даже по советским меркам. А денежная реформа 1947-го (оправдывалась подложными немецкими дензнаками – вранье), вкупе с реформой оптовых цен 1949–50, ликвидировала «накопленные» до того дефициты. К. Кагаловский обратил мое внимание на публикацию, согласно которой во время войны в бюджете были высокие доходы от внешней торговли. По-видимому, уже тогда разработали технику зачисления в произведенный национальный продукт и доходы бюджета разницы между импортом и экспортом во внутренних ценах.

²² См. «A Reply». Используемые в западных исследованиях показатели «предельной склонности к накоплению» тоже эмпирические.

²³ Но рассуждая в Wall Street Journal от 17. 4. 89 с важным видом и многими новыми ошибками о дефиците, даже не намекнул на то, как он десятилетиями не замечал дефицит.

²⁴ «Докатились», «Экономический», «The Financial», A «Reply».

²⁵ Говорю про дефицит. Об угрожающих размерах накоплений писали – сначала И. С. Малышев, а потом, например, В. Белкин и В. Ивантер в «Экономика и математические методы», 1980, т. XVI, № 2.

²⁶ Мою статью «The Financial Crisis in the USSR» американские советологи отклоняли, помимо прочего, из-за слова «кризис».

²⁷ См. мою заметку «A Reply», а также совместную с Роджером Кларком статью «Inflation».

²⁸ Judy Shelton. *The Coming Soviet Crash: Gorbachev's Desperate Pursuit of Credit in Western Financial Markets*. New York: The Free Press, 1989.

²⁹ Средняя зарплата рабочих–служащих выросла за 1985–88 на 14 с гаком процентов.

³⁰ «Kremlin». «Недобрал», потому как газеты с оглашенной суммой заимствования из ссудного фонда еще не дошли, и я основывался на старой методике, где всячески завышал «прочие расходы».

³¹ Может, но не обязательно. Сбербанк «лишен» возможности оперировать своими деньгами», и «почти все деньги идут в Госбанк» (МН, 11.12.88, с. 8), но в других финансовых условиях Сбербанк мог бы давать кредиты и вести иные операции.

³² По Гостеву, в 1988 план доходов недовыполнен на 3,7% (финансисты говорят «недопоступило»), а расходов «перевыполнен» на 2,5%. Значит ли это 6,2% непланируемого дефицита? А если да, то как в расчет вошел прирост остатков вкладов, ссуды Госбанка и т. д., то есть – какая же сумма дефицита планировалась?

³³ Нархоз-87, с. 595.

³⁴ Советские участники конференции в Шопоре (Венгрия), где я говорил на эту тему в марте 1989, указали мне, что на счетах предприятий и организаций находится 100 млрд. р., но я не нашел такого показателя в публикуемой статистике.

³⁵ См. «А Note».

³⁶ В статье Ю. Константинова («Финансы СССР», 1988, № 2) кое-что, но далеко не все, прояснено.

³⁷ Так назван и диалог в ЛГ, 25.1.89 – «Минус 100 миллиардов».

³⁸ В материалах Пленума ЦК, июнь 1987, сказано, что за 1971-85 объем денежной массы возрос в 3,1 раза при росте товаров народного потребления в 2 раза. А на пресс-конференции Гостев сказал, что в 1988 размер эмиссии «в четыре раза превысил средний уровень XI пятилетки» («Аргументы и факты», 1989, № 14).

³⁹ Долгие годы финансисты талдычили благотворность перекачки денег из кубышек в сберкассы. А реальной разницы нет – разве что вклады при необходимости легко заморозить. Кстати, оценки в «Вопросах экономики» (1989, № 1, с. 44) – какая именно часть остатков вкладов нормальна? – не кажутся мне даже примерно верными.

⁴⁰ С другой стороны, в 1987 запасы в торговле сократились, а в снабжении и сбыте уполовинились – тревожный знак.

⁴¹ ЛГ, 8.2.89, с. 11.

⁴² Официальные потери в Чернобыле – 8 млрд. р. (не удивлюсь, если реально они окажутся выше: только в Белоруссии эвакуировали 25 тыс. человек, а зона радиоактивного заражения «захватила 415 населенных пунктов, где проживало 103 тыс. чел.» – «Известия», 1.2.89, с. 2). По Горбачеву («Известия» 8.1.89, с. 1), в 1985–88 «недополучено» 37 млрд. в связи «с падением цен на нефть на мировом рынке» и 49 млрд. от «умещения продажи алкогольных напитков» (согласно Кагаловскому («Поджатысь», с. 67), в 1986 недобрано 10 млрд. алкотольного налога с оборота). В среднем за год это составит 23,5 млрд. Много, но все же не 100 млрд. р.

⁴³ «Финансы СССР», 1988, № 1, с. 5.

⁴⁴ Горбачев: «последние 20 лет денежные доходы населения росли быстрее, чем производство товаров» («Известия», 8.1.89, с. 1).

⁴⁵ См. например, Charles L. Schultze. *The Public Use of Private Interest*, Wash. D. C. 1977, p. 1.

Курьез: член-корр. П. Бунич обнаружил вид инфляции, которая «служит инструментом рынка, его гибкости, равновесия, быстрого перелива капитала в те отрасли, где растут цены. И такая инфляция играет положительную роль» (МН, 15.1.89, с. 10).

⁴⁶ В начале 1970-х передавали, как Косыгин не хотел слышать слово «инфляция» и отказывался обсуждать быстрый рост сбережений.

⁴⁷ «Нет оснований впадать в панику... Ситуация хотя и сложна, но вполне управляемая и может быть выправлена в ближайшее время». Так прямо и написал Председатель Госкомстата проф. Королев и рекомендовал: «Для этого денежные доходы населения должны быть приведены в соответствие с реальным вкладом в общее дело: оплата труда – с его производительностью, расходы предприятий и государства – в соответствии с их доходами, должна быть резко сокращена вся нерациональная и терпящая отлагательство деятельность» и т. д. и т. п. («Статистика знает», «Правда», 30.1.89, с. 2). А мы-то думали... Нет, не оскудела земля русская государственными умами.

Стоит сказать, что Госкомстат уже пару лет исправно рапортует большой рост национального дохода (произведенного) в постоянных, чем в текущих ценах. А в «Правде» 30.1.89 Королев не нашел ничего лучшего, чем подтвердить оценки Госкомстата мнением ЦРУ.

⁴⁸ Сходные проблемы и в других соцстранах. В Китае поздним летом 1988 прокатилась «паническая закупочная волна», а премьер Госсовета назвал контроль над ростом цен и обуздание инфляции главными задачами правительства на 1989 («Известия», 4.1.89, с. 5).

⁴⁹ «Известия», 6.2.89, с. 2.

⁵⁰ Судорожное решение Совмина в декабре 1988 восстановить на предприятиях, перешедших на «вторую модель хозрасчета», контроль за размером фонда зарплаты – лучший показатель осознания опасности и тяжелый удар по реформе. См. также Петраков «Демократизация».

⁵¹ Это указывали еще в самом начале 1920-х замечательные экономисты Б. Бруцкус и С. Прокопович, отправленные Лениным в изгнание. Как известно, Корнаи объясняет дефицитность «мягкими бюджетными ограничениями». Я согласен с противными аргументами Н. Петракова («Демократизация», сс. 86 сл.), но, приведя много интересных мыслей и материала, он все же избежал столь четкой формулировки.

⁵² См. мою статью «Imbalance».

⁵³ Тут комплекс разных явлений (например, увеличение доли капиталовложений в добывающих отраслях на поддержание добычи, разные темпы инфляции в разных отраслях, фокусы, связанные с сокрытием подлинного размера СВР), но доклад и так пространен.

⁵⁴ Все относительно, а *полный* баланс спроса и предложения никогда и нигде не достигался. Еще лет 20 назад Корнаи указывал, что без небалансов не было бы экономического роста. По-моему, (см. «Imbalance»), постоянное превышение предложения над спросом – сила капиталистических экономик.

⁵⁵ Уместно сказать, что глубокой причиной американского бюджетного дефицита является, по-моему, крайне медленный рост факторной производительности после 1973. А это, в свою очередь, происходит потому, что все большим числом предприятий руководят не сами собственники, а менеджеры.

⁵⁶ Вообще из-за неконвертируемости рубля бюджетный дефицит финансово мало связан с внешнеэкономической деятельностью непосредственно (кроме, конечно, доходов от внешней торговли), хотя экономическая связь тут очевидна.

⁵⁷ Когда, скажем, в США увеличены выплаты военнослужащим или чиновникам, национальный продукт соответственно возрастает. Но аналогичное советское действие не имеет в экономике недостатка такого же эффекта – возрастает лишь государственный долг населению («А Replay», р. 591). Об этом верно пишет Кагаловский («Поджаться», с. 70).

⁵⁸ Конечно же, не я это «выдумал». Об этом говорилось и на прошлогодней конференции, в частности, в докладе Мартона Тардоша.

О надобности привести финансы в порядок верно пишут, например, Петраков («Демократизация») и Перламутров («Жить»), но это невозможно при сохранении государственной собственности на орудия и средства производства.

⁵⁹ «Известия», 3. 1. 89, с. 2.

⁶⁰ Это хорошо показал Калман Печи в «Война и рабочий класс», 1988, № 1.

⁶¹ Вернулся чукча из Москвы, его спрашивают – как перестройка? Отвечает: «Однако как буря в тайге. Вверху все шумит, качается, иногда падают большие шишки. А внизу все спокойно».

⁶² «Известия», 24. 1. 89, с. 2.

⁶³ «Известия», 24. 1. 89, с. 1.

⁶⁴ ЛГ, 25. 1. 89, с. 11.

⁶⁵ «Что приобретают рабочие, когда покупают акции?» («Известия», 25. 1. 89, с. 1).

⁶⁶ ЛГ, 25. 1. 89, с. 11.

⁶⁷ «Известия», 24. 1. 89, с. 1. Когда все (за формальным исключением колхозников) работали непосредственно на государство, подоходный налог не имел смысла, и вполне разумно Хрущев целился его отменить.

Стоит заметить, что Федеральное налоговое управление пытается взыскать налоги на 750 тыс. долл., полученных за шпионаж, с Уокера, 20 лет работавшего на советскую разведку и отбывающего срок (*The Washington Post*, Feb. 19, 1988, р. G1).

⁶⁸ См. например, их статью в «Экономика и математические методы», 1986, вып. 6.

⁶⁹ «Известия», 3. 2. 89, с. 1.

⁷⁰ См. в частности, умную статью Г. С. Лисичкина «Догмы и жизнь» («Известия», 25. 1. 89, с. 3). В прекрасной статье А. Левиков

все сказал, но предложил лишь коллективную собственность и остановился (редактор остановил) перед частной собственностью (ЛГ, 14.12.88, с. 10). Увы, Горбачев частную собственность отвергает («Известия», 8.1.89, с. 1).

⁷¹ В интервью радио «Свобода» в январе 1989 Б. Ельцин предупреждал, что терпение населения истощается и, если за пару лет положение не улучшится, люди пойдут на улицу. Другими, но не менее определенными словами, то же сказал и А. Яковлев в Перми.

⁷² Нархоз-87, с. 590.

⁷³ Писали, что при переводе некоторых оборонных предприятий на выпуск гражданской продукции, дескать, трудно обеспечить персонал заработками. Даже неловко объяснять простую истину: выгоднее просто остановить выпуск военной продукции и платить за ничегонеделание, но не изводить материалы и энергию.

⁷⁴ Достаточно близкую оценку, представляя ее как личную, в конце июня 1988 дал акад. О. Богомолов в ЛГ. Шеварднадзе в разговоре с Шульцем назвал 19%.

⁷⁵ «Известия», 5.2.89, с. 3.

⁷⁶ Н. Шмелев предложил в «Знамя» (1989, № 1) продать землю крестьянам. Молодец!

⁷⁷ Нархоз-87, с. 183. Китайский экономист: «крестьяне небрежно относятся к земле, потому что не уверены, до каких пределов может распространиться право хозяина» («Известия», 4.1.89, с. 5).

⁷⁸ Например, В. Переведенцев в МН, 25.12.88, с. 10. В замечательной советской статистике число городских квартир – великая тайна; по грубым прикидкам, в государственной собственности должно быть около 40 млн. городских квартир. При продаже, скажем, четверти их по 10 тыс. р., соберется 100 млрд. Умно было бы также разрешить частное строительство жилых домов для сдачи в наем.

⁷⁹ Сходные проблемы обсуждал на прошлогодней конференции Jan Winiecki.

⁸⁰ «Известия», 8.1.89, с. 1

⁸¹ См. также Marie Lavigne, *Comments on the Devaluation of the Ruble*, European University, Dec. 1988.

ИСТОЧНИКИ

Гайдар Е., Лацис О. «По карману ли траты». *Коммунист*, 1988, № 17.

Гостев Б. И. «О Государственном бюджете СССР на 1989 год и об исполнении Государственного бюджета СССР за 1987 год». *Правда*, 28.10.1988.

Игнатьев С. М. «Банковская система: пути реформы». *ЭКО*, 12988, № 8.

Кагаловский К. Г. «Поджаться! Наболевшие проблемы государственных финансов». *Коммунист*, 1988, № 11.

Нархоз-87 – Статистический справочник *Народное хозяйство СССР* за 1987.

Орлов Б. П. «Иллюзии и реальности экономической информации». *ЭКО*, 1988, № 8.

Перламутов В. Л. «Жить по средствам», *Неделя*, 29.8.–4.9.1988.

Петраков Н. Я. *Демократизация хозяйственного механизма*, М., «Экономика», 1988.

МОИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЭТУ ТЕМУ

«Экономический детектив». *Континент*, 1980, № 22 (вошло в книгу *Экономика недостатч.* Нью-Йорк: Chaldize Publications, 1983).

«Докатились». *Новое русское слово*, 6–7 дек. 1979. (Опубликовано также под названием «Угроза» во *Время и мы*, 1980, № 53 и в *Экономика недостатч.*)

«The Financial Crisis in the USSR», *Soviet Studies*, vol. XXXII, no. 1, Jan. 1980.

«A Replay to Professor Pickersgill», *Soviet Studies*, vol. XXXII, no. 4, Oct. 1980.

Secret Incomes of the Soviet State Budget. The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.

«Will Andropov Purge the Passbooks?», *The Wall Street Journal*, March 21, 1983.

«The Soviets Have Their Own Massive Deficit», *The Wall Street Journal*, March 23, 1985.

«Inflation and the Money Supply in the Soviet Economy», *Soviet Studies*, vol. XXXVII, no. 4, Oct. 1985 (совместно с Roger A. Clarke).

«A Note on Soviet Foreign Trade Gains», *Soviet Studies*, vol. XXXVIII, no. 4, Oct. 1986.

«The Imbalance of the Soviet Economy», *Soviet Studies*, vol. XL, № 2, Apr. 1988.

«Kremlin Red Ink (And You Thought We Had a Deficit Problem)», *The Wall Street Journal*, Nov. 15, 1988.

Искусство

Сергей Голлербах

ИЗ СУМЕРЕЧНОЙ ЗОНЫ К ПРОКРУСТОВУ ЛОЖУ – И ЗА ИХ ПРЕДЕЛЫ

Предлагаемые ниже заметки о творчестве Леонида Ламма ставят себе целью обрисовать интеллектуальный и духовный облик этого необычайно интересного художника-философа, в ущерб многим данным, которые, думается, важны скорее для монографии, чем для эссе. (Так, например, я опускаю некоторые теоретические рассуждения художника, многое из его биографии и критические отзывы о его творчестве.) Прежде чем приступить к описанию творческих задач и решений Леонида Ламма, позволю себе сделать несколько общих замечаний относительно состояния искусства в настоящий момент.

За последние двадцать пять – тридцать лет мы замечаем все больший отход художников от того, что мы обычно называем живописью – т. е. от создания живописных (неважно – реальных или абстрактных) образов при помощи цветовых соотношений, гармоний или контрастов. В свое время было даже пущено крылатое словечко – «живопись умерла». Но природа, как известно, не терпит пустоты, и на смену якобы умершей живописи (по-настоящему она, конечно, не умерла и умереть не может) появилось иное искусство, более соответствующее нашему времени и нашим проблемам. Чтобы не вдаваться в детали, скажем лишь, что вместо живой природы оно стало использовать готовые образы нашей массовой культуры – фотографию, плакат, коммерческую иллюстрацию, машиной созданные предметы и продукты и т. д. Вместе с этим в искусство вернулось то, что еще совсем недавно предавалось анафеме в кругах ревнителей современного искусства, – содержание. Интересно, однако, что содержание вернулось не в форме жанрового рассказа, типичного для 19-го века, а в более древнем, почти средневековом виде – как символ, тре-

бующий понимания, «прочтения», разгадки. Особенно касается это работ художников тех стран, где существовала (или еще существует) тоталитарная власть и где события последних пятидесяти лет окрашены были кровью, страданиями миллионов людей, массовыми репрессиями и разрушениями. Две страны делят в этом отношении незавидное первое место – Россия и Германия. Неудивительно, поэтому, что современные немецкие художники (Ансельм Кифер в особенности) хотят уяснить и выразить в художественных образах свое отношение к прошлому, настоящему и будущему Германии, а современные русские художники делают то же самое по отношению к своей родине. И делают это, повторяю, используя язык массовой культуры – язык плаката, пропагандного искусства, «найденных предметов» («обже труве») современного быта и т. д. Поп-арт, соц-арт, театр абсурда, политический гротеск и, наконец, философские проблемы, поданные в форме символических построений – вот диапазон этого нового искусства.

Творчество Леонида Ламма, целиком принадлежа к этому новому течению, обладает, однако, особыми, ему одному присущими чертами, а именно: некой «математической» трагикой и философской заостренностью, идущей за пределы отрицания нашей дурной современности и еще более дурного прошлого. Вопросы будущего человеческого общества неизбежно встают перед нами, если мы дадим себе труд вдуматься в работы Леонида Ламма. Я употребил выражение «дадим себе труд» совершенно сознательно. В каком-то смысле Леонид Ламм – «трудный» и «требовательный» художник. («Требовательное искусство» – одно из выражений художественного жаргона времен цветения абстрактного экспрессионизма.) Но если по отношению к абстрактной картине предполагалось медитативное созерцание ее цветовых плоскостей и нахождение в них каких-то духовных ценностей, то понимание работ Леонида Ламма требует (без какой-либо излишней настойчивости) всего лишь ясного, открытого ума и любознательности. (Скептики заметят, что эти-то качества как раз довольно редки. Возможно. Но популярным, каждому понятным искусство Ламма и не старается быть.) Впрочем, прежде чем остановится подробно на философских концепциях в творчестве Леонида Ламма, отдадим дань необходимому – краткой биографии художника. Должен сразу же сказать, что терпеть

не могу фраз: «рисованием он увлекался с детства», «днями пропадал в музеях, изучая картины старых мастеров» и т. д. Даже если все это сущая правда. Ограничусь поэтому краткой энциклопедической справкой.

ЛЕОНИД ЛАММ

- 1928 г. — родился в Москве.
- 1944–47 гг. — Московский архитектурный институт. Студент Якова Черникова.
- 1949–54 гг. — Московский полиграфический институт, художественно-графический факультет. Учителя А. Гончаров, А. Сидоров. Закончил в 1954 г.
- 1964–82 гг. — Член Союза художников СССР. Принял участие в более 100 экспозициях в СССР и других странах.
- 1973 г. — Арестован через три недели после подачи документов на эмиграцию. Три года находился в заключении в советских тюрьмах и лагерях. Освобожден в 1976 году.
- 1978 г. — Персональная выставка в ЦДРИ (Москва).
- 1982 г. — Эмиграция в Соединенные Штаты.
- 1982–88 гг. — Участвовал во многих групповых выставках современного русского искусства, опубликовал ряд статей по современному искусству (в соавторстве с Иннесой Левковой-Ламм).
- 1985 г. — Персональная выставка в галерее Файрбэрд, в г. Александрия (Вирджиния).
- 1986 г. — Персональная выставка в Университете штата Северная Каролина, г. Чапел Хилл.
Персональная выставка в галерее Ричард-Беннетт в г. Лос-Анжелесе.
Участие в групповой выставке «Соц-Арт» в Новом музее современного искусства в Нью-Йорке, показанной в течение двух лет во многих крупных городах США и Канады.
Многие работы Леонида Ламма на вышеуказанных выставках предоставлены были Кремона Фаундейшн, директор которой Нортон Додж является большим знатоком и коллекционером современного искусства, в частности, работ Ламма.

Таков послужной список художника. В нем бросаются в глаза, конечно, три года, проведенные в тюрьме и в лагере. Это та «сумеречная зона», которая во многом предопределила творческий путь Леонида Ламма. Обратимся к самому художнику и послушаем, что он говорит о своем опыте. Сначала несколько его воспоминаний о студенческих годах.

«Наше поколение художников жило, росло и училось в трудное время. Студенческие годы пришлось на конец 40-х, начало 50-х – последние годы эпохи Сталина. То был период репрессий власти против любого отклонения от официального т. н. «соцреализма», против любого мало-мальского отклонения от официального понимания этого соцреализма. Даже В. Серов и И. Левитан именовались «гнилыми интеллигентами». Казалось, время было насильственно остановлено, являя собой как бы иллюстрацию к теории о возможности его останавливаться и двигаться в различных направлениях и с различной скоростью.

Но мне где-то повезло: я начал учебу в Архитектурном институте в Москве, где проблемы формы были не последними. Да и встретил я на третьем курсе Якова Черникова (было это в году 1946-м), затравленного, забитого великого архитектора-фантаста и теоретика архитектуры 20-х, начала 30-х годов».

Отмечу тут слова «фантаст» и «теоретик». Естественно, что Леонид Ламм тянулся к Якову Черникову именно потому, что сам уже обладал, в еще не раскрывшейся форме, этими качествами фантаста-теоретика.

«Художник всегда вправе строить, конструировать, творить свой мир, – говорит Ламм. – С этого начинается художник, с этого начинается художественная акция, в этом есть наиболее значимая и значительная эстетическая ценность».

Большой период в жизни молодого художника заполнен был теоретическими изысканиями новых форм пластического изображения. 50-е и 60-е годы были временем хрущевской «оттепели», рождением поколения художников-нонконформистов. Выставки и последовавшие затем репрессии – весь этот сложный период недавней истории русского неофициального искусства достаточно хорошо освещен, и повторять его не стоит. Скажем лишь, что Леонид Ламм был в самом центре этого «брожения умов» и творческой активности. Из Архитектурного института после третьего курса Ламм был исключен

за дружбу с «нищими сибаритами», отсидевшими затем в лагерях большие сроки: Юрием Гастевым, Львом Малкиным, Николаем Вильямсом и другими студентами-математиками МГУ. «Может быть, этот случай и предопределил мою дальнейшую судьбу», – говорит Ламм. Впрочем, он вскоре поступил в Московский полиграфический институт, где преподавали «недобитые формалисты» того времени – И. Чекмазов, ученик Фаворского А. Гончаров и ученик П. Митурича П. Захаров. «И хотя время было трудное, но проблемски новых знаний доходили до нас», – вспоминает Ламм.

По-настоящему гром грянул в 1973-м году.

«Жизнь несла новые существенные изменения – началось время эмиграции. Говорили, обсуждали, гадали, взвешивали. Для меня выбор был однозначным». И 30 ноября 1973 года Леонид Ламм и его жена Иннеса подали заявление на выезд из СССР, а 18 декабря по провокационно-лживому обвинению художника арестовали и осудили на три года лишения свободы. Это-то и была «сумеречная зона» тюрьмы (Бутырки) и лагеря под Ростовом-на-Дону.

Снова предоставлю слово самому художнику:

«В Бутырке и в лагере я продолжал работать. Сделал довольно много рисунков и акварелей – непосредственных документальных работ о тюрьме и лагере, фантастические композиции на те же темы и целую серию акварелей и гуашей на тему: предмет и пространство. В начале моего пребывания в Бутырке была просто боль, кровоточащая рана. И у меня была потребность и желание, как у всякого нормального человека, прежде всего попытаться запечатлеть это как дневник моего „нового бытия“. Чтобы сохранить мою жизнь в рисунках. Ибо я не знал, что будет через час, что будет через день. Я работал как сумасшедший, если так можно сказать. Я ставил перед собой задачу сделать хотя бы один рисунок в день».

Интересны описания Леонидом Ламмом реакций сокамерников на его профессию – реакций, достойных пещерных людей, сумеречно-примитивных и наивных.

«Вот появляется художник в камере или лагере. Пришел. „Ага, художник. Ну, ладно, а что умеешь делать? Рисовать? Иди ты! Ну, давай. А портрет мой сможешь сделать?“ – „Могу“. – „Слушай, серьезно? Вот сейчас?“ – „Конечно, давай бумагу“. Сел, нарисовал, через десять минут готов портрет. И происходит на его глазах чудо, он не может этого понять. На

жаргонном языке это – „сделать фотку“. Чудо, да и только. Так я становлюсь чудодеем. Я могу сделать то, чего не могут сделать остальные. „Слушай, – говорит сокамерник, – да ведь ты для меня можешь <биксу> (девицу) сделать! Вот у меня фотка. Мне для наколки. Можешь?“ – „Могу“. – „Ну, да что ты? Не гонишь (не притворяешься)?“ – „Да, могу, могу“. – „Слушай, буду тебе братом на всю жизнь! Колбасы нужно?“ И элементарно появляется кусок колбасы. И, конечно, я с удовольствием это делаю – у меня ведь этого куса колбасы просто нет. И я хочу выжить.

Мое неодолимое желание рисовать вызывало различную реакцию и у тюремного начальства, и у сокамерников. Во время работы над иллюстрациями к „Истории одного города“ Салтыкова-Щедрина со мной произошла забавная история. В камере со мной сидел один грузин за спекуляцию чешской обувью. Я его поэтому называл „Батей“ (по одноименному названию чешской обувной фирмы). Он меня спросил однажды, для чего я делаю иллюстрации. Я ему ответил: „Ну, вот сделаю и, может быть, смогу передать жене. Иллюстрации будут изданы, – продолжал я шутя, – и она получит деньги“. Он на меня жутко обиделся и ответил: „Слушай, какой хитрый иврэй, сыдыт здэс, спыт здэс в турмэ, да ищо дэнги зарабатывает!“ После этого сосед со мною не разговаривал несколько дней и как-то странно посматривал на меня. Кто знает, что было в тот момент в его голове. В тюрьме и в лагере всякое бывает. Были и другие более острые ситуации – озлобление со стороны махровых уголовников, которых часто использует тюремное и лагерное начальство... Следовательно, который искал для меня подходящую статью – иначе я не могу назвать затеянный против меня уголовный фарс, – постоянно говорил, сколь критична моя ситуация. От всего этого кошмара я „убегал“ в работу, ежедневно рисуя и видя в этом единственную возможность сохранить собственную адекватность сложившейся жизни с одной стороны, с другой – продолжить себя в своих работах».

Многие зарисовки Ламма из тюремного и лагерного быта носили, первоначально, реалистический характер. Другой художник этим бы и ограничился, развив тему, по выходе на свободу, до обличительной политической иллюстрации. Однако у Леонида Ламма работал в несколько ином направлении. Дело в том, что тюремная жизнь строго регламентирована.

Каждое утро начиналось с проверки наличия эзков, чистоты камеры, качества уборки и т. д. В определенный час эзков выводили на прогулку, в определенный час приносили еду. И если сегодня была каша (вернее – видимость ее), то потом – «рыбкин суп». К тому же, на каждого – определенный кусок хлеба (черный, полусырой ошмот) и на день два куска сахара. И вот эта последовательность и измеренность каждого дня жизни привела художника к мысли, что все до предела *вымерено* не только в этой сумеречной зоне политического заключения, но и в жизни самой страны. Леонид Ламм создает (конечно, уже за пределами СССР, но на основании тюремных зарисовок) несколько серий работ, посвященных тюремному опыту. Тут и мусорный ящик, и дверь камеры, и унитаз, и, наконец, голова вертухая Николая, начальника тюрьмы полковника Подреза и даже автопортрет. На всем помечены размеры – стрелки от такого-то пункта до такого – столько-то сантиметров – и не более. Касается это и человеческих лиц. Ширина скул, подбородка, носа, уха – все указано в цифрах. Смысл измерений ясен – в сумеречной зоне не только предметы, но и люди превращаются в определенного размера существа. Если автопортрет художника и голова начальника тюрьмы, естественно, остаются индивидуальными образами, то голова вертухая Николая поражает именно своей обыкновенностью, стандартностью. Это – грубоватое, широкое, как бы топором вырубленное лицо, какие часто встречаются на нашей родине. Ничего явно зловещего, угрожающего в нем нет. Выражение лица скорее скучающее, тупое, равнодушное. Реакции такого человека предугадать нетрудно. Интересно, что в советской прессе появляются теперь интервью с охранниками тюрем и лагерей, вышедшими на пенсию. Многие из них собственноручно расстреливали заключенных. На вопрос, не жаль ли им было своих жертв, следовал стандартный, но, видимо, чистосердечный ответ – нет, не жалели их, не думали об этом. Перед расстрелом выпивали стакан водки, ну, и потом – еще несколько. Ложились спать. Ну, а как спалось? Хорошо, спокойно. Эмоции – или отсутствие их – «от» и «до», по стрелке. Ничего больше.

Казимир Малевич написал в 30-е годы картину «Спортсмены». Четыре фигуры в комбинезонах, а вместо лиц – одинаковые овалы. Возможно, эта безликость человека нового, социалистического общества создана была Малевичем

подсознательно, или, во всяком случае, он не вкладывал в нее какую-либо мрачно-ироничную символику. Но Леонид Ламм эту символику почувствовал и выразил ее в полотне «Я, ТЫ, ОН, ОНА» (1971 г.) (слова эстрадной советской песни-марша:

Я, ты, он, она,
Все мы дружная семья,
Вместе нас сто тысяч «я»).

Четыре безликих светлых головы на темно-синем фоне, как одинаковые «лампочки Ильича», – и в них тяжелыми, плакатными буквами – Я, ТЫ, ОН, ОНА. Буквы, конечно, помечены определенными размерами.

Работа эта, мне кажется, выходит далеко за пределы обличения тоталитарного политического строя. Стандартность – как в продукции предметов широкого потребления, так и в мировоззрениях современного человека – наблюдается повсюду, даже в самых свободных, демократических странах. Существует, например, стандартный либерал. Будь он швед, американец или англичанин, его реакция на какое-либо международное событие предсказуемо с такой же точностью, с какой Леонид Ламм помечает расстояние от глаза до уха вертухая Николая. Не менее ясен и типичный консерватор любой национальности. Мы заранее знаем, где он «за», а где «против». Таков же стандартный представитель поработенных меньшинств, таковы стандартные патриоты-шовинисты, анархисты, террористы и т. д. И вопрос тут совсем не в правоте или неправоте их дела, оправданности или преступности их борьбы, а в предсказуемости, стандартности их реакций. Может быть, что и мы все: я, ты, он, она – в какой-то степени одинаковы в наших реакциях. Но каких? Высших? Низших? Обыденно-повседневных? Это полотно Леонида Ламма, если вдуматься, представляет собой трагический символ человеческой стандартности, берущей свое начало в одинаковости пещерного, «сумеречного» человека и нашедшей свое завершение как в бесправии подневольного человека тоталитарной страны, так и в массовости современного человечества вообще.

К вопросу стандартности и неизбежно вытекающей из нее проблемы равенства мы еще вернемся в связи с «Прокрустовым ложем». Пока же обратимся снова к «сумеречной зоне».

Цитаты из классиков марксизма-ленинизма, лозунги и призывы всегда были неотъемлемой частью советского быта.

«Труд – дело чести, дело славы, дело доблести и героизма» (Сталин).

«На свободу – с чистой совестью».

«Свобода – осознанная необходимость» (Энгельс).

Первым двум фразам Леонид Ламм противопоставляет мрачную реальность тюрьмы и лагеря – заключенные на прогулке, в строю перед отправкой на работу (лозунги эти – часть композиции).

Третья цитата «обыграна» им символически: Адам и Ева, обитатели советского рая, соединены деревянной колодкой-ярмом. Их свобода точно измерена и закреплена, дабы не возникли у них какие-либо иные представления об иных необходимостях. Но только ли советский рай накладывает такое ярмо? Не существует ли оно и в свободных условиях, когда не давление извне, а собственная ограниченность и добровольное подчинение общепринятым нормам создает, в результате, ту же внутреннюю тюрьму? Мы видим, таким образом, что мысли Леонида Ламма вращаются вокруг судеб человеческих в условиях несвободы, но всегда выходят за рамки политического протеста и ставят более широкие, общечеловеческие, философские вопросы.

После выставки «Воспоминания из сумеречной зоны», состоявшейся в галерее Файрбэрд в г. Александрия около Вашингтона весной 1985 года, Леонид Ламм в течение полутора лет работал над новой серией символических картин и конструкций, которым он дал общее название «Седьмое небо». В октябре 1986 года они были показаны в галерее Ричард-Беннетт в г. Лос-Анжелесе.

Новая серия основана была на многих рисунках и идеях, возникших у художника еще до ареста. (Картины Ламма часто носят даты 1973-85, 1974-86 и т. д. Частью некоторых из них служат оригинальные наброски, сделанные во время заключения.) Но в новой серии нет ни вертухаев, ни зэков – связь с «земным» опытом становится слабее, и символика занимает главенствующее место. Состоявшаяся в то время встреча на верхах генсека М. С. Горбачева и президента Рональда Рейгана побудила Ламма создать диптих, состоящий из двух одинаковых игральные карт – червонного короля. Но на одной карте наверху – лицо Рейгана, а внизу – Горбачева. На другой же Горбачев наверху, а Рейган – внизу. Трудно себе представить более остроумный и меткий символ политической игры,

одинаково опасной для обоих королей. Да и сами они – всего лишь карты в руках Судьбы.

Интересна картина, рама которой представляет собой окно с решеткой, делящей пространство на шестнадцать одинаковых квадратов. В каждом из них – стандартный улыбающийся человечек-жетон, из тех, что продаются на лотках, – символ стандартной современной радости. Название картины – «Композиция № 2, серия – Рай».

Находит отображение и опыт Леонида Ламма в новой для него стране – Америке. «Автопортрет» – трагикомическое лицо-маска с двумя крыльями (американским и советским флагами) и тремя летящими на золотистом фоне тельцами, соединяющимися вместе – некая первоначальная «раз-троенность» художника под давлением новых впечатлений. В целом, серия «Седьмое небо» легче, игривее, чем «Воспоминания из сумеречной зоны».

Однако игривость эта обманчива. Она лишь подводит к новому проекту художника, в котором совмещаются комические и сугубо серьезные мотивы, вечные, «проклятые» вопросы и фантастические, леденящие душу прогнозы на будущее. Проект этот Леонид Ламм назвал «Прокрустовым ложем». Начинается он своего рода комической увертюрой – «Одой кровати». Приведу ее в несколько сокращенном виде.

ОДА КРОВАТИ

Сколько радостей связываем мы
С понятием кровать!
Как удивительны образы
Сладкого отдыха, томленья,
Освобождения, уединенности,
Ожиданья счастливых сновидений
И любовных утех!
А мечты, мечты!
Сколько родилось их и рождается
В кровати!

Леонид Ламм напоминает нам далее, что наша жизнь начинается и кончается именно в кровати. Но не только это. Лежать – лучше, чем сидеть или стоять.

Да, да, лежать
Ощущая себя вровень горизонту земли
Чувствуя себя ее принадлежностью
Чувствуя себя частью целого.
Не стоять вертикально к земле,
Противопоставляя себя ей,
Не быть, не пытаться быть
Отдельным, изолированным от нее,
От горизонта ее!
Горизонт земли,
Горизонт кровати –
Наш горизонт!
Это – начало, предел и равенство наше!

Вспомню по этому случаю слова какого-то врача-хиропрактора, который безапелляционно заявил, что все несчастья человека начались тогда, когда он выпрямился и стал на ноги. (Имелись в виду, конечно, болезни позвоночника, суставов ног и т. д. Однако слова эти можно истолковать и шире.)

«Оде кровати» вторит гораздо более мрачный «Марш равных», своего рода вариация «Двенадцати» Блока.

Правой, правой, правой!
Равный всегда прав,
Братства и счастья правда –
Равенства устав!

Но братство и счастье – только для равных.

Друг наш равный – правый!
Неравный – злейший враг!
Неравным был –
Сравний его!
Неравным стал –
Убей его!

И далее:

Мы старый мир разрушим
Мы с корнем вырвем разницу
Мы новый мир построим
Дорогу счастью – равенству!

О свободе, равенстве и братстве, лозунге Французской революции, было написано достаточно и прибавлять, казалось бы, нечего. Все же рискнем сделать кой-какие комментарии, которые подчеркнут мысли Ламма. Свобода, равенство и братство – одни из самых прекрасных, воодушевляющих слов, когда-либо произнесенных человеком. Все мы знаем, что они в принципе существуют и до сих пор влекут поработанные, угнетенные народы. Но совершенно очевидно и то, что они в то же время самые обманчивые, опасные, трудно определимые понятия, во имя которых совершались страшнейшие преступления. Если, по словам апостола Павла, «пребывают сии три: вера, надежда и любовь; но любовь из них больше» (К Коринфянам, гл. 13), то в демонической проекции из свободы, равенства и братства равенство – наистрашнейшее понятие.

Конечно, об этом также писалось достаточно. Наивысшее равенство – в полном беспорядке всех включительно. И все же, повторю, мы ценим, живя в свободных, демократических странах, и свободу, и равенство (относительное, конечно), и мы протягиваем руку братской помощи нуждающимся в ней. Возможно, воздействие этих понятий подобно яду: в малых дозах оно – целительное лекарство, «живая вода» русского фольклора, в излишних – смертельная «мертвая вода».

Леонид Ламм остро чувствует губительные аспекты равенства. Кровать, воспетая им вначале, превращается в Прокрустово ложе, в завершительный этап «Марша равных». И Ламм пишет фантастический Манифест Прокрустова ложа с подзаголовком «основные идеи художественного движения СОЦ-ГЕО». Приведу отдельные отрывки из него.

«Великий герой греческой мифологии Прокруст – великий разбойник древности совершил одну из самых значительных социальных революций в организации уравнивания своей жертвы перед ее ограблением. Укладывая очередную жертву в железную кровать (теперь известную как Прокрустово ложе) с определенным размером и обрезая или вытягивая ее по этому эталону, Прокруст организовал беспрецедентный процесс создания элементарной частицы социума. Несомненно, стандартизация частицы отвечала как необходимости использования ее по назначению, так и формированию у нее ясного сознания своего предназначения...

Прокрустова акция являет собой и удивительный перформанс, демонстрирующий сценические, художественные возможности и одновременно ценность социального процесса.

Прокрустово ложе, став символом жестокой непримиримости, может и должно стать социологическим символом, базисом идеального социально-общественного устройства, в котором воплощена величайшая идея равенства, к которому стремится человечество на протяжении всей своей истории».

Лучшие рассказчики анекдотов, как известно, подают их с полной серьезностью. Лучшие фантастические трактаты, по этому же принципу, подаются с торжественной убедительностью. Именно так и поступает Леонид Ламм. Его мысль балансирует на грани научной правды и тоталитарного абсурда самого жестокого характера.

«Если мы взглянем на лабиринты пути нашей истории, – пишет он, – то к идее жесткой формы и особенно к идее машины как идеальной форме построения мира были направлены мысли величайших умов человечества. В нашей памяти встает Аристотель – искатель причины вещей и нашедший для этого „Архитектон“. Мы вспоминаем предестинацию и пуританизм Кальвина, Декартов „механицизм“ и, конечно, законы Ньютона, которыми он доказал, что мир наш есть машина...

Реальность нашей истории подтвердила правоту Великих законов Ньютона... Безукоризненное их действие и в социально-общественных и художественных структурах убеждает нас в силе, правдивости и непобедимости этих законов. Это самая правдивая ПРАВДА. Все, что не соответствует этой ПРАВДЕ, – неправда, и не может жить, не может существовать».

В этом абзаце особенно «пикантно», по-советски, звучит слово «непобедимость» (закона) и, конечно, ПРАВДА (главными буквами, как название газеты). А что касается неправды, то она, уж конечно, не может жить (т. е. убей ее!).

«Именно поэтому Движение СОЦ–ГЕО, образной основой которого является Прокрустово ложе, ставит перед собой задачу утверждения и художественного осмысления этой Правды», – продолжает Леонид Ламм.

Но почему же такое название – СОЦ–ГЕО? Художник поясняет:

«...Правды, бесконечной своей ГЕОГРАФИЕЙ, ГЕОЛОГИЯ которой строго тектонична. Она подтверждена законами физики, математики и ГЕОМЕТРИИ. СОЦИОЛОГИЯ ее

проста и ясна, она четко сконструирована **СОЦИАЛЬНО**. А ее восприимчивость идей **СОЦИАЛИЗМА** несомненна».

Несколько ниже Ламм пишет: «...Все должно иметь определенные размеры и эквивалентность формы, точнее – униформу. Это касается также клиширования и сознания, и действия. А поэтому все должно быть измерено. Все, что не измерено и не следует определенным правилам и законам **ПРАВДЫ**, должно быть выброшено и уничтожено».

Заканчивается этот абзац следующей цитатой:

«И он сделал то, что всем ... положено будет начертание на правую руку их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его ... сочти число зверя... шестьсот шестьдесят шесть» (Новый Завет, Откровение св. Иоанна 13: 16–18).

Леонид Ламм приводит в своем манифесте примеры, которые могут быть основой для конструирования Правды и идеальной социальной структуры. В их числе – униформа (в армии, тюрьме, спорте, в ортодоксальных религиозных группировках). Включает он в них и моду, и определенный стиль одежды различных слоев населения – бизнесменов, студентов, хиппи, панков и т. д. Он видит стандартизацию эстетических ценностей с помощью массово-культурных мероприятий – парадов, демонстраций, карнавалов, шоу, телевидения, кино, рекламы и т. д. «Следует безусловно приветствовать структуру паспортизации и обозначения каждой единицы, каждого социума номером „социального страхования“, – гласит один из пунктов Манифеста СОЦ-ГЕО, который тоже заканчивается цитатой из Нового Завета: «У вас и волосы на голове все сочтены» (Евангелие от св. Матфея, 10: 30).

И, наконец, следующее заявление:

«Настоящим триумфом образа Прокрустова ложа и символом цивилизации, революции и прогресса стал компьютер».

«Великая мечта Великого Разбойника Прокруста о стандартизации своей жертвы реализуется современностью».

«Неусыпный глаз компьютера есть одна из самых замечательных реализаций идей гениального Прокруста, т. к. социальная единица, находясь постоянно под его контролем, ощущает свою равновеликость, равноправие и свободное осознание необходимости. Мечта человечества – Свобода и Равенство – становятся реальностью.

И наоборот, самоизолированный, или по каким-то причинам не принятый в эту систему измерения, или исключенный из нее соц-элемент становится изгоем и уничтожается».

В конце концов, Леонид Ламм подходит к идее построения самого Прокрустова ложа.

«Идеальное требует идеальной формы. Поэтому необходимо использовать как формы классики, так и идеально геометрические формы супрематизма, конструктивизма, минимализма – такие, как квадрат, круг, треугольник, эллипс, куб, шар, пирамида и т. д.

Бесспорно должны быть использованы все художественные находки прошлого и настоящего, в том числе и соцреализма как предтечи пост-модернизма. Кроме того, необходимо использовать систему измерений, демонстрирующих в различных вариантах жесткие правила социальной структуры, в том числе в товарном применении соц-элемента.

Учитывая все вышеуказанное, считаем необходимым создание образа «Прокрустова ложа» – как проекта его, так и реально действующей модели».

Действующий памятник «Прокрустова ложа» изображен Леонидом Ламмом в 7 проекциях (две из них публикуются). Доминируют в них идеальные формы – квадрат и круг. Цвета – красный, черный и золото. Даже неискушенному взгляду видно, что это красиво-устрашающее строение напоминает советскую и нацистскую архитектуру как по форме, так и по цвету. «Мы предлагаем организацию целого ряда перформансов-манифестаций на тему о Прокрустовом ложе, – говорится в манифесте СОЦ–ГЕО, – с обязательным обрезанием или вытягиванием индивидуума по шаблону Прокрустова ложа. Лучшим местом для этих перформансов-манифестаций должна стать Красная площадь в Москве».

Следуют пояснения, почему сделан этот выбор. Во-первых, название Красной площади по-английски – «Ред Сквер» – означает также красный квадрат – идеальную геометрическую форму, использованную в супрематизме. Кроме того, красный цвет – это цвет русской социалистической революции, цвет советского флага. Слово «красный» означает по-русски также и «красивый» (красна девица, краснойбай). Но – красный цвет – и цвет крови. Именно на Красной площади находилось Лобное Место, откуда провозглашались царские указы о казни преступников. Осуществлялась эта казнь

очень близко к принципу Прокрустова ложа, а именно четвертованием, т. е. постепенным отрубанием конечностей. Наконец, говорится в манифесте, Движение СОЦ–ГЕО планирует создание городов типа Города Солнца Кампанеллы, а также заводов по массовому изготовлению Прокрустова ложа, как для использования его по назначению, так и для массовых демонстраций, шоу, театральных представлений и рекламы.

Но зачем нас так пугает художник? – может возразить кое-кто, прочтя этот жуткий манифест СОЦ–ГЕО. Публичных казней давно уже не существует, на родине царит гласность и намечается перестройка. А компьютер? Так ведь номера социального страхования помогают пенсионерам получать пенсии. К чему все эти ужасы?

На это можно ответить, что Леонид Ламм – не единственный человек, боящийся компьютера. Многие правозащитные группы в Соединенных Штатах обеспокоены тем, что нажатием одной кнопки компьютера на его экране появляется вся история данного человека – не только даты рождения, стаж и т. д., но и все болезни, им перенесенные, все операции, визиты к врачам (включая психиатров, психоаналитиков и невропатологов), вся его личная, интимная история. Укрыться нельзя, бежать некуда. Человека просвечивают как на рентгене. Право на тайну, на сокрытие, на индивидуальное «не хочу», «не скажу» – исчезает. А этим попирается право человека не быть объектом публичного обозрения, не быть бабочкой или жуком в коробочке, проткнутыми булавкой.

Но что же делать? – могут возразить люди. Нас все больше и больше. Планете нашей грозит перенаселение, отравление земли, воздуха, воды, исчезновение полезных ископаемых. Необходимо рационализировать наши ресурсы. Какая-то компьютерная «карточная система» для всего человечества, возможно, будет просто необходима для всеобщего благосостояния, равноправия и равенства. В конце концов, разве не может существовать Прокрустово ложе с «человеческим лицом», которое не режет, не вытягивает, а только слегка тискает и подпихивает, чтобы шел человек в правильном направлении? Разве не бывает боя быков, в котором бык остается жив и после корриды мирно пощипывает травку на лугу? Все бывает, ответим мы. Бывает даже, что человека

обкарнали со всех сторон, а он и не заметил. А если и заметил, то сказал: «Вот и хорошо, теперь я – как все!»

Конечно, перед человечеством стоят в 21-м веке такие проблемы, что, если задумаешься, становится страшно. Кто знает, может быть, в сугубо компьютерном, прокрустовом будущем мы и выжить-то сможем, лишь будучи уравненными жесточайшим прокрустовым способом.

Оставим вопрос открытым и поблагодарим художника Леонида Ламма за то, что он показывает нам страшные, но одновременно и фантастически-комичные картины возможного будущего. Он показывает их как бы всерьез, но с улыбкой, и мы, в результате, верим в то, что злу можно противостоять усилиями духа и воли – и силами любви ко всему неравному и индивидуальному. Творчество Леонида Ламма «между строк» вызывает именно к индивидуальному и прекрасно-неравному. В этом его сила, ценность и заслуга.

ГОЛЛЕРБАХ Сергей Львович – родился в 1923 году в Пушкине под Ленинградом. С 1949 года живет в США. Окончил Мюнхенскую Академию Художеств в Западной Германии (1946–49 гг.) и Art Students League в Нью-Йорке (1950–52 гг.). Член Национальной Академии Искусств и Американского общества акварелистов, занимает пост его почетного Президента. Профессор живописи в Школе Национальной Академии Искусств в Нью-Йорке. Автор книг: «Композиция красками акрилик», «Наброски пером и акварелью», «Заметки художника», переведенных на английский язык. Картины художника находятся во многих музеях и частных коллекциях в США.

К тысячелетию
Крещения Руси

Издательство
«Антиквариат»

Владимир
Максимов

СЕМЬ ДНЕЙ
ТВОРЕНИЯ

Обложка и рисунки
Виталия Стацинского

Издание четвертое

Заказы направлять по адресу:
E. Stein, 594 Chestnut Ridge Rd.,
Orange, Conn. 06477, USA.

Литература и время

Ирина М у р а в ь е в а

«СЛОИСТЫЙ ПИРОГ ВРЕМЕНИ»

Время можно представить по-разному. Белым полотном, беспросветной молочной белизною, заливающей, поглощающей, всасывающей, или же черной землею, вспоротой лопатами, отслаивающейся жирными пластами, – думаю, что всякий человек нащупывает во глубине себя собственный образ Времени, ибо эта пластичная субстанция изначально располагает мышление к метафоричности. Важно одно: молочная белизна, черная жирная земля или что-то другое, но Время непредставимо без голоса. Он, этот голос, никогда не бывает ни ярким, ни отчетливым. Никогда криком, никогда безоговорочным утверждением. Голос Времени, как я его слышу, неровен, глуховат и сбивчат. В нем путаница повисших, без ответа оставшихся вопросов, солоноватая затрудненность кома в горле, переливающаяся непоследовательность живой жизни: вспыхнуло – погасло, родилось – исчезло, нащупало – и стало дымом.

После перерыва, за длительность которого само это имя – Владимир Маканин – почти исчезло из моей памяти, я совершенно неожиданно несколько недель назад прочитала его прозу, которая зазвучала – вот что странно – голосом Времени. Потому что, читая, я постоянно ловила себя на интуитивных толчках: да, да, да, вот это глуховатое бормотание, эта пронзительная нерешенность, эти – мокрой паутиной – повисшие вопросы, все это голос Времени. Но уточняю: не абстрактного Времени. И не Времени двадцатого века вообще. Маканин – не космическая, грубо говоря, фигура, и ему ни в коей мере не свойственен тот мощный эпический разворот, который свойственен, скажем, Маркесу или Томасу Манну. Искусство маканинской прозы – камерное, это концерт в Малом зале консерватории, а, может быть, точнее сказать, не концерт, а генеральная репетиция, на которой присутствуют ученики и близкие друзья. И за окном не субботний

праздничный вечер с черным бархатом неба, огнями и афишами, а будничное московское утро с холодным ветром, гудками и воробьиным чириканьем.

Маканинская проза – праздник для посвященных. Но, Боже сохрани, если кому-то придет в голову, что я имею в виду гуманитарную элиту. Пусть она лакомится Татьяной Толстой, благо лакомство это недорогое: ни уму, ни сердцу. Маканин же требует от своего читателя «посвященности» другого рода: не эстетической (читайте: эстетской!) и не элитарной (читайте: выхолощенной!), но человеческой, но душевной. Он требует той умной снисходительности сердечного опыта, которая простит ему неотчетливость слога и шероховатость стиля, примет, как они есть, его полуэскизные полотна и в нужную минуту ахнет от точности его ненастойчивых озарений.

Да, он для посвященных, но он менее всего элитарен.

«На миг прошлое приблизилось, поманив, и я держал в руках лопату старого образца, рыл землю. Копанье напоминало или только хотело напоминать течение жизни, в которой за отсутствием моста или большого глубокого туннеля я шел иначе: я шел, пробиваясь туннельной тропкой, подкопом, сворачивая и вправо и влево, я шел какими-то слишком уж витиеватыми, зигзагообразными ходами, в то время, как надо было лишь переждать. Не умел и не хотел ждать, даже и собственного опыта, и неудивительно, что очень скоро я уже не знал направления, сбился (в темноте и при одной-то свечке!), а река текла, река была надо мной, я слышал ее шум и шума не боялся, но я уже не знал, куда она течет, где русло и где против русла, и где поперек, я так наизвывался, что в темноте осталось одно: копать. Копать куда придется и пусть с лишним трудом и потерями, а все же выйти на тот, нехоженный берег» («Утрата»).

Давно я не встречала прозы менее «сделанной»: манера сегодняшнего Маканина (я еще скажу два слова о нем, раннем, прежнем!) и впрямь напоминает борьбу человека с неподатливой землей, раскапываемой в кромешной тьме без отдаленной надежды на помощь с единственной целью – выйти на нехоженный берег, на ту сторону, где неизвестно, правда, что тебя ждет и кто встретит:

Слепой, один из тех трех, что рыли подкоп под Урал, на-
нятые сумасшедшим купчиком Пекаловым, которому гвоздем
засевшая мысль – выйти под водой на ту сторону реки не дава-
ла покоя, – этот слепой вдруг увидел перед собой Богоматерь:

«Вижу! – кричал старый слепец. – Вижу ее!» («Утрата»).

Вскоре все трое погибли. Один – насмерть раздавленный кам-
нем, двое других, до последнего звавшие на помощь Спаси-
тельницу, утонули в торфяном болотце на той, действительно
той, достигнутой ими стороне реки.

Но – кто знает? – может быть, вся их незрячая, наощупь,
в бедности и унижении прошедшая жизнь была окуплена
одним мигом того прозрения, того крика?

«Вижу! Вижу ее!»

Маканин пишет так, что до последнего не знаешь: черно-
вик ли перед тобой или законченное произведение, запись ли
дневниковая, неотцеженное ли сознание человека, торопяще-
гося ничего не упустить, нащупанную мысль развернуть и так
и эдак – для себя, прежде всего для себя самого, нащупываю-
щего, чтобы, не дай Бог, не вкралась какая-нибудь фальшь,
выигрышно блеснувшая перед глазами и непроверенная, не
дай Бог, чтобы ей, фальши, в это глухое, темное, одержимое
творчество-копание просочиться. Может быть, не случайно
то, что он математик по образованию и своеобразная проверка
гармонии алгеброй имеет место в самых импрессионистичес-
ких его произведениях?

Так – повторяю – Время говорит с самим собой: эскизно
набрасывая содержание, проборматывая детали, настойчиво
возвращаясь к одному и тому же, глуховато покашливая, недо-
умевая...

Но интересно, что сам Маканин со Временем своим, похо-
же, не в ладу и при всем старании не отнесешь его ни к той, ни
к другой литературной школе. Битов? Нет, не похож нисколь-
ко. Деревенщики? Тоже нет. Модная Жар-птица Татьяна Тол-
стая – синтетическое дитя начинающего Набокова с исписав-
шимся Олешей? Нет, к счастью, нет и нет.

Как ни странно, но я улавливаю близость Маканина с
одним только автором, старинным и великолепным, – с Леско-
вым, но близость эта не логическая, не стилистическая и не
сюжетная. Я бы сказала, что она заложена в органическом,
отнюдь не назойливом, но очень последовательном «самосто-

янии» – качестве, которое Пушкин определял как «залог величия» человека. Лесков, как известно, стоял в стороне от каких бы то ни было оформленных течений русской мысли, от всяческого «плотно современного» и «остро злободневного» процесса. Сам «раскапывал», сам «докапывался». Отсюда его «почвенность», его ориентация на прошлое, отсутствие малейшего притязания на «учительство» и авторитетность у современников. Отсюда и многочисленные промахи современников по поводу Лескова.

Не вина Маканина, что и он стал модным автором, что обратили на него внимание Лев Аннинский и Алла Латынина, чувствуется, что, невзирая на споры и пересуды вокруг своих книг, он пишет так, как пишет, как дышит, и, подобно Лескову, открывает национальную историю в ее тишайшем, подспудном существовании: через старинную уральскую легенду («Утрата», «Отставший»), через претворенный на современный лад сказ о праведнике («Предтеча»), через глуховатые, размытые наброски («Голоса»).

Я интуитивно чувствую хотя бы по этим трем, наиболее ярким вещам: «Предтече», «Утрате», «Отставшему», – как неторопливо, как кропотливо работает Маканин и как при этом болезненно-трудно достается ему каждая строчка, какие песчаные горы промывает он прежде, чем блеснет на ладони золотая крупница.

«Отставшему» от модных направлений современной литературы, ему открыт редкий дар, подобный дару того уральского, давным-давно жившего паренька с отбитыми руками, который чувствовал под землею золото. Героя его повести, выплывшей из старинной легенды. Редкий дар Маканина – в целостной точности сказанного, в том, что каждая ситуация и каждый вылепленный им характер отмечены какой-то почти болезненной, щемящей правдивостью. Ни одной лишней краски, ни одной неверной ноты. Но ему – несмотря на эту достигнутую правдивость – все мало, мало, мало, и он признается в беспомощности и от всего сердца ужасается тому, как малы возможности пишущего:

«...вдруг понимаешь, что не человек ходит по твоей повести, а расхаживают там пять-шесть его черточек, не более того... Возникает ощущение неслышимых голосов или, скажем, огоньков, ощущение, что тебе по силам, быть может, изображение быта, мыслей, дней и ночей людских, черточек

и штрихов характера, но сами-то живые в стороне, они живут и живут, а потом они умирают, гаснут, как гаснут огоньки ночью, а ты, сколь яростно ни спеши, ничего не успеешь...»

Для меня это признание – лучшая гарантия таланта. Если так пишет, так яростно спешит, а все не успевает, и книги выходят из-под руки такие пульсирующие, теплые живым телесным теплом, значит, тут мы имеем дело со счастливой необходимостью сказать, успеть, поделиться, всегда отмечающей крупного художника.

Есть таланты «сытые», т. е. самовлюбленные, самоуверенные (из современных советских прозаиков лучший пример такого «сытого» таланта – все та же Татьяна Толстая!), а есть таланты «голодные», вечно неудовлетворенные, вечно ищущие, проклинающие себя за якобы малость, за якобы скудость, за беспомощность перед неизмеримостью того, о чем взялся говорить. Предельный по накалу и потому, наверное, самый выразительный пример такого «голодного» таланта, ненасытного, беспощадного к себе и, в конце концов, пришедшего к логическому самоотрицанию, явил в свое время Лев Толстой.

«Лёвочка всю зиму со слезами и волнением пишет», – выводила в дневнике Софья Андреевна, а сам он задыхался от того, что «мыслитель, художник всегда, вечно в тревоге и волнении», потому что «он не так сказал, не так отобразил, как нужно, а завтра, может быть, будет поздно – он умрет».

Владимир Маканин неоднократно проговаривается о своей беспомощности перед жизнью:

«Родные, близкие, знакомые, просто друзья – их слишком много, но еще больше горестного о них знания. С возрастом я уже не в силах вместить их ранние инфаркты, гибель их родителей, неудачи на работе, неожиданный крах личности... отчего во мне скапливается день ото дня темная, густая, липкая горечь – удел всякого знания в определенном возрасте. Я уже не хочу знать. Во всяком случае, я хотел бы знать меньше, узнавать реже. Я не омертвел от бед. Но я от них оглох. Я плохо слышу. С каждым годом мне все более трудно общаться: трудно жить».

Маканинская беспомощность распадается как бы на две плоскости: ею, во-первых, обусловлена его совершеннейшая искренность, его постоянные невольные срывы на исповедальность, та внутренняя монологичность повествования в

целом, которая растет от избытка душевной тоски и недоумения. Но эта же беспомощность является и сильным формообразующим фактором творчества, ибо она предоставляет автору почти катастрофическую свободу. Всмотритесь в эти книги. Ведь они написаны не просто раскованно. Я бы сказала, что они написаны почти хаотически раскованно, почти хаотически безоглядчиво (и то, и другое – со знаком плюс!). Чувствуется, что он, пишущий, ничем не стеснен внутренне ни в выборе темы (часто сюрреалистически-странной и неожиданной), ни в лепке характера, ни в построении сюжета, ни в разрушении его. Те «кафкианские» повороты в маканинских повестях и рассказах, которые предельно иллюстрируют эту хаотическую раскованность (как, например, многоразовая повторяемость с чуть-чуть разнящихся точек зрения одного и того же эпизода или несколько вариантов смерти героя, выписанных вроде как происшедшее событие, но тут же и оставленных, словно смерть можно переиграть или, уже сбывшуюся, отложить!), все эти «кафкианские» повороты, а может, лучше сказать – *разрывы*, – нисколько не выглядят заимствованными или ненатуральными. Потерянность перед лицом бытия, страх «не так сказать, не так отобразить, как нужно», диктует творчеству Маканина эти поиски и неотцеживаемые пробы, эту многовариантность совершающегося, эту засасывающую тоску по прошлому, эту жажду обретения единственного корня – из тьмы, из хаоса.

Вот тут-то и необходимо остановиться на его наибольшей, на мой взгляд, удаче – повести «Предтеча».

Русская классика любила пророков, странников и юродивых. Жажда духовного очищения диктовала характеры людей, нелепых с точки зрения близорукой и суетной человеческой психологии, но властно избранных Богом для высоких целей. Более того: путь пророка и странника выходил за пределы только литературы. Толстой ведь сперва написал святого старца Федора Кузьмича, а потом решил худо-бедно попробовать его судьбу на себе. Кто поручится, бежал ли он от близкой смерти, от несносной Софьи Андреевны или же и впрямь затащил его «кремнистый путь» одиночества и спасения?

В «Предтече» Маканин вливает свежую кровь в старинную и, казалось бы, омертвевшую жанровую форму – сказание о праведнике. В сущности, это история пророка, появив-

шегоса на московских улицах в разгар двадцатого столетия. Она видоизменена и подогнана под нормы сегодняшней жизни настолько, что временами приличествующий теме пафос окрашивается еле заметной современной иронией (что никак не снижает, впрочем, общей серьезности совершающегося!):

«Собственный же рассказ Якушкина всегда начинался с того времени, когда он, проворовавшийся, отбывал наказание в Сибири. Стояла таёжная зима, вели там долгие и изнурительные земляные работы, там-то он вдруг понял истину. И именно в эту самую минуту (или в минуту очень-очень близкую!) напарник, уже вполне исправляющийся и по-своему милый бандит Зотов, сказал – перекурю, мол, придержи, Якушкин же, ослепленный красотой открывшейся истины, замешкался и не расслышал. Бревно упало ему на голову. Он потерял сознание, после чего в больнице ИТК, неплохой, его долго откачивали» («Предтеча»).

Обходится ведь и без шестикрылого серафима. И отсутствие его не мешает открывающейся истине – той же самой, вечной, неизменной, с ее, все теми же, нетленными, хоть и истрепавшимися за века глаголами:

«Вы должны любить окружающих вас, – ярился и покривал знахарь. – Сослуживца и соседа полюбите-ка с их говном! Вы не люди. Вы подонки. Вы слишком спорчены, и потому вам хочется пусть дешевенького, но сладенького, вам еще *любить и любить*, пока станете людьми!» (курсив – мой!).

Проповедь любви, которую странный старик неустанно разбрасывает направо и налево, не заботясь, кто внимает ему да и много ли понимает внимающий, полна какой-то свирепой настойчивости, вызванной отчасти изнуряющим бессилием перед непомерностью взваленной на себя ноши, но чем яростнее, чем свирепее эта проповедь, тем полновеснее каждое ее корявое, кровоточащее слово, тем традиционнее образ Якушкина-пророка.

«В метро он не замолкал до неприличия, а к минуте, когда они появились у Кузовкина, старик уже в слове разбух и, разговорившись, вырос до своей излюбленной притчи о старом человеке, который окликает племя, идущее к пропасти. Притча была прозраченькая: я, мол, самоучка и мало знаю, я только напоминаю, я только окликаю вас».

Почему именно эта повесть кажется мне наибольшей удачей Владимира Маканина?

Да просто потому, что наибольшей трудностью отличается в ней сама тема. Удача автора, дерзнувшего развернуть историю московского пророка 70-х годов нашего столетия, может быть приравнена разве что чудесной (в прямом смысле слова!) удаче Булгакова, обратившегося к образу Христа в «Мастере и Маргарите» (кстати сказать, то, что подобные темы не по плечу даже и весьма талантливым прозаикам, прекрасно иллюстрирует хотя бы недавняя христианская потуга Айтматова – «Плаха»).

Маканин выбирает самый умный путь – наименьшего сопротивления по отношению к жестко установившейся схеме – и строит свою повесть совершенно традиционным, я бы сказала – классическим – образом.

Те, которым открывалась драматическая неверность человеческого существования, издавна объявлялись безумными («И, наконец, они от крика утомились и от меня, махнув рукою, отступились, как от безумного, чья речь и дикий плач докучны и кому суровый нужен врач»). Интересно, что мотив безумия присутствовал не только в литературных сюжетах (пушкинский «Странник», «Идиот» Достоевского), но и в самой что ни на есть настоящей жизни: «Тяжело, что в числе ее безумных мыслей есть мысль о том, чтобы выставить меня ослабевшим умом и потому сделать недействительным мое завещание...» (из дневника Толстого).

Герой «Предтечи» официально страдает шизофренией, «вызванной последствиями травматического случая» (того самого, с упавшим бревном!). Ясно, что душа Якушкина пронзительно здорова, ее здоровья и силы хватило бы на десятилетия, но, иронически обыгрывая «необходимое» подозрение в психическом расстройстве, Маканин знакомит читателя с этим медицинским заключением. Теперь обратимся к вопросу, заложенному как бы в самую сердцевину сюжета, ибо ответ на него и есть главный двигатель действия: что должно произойти с пророком, характером древнейшего священного склада, в нашем полуослепшем, сплошь атеистическом, сплошь оболганном и разуверившемся мире?

У этого вопроса тоже ведь есть своя история. «Восстань, пророк, и виждь, и внемли...», – пламенно восклицал Пушкин в 1826 году. Двадцатисемилетний Пушкин, молодой. А в 1835-м на смену его «Пророку» приходит (выходит!) его же «Странник», герой которого, прозревший свет истины, не к людям

бежит, а прочь от них, не проповедует на площадях и базарах, не грохочет под церковными сводами, а, напротив, «спешит перебежать городское поле, дабы скорей узреть, оставя те места, спасенья верный путь и тесные врата». Опасная и мощная тема, выбранная Маканиным в «Предтече», подобна глубокой реке, в которой уже смешалось немало разных потоков: булгаковский Иешуа, и князь Мышкин, спустившийся с чистых швейцарских гор на дно kloкочущего темными страстями Петербурга и там, во тьме его погибший, и князь Касатский, спасающийся от мира под именем отца Сергия, и старец Зосима...

Якушкин проходит все те вехи традиционного пути: общее поклонение, затем непонятость, отторжение от мира, побег, — которые проходят пророки и странники. Более того: на протяжении повести его, пророка, жизнь постепенно и неуклонно обращает в странника, ибо, утративший дар врачевания, он перестает быть нужным людям и их переменчивая суетная среда выталкивает его. Как всегда, в этом выталкивании самыми последовательными оказываются ученики — современные апостолы:

«Он будет тихим и спокойным старичком», — уверяет один, самый лихой, самый активный. А другой, особенно, казалось бы, преданный и в свое время спасенный Якушкиным от невыносимых мигреней, «был в долгих сомнениях, пока ему вдруг не открылось, что истина сложна и что истина не тот или иной говорун или гений, а процесс. Истина это череда гениев. Кузовкин же ее по-прежнему жаждал».

Беда в том, что и от пророков ждут конкретной материальной пользы. Пока Якушкин врачевал, ученики и поклонники плотным роем обвивали его старческую фигуру в нищенском пальто и истово ловили его корчащееся, неподатливое слово. Но дар исцеления угас, и пророк приравнялся человеку в его роковой слабости. Вот тут-то люди не поняли и не оценили главного: в их глазах Якушкин, переставший по непонятной причине быть парапсихологом, совершает как бы нисхождение по духовной лестнице, в то время как на самом деле он резко взмывает вверх — в чистую, свободную от всякого «надчеловеческого» свойства и усилия сферу совершенного, никаким «колдовством» не подкрепленного, милосердия и любви. Он, собирающий пьяниц на талом снегу, выхаживающий, выкармливающий, пригревающий, он, чье убогое

жилище обращается в приют для всех этих, Богом обиженных, озлобленных, опустившихся и преступных, всех тех, которые его же, согревающего и выхаживающего, готовы предать, обокрасть и унижить, на самом деле только сейчас и доказывает, что свирепые проповеди любви были не игрою слов, не безумием, а глубоко органичным, душевным требованием, реализуя которое он буквально воплощает в мире идею христианского милосердия. Достоинство повести еще и в том, что, разворачивая подобную тему, Маканин начисто избегает какой бы то ни было стилизации. Суховато, скуповато, графично он пишет именно тот мир, который окружает сегодняшнего пророка, именно тех людей, которые толкуются на сегодняшних московских и немосковских улицах, и благодаря этой почти математической точности старинный, под стать Лескову, сказ о праведнике становится как бы куском нашей жизни, вливается в нее с тою же артистической органичностью, с которой когда-то в булгаковском романе Христос предстал перед Пилатом. Даже блудница, совершенно уж традиционно появляющаяся в самом конце повести, вызывает лишь теоретические, чрезвычайно, я бы сказала, «тактические» сопоставления. Маканин твердо соблюдает меры вкуса.

Когда-то, еще живя в Москве, я прочитала относительно ранний рассказ его «Ключарёв и Алимешкин». Тогда мне показалось, что это замечательно. Остросовременная крепкая проза. Выполненная в духе Кафки конструктивная модель мира, сложенная из двух гротескных полярных фигур: гибнущего Алимешкина и расцветающего Ключарева. Теперь рассказ кажется мне узким и безвозвратно пройденным этапом, на котором прозаик поклонился математике и симфоническая музыка художественного творчества заменилась костяным потрескиванием счётов. Почему? Да потому что мир ведь несводим к полярным фигурам Ключарева и Алимешкина, как бы блистательно и интересно не был выполнен в слове его полостной срез, и сегодняшний Маканин, переплавляющий эту столь удобно-выразительную, на первый взгляд, *одномерность* в неподдающуюся, ломким веером распадающуюся на разные плоскости: прошлое и настоящее, явь и сон – *многомерность* бытия, этот сегодняшний Маканин, тихо и неуступчиво колдующий над своим тихим и неуступчивым словом, сможет достичь гораздо большего, чем создание удачной «околокафкианской» прозы.

Так почему же все-таки не концерт в Большом зале, а генеральная репетиция в Малом? Не праздничный вечер в пронзительном свете при огромном скоплении народа, а тусклое весеннее утро с хрипылыми гудками и воробьиным чириканьем? И почему же при всем этом – голос Времени (один из его – неподдельных – голосов!), бормочущий, раздумывающий, пришептывающий?

Попробую пояснить это, «подвести итоги».

Центральный герой Маканина, без сомнения, он сам. И характер этого центрального героя до странности точно и полно соответствует некоему собирательному типу современного мужского сознания, возникшего в Советской России за вторую половину пятидесятых и шестидесятые годы.

Люди этого типа (не желая умалить самобытность автора, настаиваю, что их очень много!) сложились как личности в послевоенную эпоху, когда, во-первых, остро свежа была память о войне и самый воздух русской жизни, подобно вате, был густо пропитан кровью, так что мальчики (подчеркнуто говорю о «герое» времени, отнюдь не о «героине»!) вступали в свои юношеские годы под знаком драматической потери, лежащей за спиной, или, говоря маканинским языком, под знаком «утраты», а вскоре их настиг разоблачительный кризис хрущевского времени и тот неверный, сомнительный, шаткий, валкий, но все же ошеломительный для советского сознания период оттепели, когда что-то вдруг задвигалось, забурило, опомнилось, как будто давно выросшего ребенка, туго-натуго спеленутого, высвободили из его пелен и вместо коляски, где он годы пролежал неподвижно, перенесли в «манеж», накидав туда резиновых пищалок.

«...в духе того времени я, как и многие студенты, говорил о последствиях культа Сталина, о том, как много, оказывается, было злоупотреблений властью, что вот Тухачевский, вот Якир и вот прочие, и как хорошо, что всё, наконец раскрылось и справедливость восторжествовала. Я был горяч, порывист и особенно пылко говорил о пострадавших простых людях» («Отставший»).

Кризисный съезд и оттепель, продолжавшаяся столь недолго, были еще одним, не менее драматическим для молодой складывающейся психики испытанием, чем оставшаяся за спиной окровавленная тень войны с ее вечно длящимся результатом – утратой, потому что именно она, оттепель, а еще

точнее – конец ее научили кратковременности всякого «дыхания» и краткоценности самовыражения:

«Да, он был говорун и был смешон, быть может, но он был полон живых мыслей... Да, да, не надо было вам меня останавливать, надо было дать мне остаться тем, что я есть, пусть прожектёром, ведь я только начинал, и со временем бы выяснилось, что начало как начало и что вторых и третьих начал не бывает, начало бывает одно... А всего несколькими годами позднее – в тридцать с лишним лет! – стали появляться эти апатии, эти периодические приступы пустоты. Опустошало и притом каким-то образом совсем не мучило. Казалось, обычное расслабление, я ведь тогда учил языки, читал ночами. Но год от года объяснять самому себе становилось сложнее. И, наконец, однажды я понял, что это вовсе не жажда отдыха и не переутомление, это был уже бич, беда, болезнь. Руки опускались, ни душе, ни уму ничего не хотелось, а было мне только сорок лет» («Один и одна»).

Общественные идеалы были прочно утрачены, да, но оставалась ведь живая душа, требующая пищи. Бога тоже не было: к нему не приучили, его не «привили», но он прорастал в этой душе сам по себе на уровне глуховатого, но настойчивого требования совестливости и сострадания. В «Утрате» есть пронзительно выполненный кусок: герой, еле-еле передвигающийся на костылях, загипсованный, увидел сквозь больничное стекло и несильный дождь девочку, которая из окна дома напротив махала ему рукой и подавала отчаянные знаки:

«Она была худенькая и маленькая, жалкая. Но как помочь, если я даже крикнуть ей не мог, окна нашего коридора никогда не открывались... Все-таки нужно было встать и идти, хоть на костылях спускаться на первый этаж совсем непросто. (Ее немые отчаянные знаки, ее прилипшее к стеклу лицо торопили меня)».

Что же происходит с такой душой?

Готовая погрузиться в апатию, все более и более устальная и одновременно *отстающая* – от чего? Да от суеты, от бесполезного процарапывания, от повседневного эгоистического самоутверждения, обремененная потерей, многослойными обманами, всеми видами «утраченных иллюзий» (в случае русской истории эта традиционно звучащая фраза как нельзя более буквальна и менее всего литературна!), она, эта

душа, строит себя сама и сама свои ценности складывает. Она в процессе, она в движении. Она проверяет себя и с собою разговаривает. Посоветоваться ей – при существующем порядке вещей – не с кем. И не у кого испросить благословения. При этом нельзя не учитывать, что она принадлежит мужчине, выросшему из крепкого несентиментального мальчика, дравшегося по дворам до «первой крови» и изначально обоженного грубым и скудным детством, приучившим к скрытности и подозрительности.

Как ему жить, такому мальчику? Как ему «быть или не быть»? В запасе, впрочем, всегда есть простой выход – цинизм. Всегда не поздно произнести себе, что этот мир ничего не стоит и единственное, что остается, это «пережить свои желанья и разлюбить свои мечты». По этому пути идет, например, герой трифоновского «Дома на набережной», по этому пути идут многие. Не герои литературных произведений. На всех уровнях известности и незаметности, посредственности и таланта.

Есть, как ни странно, в наше оживленное атомное время и другой, я бы сказала, *наглядно российский*, «вечный» вариант Обломова, правда, без Захара, без смешных по масштабам нынешнего века злодеев-Тарантьевых, без царственного покоя родного поместья, но ведь можно, всегда и при всех условиях можно замкнуться, облениться, опуститься как угодно глубоко и каким угодно способом, и тогда душа твоя хоть и не почернеет, как у ставшего циником, но пожухнет, обвиснет, сморщится и требовать будет одного – покоя, плаксиво раздражаясь от его нарушений и инфантильно не справляясь с требованиями пытливой духовной жизни.

И еще один – как в сказке – последний, третий путь. (А на распутье, на развилке кто задерживается? Все ведь, в конце концов, выбирают.) Из «мирных», из «небоевых» (я не говорю о «борцах», диссидентах, это тема особая) остается последний третий путь, самый, на мой взгляд, выматывающий: спасти свою «душу живу», искать «корень», подобно старику Якушкину, «копать». В кромешной тьме. Без надежды на благословение. Без надежды на помощь. Незрячими глазами высматривать Богородицу, перебитыми – ох, да как еще перебитыми руками, – «слышать» под землею золото. Для русского человека типа Шукшина, Высоцкого или Маканина этот путь подразумевает наибольшую меру внутреннего напряжения и

наивысшую меру усталости, потому что он, как правило, не сопряжен с облегчительным выходом в свободное европейское пространство, в некий «космос» (как это случилось, например, с Тарковским, глубоко драматическим, но *иначе* драматическим художником!), на этом пути не существует спасительного обмена опытом, потому что опыта такого еще не было, он — как воронка, засасывающая вглубь, в «слоистый пирог времени», по выражению Маканина, в середине которого тепло, там островок, грибной, малиновый, — детство...

А сейчас? А потом? Как же темно, Господи! И что это над головою? Река шумит. Да, река. И девочка в окне напротив. А может быть, нет никакой девочки? Как это нет? Да вот же она, Неточка Незванова, вечно обиженный ребенок Достоевского, его Нелли, его Полечка, с маленькими жалкими кулачками...

И последнее. Почему именно сейчас мне кажется важным привлечь внимание к прозе Маканина? Ведь сколько превосходных имен: Петрушевская, Приставкин, Каледин, и у каждого своя поэтика, своя боль. Не хотелось бы мне, чтобы создалось впечатление, будто именно эту прозу, глуховатую, камерную, пристальную, я ставлю над другими. Да и Время, скорее всего, многоголосно. Но маканинские на сегодняшний день «привилегии» лежат глубоко в самой природе его творчества, в его «лесковской» обособленности, благотворном «оставании», неторопливой точности и — главное! — к самому себе требовательности. Вот и я задаю ему вопрос: как он слышит сегодняшний день? Что выкорчевывает его лопата в развороченной земле нынешней действительности, в пьянящей бедные головы атмосфере перебродившей свободы? Что ему подсказывают «перебитые» руки?

Колонка редактора

ПОСЛЕ КЁЛЬНА

Если бы мне год назад, да что там год, меньше того, сказали, что такое вообще может случиться, я бы только пожал плечами. Но это все же случилось: в конце июня, в замке Айхольц, принадлежащем фонду Аденауэра, впервые в новейшей истории советские интеллектуалы подписали совместный документ с представителями нашей культурной и политической эмиграции, а точнее, с той ее частью, которая никогда не скрывала своего более чем скептического отношения к политике гласности и перестройки, направляемой и контролируемой сверху.

Действительно, что, к примеру, может быть, на первый взгляд, общего между известным советским публицистом, правоведом Аркадием Ваксбергом и таким непримиримым противником марксистской идеологии, как выдающийся современный историк Абдурахман Авторханов, или блестящим исследователем русской истории конца восемнадцатого — начала девятнадцатого веков Натаном Эйдельманом и одним из лидеров правозащитного движения в СССР Эдуардом Кузнецовым? Еще меньше (и опять же, на первый взгляд) точек соприкосновения у такого безоглядного первопроходца перестройки, как Анатолий Стреляный, и поэта так называемой ленинградской школы Владимира Уфлянда. Да и людей, вроде меня и Георгия Владимова, едва ли назовешь их единомышленниками. Если же прибавить к этому списку Сергея Григорьянца, стоящего в известной оппозиции почти ко всем вышеперечисленным собеседникам, то «Обращение», подписанное на этой встрече, может показаться невероятным.

Но, видимо, процессы демократизации в нашей стране принялись развиваться гораздо стремительнее, чем могли еще вчера предполагать многие даже самые заядлые скептики. Перестройка явно начала медленно, но необратимо выходить из-под бдительного контроля направляющей ее руки. События, случившиеся уже после Кёльнской встречи: шахтерские забастовки, новые законодательные акции в Прибалтике, образование Межрегиональной группы депутатов Верхов-

ного Совета СССР, – лишь подтвердили эту грозную, но обнадеживающую реальность. Подлинная демократия, поддержанная снизу обществом, властно заявляет свое право распоряжаться его судьбой. Поэтому Кёльнское обращение, судя по всему, лишь закрепило на бумаге те цели и задачи, какие поставила перед всеми нами сама реальная действительность.

Можно, конечно, спорить, много ли это или мало, осуществимо или утопично, но важнее, по-моему, что, повторяю, впервые в новейшей истории мы получили уникальную возможность разговаривать непосредственно с тем самым «гражданским обществом», которое, помимо воли сверху, явочным порядком зарождается в нашей стране и которое – и только одно оно! – способно сделать демократизацию в ней по-настоящему необратимой. Повторяю – не с правительством, а с гражданским обществом. Диалог с первым оставим ошалевшим от расистской ненависти западным «знатокам России» и их единомышленникам из числа наших парижских литературоведов в штатском. Упустить эту возможность означало бы с нашей стороны оказаться вообще вне истории, обречь себя на гражданскую и культурную энтропию.

«Важно, – сказал на заключительном заседании Кёльнского клуба Натан Эйдельман, – не то, что написано в нашем „Обращении“, а то, что мы его подписали».

Мне тоже думается, что это самое важное.

До следующей встречи!

Текст обращения Кёльнского клуба публикуется в «Специальном приложении» этого номера.

Наша почта

Уважаемый Владимир Емельянович!

28 сентября прошлого года в «Литературной газете» была опубликована статья (очерк) Олега Мороза «Последний диагноз», вызвавшая многочисленные отклики в советской печати. Началась дискуссия, в которой приняла участие и внучка героя очерка академика В. М. Бехтерева – академик Н. П. Бехтерева. В центре внимания О. Мороза диагноз болезни Сталина, установленный 22 декабря 1927 г. академиком В. М. Бехтеревым, – паранойя.

Проблема, ставшая предметом дискуссии, казалась мне тогда исключительно важной, при этом мнении остаюсь и сейчас. По следам события я написал письмо в ЛГ, наивно надеясь, что оно будет опубликовано. Прошло несколько месяцев (не меньше трех) с того дня, когда я отослал письмо. Ответа не последовало. Шлю его сейчас на Ваш суд. Может быть, Вы посчитаете возможным опубликовать его в Вашем журнале. В текст внесены незначительные стилистические исправления.

С уважением

М. Володарский

15 апреля 1989 г.

Уважаемая редакция!

С большим интересом прочитал статью О. Мороза «Последний диагноз» и хочу высказать несколько соображений, рожденных чтением этой статьи. Не будучи психиатром, не считаю себя вправе судить, был ли Сталин душевнобольным или нет. Но как историк и востоковед хотел бы обратить внимание читателей ЛГ на обстоятельство, которое осталось вне поля зрения О. Мороза и участников дискуссии, вызванной публикацией его статьи. Я имею в виду азиатско-мусульманские стереотипы в поведении Сталина как политика и как человека. Единственный, кажется, кто обратил внимание на эту сторону дела, был Ф. Ф. Раскольников, хорошо знакомый с этикой и моралью правящих элит стран Среднего Востока. Однажды в беседе с кем-то он обронил: «Зелим-хан какой-то!» Стоит вспомнить, что и С. Аллилуева считает, что ее

отец «был азиатом. Я думаю, что в душе он был гораздо ближе к аятолле, чем к Ленину».

Родившись на Кавказе и пройдя курс первых «университетов» в Азербайджане, где влияние политических, моральных и нравственных традиций и обычаев двух крупнейших деспотий мусульманского мира – Ирана и Османской империи – было всегда очень сильным, Сталин впитал в себя квинтэссенцию этих традиций: крайний деспотизм, презрение к человеку, изуверскую жестокость, пренебрежительное отношение к закону. В глазах цивилизованного мира султан Абдул Хамид Второй и Насер эд-Дин шах были уголовниками или в лучшем случае варварами. Уголовником и варваром был и Сталин. Люмпен по рождению, Сталин мог бы остаться рядовым уголовником или в лучшем случае в силу своих незаурядных уголовных способностей стать главарем банды, каких немало было в те годы в Закавказье. По чистой случайности его уголовные наклонности окрасились в политические цвета. Время было такое – политическое. Прав Авторханов, утверждая, что уникам, имя которому сталинизм, родился из амальгамы уголовщины с политикой. И неправ Волкогонов, который, признавая безнравственность Сталина, человека и политика, все же делает упор на политику. Для Волкогонова Сталин в первую и последнюю очередь политик. Политик, презиравший закон, лишенный нравственных устоев, но политик. Это неверно. Сталин был порочной и безнравственной личностью, уголовником по натуре, наделенным качествами политика или склонностями к политике.

Вполне присоединяюсь к мнению О. Мороза о том, что во избежание повторения сталинщины, брежневщины и т. п. состояние здоровья лиц, входящих в высший эшелон власти в стране, должно перестать быть тайной для народа. Когда в 1951 г. 77-летний У. Черчилль вновь стал премьер-министром, он со свойственным ему юмором сказал: «Неужели Англия не заслуживает лучшего премьер-министра, чем такая старая развалина, как я!» Насколько же «империалист» Черчилль порядочнее и нравственнее «марксистов» Брежнева, Андропова и Черненко!

Однако я хотел бы продолжить эту мысль. Наш народ должен быть информированным не только о состоянии здоровья своих руководителей, но и руководителей тех стран, с которыми Советский Союз связывают определенного рода

обязательства. Это беспокоит не только «полноправных» советских граждан, но и таких «лишенцев», как я.

22 декабря 1988 г. в «Известиях» была опубликована статья Д. Вольского, в которой приведены факты (нам здесь давно известные) о том, что два влиятельных в отношении еще недавнем прошлом лидера т. н. третьего мира Иди Амин и Бокасса были: первый – канибалом, а второй – садистом. Правда, ни тот, ни другой в «социально близких» у брежневско-сусловского руководства не числились, но для того, чтобы общественность страны узнала правду даже о них, потребовалось три с лишним года гласности. Сколько же лет еще требуется, чтобы народ узнал о душевной болезни Каддафи, например? Знающие люди на Западе утверждают, что он болен опасной формой паранойи, выраженной в мании расширения его бредовых идей на весь арабский и мусульманский мир. Многие лидеры стран «третьего мира» опасались за свою жизнь, потому что осмелились отвергнуть эти идеи. Может быть, настало время сказать вслух и о тревожных отклонениях от нормы в поведении сирийского «прогрессивного» лидера и близкого друга советских руководителей Хафеза Асада, благословляющего на самоубийство несовершеннолетних. А много ли психически нормальных людей среди руководства еще одной близкой сердцу советского руководства организации – ООП? Ведь прекратись сегодня конфликт на Ближнем Востоке, и завтра они – пациенты психиатров. Их террор есть потребность больной души и воспаленного мозга. Думаю, что не все в порядке с психикой и нравственностью и у лидеров нынешней Эфиопии, вознамерившихся с советской помощью строить социализм в до дикости примитивной и нищей стране.

Была бы советская пресса действительно свободной, читатели узнали бы, что и командиры, и рядовая масса так называемых освободительных армий в Центральной Америке, Южной Африке, на Ближнем Востоке вовсе не стремятся к миру, их цель – не мир, а перманентное состояние войны. Мирный труд их пугает, ибо кончатся многомиллионные подачки из Москвы, Эр-Рияда, Триполи и других источников финансирования международного терроризма. Нашелся и среди советской элиты анфан террибль – Б. Н. Ельцин, нарушивший правила игры и сказавший никарагуанцам в лицо, что они бездельники и голоштанники, не желающие работать и предпо-

читающие миру политический и военный террор. В самом деле, страны Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока изобилуют несметными природными богатствами, а население их нище. И не вина в этом империализма. Хватит повторять эту нечестную чепуху! Маленький Израиль беден природными ресурсами, как церковная мышь, а экспортирует научную мысль и тончайшую технологию и может накормить излишками своей сельскохозяйственной продукции еще несколько таких стран, как он.

Я постоянно задаю себе вопрос: неужели стремление приобрести призрачные стратегические преимущества на Африканском Роге, на Ближнем Востоке, в Центральной Америке и Южной Африке возобладало в советском руководстве над чувством ответственности перед потомством? Неужели латиноамериканские, африканские, арабские страдания терзают руководство нашей страны сильнее, чем саратовские страдания? Не нравственной ли и умственной ущербностью Брежнева следует объяснить тот факт, что именно в годы его правления страна оказалась в особенно неприличной компании: если не псих, то людоед, если не бандит, то вор. Поистине, скажи мне, кто твой друг...

С уважением

М. Володарский, бывший доцент истфака Кишиневского госуниверситета, ныне доктор Тельавивского университета

И еще одно письмо, не напечатанное в советской прессе и переданное автором в «Континент».

КГБ ЗАПРЕТИЛ ЛЕЧИТЬ МОЕГО МУЖА

Мой муж, Андрей Андреевич Кистяковский, профессиональный переводчик англоязычной художественной литературы (в его переводе недавно вышел роман Артура Кёстлера «Слепящая тьма») был распорядителем Русского общественного фонда помощи политзаключенным и их семьям после Сергея Дмитриевича Ходоровича, когда того арестовали. Это и послужило причиной тех событий, о которых я хочу рассказать.

Летом 1983 года Андрею Андреевичу во Всесоюзном онкологическом центре на Каширском шоссе была удалена раковая опухоль – меланома. За несколько дней до выписки ко мне подошел врач из отделения общей онкологии, в котором лежал муж, и сказал, что хочет со мной поговорить. По его просьбе мы вышли на улицу. Вот что он мне рассказал.

По медицинским показаниям, после операции Андрею Андреевичу должны провести курс химиотерапии; но лечить его дальше не будут, так как в Онкологический центр приходили люди из КГБ, знакомились с историей болезни Кистяковского, спрашивали врачей, знают ли они, кого лечат, затем ушли к начальству (директором Центра в то время был академик Н. Блохин, зав. отделением общей онкологии – Трапезников), вот и выписывают теперь без лечения; однако химиотерапия необходима. Мне надо найти возможность провести это лечение; но он мне помочь в этом не может.

При выписке хирург, который делал операцию, сказал мне, что ни дальнейшее лечение, ни наблюдение врача не нужны. Поверить в происходящее было трудно.

К сожалению, провести курс химиотерапии можно было только там, где делали операцию. Я поехала в поликлинику при Онкологическом центре. В регистратуре медицинской карты мужа не было. Я пошла в кабинет, в который он приходил до операции. В тот день прием вел уже знакомый хирург. «Я же говорил вам, чтобы вы больше не приходили», – закрычал он, увидев меня. Я вышла.

Хождения по районным поликлиникам и онкологическим диспансерам, где больные должны состоять на учете после операции и окончания лечения в Онкологическом центре, ни к чему не привели – история болезни никуда передана не была. Я же не могла объяснить, почему моего мужа не лечат там, где должны. Через некоторое время я снова пришла в Онкологический центр. Попала на прием к консультанту. Происходящее объяснила как недоразумение. Консультант поахал и пошел к химиотерапевту. Лечение было немедленно начато. Во всяком случае два курса ему провели. Смотрел мужа и главный специалист по меланоме.

Видимо, люди из КГБ не смогли предусмотреть, что их запрет на лечение мог быть каким-то образом обойден, и ослабили бдительность. Но не надолго. Через полгода боли в спине привели Андрея Андреевича в районную поликлинику. Врач

назначил ему массаж, но, увидев шов от операции, потребовал из больницы, где делали операцию, справку, что против массажа показаний нет. Андрей Андреевич поехал в поликлинику Онкоцентра. Увидев в кабинете знакомого ему специалиста по меланоме, вошел. Врач его посмотрел и попросил приехать жену. Я была больна. С ним поехала наш друг N. Беседу с врачом я передаю с ее слов и разрешения.

Врач: (не поднимая глаз) Очень хорошо, что вы приехали. Мне надо вам что-то сказать. Мы не можем больше его лечить.

N.: Что? Положение Кистяковского так плохо?

Врач: Не в этом дело. Нам запретили его лечить и карточку его изъяли. (Пауза). Вы не представляете, как они на меня кричали и угрожали мне. Они говорили, что я укрываю его от тюрьмы. Не спрашивайте, кто запретил. Я врач. Я человек. Я хорошо отношусь к Андрею Андреевичу. Но ничем не могу ему сейчас помочь.

N.: Что же делать?

Врач: Вы пойдите в Горздравотдел в кабинет №... Там дадут направление в районную больницу.

N.: Но если вам запретили, то и им запретят.

Врач: Нет. Заведующий очень хороший человек.

N.: Вы что-то нашли у Андрея Андреевича?

Врач: Андрей Андреевич должен быть под постоянным наблюдением врача.

N.: Можно мне в Горздраве сослаться на вас?

Врач: Нет, нельзя.

N.: Вы не дадите телефон заведующего?

Врач: Нет.

После беседы надо было что-то сказать Андрею. N. сказала, что его отказываются лечить. Это было понятно и привычно.

Через три года после операции появились метастазы меланомы и рак желудка (независимый от меланомы). Я не знала, насколько пристально КГБ следит за здоровьем моего мужа. Видимо, не знал этого и химиотерапевт, который, когда я пришла к нему за советом – раньше мне показалось, что он похож на врача – сказал, что сразу он сказать мне ничего не может. Он должен посоветоваться, и чтобы я пришла еще раз... Не посмотрит мужа! Нет! Посоветоваться... Я вышла из кабинета. Потом вошла снова и попросила его, если он мо-

жет, забыть про мой приход и ни с кем не советоваться. Я боялась привлечь внимание КГБ.

Я передала свое письмо в журнал «Огонек». Мне его вернули со словами «пускай этим занимается прокуратура». Я не считаю возможным обвинять врачей в потере нравственности – они такие же жертвы, как и их пациенты. Поэтому совет обратиться в органы правосудия, которые зависят от КГБ, как и любая другая организация, звучал как издевательство.

Медицинские документы у нас секретны – я так и не смогла с ними познакомиться. Поэтому о происшедшем свидетельствую только тем, что происходило на моих глазах и свидетелями чему были наши друзья.

Вдова А. А. Кистяковского

М. С. Шемаханская-Кистяковская

НОВАЯ КНИГА!

А. Мирчев «15 интервью»

В книге собраны интервью с рядом наиболее известных деятелей культуры русского Зарубежья и Запада: В. Аксеновым, И. Бродским, Л. Наврозовым, Э. Неизвестным, Н. Макаровой, В. Максимовым, М. Шостаковичем, К. Воннегутом и другими.

15 черно-белых фотографий-портретов.

Издательство им. А. Платонова.

Нью-Йорк. 1989 год

ПАНОРАМА

крупнейшее независимое еженедельное издание
на русском языке

Издается с 1980 года в Лос-Анджелесе

Главный редактор А. П о л о в е ц

ПОСТОЯННЫЕ РУБРИКИ ГАЗЕТЫ

Глобус. Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.

Публицистика. В числе постоянных авторов газеты – обозреватель телевизионных программ ABC, бывший руководитель Информационной службы правительства США Б. Хершензон, известные журналисты русского зарубежья Т. Шуман (Лос-Анджелес), П. Вайль, А. Генис, С. Довлатов, В. Козловский, Б. Парамонов, М. Поповский, Григорий Рыскин (Нью-Йорк), М. Лемхин (Сан-Франциско), Д. Савицкий (Париж), Е. Фиштейн («Европейская хроника»), З. Копелиович (Израиль) и др.

Литература. В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения Василия Аксенова, Юза Алешковского, Эдуарда Лимонова, Саши Соколова, Льва Халифа, А. и Л. Шаргородских и ряда других писателей и журналистов, живущих в США и других странах.

Голливуд. Рецензии на новые фильмы и театральные постановки, интервью с работниками театра и кино, обзоры событий в кинемире США и других стран.

Юмор. В этом разделе публикуются произведения авторов, пишущих на русском языке, а также переводы юмористических и сатирических произведений с других языков.

«Панорама» имеет постоянные представительства
в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

ALMANAC, P. O. Box 480264, Los Angeles, Ca 90048, USA

Прошу подписать меня на газету «Альманах-ПАНОРАМА»
на срок 12 мес. ☐ на срок 6 мес. ☐

Газету прошу направлять по адресу:

Критика и библиография

СЕКРЕТ ЕВГЕНИЯ ПОПОВА

«Мне бы хотелось, чтобы читатель запомнил, затвердил у себя в памяти имя писателя, создавшего этот ключ силой своего воображения: Евгений Попов!» – написал В. Е. Максимов еще в 1981 г. о писателе, которого сейчас уже считают одним из самых современных среди мастеров русской прозы. Спыхватившись, расхваливают и печатают в советских издательствах и журналах рассказы, повести, пьесы писателя, о котором на Западе узнали десять лет назад, с 1979 г. – после выхода альманаха «Метрополь». Евгений Попов был в числе 26 его авторов, а также одним из пяти соредакторов, и его «Чертова дюжина рассказов», опубликованная там, сразу же была с интересом и одобрением отмечена во всех рецензиях на «Метрополь». Ведь, подобно остальным участникам этого издания, Евгений Попов пришел туда уже сложившимся прозаиком, к творческой биографии которого довольно ощутимо прибавился грянувший общеизвестный «метрополевский скандал». Общеизвестный – но о котором, пожалуй, следует напомнить.

Спустя недолгое время по выходе «Метрополя» в Союзе Писателей, куда незадолго до этого был принят Евгений Попов, поднялся привычно-непристойный скандал: обсуждения, осуждение, за этим вслед – публикация подборки «единодушного мнения советских писателей» (она называлась «Порнография духа»). Затем – относительное затишье – и новый виток: Евгения Попова вместе с другим «метрополевецем», Виктором Ерофеевым, исключают из Союза – откуда в знак протеста выходят Инна Лиснянская и Семен Липкин, тоже авторы «Метрополя». Так для Е. Попова наступает «мертвый сезон», – имеются в виду советские публикации... Тем временем на Западе, в издательстве «Ардис» появляется его сборник рассказов «Веселие Руси», а у «Метрополя» рождается как бы младший брат или же племянник – альманах «Каталог», где Евгений Попов – также один из авторов. Не будучи столь громко-неугодным, «Каталог» и оказался одним из тех изда-

Евгений Попов. Жду любви не вероломной. М., «Сов. писатель», 1989.

ний, в которых прослеживалась линия прозы и поэзии, сейчас ставшая особенно явной в творчестве писателей, о которых вчера было известно мало, почти ничего, – странная школа постабсурдизма, процветающая сейчас в особенности в «толстых» провинциальных журналах... В одном из них, в № 10 журнала «Волга», и вышла в конце прошлого года подборка Евгения Попова – первая крупная подборка после «инкубационного» периода с 79-го по 86-й годы... Во время этого издательского застоя и вынужденного покоя вызревал окончательно этот п л ю р а л и с т и ч е с к и й дар Е. Попова, где, как и положено, быть может, для прозы бывшего геолога-сибиряка, оказалось столько напластований, что, кажется, это не один автор, а целый литературный конгломерат – единый и многоликий!

Но для начала, начиная читать эти рассказы, как ни странно, вспомним особый жанр частушки – частушку-нескладуху:

«С печи упала баушка,
Похожа на ружо...»

Первое, что бросается в глаза в рассказах Евгения Попова: шутейное приветствие народного дадаизма. Обычно рассказ начинается у него сдвигом: «Один человек, очень любящий водку, однажды выпивал следующим образом: он купил очень большую бутылку водки, взял стакан и стал пить из бутылки и стакана...» Эта фраза открывает рассказ «Стул Стул Табуретович» из его первого сборника, только что вышедшего на родине, под названием «Жду любви не вероломной». Сборник вышел в Москве (кое-какие из рассказов уже были напечатаны в упомянутом «ардисовском» сборнике...) Заголовки рассказов (еще одна особенность Е. Попова) – словно из сборника сказок Афанасьева: «Отчего деньги не водятся», или «Как съели петуха», «Про Кота Котовича»... И рассказы с такими сказочными заголовками набиты битком фантастическими событиями. Человек изобретает машину, чтобы ею с собственного подоконника в блочном доме жил-массива убрать слишком высокое дерево, портящее, по его мнению, гармонию заоконного «зеленого массива»... Ибо сказка живет в подлинной жизни, жизни современного русского человека – где перемешаны легендарная скудость и таинственная мерзость, где важное смешано с пустяками, вне привычек пропорций. Порою рассказ, начавшийся по обычным канонам, развивается в ошеломляющую фантаσμαгорию.

Рассказ «Дикалон». Два друга-производственника отличаются один от другого лишь тем, что первый пьет обычное пиво, другой же одеколон. „И что ты находишь в этом одеколоне, дурак?“ – говорили ему коллеги. – „Я нахожу в нем все“, – важно отвечал Петров и пил вместо водки одеколон. Однако работал он прекрасно...» И вот эта единственная «барочная» деталь существования Петрова ведет его к гибели: ему не дают первого места в соревновании с его другом – и, опозоренный, он вешается возле Доски Почета... Таков «черный юмор» Евгения Попова, и он часто проявляется с первых же строк рассказа: «Плохо кончилась для старика эта престранная история с самоубийством» («Веселие Руси»). Тут все перевернуто: начало поменялось местом с концом, издевка уступила место сочувствию! (Как будто может для кого-то хорошо кончиться история с самоубийством!) Но самое главное – эта концовка, вынесенная в начало, вроде бы к жизни, идущей в рассказе, и отношения-то настоящего не имеет! Словно это самоубийство – пустяк, не имеющий отношения к сюжету, необязательная деталь... В отличие от Чехова, у которого уж ежели ружье висит на стене, то оно когда-нибудь непременно выстрелит, у Попова это необязательно – но может выстрелить и прохудившийся эмалированный котелок, какой-то продырявленный стул либо сапог... Короче, Попов сделал неожиданное открытие: как и в жизни, в литературе не все события должны непременно рифмоваться. И этот экзистенциальный аспект сразу вырывает его «народные» рассказы-сказки из контекстов российской «провинциальной» прозы – поближе к холодноватому беккетовскому пейзажу... Кстати сказать, похожему внешне на строительно-архитектурный макет: «Прекрасен вид, открывающийся из окна тринадцатизэтажного дома, расположенного в новом микрорайоне. Прекрасная картина, пейзаж прекрасен и доступен взору хотящего его. Громады тринадцатизэтажных домов, убегающих по горизонтали к горизонту, по вертикали – в небеса. Прекрасен. Нет, серьезно. Прекрасно! Прекрасно любоваться прекрасными пейзажами природы пополам с современной жилищиндустрией», – так пишет автор, посвящая чуть смущенно в детали кошмарного на самом деле существования людей, обитающих там и не замечающих того: страшная грязная лужа, мешающая попасть в «блочный рай», не извозившись, – из-за этого один из героев, нечаянно проходя по территории музыкальной школы, услышал музыку,

исполняемую на электронном баяне; и от этого нечаянного соприкосновения с чем-то похожим на искусство, он способен проклясть жизнь, дом – все! Так на невинный быт – вне категорий добра и зла – вторгается порча: музыка, укравшая невинную тупость, давши взамен лишь страдание. А ведь как было хорошо! Как торжественно говорилось в этом искусственном мире о пустяках! Вот **ВЫВОД И МОРАЛЬ** из рассказа «Нет, не о том» («Волга» № 10, 1988): Если вы потеряли ботинок или у вас украли лису или вообще все, поздно мучительно думать о том, кто прав в этом мире, кто виноват и что делать...» Естественно, о такой жизни и говорится зачастую советской скороговоркой, набитой штампами, щедро усыпанной вязью бухгалтерских цифр, никому не нужных дат, немыслимых фамилий, названий пригородов и городков... Весь этот абсурдно-абстрактный мир описан с применением всех стилей – от сентиментализма в духе Карамзина вплоть до легендарного советского «дубового языка», из которого чудаеса лепили еще Зошенко и Платонов...

Тебе выбрасывают, ошеломляя, пригоршней все это, спеша сказать все как есть, скороговоркой... Все как есть? А не похоже ли эта словоохотливость на обман – на первый взгляд, сказать все, с тем чтобы утаить главное? И где оно, главное, и отчего автор тебя обманывает?

Читатель остается чуть не обиженным – глумится над ним, что ли, автор? И где ловушка? А может, она и заключается в том, что ее на самом деле – нет? И, ошеломленный, читает он, читатель, названия рассказов, вроде: «За жидким кислородом», «Отрицание жилета», «Хорошая дубина»...

Подобная чертовщина, обрядившаяся в наивную прозодежду, – отрицает и высмеивает само умение пародировать и иронизирует над самой иронией, к которой мы так привыкли, что без ее приправы уже и не можем переварить ни один литературный пирог, заваренный на дрожжах общественной пользы...

И стоит лишь испугаться – видишь, маски-то вовсе нет. Есть просто рассказчик-автор – вот он, в виде персонажа в его новой книге, – художник Сергей Семеной, видно, друг-приятель, создал несколько нежных шаржей-иллюстраций: на пизанском сооружении из стульев, бутылок, стаканов – босой; охотник с колесом от телеги на плече... странник с пойманными собачками, привязанными к посоху, – на голове поярковая шляпа с зеленой веткой.

И постепенно начинаешь понимать, что все это – и проза вроде бы как у деревенщиков, и «исповедальная» – в стиле писателей поколения 60-х, и народная вязь – все это т а к и е с т ь – только на другом витке...

Но, не успев понять это, опять натыкаешься на ловушку: ведь эпический рассказ всеми этими стилями на самом деле – ни о чем, о каких-то неважных домашних историях, нарочно выхваченных из жизненного контекста. И, обомлев, читатель сомневается: а имеет ли право отражаться в литературе такая реальность? Но ведь отражается же!?

А как бы посмотрели Эсхил и Расин на творца Акакия Акакиевича?

И – новая злая шутка: раз этот лишенный литературной логики мир имеет право на существование, существует – значит, он – настоящий, в котором ты живешь. И, отрицая написанное, ты вычитаешь настоящий мир из себя самого!

Ты – необязательная деталь в мире, где ты не можешь не ощущать себя центром вселенной. А уж не борется ли автор с человеческой гордыней?!

А что, если он хочет научить тебя любить ту взвесь мелочей и пустяков, из которой и складывается на самом деле наша настоящая жизнь? Не великие страсти, а повседневность способствуют добыванию общечеловеческой морали буквально из всего (так народные умельцы могут выгнать из чего угодно самогон). И тогда до тебя доходит, что этот мир микрорайона, заменившего зощенковскую коммуналку, описан с теплом и жалостью к тем, кто имеет право на самое пристальное внимание, – к современным маленьким людям. «Человеку иллюзия нужна, а не свобода, – говорит один из героев В. Попова. – Дай нашему столяру иллюзию, и он будет рад и доволен. А дайте ему свободу – он разрушит все и в первую очередь самого себя...»

Что и делает Евгения Попова, по словам Василия Аксенова, его соратника по «Метрополю», писателем близким «к мировой культуре супер-реализма, к европейской классике и русскому авангарду».

Как говорится в одном из рассказов Е. Попова:

«И совершенно очевидно, что несмотря ни на что все вокруг полно абсолютной гармонии».

Кира Сапгир

МИХАИЛ БУЛГАКОВ, ЖИЗНЕПОВЕДЕНИЕ

«Булгаков никогда не выдвигал и не защищал антисоциалистических идей...» – пишет Фазиль Искандер в предисловии к этой книге. Выходит, что как полная научная биография Булгакова, так и сам писатель все еще нуждаются в щитках прикрытия. Думаю, что Мариэтта Чудакова, много лет занимающаяся Булгаковым и наконец выпустившая это «Жизнеописание», ни на подступах к книге, ни в ходе работы над ней не ставила себе вопроса: «А что, если Булгаков выдвигал и защищал антисоциалистические идеи? Как бы это скрыть?» При этом «антисоциалистические» можно заменить на что угодно, скажем, на «социалистические» – в конце концов, мы дожили до такого времени, когда это серьезней компрометирует.

Для автора книги вообще нет вопроса о том, чтобы что-либо скрыть, – задача, наоборот, в том, чтобы раскрыть предельно все: каждый жизненный виток, историю каждого произведения и каждую грань мировоззрения писателя. С этим последним особенно нелегко, ибо Булгаков крайне редко что-либо напрямую «выдвигал» и «защищал». «...мы пишем о человеке, – говорится в авторском предисловии, – который почти не оставил прямых высказываний на важные для каждого биографа темы – от политических до религиозных. (...) Все, что относится к тому, что называют взглядами человека, биографом Булгакова должно реконструироваться только по косвенным данным. В этом смысле особенно драгоценны были материалы, связанные с детством и отрочеством – временем формирования личности».

Первая глава книги «Киевские годы: семья, гимназия и университет. Война. Медицина. Революция» поэтому представляется наиболее магистральной (не «лучшей» – о «лучших» главах в этой замечательной книге говорить не приходится): в ней наибольшее число ранее неизвестных свидетельств, проливающих свет на формирование будущего писателя и атмосферу, прежде всего семейную, в которой оно проходило. Булгаков-гимназист и студент, по всем свидетельствам, стоял в стороне от общественной жизни, не принимал

М. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., «Книга», 1988.

участия в различных кружках и сходках (хотя в гимназии был активным участником, а то и заводилой всяческих авантюр, вплоть до драк), придерживался достаточно правых, без черносотенства, но и не скажешь право-либеральных, взглядов. Мариэтта Чудакова, представляя читателю обширный свод свидетельств, не лишает себя права делать открытые и важные выводы (иначе получилось бы не «жизнеописание», а что-нибудь вроде «жизни в документах и воспоминаниях»). Оценивая это, как выразились бы в наше время, «антиобщественное» поведение юного Булгакова, она пишет:

«Давно уже стало наивным представление о том, что большой писатель всегда, в любой момент своей жизни тяготеет к «левому» краю общественных умонастроений. Биографии великих предшественников Булгакова, русских писателей XIX века, показывают, что нередко дело обстояло далеко не так (...). Но Булгаков, в отличие от них, все еще никак не завоеует в нашем общественном сознании право иметь свою собственную, а не чью-нибудь чужую биографию. Его современники нередко старались ухудшить его анкету, сегодняшние поклонники стремятся ее „улучшить“.

Современному читателю, пожалуй, особенно трудно понять (и потому тяжело принять), что быть в стороне от общественно-политической активности вовсе не означало сразу оказаться на некоем противоположном этой активности полюсе, застыть на какой-то одной, заранее определенной точке. Спектр возможностей при таком отстранении был достаточно широк, и одной из них была жизнь частного лица, оберегающего свою независимость и при этом отнюдь не стремящегося противопоставить или навязать свой способ существования тем, кто живет и действует иначе. Желание противопоставить являлось лишь в моменты обострений, когда такое жизнеповедение уже нуждалось в защите».

Это рассуждение отнюдь не отвлеченно – и не только потому, что тип «жизнеповедения» Булгакова обоснован предыдущим описанием его детства и юношества, но и потому, что он подтверждается дальнейшей его жизнью и, следовательно, дальнейшими главами «Жизнеописания». Менее всего стремится М. Чудакова «улучшить» биографию Михаила Булгакова – с какой бы точки зрения такого «улучшения» ни жаждать. Тех, кому хотелось бы видеть в Булгакове белого рыцаря без страха и упрека, может покоробить подчеркнутое

повторение – почти лейтмотив главы «Первые московские годы» – слов Булгакова из письма к матери о поставленной им задаче «в 3 года восстановить норму – квартиру, одежду, пищу и книги». Но писатель и сам это тогда определил как «свою *idée-fixe*» и в том же письме заявлял: «В числе погибших быть не желаю», – и еще более неприятными для ревнителей чистоты словами: «...идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни». А автор книги, вместо того чтобы «тактично» пройти мимо, цитируя это, еще и выделяет слово «приспособление».

Другое дело, что у Булгакова «приспособление» и борьба за выживание имеют, оказывается, совершенно четкие, непреодолимые границы. В книге М. Чудаковой это показано ясно и детально: «признав» советскую власть, Булгаков, «частное лицо», не капитулировал. Автор приводит свидетельство ученого, «принадлежавшего к поколению старше Булгакова» (написано в 60-е годы): «Старая русская интеллигенция несколько лет после окончания гражданской войны жила иллюзией недолговечности советской власти, а когда эта иллюзия кончилась, оказалось полное моральное опустошение. Поэтому они пошли на гораздо большую капитуляцию, чем те, для которых с самого начала советская власть не была призраком». Для пережившего первые годы гражданской войны в Киеве, обстрелянного в боях на Кавказе военврача Добровольческой армии Михаила Булгакова (скрывавшего в те годы свою профессию и ставившего в анкетах: образование – среднее) «советская власть не была призраком» и не стала крушением иллюзий, приводящим к полному краху, к распаду личности и к капитуляции. Можно сказать, что первые московские годы (те самые «3 года») он посвятил тому, чтобы хорошо окопаться, а затем до конца жизни вел позиционную войну, с большим или меньшим успехом отражая непрекращавшиеся атаки на свои позиции «частного лица», т. е. творчески независимого писателя.

«Улучшения», о которых упоминает сама М. Чудакова, – скорее просоветского типа, вроде приведенной нами, почти трогательной фразы Ф. Искандера. Казалось бы, после выхода ее книги, где жизнь Булгакова прослежена настолько тщательно, насколько это возможно, некоторые вещи уже нельзя будет повторять. Однако нет. В изданном уже совсем недавно сборнике писем Булгакова (Михаил Булгаков. Пись-

ма. Жизнеописание в документах. М., «Современник», 1989) автор вступительной статьи справедливо отмечает, что сестра писателя, публикуя его письма в 1976 году, «по охранительным соображениям» сделала купюру – «не решилась оставить те фразы, которые свидетельствовали о мыслях М. А. Булгакова покинуть пределы России», и в этом издании купюр уже действительно нету. Однако в той же статье, несколькими страницами дальше, автор пишет: «Булгаков не побегал вместе с белыми из Владикавказа, он остался в надежде, что его не тронут: его участие в белом движении в качестве военного врача было кратковременным и не принципиальным». Из книги М. Чудаковой, которая для этого периода широко пользуется материалом своих встреч с первой женой Булгакова Т. Н. Лаппа, явствует, что обстоятельства были отнюдь не таковы: «не побегал» он из Владикавказа, потому что лежал в тяжелейшем тифу, при смерти. «Потом он часто упрекал меня, – рассказывает Т. Н. Лаппа, – „Ты – слабая женщина, не могла меня вывезти!“ Но когда мне два врача говорят, что на первой же остановке он умрет, – как же я могла везти?» Участие же Булгакова в белом движении, хотя и было сравнительно кратковременным, никак нельзя считать не принципиальным. Именно в это время Михаил Булгаков начинает печататься. Пока найден один его газетный фельетон – «Грядущие перспективы» («Грозный», 13/26 ноября 1919), републикованный в последние годы и в советской, и в эмигрантской печати и не оставляющий места для двусмысленных толкований. Не исключено, что это была не единственная публикация тех времен. Т. Н. Лаппа вспоминает (цитируем по книге М. Чудаковой): «В это время как раз приехали коммунисты, какая-то комиссия, разыскивали белогвардейцев. И я слышу, как кто-то говорит: „Вот этот печатался в белогвардейских газетах“». Вряд ли эта реплика доносчика во Владикавказе была результатом публикации одного-единственного, подписанного инициалами фельетона в Грозном.

С начала и до конца книги перед читателем, слава Богу, не встает наивный вопрос: «Любит ли автор писателя?» – хотя, наверное, любит. Однако как подлинный ученый М. Чудакова прежде всего любит истину и восстанавливает ее во всей полноте сбором свидетельств и глубоким их анализом. Можно думать, что в наши дни Булгаков уже не нуждается в защите (разве что, и вправду, от поклонников) и сам за себя постоит.

Поэтому «Жизнеописание» не выдержано в адвокатских тонах, еще недавно почти обязательных для тех, кто писал о претерпевших советские гонения. Другое «отрицательное» достоинство книги – то, что М. Чудакова ни на минуту не позволяет увлечь себя на путь «романизированной биографии». Это не означает, что в книге нет догадок и прозрений, идущих по-тыняновски «за» и «сквозь» документ, однако каждый раз это сопровождается суждениями и подтверждениями типа: «Для обоснования нашей дальнейшей гипотезы напомним, что...», «Можно представить себе, с каким чувством прочел Булгаков в эти дни письмо...», «Представить состояние, в котором находился Булгаков, помогает печать этого времени» и т. д. – многообразные способы работы с косвенными доказательствами, когда нет прямых, приносят убедительные результаты. Автору чужда наивная уверенность составителей вышеупомянутого сборника писем, публикующихся «в достаточно полном их объеме», что такая публикация способна стать «жизнеописанием в документах» (кстати, не исключено, что это слово было выбрано как скрытая полемика с книгой М. Чудаковой): даже в лучшие времена не вся жизнь отражается в документах (о чем писал еще Тынянов), а в такие, в какие довелось жить Булгакову, значительная часть писем не сохранилась – в огне ли гражданской войны, уничтожаемая позднее в ожидании ареста или конфискованная при обыске, в сохранившихся же слишком многого нельзя было написать.

Говоря об этой книге, мы затронули всего лишь несколько важных ниточек, проходящих через нее. Так, в стороне осталась вся история создания самих произведений Михаила Булгакова. Но оставим читателям наслаждение самим, вслед за автором, проследить эту, несомненно, главную тему книги – разочарование их не подстерегает.

Н. Горбаневская

РАССКАЗЫ О АННЕ АХМАТОВОЙ

Хорошо известно негодование Анны Андреевны Ахматовой по адресу всевозможных, имеющих до нее дело, историкографов от литературы, примитивной ли классификации ради упрямо и однозначно увязывавших ее личность и творчество с десятилетиями столетия. К сожалению, эта дурная традиция не оборвалась и после кончины Ахматовой.

До последнего времени это можно было объяснить отчасти очевидным засилием посвященной этому периоду мемуаристики; сороковые–шестидесятые годы, когда ею были созданы, по всей очевидности, наиболее значительные произведения, просто еще не успели стать историей. Кроме того, табу, снятое с акмеизма еще в период раннего хрущевского реабилитанса, по сути никогда больше не восстанавливалось, в то время как в поэтических судьбах 30-х, 40-х, 50-х, да и 60-х годов оставалось еще очень много такого, о чем отечественному читателю предоставлялось только догадываться, а еще лучше и вовсе не знать.

Поэтому, если не считать напечатанных там и сям, описывающих и осмысляющих скорее эпоху, чем личность поэта, отцензурированных и сочиненных в пику не только цензуре, но и здравому смыслу воспоминаний, новая книга Анатолия Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой» (журнальный вариант появился в трех первых номерах «Нового мира» за этот год) не просто информирует, она, претендуя не без основания на беспристрастность, создает облик поэта-патриарха, одного из уцелевших свидетелей былой культуры, сознательно или нет, но осуществляющего возложенную на него миссию, восстанавливающего связь времён.

При этом становится понятным и вышеуказанное отношение Ахматовой к себе и к своему творчеству начала века: слишком уж несопоставимы в своем общечеловеческом значении образ поэта-наставника, носителя системы ценностей, проверенной на всех по сей день мыслимых кровавых умопомрачениях все еще продолжающейся эпохи, и образ полубогемной поэтессы, пусть даже стяжавшей определенную славу во времена неповторимо прекрасные, но ушедшие навсегда.

Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Москва, Изд. художественной литературы, 1989.

Как нельзя более удачно и название, данное Анатолием Найманом своим перемешанным со сдержанной конструктивной критикой воспоминаниям. Это именно «рассказы», поэтика которых обусловлена более желанием поделиться мыслями и авторским отношением к фактам и событиям, нежели фактами и событиями как таковыми, с соблюдением хронологии или всеопределяющим отказом от нее. Это рассказы, которые заинтересованный читатель волен выслушать в несколько располагающих к тому вечеров, ибо нелегко вообразить себе человека, который проглотил бы книгу Наймана в один присест, – и это, наверное, хорошо.

«...идя на Красную Конницу (улица, на которой жила Анна Ахматова. – А. Б.), я ждал встречи с великой, несдавшейся, легендарной женщиной, с Данте, с поэзией, с правдой и красотой – встречи, которой „не может быть“, – и эта встреча случилась. [...] Как и все, чьи первые визиты к ней я наблюдал потом, я, по позднешему определению Марии Сергеевны Петровых, „вышел шатаясь“, плохо соображая что к чему, что-то бормоча и мыча». Так, указав в начале своего повествования лишь на одно из возможных следствий ахматовского излучения, а не на его неподдающуюся определению суть, и далее перемежая повествование чисто литературоведческими выкладками, Анатолий Найман прежде всего занят тайной Ахматовой-человека, а уж потом проблемами Ахматовой-поэта. Разрешить эту тайну ему, разумеется, не удастся, но то, испытанное некогда Найманом ошеломление внимательный читатель может понять и оценить вполне.

По-своему замечательны и отдельные переданные автором эпизоды, в общем лишь дополняющие, в своем характернейшем противоречии, устоявшуюся в среднем читательском сознании монументально-трагическую позу Анны Ахматовой: например, чулок, регулярно спадающий во время ее прогулки под руку с молодым человеком Анатолием Найманом, плюс последовавшее через некоторое время (между прочим) определение того дня: «когда с меня спадали одежды»... – или неудавшаяся попытка вдруг заговорить с ним же по-английски (им по инерции поддержанная!), ахматовский сарказм.

Весьма интересна введенная в книгу оглядка на ахматовские истоки: наймановский комментарий к отзывам Ахматовой о Чехове. Причем можно сказать с уверенностью, что когда-нибудь момент преображения совершенно чеховской

скучающей провинциалки Анны Горенко, которой после сытного обеда объясняются в любви, в лирическую героиню «Сероглазого короля» станет объектом интереснейшего исследования. «Пошлость победила меня», – повторяла она слова Пастернака, услышанные от него в их последнее свидание; он сказал: «Пошлость победила меня – и там и здесь», и далее Анатолий Найман, хоть и в ином контексте, приводит примеры, самым удручающим образом подтверждающие это заявление: это и организованное Ахматовой в виде вельможного приема торжество над состарившейся за истекшие полвека соперницей, чем-то в том же роде припахивает и ее встреча с Робертом Фростом, разговоры о «нобелевке». Но представляется уместным спросить: кто из всерьез состоявшихся властителей дум не мог бы сказать того же о себе?! И все же глагол «победила» выглядит явным преувеличением – наверное, следовало бы заменить его на «пошлость окружала меня», да и то лишь временами, когда искушение превратиться на миг из некогда оплеванной и оболганной в торжествующую и владычествующую брало верх над здравым смыслом, над очевидной бессмыслицей и суетностью этого акта.

Может быть, в первую очередь спокойное, исполненное бесконечного доверия отношение автора к медленно, но верно становящейся преданием собственной юности позволило ему рассказать о сложившихся ее обстоятельствах и об их участниках (Бродском, Бобышеве, Рейне) так, что подобные приведенным выше, несколько рискованные подробности оказываются вполне уместными, и уж совершенно невозможно заподозрить автора в преследовании каких-либо личных или цеховых интересов. Вероятно, как раз благодаря этому Найман и сумел очень хорошо, по-живому описать ахматовское окружение: от тончайшей, мудрейшей Раневской до случайного юноши-почтальона, поинтересовавшегося у сидевшего на скамейке рядом с Ахматовой Наймана: «Вы Бродский?»

О влиянии Ахматовой на своих «сирот»: какими бы словами, пусть даже вложенными в уста самой Ахматовой, оно ни определялось, совершенно ясно, что о поэтической школе, о наставничестве гумилевского типа не может быть и речи, – характер этого влияния был в первую очередь нравственный, а уж потом равноправно-эстетический, в подтверждение чему хочется привести слова Бродского о том, что, общаясь с Ахматовой, молодой человек скорее становился христианином, чем

от чтения евангельских и прочих текстов. В увидевшем свет вскоре после журнальной публикации отдельном издании книги о христианстве Ахматовой великолепно сказано в приложенном к основному тексту поминальном слове протопресвитера Александра Шмемана.

Кстати, среди прочих внесенных Найманом под книжную обложку приложений поразительно скучна и манерна ранняя критика ахматовской поэзии. Так, например, пространная статья Недоброво чуть ли не диссонирует с приведенной в основном тексте высокой оценкой его личности. В какой-то степени это следствие литературно-критических замечаний самого Наймана по поводу Ахматовой эпохи «Вечера» и «Чётки», после которых очерки Кузмина, Гумилева и Недоброво тянут лишь на давно скончавшийся документ. Более серьезным редакторским недоразумением выглядит отсутствие в книге именного указателя, без которого работать с книгой на уровне, которого она заслуживает, крайне неудобно.

Подытоживая сказанное, следует признать, что на сегодняшний день с книгой Анатолия Наймана, хотя бы того или не хотя бы, приходится считаться, как с одним из самых капитальных трудов в ахматоведении, а если уж есть необходимость в сравнении, то в абсолютной историко-критической перспективе она, пожалуй, вполне сопоставима с таким исследованием, как анненковские «Материалы для биографии Пушкина», в выгодную сторону отличаясь от них тем, что это материалы, переданные – как рядовому поклоннику поэзии Ахматовой, так и специалисту по ее творчеству – из первых рук.

Андрей Бородин

По страницам журналов

ПОД ЗНАКОМ СТРЕЛЬЦА

(Альманах «Стрелец». № 1. Нью-Йорк, «Третья волна», 1989)

«Стрелец» стал альманахом. Итак, перед нами его первый номер уже в новом качестве. Сохранились, как сообщается от редакции, его прежние рубрики и даже добавилась новая – «По страницам советской прессы».

Почему альманах, а не журнал? Для эмигрантского издания вопрос, пожалуй, ясный – недостаток средств. С этими трудностями приходилось сталкиваться с первых дней существования «Стрельца» (журнала).

Рассказывая его историю, главный редактор Александр Глезер не без иронии отмечает: «Может быть, комично об этом говорить, но последние четыре месяца в Америке я обедал четыре раза в неделю и даже не курил», чтобы восполнить «копилку» для журнала.

«Стрелец» как журнал просуществовал пять лет. Произведения эмигрантской прозы и поэзии, а также писателей и поэтов из России, уживались под зодиакальным знаком Стрельца. Согласно древнему астрологу, о котором говорит Вадим Крейд, приветствуя альманах, «сей знак по своей природе всеобщий и гибкий, мужественный и огненный, им правит Юпитер, сам же он управляет кровью, способствуя ее обновлению».

И вот вам пора обновления: здесь, вероятно, авторы из России представлены гораздо шире, чем в журнале (правда, должна оговориться, в основном в критике и публицистике). Принцип альманаха – широта и многообразие. Страницы его предоставляются авторам часто противоположных взглядов, тех, с которыми, порой, не соглашается и сам главный редактор: лишь бы было талантливо.

С обложки на нас смотрят: А. Солженицын (материалами международной конференции в русском литературном центре «Стрельца» в Нью-Йорке отмечено семидесятилетие писателя), В. Набоков (его рассказ «Знаки и символы» – одна из интереснейших публикаций литературного архива), В. Максимов (альманах публикует главу из нового романа «И Аз воздам»), Генрих Сапгир (поэтические этюды в манере

Огарева и Случевского). Но не только этими именами представлена поэзия и проза.

Читатель найдет здесь рассказы Юрия Мамлеева, повесть Аркадия Бартова, отрывок из романа Сергея Юрьенена, а также эссе Василия Аксенова, Бориса Тираспольского; в поэтическом разделе – стихи Юрия Кублановского, Дмитрия Бобышева, Татьяны Щербины.

Сегодняшний советский читатель (а, наверно, не исключение и зарубежный) раскроет прежде всего литературный архив альманаха: то, что стало классикой, вызывает устойчивый и несомненный интерес. Мы уже назвали рассказ Набокова «Знаки и символы»: написанный по-английски, этот рассказ впервые опубликован в русском переводе. Но здесь также два забытых рассказа: «Эллис» – Георгия Иванова, помеченный 33-м годом и, по всей видимости, публикуемый впервые, и «Ночное путешествие» – Юрия Анненкова, опубликованный в 1945 году в сборнике русских писателей во Франции «Встреча».

Читая альманах, мы читаем время: 80-е годы, их связь с прошлым, – это «капсула времени», по замечанию Вадима Крейда в том же приветственном слове.

То, что литература неделима, на Западе знали всегда. В Советском Союзе поняли только сейчас. Этот факт осознания непреложной истины нашел свое отражение в альманахе. «Стрелец» гостеприимно распахнул свои страницы перед критиками и исследователями из Советского Союза. Вряд ли читатель пройдет мимо обзора бестселлеров советской прозы, сделанного Натальей Ивановой, а также мимо выступления в Сорбонне Натана Эйдельмана, в котором историк прослеживает «перестроечные» циклы при Иване Грозном, Петре Великом, Александре Освободителе, при Хрущеве, а ныне – при Горбачеве.

Под рубрикой «Изобразительное искусство» А. Глезер делает обзор огоньковских публикаций раздела живописи: в последние годы «Огонек» постоянно «обращается к творчеству художников, которых совсем еще недавно называли неофициальными, клеймили как формалистов, а их картины давили бульдозерами». Как пишет Глезер, «гонимые тридцать лет художники ...стали известны миллионам и миллионам людей, обрели всесоюзную аудиторию».

Своему принципу широты и многообразия «Стрелец» остался верен и в новом качестве. В кратком отзыве нет возможности отразить не только многообразие точек зрения, позиций и мнений, но и назвать имена всех авторов. Что же касается другого принципа «Стрельца» – талантливости произведений, то, нам представляется, –

редакция могла проявить больше строгости в подборе современной прозы, а в особенности, поэзии. Проиграл бы при этом альманах в объеме, но зато неизмеримо выиграл бы в качестве.

Ольга Миронова

«НА КРУГИ СВОЯ»

(Обзор журнала «Народ и земля»)

По числу русских периодических изданий за пределами России на первом месте стоит Израиль. Ежедневной газеты здесь, правда, нет, но еженедельников – пять, а всего журналов и газет – двадцать. Самый «толстый» из них – альманах «Народ и земля», он же и самый представительный внешне – глянцевая обложка, великолепная бумага, прекрасная печать, черно-белые иллюстрации и цветные вкладки.

Задумывался «Народ и земля» как ежеквартальник, но выходит реже – восемь номеров за три с половиной года. Тематику определяет подзаголовок – «журнал еврейской культуры». Культуры в широком смысле – от стихов и прозы до археологии, философии и изобразительного искусства. На русском языке журнал рассказывает о богатстве еврейской культуры, где бы она ни создавалась, и география журнала – весь еврейский мир.

В каком-то смысле «Народ и земля» напоминает «Иностранную литературу», только здесь «иностранцы» – авторы разных стран, рассказывающие о своих соплеменниках или соотечественниках-евреях – их судьбах, быте, бедах, надеждах, радостях, о поисках ими самих себя. Для редакции важно не «анкетное» происхождение автора, а круг его интересов, его взгляд на судьбу еврейского народа «со стороны» или «изнутри».

Взгляд «со стороны» присутствует и в стихах сербского поэта Александра Петрова, и в работах русского историка Ивана Мартынова, и в уже объявленных переводах с испанского выдающегося аргентинского прозаика и поэта Хорхе Луиса Борхеса.

На первом месте среди «иностранцев» авторы из Израиля – центра еврейской духовной жизни, чья культура продолжает оставаться «терра инкогнита» – неведомой землей для читателей в СССР. Правда, знакомство с ней не влечет теперь уголовной или административной ответственности, но практически оно почти так же невозможно, как прежде: книги с иврита не переводятся, не устраиваются выставки, не

приглашаются гастролеры. Даже «Народ и земля» – «журнал еврейской культуры», не касающийся политических проблем, в СССР допускается выборочно. Во всяком случае, предпоследний, седьмой номер, который я послал с израильскими журналистами, поехавшими на международную книжную ярмарку в Москву, был изъят на шереметьевской таможне. Как потом выяснилось, из-за публикации мемуаров Иосифа Менделевича «Операция „Свадьба“», автор которых на первом ленинградском «самолетном» процессе в 1970 году был приговорен к 15 годам лишения свободы, а в 1981 досрочно освобожден и теперь руководит иерусалимским Центром информации о советском еврействе и учится в раввинской академии.

Знакомство с культурой Израиля журнал начинает с далекой эпохи – в статьях об истории, археологии, географии Эрец Исраэль (библейской Страны Израиля) и в переводах на русский язык величайших литературных памятников Средневековья – поэзии Ибн-Гвириля (перевод М. Генделева), а-Нагида, ибн-Эзры, аль-Харизи (перевод Г. Бена).

Журнал переводит с иврита на русский язык и авторов, творивших в новейшее время за пределами Израиля. Среди них Давид Фогель, который жил в Вене, Берлине и Париже и погиб в лагере смерти в 1942 г. Его единственная книга вышла в 1923 году – пророческая книга страдания, ужасов и боли. Или авторы, жившие в России и писавшие на иврите без надежды на публикацию: Хаим Ленский, дважды осужденный и погибший в Сибири, где он перевел на иврит народный эпос манси «Книгу тундры» (Ленский писал Горькому: «Я поэт, и мое единственное преступление – книги на иврите»), Цви Прейгерзон, выдающийся ученый, автор 60 научных трудов, воспитатель нескольких поколений горных инженеров, талантливый писатель на иврите, прошедший семь лет в ГУЛаге.

Но прежде всего «Народ и земля» знакомит читателей с современной израильской литературой – прозой Давида Шахара, Йорама Канюка, Аарона Амира, Давида Гроссмана, Шуламит Арэвен, поэзией Иегуды Амихая и Бен-Цви Томера... Если еврейской национальной культуре уже четвертое тысячелетие, то собственно израильская литература – почти ровесница нашего века. В сегодняшнем Израиле творят четыре поколения писателей – те, которые начинали в догосударственный период – уроженцы стран диаспоры, поколение войны за Независимость, поколение, которое принято называть «новой волной», торопившееся разделить понятия «израильтанин» и «еврей», и поколение, вступившее в литературу в 60-е и последующие годы, которое пытается вновь обнаружить как связи, так и контрасты

между каждодневным бытием еврейства в рассеянии и жизнью современного израильтянина: общее и различное в их мировоззрении, взглядах и поведении. Русскоязычному читателю особенно интересен этот резкий переход от гонимого меньшинства к господствующему в своей стране большинству, смена традиционных занятий, изменение прежнего уклада жизни, взаимодействие выходцев из разных стран. Восемь номеров «Народа и земли» недостаточно для публикации произведений, дающих ответы на все вопросы, но опубликованное показывает, что израильская литература в лучших своих образцах достигает уровня наиболее развитых литератур современного мира. Это и делает альманах «Народ и земля» «иностранной литературой» не только для русских евреев, но и для всех читающих по-русски – их интерес определяется качеством литературы. То же относится к многочисленным цветным вкладкам – репродукциям произведений израильского изобразительного искусства, осваивающего новый материал с помощью зрительных образов: израильская художественная традиция, создавая свои эстетические ценности, становится частью мировой художественной культуры, а о том, как это происходит, в каждом номере рассказывают очерки талантливого искусствоведа Иосифа Лещинского.

Журнал «Народ и земля», посвященный исключительно вопросам культуры, мог бы в период «гласности» издаваться и в СССР, но еврейская культура там из запрещенной стала полужапперенной и поддержкой государства не пользуется. Поэтому такой журнал может издаваться только за пределами СССР.

Единственный официальный еврейский журнал – орган Союза писателей «Советиш геймланд» («Советская родина») выходит на языке идиш. Любопытный парадокс: пока на этом языке существовал массовый читатель, культура на идиш уничтожалась. Даже еврейские шрифты были изъяты и переплавлены, и в начале 60-х годов, когда под давлением мирового общественного мнения ЦК КПСС решил издавать «Советиш геймланд», случайно уцелевший шрифт удалось обнаружить в Вильнюсе. Теперь, когда читатель на идиш в СССР практически исчез – школ на этом языке не существует полвека, и самиздатские еврейские журналы печатаются по-русски, «верный проводник политики советской власти во всем, что касается статуса и проблем советского еврейства» (так назвал на страницах «Народа и земли» главного редактора «Советиш геймланд» А. Вергелиса заведующий кафедрой литературы на идиш иерусалимского университета Хоне Шмерук) объявил, что «культура может рождаться только на национальном языке». На первый взгляд требование справедливое –

оно стало лозунгом борьбы с насильственной ассимиляцией в Латвии, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, на Украине, в Татарии и многих других республиках и даже национальных округах. Для еврейской культуры в СССР это требование неприемлемо и губительно, потому что не соответствует исторической реальности, — обманный маневр с целью лишить евреев возможности пользоваться русским языком как инструментом национального возрождения.

Можно было бы сослаться и на качество журнала «Советиш геймланд», который хотя и сохранил очаг, а точнее, очажок еврейской культуры в СССР, но, как пишет Х. Шмерук, «львиная доля публикаций весьма тенденциозна». В этом журнале напечатаны «произведения, художественные достоинства и глубина которых не подлежит никакому сомнению», но он — «инструмент правительственной политики», имеющий «антисионистское направление», содержащий «яростные нападки на Израиль», и воспевающий «советский патриотизм».

Но еще более важно, что евреи СССР почти повсеместно перешли на русский язык. По переписи 1897 года три процента евреев объявили родным языком русский. Сегодня это положение языка идиш. Это заметно и по тиражу «Советиш геймланд»: с 25 тысяч он упал в 1985 году (последний дошедший до нас ежегодник «Печать в СССР») до 5 тысяч, и из этого количества большая часть отправляется за границу. К этому надо добавить и уход из жизни авторов — людей преклонного возраста, и отъезд 15 еврейских писателей в Израиль. Еврейский же самиздат на русском языке делается молодыми руками, и интерес к нему растет. То, что происходит с языком идиш в СССР, относится и к другим странам рассеяния, только в свободном мире это естественный процесс, а в СССР к нему добавились насильственные меры, часто репрессивного характера.

Классики литературы на идиш Шолом-Алейхем, Менделе Мойхер-Сфорим, Ицхок-Лейбуш Перец прекрасно владели и русским, и ивритом и писали на них, но к широкому еврейскому читателю обращались на его языке, который до них был прежде всего разговорным. Теперь ситуация изменилась, и сегодняшний еврейский автор обращается к читателю в СССР по-русски, во Франции — по-французски, в Англии — по-английски и т. д. А интерес к еврейскому языку во всем мире проявляется в изучении иврита: сотни людей репатриируются с хорошим, а иные с блестящим его знанием, некоторые создают на нем литературные произведения (поэзия недавнего репатрианта из СССР Марка Драчинского).

Репатриантами выполнены и переводы с иврита в альманахе «Народ и земля» (В. Фланчик, В. Глозман, М. Вайскопф, С. Гринберг).

Многоязычие – характерная черта израильских авторов. Александр Воловик, Рина Левинзон и Яков Брагинский пишут стихи по-русски и на иврите. Выпускница филологического факультета Тель-авивского университета Илана Гомель пишет по-русски, на иврите и на английском. Старейший прозаик Ицхак Орен (Надель), автор 12 книг на иврите, чьи произведения тоже регулярно печатает «Народ и земля», – переводчик Гончарова, Гоголя и Л. Толстого.

«Народ и земля» восстановил традицию русско-еврейской литературы, возникшую в середине прошлого века и почти остановленную революцией. Сочинения ее зачинателей вызывали интерес и у русских читателей – порой не столько благодаря таланту авторов, сколько поднятой ими темой – страданиями притесняемого и гонимого инородца. Осип Рабинович печатался в «Русском вестнике», Г. Богров в некрасовских «Отечественных записках», Д. Айзман в «Русском богатстве». Эти и другие «печальники горя народного» – С. Фруг, С. Юшкевич, С. Ан-ский – принадлежали и русской и еврейской литературе – еврейской литературе на русском языке, В. Жаботинского-публициста – знала вся читающая Россия. «Народ и земля» напечатал его роман «Пятеро», вышедший в 1936 году и с тех пор не публиковавшийся. А из произведений нашего времени – поэму Иосифа Бродского «Исаак и Авраам», ходившую в еврейском самиздате и впервые напечатанную на Западе, подборку стихов на еврейскую тему выдающегося русского поэта Семена Липкина и сценарий М. Калика «Король Матиуш и старый доктор», картина по которому была закрыта на студии «Ленфильм» в стадии подготовки к съемкам. С. Маркиш исследует еврейские мотивы в творчестве В. Гроссмана, М. Вайнштейн – И. Бабеля, а М. Хейфец рецензирует роман современного русско-еврейского писателя Григория Кановича «Слезы и молитвы дураков», вышедший в Вильнюсе.

Естественно, что будучи журналом мировой еврейской культуры, «Народ и земля» прежде всего пытается удовлетворить интерес читателей к их собственной, локальной истории евреев на территории России. Таковы заметки Зеева Вагнера «Москва и евреи», Михаила Бейзера «Евреи в Петербурге», историка С. Дудакова «Война 1812 года и ритуальные процессы», Н. Перлиной «Попечитель Н. И. Пирогов и еврейское просвещение», рецензия И. Сермана на сборник материалов и исследований Иерусалимского университета «Горький и еврейский вопрос», очерк И. Мошковица «Шагал и Россия», документы о творческом содружестве Ф. И. Шаляпина с деятелями еврейской музыкальной культуры и глубокие, прекрасно написанные театровед-

ческие работы Э. Капитайкина «А. М. Грановский и еврейский театр в России», «Леся Курбас и Соломон Михоэлс» и другие.

«Народ и земля» продолжает и традиции русско-еврейской периодики – до революции число еврейских газет и журналов на русском языке приближалось к ста пятидесяти. Начал возрождать эту традицию появившийся в шестидесятые годы еврейский самиздат. Многие его участники стали теперь авторами альманаха «Народ и земля» – редактор журнала «Евреи в СССР» В. Лазарис, автор этого журнала Светлана Шеннбрун, главный редактор ленинградского еврейского альманаха (ЛЕА) Ю. Колкер, В. Кукуй, приговоренный в свое время к многолетнему лагерному сроку за сионистскую деятельность, и другие. Главный редактор «Народа и земли» Феликс Дектор выпускал самиздатский журнал «Тарбут» («Культура»), ставивший те же просветительские цели. В 1973 году Дектора исключили за это из Союза писателей, а в 1976-м предложили уехать из СССР. «Народ и земля» перепечатал из журнала «Тарбут» статью поэта Томаса Венцловы «Литовцы и евреи» и ответную статью А. Шувинтаса из литовского самиздатского журнала «Аушра».

В самиздатских журналах 60-80-х гг. было немало интересного и ценного, и жаль, что в профессиональный журнал материалы из них попадают так скупо. Пока этой чести удостоился только ЛЕА. Не менее важно давать перепечатки из новой, появившейся в последнее время в СССР еврейской самиздатской периодики. На начало 1989 года было 7 периодических изданий, которые печатаются на машинке тиражом 100–120 экземпляров и передаются из рук в руки.

Но живая связь с еврейским движением в СССР поддерживается репатриантами: в восьмом номере, вышедшем в начале 1989 года, печатаются авторы, приехавшие в Израиль в 1988 году: сатирические стихи Игоря Губермана («гарики»), осужденного в 1979 году на 5 лет по делу самиздатского журнала «Евреи в СССР», статья участника семинара по еврейской культуре в Риге Владимира Френкеля, который год провел в заключении, стихи Г. Зингер, статьи А. Шейнина, В. Фульмахта, Б. Геллера.

Если попытаться коротко определить главную тему альманаха, то это будет тема национального самосознания, национального самоопределения – сложная, запутанная и волнующая. Ее выражают сами названия статей: «Народ и земля», «Кто еврей?», «Религия и нация», «Израильские евреи», «Эхо еврейского самосознания».

Суть проблем в том, что любой еврей – русский или французский – неотделим от истории своего народа как еврей и от истории России или Франции как русский или француз. В том, что евреи, ассимили-

ровавшись в культурном отношении, остались евреями в национальном. Отсюда двойное культурное отождествление, психологическая раздвоенность, занимающая героев еврейской литературы на русском, английском, французском или немецком языке. Она волнует даже героев ивритской литературы, хотя в Израиле проблема национальной принадлежности разрешена уже тем, что отождествить себя с какой-либо другой нацией в его условиях невозможно. Каждый еврей в глубине души понимает, что, где бы он ни проживал, полноценной жизнью именно в качестве еврея он может жить только в Израиле, хотя далеко не каждый испытывает потребность «жить полноценной еврейской жизнью». Альманах «Народ и земля» и сам по себе порождение этого двойного культурного самоопределения, создавшего свою периодику, своих авторов и значительную читательскую аудиторию.

Впервые об этой проблеме заговорили в Германии в связи с творчеством Верфеля, Кафки, Вассермана, Бубера, Шницлера, Арнольда Цвейга. Лавина книг еврейских авторов на еврейскую тему появилась в последние годы во Франции. Три самых крупных американско-еврейских писателя: Сол Беллу, Филипп Рот и Бернард Маламуд – отражают проблему непреследуемого еврейского меньшинства в нееврейском мире и его непростых отношений с еврейским началом в самом себе. («Народ и земля» напечатал «Милость Господа Бога» Б. Маламуда.)

Авторы альманаха печатаются на разных языках. Абрам Карпинич, сумевший в конце войны покинуть СССР, на идиш, Ицхак Мерас, опубликовавший роман «Сара», пишет по-литовски, Эли Люксембург по-русски, Р. Зернова перевела «Автобиографию» Голды Меир с английского, Юлия Винер – стихи Александра Розенфельда (он был активным участником «Солидарности», сотрудником подпольных издательств и в 1982 году приехал в Израиль) «Звезда Израиля, укажи мне путь» с польского, роман Ромена Гари «Вся жизнь еще впереди» переведен с французского. А проблематика, в сущности, везде одна и та же.

В восемь журнальных книжек вошло сравнительно немного. Удовлетворить интерес читателей можно было бы с помощью обзоров литературы – тематических или по странам, но они не печатаются, как нет и традиционной для еврейской периодики культурной жизни евреев разных стран.

В восьмой книжке журнала напечатаны материалы, связанные с именами двух ассимилированных евреев. В «Заметках об Эрец-Израэль» Януш Корчак (Хенрик Гольдшмидт), дважды побывавший у

своих учеников в Палестине, признается, что «хотел впитать в себя прошлое, подумать о настоящем и заглянуть в будущее». Ежи Косинский, польский еврей и американский писатель, впервые побывавший в Израиле, говорит: «Я должен увидеть, найти что-то в себе, а не в Израиле, который всегда был частью меня, состояния моего ума и души». Это свидетельство того, что, ассимилировавшись в культурном смысле, оба знаменитых поляка остались евреями в собственных глазах и в глазах окружающих и что центральное место в их еврейском самосознании занимает Израиль. Закономерно поэтому, что и журнал «Народ и земля», рассчитанный прежде всего на русского еврея, независимо от страны проживания, издается в Израиле.

Семен Черток

ПОКОЛЕНИЕ МОЛЧАНИЯ

(Владимир Крупин. Спасение погибших. Роман-завещание.
«Новый мир», № 11, 1988)

Из знаменитого дома Грибоедова, обиталища писательских муз, выпорхнул еще один фантастический сюжет с причудливой замысловатой фабулой.

Писатель Залесский, который написал, по его словам, целую библиотеку книг, умирает не совсем обычной смертью, не как обыкновенный смертный, как мы, скажем, с вами умираем, а по плану. Но в отличие от своего предшественника Берлиоза – не с подачи нечистой силы, вроде Воланда и его шайки: он сам себе накаркал смерть. Предложил в качестве обыкновенного протокольного мероприятия умереть всем по заранее составленному графику. Было это что-то вроде шутки. Однако друзья его, собраты по перу, коллеги, заметили, что хорошо бы ему самому первому подать пример. Он охотно согласился: взял да и умер. Но мало того: он также и ученика своего, молодого литератора, получил, как бы с собой прихватил. Тот тоже умер совершенно внезапно, что называется, в самом расцвете сил, едва лишь вступив на путь писательства.

Это не единственная неожиданность в завязке романа Владимира Крупина «Спасение погибших», романа острого, саркастического, опубликованного в прошлом году в «Новом мире». Не меньшая, пожалуй, а даже и большая неожиданность состоит в том, что персонаж

романа-завещания (так определен автором жанр) поставил перед своими коллегами предварительное условие в части выполнения завещания: сначала, не вскрывая конверта с завещанием, проголосовать за то, что воля его будет в точности исполнена, а лишь после того обнаружить ее. И в этом для коллег оказалась немалая загвоздка: проголосовать-то проголосовали, однако последняя воля усопшего поставила их в безвыходнейшее положение. Завещал Залесский захоронить с ним ни больше ни меньше как все ему принадлежащее, как-то: «машину, дачу, квартиру; в части квартиры он объяснил, что захоронить надо не стены, не квадратные метры, а содержание: его стол, библиотеку, шкафы, ковры, содрать даже обои, не заботясь об их сохранности, даже шпингалеты выдрать из оконных рам...» А из нематериального писатель – видать, большой выдумщик – велел захоронить вместе с собой «жену, любовницу, одного из внебрачных детей, добровольца», как сказано в романе-завещании.

Попробуйте-ка выполнить такое завещание. Но коли проголосовали, так уж деваться некуда, приходится выполнять. К тому же ведь и писатель-то, не забудем, знаменитый, прославленный. Похороны готовятся помпезные, торжественные, так хорошо знакомые читателям по похоронам вождей.

Это – лишь одна сюжетная канва, наполненная гротескным, комическим содержанием.

Другая носит иной характер, действительно трагический: там не до юмора, не до сарказма. Молодого коллегу этой знаменитости, некоего Олега, честного, совестливого, относившегося к писательскому призванию серьезно, без какого бы то ни было цинизма, хоронят скромно, а его друзья рыщут по приемным пунктам макулатуры в поисках таинственно исчезнувшей рукописи, которую он назвал «Обет молчания». Рыщут повсюду, но находят лишь отдельные странички заветной рукописи: по мере их обнаружения они вплетаются автором в текст романа, и они, кстати, должны были бы убедить читателя в талантливости этого молодого дарования.

Сюжет, как видите, далеко не обычный, с изрядной долей как абсурда, так и дьявольщины. Но дабы вы не заплутались в его лабиринтах, сразу скажем: писатель Залесский, как выясняется, вовсе не умирал. Он скрылся на даче вместе со своей возлюбленной. Но и более того: каким-то таинственным способом он прихватил с собой рукописи молодого писателя, своего ученика.

Все это напоминает скорее всего – розыгрыш, самый, пожалуй, мрачный, на какой способны обитатели Дома Грибоедова, то есть, простите, Центрального Дома Литераторов. Есть в том сюжете и

нечто, сильно отдающее черным юмором солдатских, до крайности неуклюжих шуток. Будем, однако, справедливы: замысел хоть и не вполне (после «Мастера и Маргариты») оригинальный, но все же значительный и позволял создать полотно достаточно своеобразное. В сочетании с гротеском и сарказмом, к которым, безусловно, тяготеет перо Крупина, роман-завещание мог стать заметным событием. Реализовать возможности замысла, возможности сюжета писателю, на наш взгляд, не удалось.

При всей занимательности, при всех хитросплетениях сложных сюжетных ходов и коллизий, при всей насыщенности произведения точными подробностями совбыта, так хорошо знакомой абсурдной действительности, повествование тем не менее вторично. По сути дела, за каждым персонажем романа-завещания легко угадывается тень шукшинских «чудиков», так же, как и в комизме ситуаций, в которых оказываются персонажи романа-завещания, явственно улавливаются отголоски комизма шукшинской прозы, под постоянным прессом влияния которой перо Крупина находится.

Главный же недостаток романа-завещания не только в этой зависимости от Шукшина, вообще от многих литературных влияний, а в том, что писателю не удалось создать равнозначные замыслу (еще раз повторяем, достаточно крупному) фигуры центральных героев.

По сути, обе фигуры: и писатель-циник и демагог, делец от литературы Залесский, с одной стороны, а с другой, Олег, писатель-праведник, совестливый, мучающийся и мечущийся, в меру, как видно, талантливый, — лишь обозначены, но не раскрыты.

В самом деле: натура Залесского, заявленного в качестве эдакого Сальери (именно им «подстроена» смерть Олега: его попросту отравили), художественно не доказана.

Злодейство обозначено в романе-завещании. Оно было бы оправдано, благодаря присутствию другого полюса. Ибо только в соседстве с гением становится очевидным и злодейство. Но Олег, как ни пытается приподнять и укрупнить автор этот образ, — остается всего лишь способным, не лишенным писательской искры, но, увы, заурядным литератором на уровне таланта выпускника литинститута средней руки. Таких, как он, немало. Во всяком случае, приводимые странички из его последнего сочинения никак не могут убедить читателя, что в его лице литература и человечество понесли тяжелую утрату.

Но, быть может, уж если с писательским даром Олегу не слишком крупно повезло, то в другом, в честности гражданской позиции, он, что называется, на высоте? Как будто так. В противоположность цинизму и делячеству Залесского, для которого литература — это сред-

ство достижения почестей и благ, жизненная позиция Олега представляется куда более привлекательной. Но все же и в ней, в его жизненной позиции, читатель обнаруживает изрядную трещину. Вряд ли удовлетворят читателя возвышенные причины, которыми Олег объясняет намерение принять «обет молчания», то есть перестать писать. «Это, если хотите, – доказывает он в своем споре с Залесским, – сродни подвигу безмолвия». Ибо писатель, как он считает, должен стоять в стороне, а не гоняться за первой попавшейся идеей. Последнее замечание, относительно идеи, вызывает ироническую усмешку его оппонента, так как Идеей (в быту просто Ида) зовут женщину, возлюбленную Олега, его вдохновительницу.

Ну что ж, пожалуйста, может заметить читатель, не хочешь писать – и не пиши. Велика ли печаль! Ведь если бы обет молчания дал писатель высочайшего дара – жертву эту можно было бы действительно приравнять к подвигу безмолвия. И она заставила бы читателя вздрогнуть и пожалеть о тяжелой для человеческой культуры утрате, но и, соответственно, порадоваться неизмеримо более ценному обретению для его, человечества, духовного опыта. Повторяем, однако, положительный герой романа-завещания Крупина – литератор средней руки, и от того, что его муза умолкнет, обитателям Парнаса не холодно и не жарко. Пусть себе молчит...

Далеко, конечно, не случайна перекличка горячей исповеди страниц придуманного Крупинным писателя с саркастическим пафосом романа-завещания. Это исповедь писателя Владимира Крупина. Но совершенно не случайна перекличка и названия последнего произведения литературного персонажа – «Обет молчания» и поджанра, обозначенного Крупинным как роман-завещание. Как будто после этого романа не только литературный герой, но и его создатель, писатель Крупин, должен умолкнуть. Это тоже своего рода мистификация в духе мистификаций Дома Грибоедова (тут к тому же напрашивается еще одна невольная перекличка с Кармазиновым, персонажем «Бесов», и его «Мерси!»).

Вольно или невольно Крупин выразил состояние своего поколения литераторов, того поколения, которое сейчас должно было бы войти в пору своего расцвета, в пору наибольшей реализации творческих сил. Это поколение не вполне удачно называют поколением сорокалетних. Вчерашние сорокалетние подсостарились, подобралась к пятидесяти – пора бы переименовывать их в пятидесятилетних. Это разные писатели. Это и колониальный писатель, или, по меткому замечанию Аллы Латыниной, «соловей генштаба» Александр Проханов. Это и философский писатель, серьезно вглядывающийся в

жизнь Анатолий Ким. Это и Анатолий Курчаткин, идущий в кильватере либералов шестидесятых годов. Можно назвать с десяток имен других писателей, относящихся к этому поколению, – разных дарований, разного склада и взгляда на жизнь. Ничем особенно ярким это поколение себя не проявило. Но если что-либо еще, помимо возраста, их объединяет, так это лишь отсутствие дерзости, гражданской и творческой, художнической.

Изю всех сил они старались продержаться на плаву в самое что ни на есть «застойное» время – то, к которому не слишком даже условно, а вполне конкретно привязаны полуфантастические, полуреальные события романа-завещания Владимира Крупина. Одни из них, как, скажем, «соловей генштаба» Проханов, поставили свое ремесло на службу тогдашнему партийному курсу, не видя ничего зазорного в таком услужении. Муза других, более совестливых, стыдливо отворачивалась от той, поистине абсурдной, прущей в глаза действительности, находя свои оправдания для такой позиции, увы, далекой от «подвига безмолвия», по слову героя Крупина. Не слишком они поступались принципами, но и, с другой стороны, не слишком зарывались, во всяком случае не пытались противодействовать тем самым «застойным» явлениям. Вот этот принцип, мягко сказать, благоразумия, а если пожестче – беспринципности, в какой-то мере и стал знаменем поколения «сорокалетних». «Бунтарство сорокалетних» не дерзало выйти дальше столиков писательского клуба, то бишь знаменитого Дома Грибоедова.

Все, что достойно осмеяния, Крупин осмеял в своем романе-завещании. Саркастически осмеял. Поделом, конечно, справедливо: и помпезность похорон, и быт коммуналок, и нравы дельцов кладбищенского бизнеса и воротил макулатурного рынка. Все в этом обществе загажено или, говоря словами, которые молва приписывает тогдашнему шефу КГБ и кратковременному генсеку Андропову, все заглистовано снизу доверху. С абсурдом этой действительности не может сравниться никакой писательский вымысел, никакая фантазия.

Замысловатая фантастика «Спасения погибших» Крупина крепко скручена жестким узлом житейских реалий, точно изображающих сегодняшний образ жизни. В этом безусловное достоинство романа-завещания. Но, хотел этого или не хотел Крупин, он выразил еще и трагедию того поколения писателей, к которому и сам принадлежит. Одни из них уходили, как его отрицательный герой Залесский, «от дразг, сплетен, междусобойиздата, мерзости групповщины, болезни самомнения, от начальства и от подчиненных, от врагов и поклонни-

ков» в область «чистого творчества»; другие, как положительный Олег, – отходили в сторону, без «обетов молчания».

Появление «Спасения погибших» в то время, когда музу гротеска до некоторой степени расконвоировали, позволив ей заглянуть в негласные тайники безобразной действительности, лишнее подтверждение того, что вчерашние «сорокалетние», к которым принадлежит Владимир Крупин, в меру талантливый, в меру острый, но и в меру осторожный, – это поколение молчания.

Понятно, что от толстовского «Не могу молчать!» до «обетов молчания» литературу протащили через застенки Лубянки, через колючую проволоку лагерей. Приручили ее под сводами Дома Грибоедова. Как оказалось, боится она не колючей проволоки, не преследований и гонений, а подачек – возможности сохранять видимость литературы, ее подобия, по сути, уже не являясь ею.

Александр Покров

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ АМОСА ОЗА

Замечательному израильскому писателю, члену редколлегии «Континента» Амосу Озу – 50 лет. Полвека жизни для прозаика – самый расцвет творчества. Мы поздравляем писателя с этим многообещающим юбилеем и надеемся, что его новые литературные открытия не заставят себя ждать.

«Континент»

НОВЫЕ КНИГИ ИВАНА ВЕНЕВА NOUVEAUX LIVRES DE YVAN VENEV

5. DICTIONNAIRE DES DOMAINES DE L'UNESCO (EDUCATION, SC. SOCIALES, CULTURE ET COMMUNICATION) ANGL. - FR. - RUSSE - BULG. (A - Z) 4000 expres. 250 p., préface: André MARTINET. Ed. ECONOMICA, 1984, PARIS.

6. DICTIONNAIRE ANGL. - FR. - RUSSE (INFORMATIQUE ET SCIENCES) A - Z, 1499 expres. Préface: A. MARTINET, ECONOMICA, 87 p., 1984, PARIS.

7. DICTIONNAIRE RUSSE - FR. ET PARTIELLEMENT ANGL.: ENERGIE ATOMIQUE ET SC. DE L'INGENIEUR. Préface: Alain REY - DIR. SCIENTIFIQUE ET LITTERAIRE DES DICTIONNAIRES ROBERT, Fasc. 1, A - Л et Я. 1100 expres., 59 p. PARIS, 1986.

8. DICTIONNAIRE ANGL. - FR. - RUSSE: FUTUROLOGIE ET SC. SOCIALES. A. MARTINET et A. REY (préfaces), A - Z, Ed. Inst. Internat. de Philosophie et Terminologie «Peter DEUNOV», PARIS, 1987, 121 p., 3000 expres.

9. LINGUISTIQUE MATHEMATIQUE ET COMPUTATIONNELLE: DICTIONNAIRE RUSSE - FR. - ANGL. Préfaces A. MARTINET et A. REY. Fasc. 1, A - Ж et Я, 106 p., PARIS, 1987, Inst. P. DEUNOV.

10. GLOIRE À ST.-CYRILLE et À ST.-METHODE - CREA-TEURS DE L'ALPHABET CYRILLIQUE AU IXe SIECLE. Poésies en bulgare par Victor L. YORDANOV. Présenté par Y. VENEV. Ed. Inst. Internat. de Philosophie et Terminologie «Peter DEUNOV», PARIS, 1987, 40 p.

Format des livres: 17/24 cm, papier 80 - 140 gr. brochés; couvertures en couleurs; memes prix pour les microfiches des livres; les expres. des dictionnaires sont accompagnées très souvent de riches renseign. bibliogr.; les prix sont TTC; l'expédition, toujours recommandée, est payée par le client; **remise pour les diffuseurs:** de 33 à 80%. Excellentes refer. sur les dictionnaires précédents de VENEV par les prof.: Jean PIAGET; Et. VOLFF; A. MARTINET; A. REY; J. HALPERIN; B. VAUQUOIS; F. de LABRIOLLE; L. ROBEL; A. ROUANET; F. BENTOLILA; I. CHOUROULINKOV etc.

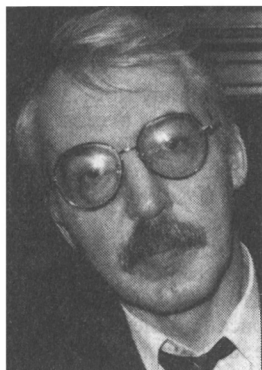
A commander chez: VENEV, 57, rue Fédération,
75015, Paris. Tél.: 45.67.69.08 (le soir).

Наша анкета

БЕСЕДА С ПИСАТЕЛЕМ АНДРЕЕМ БИТОВЫМ

Ведет журналист Виталий Амурский

В. А.: Андрей, когда сегодня произносится ваше имя, то к нему, наподобие определенного титула, добавляют – «автор „Пушкинского дома“». В самом деле, на Западе, где этот роман оказался переведен на многие языки, а во Франции стал



крупным литературным событием года, подобное уточнение, в общем-то, понятно. Менее естественным оно представляется в отечестве, хотя и там публикация «Пушкинского дома», состоявшаяся пятнадцать лет спустя после выхода этой книги на русском языке в США, в «Ардисе», для большого числа читателей – событие, не утратившее свежесть. Таким образом, так случилось, что сейчас «Пушкинский дом» как бы заслонил значительную часть вашего творчества. Безусловно, многие любители русской современной

литературы знают ваши «Уроки Армении», «Дачную местность» и другие вещи, но постепенно перечень их как бы уходит из памяти. Точнее, в ней начинают возникать заминки. Мне кажется, например, что довольно мало тех, кто помнят ваши «Лес», «Аптекарский остров». Вы, очевидно, заметили, что я называю ваши произведения не по мере их приближения к сегодняшнему дню, а в обратной перспективе. Скажите, пожалуйста, с какого момента вы ощутили себя по-настоящему писателем и какую свою самую раннюю работу считаете для себя наиболее важной?

А. Б.: Откровенно говоря, формально я могу считать себя профессиональным писателем с самой первой своей строки. Уже первый мой рассказ, написанный осенью 1958 года, «Ба-

бушкина пиала», вошел в состав первой же книжки. Пусть с разрывами во времени и с разными исключениями, но все, что я пишу, – я публикую. Тем не менее, писателем я осознал себя в тот момент, когда во мне родился какой-то мир, какая-то система. Это произошло уже в 1962 году, когда были написаны такие вещи, как «Пенелопа», «Сад», «Бездельник», то есть то, что позднее было объединено в «Дачной местности» и «Аптекарском острове». Так что на ученический период я кладу примерно три года, от пятьдесят восьмого до шестьдесят второго. Учился я при этом вроде бы не самому письму, потому что писать более или менее получалось. Но, пожалуй, я не обладал целостным мироощущением, мировоззрением. Начиная же с 1962 года все, что я сделал – хуже или лучше, – полностью мое.

В. А.: Вы говорите об ученичестве. Надо полагать, сам по себе этот термин указывает на наличие учителя?

А. Б.: Не обязательно. Мы – я имею в виду молодых ленинградских авторов, с которыми я был связан в те годы, – росли каким-то общим кустом. Все были равно невежественны, самонадеянны. Но кто-то что-то подхватывал. Из воздуха. По случаю. Какой-то кусочек культуры, какой-то способ, метод. Это был процесс самовоспитания...

В. А.: Уточните, пожалуйста, о ком идет тут речь?

А. Б.: Так складывалась судьба нескольких ленинградских групп, в которых выделялись Рид Грачев, Генрих Шеф, Сергей Вольф, из поэтов – Глеб Горбовский, Александр Кушнер, Евгений Рейн. Несколько позднее засверкал Иосиф Бродский. Даже вне публикаций они составляли определенную литературу, которая как раз в конце пятидесятых, начале шестидесятых годов, как и всё в стране, задохнулась.

Возвращаясь к вопросу о мэтре, об учителе, мне кажется, что определить какое-либо влияние необыкновенно трудно. Учителя нам назначают потом, когда мы уже научились.

Классика была отравлена школьным преподаванием. Переводная литература бесконечно отставала. Скорее всего, учителем была именно жизнь, и еще сам город Ленинград-Петербург. Город, который при всех разрушениях, которым он подвергался за наши годы – годы советской власти, – как и наша культура, менялся меньше всего. Москва, например, вся была искажена перестройкой. А наш город был настолько целен в своей идее, в камнях, что, даже не обладая культурой,

ты неизбежно ее вдыхал. Я думаю, что это образование тоже много значило для «ленинградской школы».

В. А.: Тем не менее, мне трудно представить, что даже при всех негативных чертах, которыми было отмечено ваше (да и других) раннее знакомство с русской классикой, в более зрелом возрасте, на ином жизненном витке, вы не вернулись к ней как к живительному источнику...

А. Б.: Правда. Я боюсь сейчас что-то переставить, хотя это и не так важно, но сейчас для меня самым важным периодом русской литературы является ее «Золотой век». То есть Пушкин, Лермонтов, Гоголь – как говорят, «самое простое». Однако в этом «самом простом» я выглядываю все тайны, все модернизмы.

В. А.: Особенно у Гоголя?

А. Б.: Ну, это внешне. Может быть, самый непрочитанный и непонятый писатель – как раз Пушкин. Это меня питает до сих пор. Я уже, так сказать, не рыскаю по сторонам.

В. А.: А как же с опытом литературы начала нашего века?

А. Б.: Этот опыт был утерян в 30-е, 40-е годы. А опыта двадцатых годов мы толком не знали. То есть приходили к нему очень парадоксальными путями. Например, я знаю сейчас, что существование Джойса было мною воспринято через переводы Ш. Андерсона, то есть опосредствованно. Так было нередко, и, когда я с огромным запозданием читал то или иное пропущенное сочинение, я видел его каким-то образом возмещенным. Парадоксально себе представить, что даже Евангелие я прочел впервые только в 27 лет, то есть уже сложившимся писателем. Но, когда я читал Евангелие, неужели я его не знал?! Я его знал. «Сад» был написан человеком, знающим Евангелие.

В. А.: Ну, это то, что касается, так сказать, большой духовной культуры и высокой эстетики. Но была и другая школа – школа этики, которую преподавала жизнь. Вы, кстати, уже упомянули, что она была для вас учителем.

А. Б.: Ну, я бы вообще не разделял эстетику и этику. Жизнь была общая. Когда говорят: «страна жила общей жизнью», – это касается и меня. Первое, что я помню, – война, хотя я не люблю, когда сейчас на военном детстве навариваются какие-то дивиденды. Но, конечно, если первое, что человек помнит, – это трупы и голод, – это меняет его сознание, и он не может до конца жизни определить, в чем оно изменено.

Воспоминания такого рода для меня – картинки... Из довоенных помню только одно: я в чьих-то руках, и в окно бьет солнце. Вот и весь мой мир. Значит, солнце я один раз запомнил до этой ночи. Ну, а потом – сталинская школа, как сон. Как сон... С долгим-долгим утром и мраком.

В. А.: После школы, как известно, вы выбрали себе техническую профессию. Учились на геолога. Ничто тогда, кажется, не предвещало о писательстве?

А. Б.: Это был такой сталинский романтизм. Геологи ходили с молоточками за плечами, а мать сумела мне еще в школьные годы привить большую любовь к странствиям. Благодаря ей я видел Кавказ, Крым, Прибалтику. В ту пору люди ездили довольно мало. И потом романтика – сублимация любви, потому что я учился в раздельной школе. А Горный институт – это было очень красиво. Горный! Я занимался сначала альпинизмом, и у меня от вида гор происходили какие-то чувственные изменения в мозгу. По-моему, я реагировал только на слово «горы». Думал, что если туда попаду, то буду все время в горах.

В. А.: Между прочим, горы – это ведь своеобразная анти-теза классическому плоскому Петербургу...

А. Б.: Ну, вспомним, – что может быть лучше! – описание Львом Толстым момента в «Казаках», когда Оленин видит горы. И когда потом он понимает грандиозность того, что с ним происходит. Нечто подобное произошло со мной. Помню, когда в Ленинграде я видел снежные сугробы, которые затем убирают, то как-то специально менял хрусталик и видел в этих склонах, в измененном масштабе, горы. Настолько это было красиво.

В. А.: Не поэтому ли, еще с тех времен, у вас постоянная тяга к Кавказу, которая обернулась созданием «Уроков Армении», прозой, посвященной Грузии, Средней Азии?

А. Б.: Вне сомнения. Я пережил только первую блокадную зиму в Ленинграде. В марте 1942 года по Дороге жизни мать сумела нас, своих детей, вывезти оттуда. Сначала я попал на Урал, потом в Ташкент. Так что Средняя Азия тоже оказалась запечатана в детство.

В. А.: Вне всякого сомнения, жизненный опыт многое объясняет в творчестве любого художника, писателя. Однако, сделав несколько экскурсов в ваше прошлое, мы, может быть, поговорим о каких-то краугольных камнях вашей творческой

философии. Уже в своих ранних вещах вы как бы выдвинули тезис о суверенитете личности от социальной среды. Человек стал рассматриваться вами прежде всего через свое отношение к вечным категориям: через отношение к природе, пейзажу и т. д. Сама по себе такая постановка проблемы, конечно, не была нова в мировой литературе. Но в контексте той советской действительности, которую мы все знаем, она выглядела некоей альтернативой насаждаемой идеологии. Хотелось бы понять, это был намеренный шаг, или вы сделали его исключительно в результате чисто художественных поисков?

А. Б.: Я думаю, что вы правы в отношении обоих мотивов. И тут мы подходим к вопросу о влиянии, которое никогда не рассматривается литературоведами даже по отношению к классикам. Это влияние отталкивания. Имелась сталинская традиция: классиков нужно было ставить в затылок друг за другом, от Державина до Блока, и все они друг друга «принимают». Эстафета движется таким образом к 1917 году. На самом деле, это никогда не было так. Пушкин не был знаком с Лермонтовым, Толстой с Достоевским. Но существовало отталкивание от дурной литературы, и это явление было значительным. Современная культура никогда не похожа на историю культуры. Тогда, в молодости, в Ленинграде, мы не хотели писать так, как писали вокруг. Это уводило нас к образцам. Чем занималась русская литература? Человеком, его душою, мыслями, чувствами. Помню, что достаточно сознательно я себе говорил, что что-то случилось за эти годы с человеком. Что-то не так. Если человек интеллигентен душою, пусть даже не образован, но достаточно тонок по своим рефлексиям и соображениям, – он не живет как подлинный интеллигент. Лишен активности, лишен поступка. Разобраться в этом мне было важно и интересно. При этом я понимал, что если буду подставлять под изображаемый вид, или, скорее, подвид какого-то человека – флаги, портреты и даты, то это не пройдет. Это зарубят. С другой стороны, мне казалось все это даже ненужным, потому что все это и так хорошо знают. Таким образом я изучал, рассматривал своего героя на вопросах каких-то вечных ценностей, любви.

В. А.: Однако, как мне представляется, эта, условно говоря, положительная линия – не случайно официальная критика относилась к вашим работам с очевидной долей подозрительности – привела к тому, что в период «хрущевской оттепели»

вы оказались как бы в стороне от важных процессов, происходящих в русской литературе. Вспомним, как активно выступили в конце 50-х, начале 60-х годов такие ваши ровесники, как Анатолий Гладилин, Василий Аксенов!.. Характерно, например, оказалось, что в то время, когда молодые люди в книгах авторов предыдущего поколения ехали на освоение целины или Сибири, аксеновский Димка из «Звездного билета» заявил: «Все едут на Восток, мы – едем на Запад». Западом тогда была Эстония. Не далее. Ваш же герой, если позволено будет так сказать, отправился ни на Восток, ни на Запад, а – в самого себя... Это была позиция «закрытой раковины»?

А. Б.: Опять же – это не я. Это Ленинград. По моему, все писатели, которых я уже назвал, также обладали каким-то ретроспективным движением. Город к этому располагал. Традиция. Действительно, великий город с областной судьбой. А провинция всегда отставала, со всей своей зрелостью и незрелостью, по отношению к делам, которые происходили в Москве. Возможности, возникшие тогда перед упомянутыми Гладилиным и Аксеновым, возможно, в какой-то мере их породили как авторов. Ленинград на все реагировал позже. Надо сказать, что в ту сторону, пропустив это, мы как-то и не смотрели. Скорее даже, мы видели какие-то недостатки в их письме. Нас что-то не устраивало по вкусу, по чистоте исполнения. Мы видели какие-то вещи перелицованными под возможность публикации. Завершилось это тем, что в этой провинции задохнулись очень многие. То есть, пока мы набирались сил, кончился весь хрущевский период.

Если же взять вообще дыхание 1956 года, то надо вспомнить, что до Камчатки оно докатывалось лет шесть. До Ленинграда – года три. Я думаю, что и «деревенщиков» следует считать этим поколением, потому что где-то в глубине все вызревало дольше. Затяжное вызревание приводит, с одной стороны, к замораживанию, к задыханию и смерти; с другой (в каких-то случаях) – к большей углубленности, к большей зрелости. Так что тут никогда нельзя клясть судьбу: с одной стороны – теряешь, с другой – приобретаешь.

В. А.: Любопытно в таком случае было бы узнать, приобрели ли вы что-то, переехав жить из Ленинграда в Москву?

А. Б.: Между Москвой и Ленинградом я серьезно болтаюсь с 1965 года. Прописка в паспорте – акт средневековый –

состоялась лет десять назад. А вот прописка духовная так и не состоялась. Я научился многим московским вещам, знаю московскую жизнь, московских людей, чувствую себя в столице естественно. Однако не могу подолгу жить там, и как предмет описания Москва не может быть моей. Я считаю себя ленинградским, петербургским писателем, и если кто-то таковым меня не считает – обижаюсь.

В. А.: Ну, что ж, давайте вернемся к вашей литературной работе. Вот строки из вашего рассказа «Рассеянный свет»: «Я брел по нерасчлененному уже лесу; выходил из некоего сада... пересекал горы, углублялся в чащу... я шел по словам из самого бедного словаря». Тут слышится какое-то эхо из Данте: «Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу...» Опять-таки жизнь!.. Но я процитировал эту фразу из вашей книги, как мог бы процитировать довольно много схожих фраз из ваших вещей, прежде всего из-за ее концовки. В самом деле, вы нередко пытаетесь нащупать некую внутреннюю связь Слова с Сущим миром. Вы полагаете, что, только постигнув такую связь, можно стать подлинным художником? Все остальное – второстепенное?

А. Б.: Язык – это та же природа. Язык – самая деятельная вещь, которая отличает человека от всего. Язык обладает своей самостоятельной и жизнью, и экологией, и пространством. По-моему, в языке можно жить, как в природе. В частном случае – даже не выходя никогда на Божий свет и не сличая слова с предметами и понятиями. В опыте нашей жизни, нашей молодости мы жили в страшном искажении смысла слов. Особенно смысла понятий. Весь мир живет в чудовищном процессе уничтожения видов живого. Убыль видов живого, как в конкретной человеческой деятельности, допустим, ремесленной – в количестве рукотворных предметов, так и в количестве видов птиц, насекомых – все это отражает состояние мира. Я испытал какое-то чувство немоты перед ощущением жизни, то ли таковой, как она должна быть, то ли такой, какой она создана Творцом, – и тем наличием, которое я имел, и теми искажениями, которые вносились со стороны. Я должен был дожить до подлинного смысла Слова – тогда, в состоянии текста, оно могло совпасть у меня на секунду с предметом.

Это довольно сложный вопрос. Для меня действительность, которую я пытаюсь описать, лишена слов. Она существует более самостоятельной жизнью, чем название. Если же

вдруг происходит прирастание, возрождение смысла Слова к предмету, тогда оно ложится на бумагу с какой-то особой силой и отчетливостью.

В. А.: Окружающая нас жизнь состоит не только из вечных реалий. Писатель, видимо, не может моделировать свое произведение только исходя из них. Особенно русский писатель. Видоизменяющаяся социальная и политическая жизнь вносит в его творчество черты небесстрастия. У вас, образно говоря, сейчас есть миллионы читателей, которые ждут от вас вашего слова. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в стране, в какой мере она внесла коррективы в ваш литературный труд?

А. Б.: Этих «миллионов» я не воспринимаю. Для меня читатель – это один человек. Одна единица. Хорошо, если миллионы единиц воспринимают меня в том смысле, в котором я написал. Значит, я не бессмыслен и не безумен.

Что касается происходящего в стране, то, по-моему, все замечательно. Хотя и страшно, и не гарантировано, и не обеспечено. Но замечательно это потому, что все-таки это начало процессов жизни, которых очень долго не было. Ведь жизнь загонялась в систему ГУЛага, в систему молчания, страха. Потом она попробовала как-то разжаться, потом снова была законсервирована – начался так называемый застой. Слишком долго не происходили вещи, связанные с жизнью, непрограммируемые, идущие по более сложным законам, чем чьи-то головные законы, тем более, когда голова становится схематичной и убогой. Это же является и угрожающим, потому что жизнь нельзя то задерживать, то отпускать... Приветствую я сейчас и очень многие боли и раны (я не имею в виду настоящую кровь, пролитую, скажем, армянами или грузинами в Тбилиси) – я приветствую боль, которая возникает в стране, потому что боль есть признак жизни. И невнятность и неясность перспектив – это для меня тоже не аргумент против того, что происходит. Начинаешь понимать, что все-таки бился ты об лед не зря...

Вот сейчас до меня доходит, насколько я повторяю все время рисунок общей жизни. В молодости казалось, что живешь самостоятельно, ни на кого не похож, вообще такого выродка земля не носила. А оказывается, что осуществляешь ты свою индивидуальность внутри общей жизни. Вот я вижу: если в стране хаос, то и во мне хаос. Если в стране застой, то и

во мне застой. Если, как сейчас, неразбериха и каша, и страна до сих пор не способна приступить к конкретному делу, то и я не могу приступить к работе.

Это сложный для меня период, хотя внешне он соткан из успеха: и по телевиденью показывают, и за границу езжу, и переводы идут, и печатают, сколько влезет... Но не это же меня волнует! Меня волнует следующая моя страница. Допустим, раньше ко мне приходил замысел, и я мог откладывать его на годы. Он лежал у меня нетленный, свеженький. Я мог к нему вернуться. Сейчас у меня на глазах тают, как льдинки, многие не дописанные вовремя вещи. Если бы они были завершены ранее, то остались бы какими-нибудь пророчествами, документами... Но сейчас я не могу написать задним числом и сделать вид, что этого я не опубликовал. Скажут: отчего не опубликовать? Ты же мог опубликовать!

В. А.: Например?

А. Б.: «Ожидание обезьян», вещь, которая должна закончить очень важную для меня линию места человека в универсуме, развитие которой сделано в «Птицы, или Новые сведения о человеке» и в «Человек в пейзаже». Если бы замысел «Ожидания обезьян» был осуществлен ранее, то, я думаю, эта вещь сейчас составила бы мне, так сказать, некий пророческий ореол. Потому что там во многом были намечены национальные беды и события, которые сейчас происходит. Но когда они уже произошли – тон меняется. Когда уже пролилась кровь, я не могу ни над чем шутить с легким видом. То есть самым ходом жизни ломается произведение.

В. А.: Можно ли узнать немного подробнее о замысле «Ожидания обезьян»?

А. Б.: Это вещь в жанре «путешествий». Я – герой – еду в компании биологов, которые занимаются обезьянами. Наш путь – к месту, где они живут на воле. Дорога очень красивая, но, как обычно, маршрут тебе неизвестен. До обезьян мы, кажется, так и не добираемся, задерживаясь в каком-то абхазском местечке. В нашей компании есть люди разных национальностей: армянин, грузин, абхазцы, евреи. Какое-то время они заняты гостем, говорят про обезьян, но затем постепенно переходят на тему важных для себя дел. В конце времен застоя это могло показаться еще юмористическим – о национальных традициях, о том, кто на кого повлиял, кто кого захватил, кто кого подавил и так далее. Так что в этой дискуссии мною была

увидена модель, которая должна была заработать в будущем... Но когда она стала работать – это иное! Случились события в Армении, затем в Грузии. Оказалось, что сейчас целый ряд вещей так легко не проговоришь...

В. А.: Вы сказали – «пророческий ореол». Из книг русских писателей, если я не ошибаюсь, только «Бесы» Достоевского закрепили за автором такую славу...

А. Б.: Конечно, у меня значительно мельче того, что он написал. Но в деле Нечаева он проглядел модель, которая может дать определенный результат. Знаете, сам я вижу только зерно. Но если я не успеваю его сам обработать, если оно прорастает самостоятельно, то я упустил вещь. Пророчество – слишком сильное слово, но, тем не менее, всякое живое произведение пишется вперед. Может быть, это иллюзия, что мир живет в настоящем мгновении. В настоящем мгновении живут, в принципе, только свободные бродяги, художники и наркоманы. Они действительно живут в этом мгновении времени и пространства, сталкиваются с абсолютной его несформулированностью. Мы – живем в сформулированном виде, в сформулированной традиции и в объясненном мире. Мы садимся в транспорт, ходим на работу, у нас есть вчерашнее прочтение сегодняшнего дня. Мы полагаем, что сегодняшний день – как день вчерашний, а он уже не такой. Человек, который видит в настоящем дне то, что заключено в нем, на мой взгляд, является реалистом. Не в традиционном смысле, а, скажем, в смысле буддистском. Он имеет контакт с реальностью, он это видит. И если он умудряется эту реальность воплотить каким-либо образом, он оказывается косвенно впереди людей. Потому что когда это настоящее дойдет до людей в виде прошлого и они будут жить в объясненном сегодняшнем дне в прошлом, то окажется, что эта книга современна. Такая книга оказывается современной иногда через десять, через двадцать, через тридцать лет... Слегка романтически мы называем ее «пророческой».

То, что я внятно или невнятно объяснил, можно свести к следующему: мы все не живем в этом мгновении. Человек, который попробует увидеть это мгновение, окажется непонятым. Человек, который четче всего нам говорит о том, что происходит с нами сейчас, не будет понят никем. Поэтому, когда через какое-то время то, что он сказал, стало фактом и стало прошлым, мы считаем его отчасти классиком.

В. А.: Андрей, я помню, как однажды мы говорили о проблемах, связанных с разорванным телом русской культуры, часть из которой осталась в метрополии, в отечестве, а часть оказалась в эмиграции. Тот факт, что многие, ранее запрещенные в СССР вещи стали публиковаться там – я имею в виду в данном случае вещи, изданные на Западе, а не те, что лежали дома в ящиках письменных столов, – вы расценили как очень положительное явление. Тем не менее, вы сказали, что сам факт поднятия «железного занавеса» еще не является свидетельством начала процесса единения этой культуры. Эта фраза показалась мне знаменательной, если вспомнить, что она была сказана в Страсбурге именно на встрече писателей из СССР с писателями-эмигрантами. Я хотел бы вернуться к этой теме. Чем можно объяснить такой пессимизм, и не прошел ли он?

А. Б.: Никакого сращивания русской культуры нет сейчас не потому, что это не разрешено, а потому что для такого процесса русская культура должна быть. Культура – не богатство материальное. Я думаю, что сейчас мы лишь выявляем ряд того, что в сумме своей должно обозначать некую основу ценностей. И всему этому надо учиться, потому что культура наша как раз оказалась разрушена.

В. А.: Тем не менее, мы не можем снять со счета многие произведения, которые все же были созданы в последние десятилетия как дома, так и в эмиграции?

А. Б.: Правда, писатель – это не обязательно пишущая единица. Даже молчащий писатель – это может быть довольно крупная единица общества. Вот Юрий Казаков, который промолчал много лет и ничего не создал, – он прошел этот путь как честный художник. Не сделал ничего хуже, не клюнул ни на какую дешевку. Его существование было наполнено духовным смыслом. Если мы возьмем Венедикта Ерофеева, то увидим, что, помимо «Москва-Петушки», он написал очень немного. Но не это главное. Главное – существование такой духовной единицы!.. Судить о тех, кто уехал из страны, мне трудно. Знаю, что многие из тех, кто сделал это, уже будучи сложившимися писателями, сохранили себя как личности, но все же попали в затруднительное положение. Даже потеря такого извечного врага, как цензура, сказалась на некоторых не лучшим образом. Когда человек теряет сопротивление, оказывается в безвоздушном пространстве – это может стоить

ему дорого. Далеко не все в эмиграции смогли перенести разрыв с родным языком – это сказалось на их работах. Немногие сумели заговорить о своем новом опыте, полученном на Западе... Осуществил себя на Западе Саша Соколов. Второе дыхание обрел Иосиф Бродский – это видно по его западным поэтическим циклам. Я подчеркиваю, что не очень хорошо знаю эмигрантскую литературу, но мне представляется, по тому, что я уже прочитал, что не многие прошли такой барьер...

В. А.: А как вы сами себя видите в нынешнем пейзаже русской литературы?

А. Б.: Когда я оказался в Москве, я тоже утратил свою привычную почву. Это была трагедия, усиленная тем, что многие друзья в болезненном состоянии ушли от литературы, многие уехали из страны. Из прежнего круга не осталось почти никого. Но, попав на Высшие сценарные курсы, я встретился там и сдружился с такими замечательными писателями, как Грант Матевосян, Резо Габриадзе, Тимур Пулатов... Фактически у меня началась новая жизнь. Остановка во времени, случившаяся в истории, стала для меня восполняться перемещениями в пространстве. Я занялся бесконечными разъездами по стране, проникновением в какие-то национальные структуры, писанием книг об этом. Может быть, в огромной степени я оказался в более живой среде, чем те, кто во времена застоя оставался в Москве и в Ленинграде. Позже я подружился со Жванецким, это тоже своя страна – Одесса. Получилось, короче говоря, так, что Ленинграда-Петербурга и Москвы вокруг меня не стало, а выросла целая страна, новая география.

Если говорить о своих публикациях, то в какие странные обоймы меня ни зачисляли! Недавно один критик мне сказал: «Вот единственный горожанин с крестьянской идеологией». Я абсолютно не крестьянин, но во мне есть что-то по отношению к предметам, к созданному в природе, от этой культуры... Потому что крестьянство было, конечно, культурой. Все это изменяло идеологию, что ли... Думаю, что я стою особняком и ни к кому не примыкаю.

Начавшаяся перестройка открыла дорогу многим моим произведениям, но в отношении возможностей писать она мне ничего не открыла. Скорее, даже закрыла внутренне, как в случае с «Ожиданием обезьян». Сейчас я довольно много вре-

мени трачу на различные поездки на Запад, которых был лишен ранее. Наверстываю прошлое. Но все больше и больше тянет заниматься именно своим делом. Что такое свое дело? То, что можешь сделать лучше другого. Хорошо это или плохо, но лучше, чем Битов, я написать не смогу. Значит, мне нужно быть Битовым.

В. А.: Вы чувствуете, что у вас сейчас много того, что нужно сказать читателю?

А. Б.: Мне хочется договорить то, что не успел. Я вижу гибнущими многие свои сочинения, которые просто необходимо осуществить. Это ощущение схожее с необходимостью закончить строительство здания. Времени для этого осталось меньше половины. Думаю, что просто обязан дописать «Преподавателя симметрии», «Ожидание обезьян». Написать еще один роман. А тогда просто не знаю, что буду делать...

ЮЗУ АЛЕШКОВСКОМУ – 60 ЛЕТ

Исполнилось 60 лет со дня рождения известного русского писателя Юза Алешковско-го. Редакция нашего журнала сердечно поздравляет юбиляра с его шестидесятилетием и желает ему долгих лет жизни и успешной работы на благо отечественной литературы.

«Континент»

Уважаемые коллеги!

К вам обращаются журналисты журнала «Огонек» с просьбой о помощи.

Мы просим вас рассказать на страницах своего издания об акции нашего журнала: мы открыли благотворительный валютный счет «АнтиСПИД» № 70000015 во Внешэкономбанке СССР — для скорейшей закупки одноразовых шприцев, одноразовых систем для переливания крови, одноразовых внутривенных катетеров и других одноразовых медицинских изделий.

СПИД — общая беда. Мы скорбим по всем людям, ставшим жертвами этой страшной болезни.

Но мы хотим, чтобы все наши соотечественники, все, кому небезразлична судьба советских людей, все, у кого есть родственники, друзья, близкие люди в СССР, узнали наконец страшную, замалчиваемую правду: нашу страну ожидает эпидемия СПИД еще более страшная, чем другие цивилизованные страны. Так считают авторитетные ученые и медики, чье мнение не зависит от официальной позиции.

Дело в том, что в наших поликлиниках и больницах до сих пор практически нет одноразовых шприцев, одноразовых систем для переливания крови, одноразовых внутривенных катетеров, одноразовых контейнеров для хранения крови и т.д. Имеющиеся же в некоторых центральных больницах одноразовые шприцы, системы для переливания крови, одноразовые внутривенные катетеры используются не один раз для разных пациентов — потому что этих инструментов элементарно не хватает. Шприцы многократного применения часто не стерилизуются — медсестры меняют лишь иголки. В большинстве больниц СССР просто нет одноразовых систем для переливания крови и одноразовых капельниц, используются резиновые трубки, которые стерилизуются и снова используются. Все это приводит к массовым заражениям в больницах. 80 детей по сути одновременно заражены в Элисте, 25 в Волгограде — но это лишь факты, которые получили огласку.

Тест-системы для проверки крови на СПИД, выпускаемые отечественной промышленностью, некачественны, поэтому нет никаких гарантий, что «проверенная» донорская кровь не заражена.

Уже понятно: тысячи, сотни тысяч советских граждан — в том числе детей! — обречены на заражение вирусом СПИД в больницах и родильных домах.

Не защищен советский человек и в кресле стоматолога: некоторые инструменты не стерилизуются после каждого паци-

ента, как положено, только потому, что у врача в наличии всего один комплект данного инструмента, и если он отдаст его на часовую стерилизацию, ему просто нечем будет лечить следующих пациентов.

Перспектива ближайших лет удручает. Наша промышленность не имеет отечественных медицинских изделий, и они даже еще не разработаны. А на закупку импортных линий Совет министров СССР до сих пор не выделяет валюту, вернее, выделены крохи, которые нас не спасут.

От полной безысходности и отчаяния журнал «Огонек» открыл благотворительный валютный счет «АнтиСПИД» № 70000015 во Внешэкономбанке СССР, видя в этом единственный выход из трагической ситуации. Приобретенные нами одноразовые медицинские изделия будут направлены в первую очередь в детские больницы и родильные дома, а не «уплывут» в больницы для высокопоставленных лиц.

Мы хотим через ваше издание обратиться с зовом о помощи ко всем нашим соотечественникам, ныне проживающим в вашей стране: «Наше государство не защитило нас от СПИДа. Мы обращаемся за помощью к вам. Каждый перечисленный вами доллар спасет чью-то жизнь».

Распоряжаться всей собранной валютой будут не государственные ведомства, а общественный Распорядительный Совет при журнале «Огонек». В него входят люди, которым верят: видный экономист, народный депутат СССР Гавриил Попов, академик Рэм Петров, офтальмолог, народный депутат СССР С.Федоров, академик Израиль Гельфанд, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, писательница Татьяна Толстая, поэт Евгений Рейн, главный редактор журнала «Огонек», народный депутат СССР Виталий Коротич и другие. Надеемся, будут в Совете и видные представители Церквей — православной, баптистской, мусульманской, католической...

Зарубежными представителями Совета уже согласились стать писатели Анатолий Гладилин и Владимир Войнович, художник Михаил Шемякин.

Коллеги, просим вас донести до наших соотечественников горькую правду о ситуации со СПИД в СССР и рассказать о нашем благотворительном счете.

Для информации высылаем вам последние статьи в «Огоньке» на данную тему.

С уважением

АЛЛА АЛОВА,
координатор фонда «АнтиСПИД»,
специальный корреспондент «Огонька»

Читайте в следующем номере «Континента»

**Новая пьеса Иосифа Бродского
«Демократия!»**

Проза:

**Евгений Звягин,
Леонид Межибовский,
Валерий Шубинский**

Поэзия:

**Дмитрий Волчек,
Игорь Губерман, Анатолий Найман,
Ольга Рожанская, Виктор Ханан**

Публицистика:

**Виктор Каган, Мария Шнеерсон,
Дора Штурман**

СОДЕРЖАНИЕ №№41-60

ПРОЗА

Василий АГАФОНОВ. Из книги «Житие гарнизона». **51**, 62-81; Венские каникулы. **58**, 113-187.

Василий АКСЕНОВ. Скажи изюм. Главы из романа. **45**, 16-88.

Юз АЛЕШКОВСКИЙ. Смерть Ленина. Рассказ. Из книги «Пустая посуда». **46**, 142-167; Из новой книги «Похмельные повести»: Маленькая повесть об одном безумце и сломанной собаке. **52**, 57-95, **53**, 175-219; Призрак в белом халате. Из книги «Рассказы майора Пронькина». **60**, 30-72.

Эмма АНДИЕВСКАЯ. Сказка о тщеславии. Перевод с украинского. **50**, 177-183.

Филипп БЕРМАН. Косынка в белый горошек. **48**, 91-100.

Ирена БРЕЖНА. Словацкие фрагменты. Перевод автора. **41**, 147-180.

Иосиф БРОДСКИЙ. Путешествие в Стамбул. **46**, 67-11.

Галина ВИШНЕВСКАЯ. «Леди Макбет Мценского уезда». [Из книги «Галина»]. **43**, 25-41.

Георгий ВЛАДИМОВ. Майор Светлооков. Глава из романа «Генерал и его армия». **42**, 7-59; Даёшь Предславль! Глава из романа «Генерал и его армия». **56**, 16-65; Поклонная гора. Глава из романа «Генерал и его армия». **58**, 24-61.

Владимир ВОЙНОВИЧ. Москва-2042. Главы из романа. **47**, 17-65; Шапка. [Повесть]. **55**, 13-116.

Юрий ГАЛЬПЕРИН. Лопарский поселок. Рассказ. **41**, 129; Сукин сын. **54**, 87-125.

Хагит ГИОРА. Огород ленивых одалисок. **57**, 78-100.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. На вокзале. Рассказ. **45**, 207-225.

Рикардо ГУИРАЛЬДЕС. Шорник. Перевод с испанского А.Алмазова. **51**, 214-218.

В.ДЕНИСОВ. Краденый бог. **48**, 14-33, **49**, 140-164.

Сергей ДОВЛАТОВ. Встретились, поговорили. **58**, 78-97.

Венедикт ЕРОФЕЕВ. Моя маленькая лениниана. **55**, 187-202.

Александр ЖУРЖИН. Докторская. Новелла в дубовых тонах (анонимно). **44**, 11-57.

Марк ЗАЙЧИК. Атеист. **44**, 76-109; Сделано в СССР. **50**, 81-145.

Евгений ЗВЯГИН. Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки, или Напиться на халяву. **54**, 16-57.

- Александр ЗИНОВЬЕВ. Катастройка. (Из романа). **57**, 7-69.
- Феликс КАНДЕЛЬ. Люди мимоезжие. Книга путешествий. **41**, 20-82, **42**, 105-198, **43**, 85-148; Слеза в дыму. Притча с извлечениями из хроник. **51**, **131-155**; **52**, 124-172.
- Виктор КОНДЫРЕВ. Перст судьбы. (Памяти Виктора Платоновича Некрасова). **55**, 125-128.
- Лев КОНСОН. Короткие повести. **49**, 101-103.
- Анатолий КОПЕЙКИН. Право же, светел дол... (Из жизни и помышлений Коропкина). **47**, 193-220.
- Григорий КОСЫНКА. Анкета. Перевод с украинского Юрия Милославского. **44**, 154-163.
- Виктор КРИВУЛИН. Родословная. **55**, 134-177; Путешествие рядом с Батюшковым. **60**, 89-98.
- Юрий ЛАПИДУС. На очереди. Повесть. **47**, 69-115, **48**, 112-158.
- Михаил ЛЕМХИН. «В синем небе звезды блещут». **44**, 120-138; На доклад командиру 593 военно-строительного отряда. **53**, 145-156.
- Эли ЛЮКСЕМБУРГ. Поселенцы. Рассказ. **44**, 121-144.
- Владимир МАКСИМОВ. Звезда адмирала. Главы из романа. **46**, 14-57; И Аз воздам. Главы из романа: Глава первая. **51**, 25-45; Глава вторая. **54**, 148-165; Как в саду при долине. Маленькая повесть. **57**, 106-147.
- Израиль МАЛЕР. Пятак. Со вступительной заметкой Владимира Максимова. **43**, 53-74; Бедные люди, или Двадцать писем к другу. Избранные места. **46**, 173-188; Круговорот души (неповествовательная проза). **50**, 54-73.
- Юрий МАМЛЕЕВ. Письма к Кате. Рассказ. **47**, 119-127.
- Владимир МАТЛИН. Телеграмма для сеньора Штольца. **48**, 73-84.
- Александр МИГУНОВ. Отель миллион обезьян. **48**, 39-63.
- Михаил МОРГУЛИС. Степной этюд. **59**, 198-201.
- Ицхак бен-МОРДЕХАЙ. У пекарей. Перевел с иврита Валерий Кукуй. **56**, 184-205.
- Ирина МУРАВЬЕВА. Два месяца. **56**, 129-165.
- Вадим НЕЧАЕВ. Фантом. [Отрывок из романа «Побег на родину»]. **48**, 165-179.
- Виктория ПЛАТОВА. Неяркая жизнь Сани Корнилова. **59**, 7-69.
- Геннадий ПОКРАСС. Хмырь. **50**, 152-171.
- Ирина РАТУШИНСКАЯ. Рассказы и сказки. **52**, 111-127.
- Леонид РЖЕВСКИЙ. Полукрылый ангел. **45**, 233-263.
- Геннадий РУССКИЙ. Житие и страдание старца Корнилия. (К тысячелетию Крещения Руси). **49**, 7-18.
- Саша СОКОЛОВ. Книга Дерзания. **42**, 65-95; Тревожная куколка. **49**, 84-91.

Владимир СОЛОУХИН. Фантастический разговор [и др. рассказы]. **59**, 77-126.

Андрей ТАРКОВСКИЙ. Жертвоприношение. **49**, 25-77; Из дневника. [Публикация Ларисы Тарковской]. **57**, 174.

[Алексей ТУРБИН]. Неизвестный русский автор начала 70-х годов XX века. Словарь обиняков. **59**, 209-221.

Михаил ФЕДОТОВ. Из цикла «Иерусалимские хроники». **53**, 102-114.

Лев ХАЛИФ. Охрана окружающей среды стреляет без предупреждения. **50**, 188-200; Улыбка. **53**, 125-140.

Леонид ЦЫПКИН. Ваше здоровье. **55**, 213-222.

Семен ЧЕРТОК. Палыч. **41**, 187-209.

Яков ШАБТАЙ. Собственный полосатый тигр, нагоняющий смертельный страх. Перевел с иврита Валерий Кукуй. С письмом «Вместо предисловия» Амоса Оза. **51**, 178-207.

Исаак ШАПИРО. Васылева гора. **52**, 103-111.

Александр и Лев ШАРГОРОДСКИЕ. Сказка Гоцци. **41**, 97-123.

Анатолий ШВАРЦ. Жизнь и смерть Михаила Булгакова. **53**, 10-97, **54**, 60-142.

Светлана ШЕНБРУНН. Справка. **54**, 175-195.

Игнатий ШЕНФЕЛЬД. Зоська без носа. Рассказ. **56**, 80-116, **57**, 194-196.

Эд ШУХМИН. Как сейчас помню... Повесть в рассказах. **60**, 109-179.

Д РА М А Т У Р Г И Я

Венедикт ЕРОФЕЕВ. Вальпургиева ночь, или «Шаги командора». Трагедия в пяти актах. **45**, 96-185.

Александр ЗИНОВЬЕВ. Рука Кремля. Комедия о мирном сосуществовании двух систем. **47**, 137-184.

Владимир МАКСИМОВ. Берлин на исходе ночи. Трагифарс в двух актах, шести явлениях. **50**, 7-48; Кто боится Рэя Брэдбери? Сценическая фантазия в 2-х актах и 6-ти сценах. **59**, 134-188.

С Т И Х И

Давид АВИДАН. Поездка по городу. Перевод с иврита Савелия Гринберга. **56**, 175-183.

«АКВАРИУМ». Подготовка к печати и вступительная заметка Анатолия Копейкина. **44**, 67-75.

Владимир АЛЕЙНИКОВ. Две фантазмагии. Осень 1964 [и др.]. **60**, 7-29.

Юз АЛЕШКОВСКИЙ. Из старых песен. **44**, 58-66.

Александр АЛОВ. «Когда расплывшиеся строчки...». **52**, 48-56.

Петр АНТОНЮК. Из лагерной поэзии. Публикация Л.Черткова. **47**, 116-118.

Владимир АТОН. *.* («Сквозь поросль дикого винограда...») [и др.]. **42**, 100-104; Семь стихотворений. **53**, 141-144.

Андрей БАЗИЛЕВСКИЙ. Из стихов Самюэля БЕККЕТА. Перевод с английского. **60**, 202-205.

Михаил БАРАШ. Поезд. **53**, 157-162.

Роман БАРТЕЛЬ. Стихи. **46**, 189-192.

Александр БАШЛАЧЕВ. Уберите медные трубы. **57**, 70-76.

Иосиф БЕЙН. Из поэмы «Незримый крест, или Невидимое распятие». **41**, 210-212.

Семен БЕНЬЯМИНОВ. Поэма о труде [и др.]. **56**, 166-173.

Матия БЕЧКОВИЧ. «Вековая мечта человечества». Перевод с сербскохорватского Н.Горбаневской. **48**, 180-184.

Ина БЛИЗНЕЦОВА. *.* («В снежинке воды лишь столько, сколько может вобрать кристалл...») [и др.]. **57**, 182-190.

Дмитрий БОБЫШЕВ. Новые стихи. **45**, 89-95; Из американских поэтов. **47**, 221-225; Жизнь Урбанская. **52**, 96-102; Новые стихи. **55**, 178-186; Из американской поэзии. **57**, 157-167.

Константин БОГОЛЮБСКИЙ. Стихотворения 1985-1986 гг. **52**, 42-47.

Андрей БОРОДИН. Первая публикация. **51**, 52-61; Из стихов 1982-1984 гг. **57**, 148-156.

Иосиф БРОДСКИЙ. *.* («Я входил вместо дикого зверя в клетку...») [и др.] **45**, 186-206; Из цикла «Жизнь в рассеянном свете». **51**, 7-24; *.* («Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешен отстрел...») [и др.]. **54**, 7-15; Рождественская звезда [и др.]. **58**, 7-23.

Игорь БУРИХИН. Из цикла «Я. В. Норвегии. На Страстной. И на Светлой. Сорокадневное». **45**, 264-271.

Наум ВАЙМАН. «Скоро осень...». **43**, 149-151.

Хорхе ВАЛЛЬС. Из двух тюремных книг. Перевод с испанского Анатолия Копейкина. **41**, 14-19.

Томас ВЕНЦЛОВА. Пять стихотворений. Перевод с литовского Н.Горбаневской. **51**, 208-213.

Александр ВЕРНИК. Стихи из сборника «Биография». **48**, 85-90; «...эхо, перышка касанье». **57**, 101-105.

Лия ВЛАДИМИРОВА. Новые стихи. **47**, 185-192.

Георгий ВЛАСЕНКО. Батумские каприччио. [Напечатано под псевдонимом Сергей РАЕВСКИЙ]. **52**, 24-32; *.* («здравствуйте, мои братья, мертвые птицы...») [и др.]. **58**, 98-104.

Анри ВОЛОХОНСКИЙ. Мазь. **52**, 173-175.

Владимир ГЛОЗМАН. «Невоплощенный человек...». **43**, 76-84.

Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ. Восемь стихотворений из ненаписанной книги. **50**, 146-151; *.* («Говорила Адамови Ева...»). **53**, 3-я стр. обложки; *.* («Там, где пушкинская осень над тосканскими холмами...»). **54**, 3-я стр. обложки.

Наталья ГОРДЕЕВА. *.* («Вот так, к стене лицом неплачущим...») [и др.]. **50**, 184-187.

Борис ГРИГОРЬЕВ. Московские стихи. **50**, 74-80.

Алексей ГРИДНЕВ. «Сквозь щелки воспаленных век...». Вступительная заметка Иосифа Косинского. **52**, 8-23.

Тенгиз ГУДАВА. Из стихотворений 1985-1987 гг. **60**, 180-185.

Белла ДИЖУР. *.* («Родиться вновь. Но в облике растенья...») [и др.]. Вступительная заметка Эрнста Неизвестного. **42**, 60-64; Стихи разных лет. **54**, 197-203.

Лев ДРУСКИН. Стихи. **49**, 104-110.

Евг. ДУБНОВ. Канадские строки. — *.* («Ты встанешь у рампы...»). **53**, 167-170.

Елена ДУНАЕВСКАЯ. *.* («Ничего нет правдивей заката, воды и гранита...») [и др.]. **59**, 127-133.

Г.ЕВГЕНЬЕВ. «Снег, святая простота...» **41**, 124-128.

Иван ЕЛАГИН. *.* («Где машина мчится за машиной...») [и др.]. **46**, 7-13.

Виктор ЕНЮТИН. Флейте [и др.]. **42**, 96-99; *.* («О, маг словесных антраша...»). **51**, 168-169.

Михаил ЕРЕМИН. 127 («Не глаголица и не кириллица...») [и др.]. **54**, 58-59.

Валентин З/К (СОКОЛОВ). Стихи конца 50-х — начала 60-х годов. Вступительная заметка Эдуарда Кузнецова. **41**, 7-13.

Римма ЗАПЕСОЦКАЯ. Прибалтийский мотив [и др.]. **50**, 49-53.

Наталья ЗАХАРЕВИЧ. *.* («стихотворение богато как оспина чья-то...») [и др.]. **58**, 197-199.

Микола ЗЕРОВ. Сонеты. Перевод с украинского и вступительная заметка Василия Бетаки. **51**, 173-177.

Юрий ИВАСК. Воображая Петербург. **47**, 128-131.

Елена ИГНАТОВА. Десять стихотворений. **51**, 46-51.

Юрий ИОФЕ. Франкфурт/Майн, январь 85. **46**, 168-172.

Леонид ИОФФЕ. *.* («Одна и есть надежда...») [и др.]. **48**, 159-164.

Яан КАПЛИНСКИЙ. Строки из Эстонии. Перевод Василия Бетаки. Со вступительной заметкой Алексиса Раннита. **43**, 22-24.

Игорь КАЧУРОВСКИЙ. Из книги «В далекой гавани». Перевел с украинского автора. **45**, 272-275.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. 1984. **46**, 58-66; Новые стихотворения. **48**, 101-111; «Один не услышит, другой не поймет...». **52**, 112-123; Стихотворения, присланные из Канады. **56**, 66-79.

Тимур КИБИРОВ. Лесная школа. [Поэма]. **56**, 7-15.

Юрий КОЛКЕР. Из книги «Ex adverso». **42**, 141-146; *.* («Ты живешь в Петербурге, где воды слышны...») [и др.] **52**, 184-188; «Мы гостили в раю...». **58**, 188-196.

Александр КОЛЧАК. Вечерняя молитва. **52**, 189-190.

Наум КОРЖАВИН. Стихи о веревке [и др.]. **47**, 133-136.

Лина КОСТЕНКО. Стихи разных лет. Перевод с украинского и предисловие Василия Бетаки. **45**, 7-15.

Татьяна КОСТИНА. Наводнение [и др.]. **50**, 201-206.

Татьяна КОТОВА. Наши смутные серые зимы. **48**, 34-37.

Вадим КРЕЙД. Восьмигранник. **50**, 207-209.

Михаил КРЕПС. Утро [и др.]. **49**, 92-100; Язык дождя [и др.]. **55**, 203-212.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ. В Альпах. **41**, 181-186; Новые стихи. **46**, 112-119.

Рина ЛЕВИНЗОН. *.* («Закутаюсь в меха...») [и др.]. **41**, 213-215;

. («Жизнь любим без прекрас...») [и др.]. **53**, 163-166.

Владислав ЛЁН. Из «Книги посланий». **45**, 226-232; Ода на вступление великого русского человека Андрея Дмитриевича Сахарова в Москву. **55**, 129-133.

Инна ЛИСНЯНСКАЯ. В госпитале лицевого ранения. [Венок сонетов]. **47**, 7-16.

Андрей ЛОГВИНОВ. Зарево рая. **48**, 7-14.

Лев ЛОСЕВ. Из книги «Стихотворения». **41**, 83-96; Тайный советник и кое-что другое. (Из новой книги). **44**, 110-120; Новые сведения о Карле и Кларе. **59**, 189-197.

Алексей МАГАРИК. Из стихов, написанных в Тбилисской тюрьме. **41**, 172-176; Новые стихи. **53**, 7-9.

Александр МАКАРОВ-КРОТКОВ. *.* («Петр Первый...») [и др.]. **60**, 99-102.

Григорий МАРК. «Из мокрого, синего снега...». **51**, 126-130.

Зоя МАРТОВА. «Пусть говорят мне: пусты небеса...». **52**, 33-41.

Михаил МЕЙЛАХ. Из книги «Игра в аду». **60**, 195-201.

Елизавета МИХАЙЛИЧЕНКО. Любовь к сентябрю. **57**, 168-173.

Ирина МУРАВЬЕВА. «Но, как везде, здесь сладостна земля...». **49**, 19-23.

Андрей НАВРОЗОВ. Из Эмили ДИКИНСОН. (Переводы 1980-1981 гг.). С послесловием «От переводчика». **49**, 128-136; Из Томаса Стернза

ЭЛИОТА. Романс Альфреда Пруфрока. С послесловием «От переводчика». **58**, 105-112.

Марианна ОЗЕРНАЯ. Суть вчерне [и др.]. **54**, 143-147.

Ирина ОЗЕРОВА. Посмертные строфы. **43**, 43-51.

Яков ОСТРОВСКИЙ. Моя молитва [и др.]. **59**, 70-76.

Валентин ПАПАДИН. Перед смертью меня разбудили. Из книги стихов. **41**, 140-146.

Сергей ПЕТРУНИС. Четыре стихотворения. **46**, 139-141; Город-оборотень [и др.]. **54**, 171-174.

Герман ПЛИСЕЦКИЙ. Стихи. **60**, 103-108.

Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ. *.* («Распутин, распутье, распястье...»). **51**, 167; Бесы [и др.]. **57**, 191-196.

Анатолий РАДЫГИН. Восход кровавый и закат кровавый. Венок сонетов. Публикация Э.Штейна. **51**, 156-166.

Сергей РАЕВСКИЙ — см. Георгий ВЛАСЕНКО.

Алексис РАННИТ. Восемь стихотворений. В переводах Натальи Горбаневской (по авторским подстрочным переводам с эстонского). **44**, 7-10.

Ирина РАТУШИНСКАЯ. За высокую оду. **43**, 7-21.

Марлена РАХЛИНА. Подпорченный сонет [и др.]. **60**, 186-194.

Генрих САПГИР. Новые сонеты. **55**, 117-124; Из книги «Монологи». **58**, 62-77.

Константин СЕДУНОВ. *.* («Не бойтесь, не бойтесь!...») [и др.]. **59**, 202-208.

Савелий СЕНДЕРОВИЧ. Десять стихотворений из записных книжек 1963-73 годов. **52**, 176-183.

Валентин СОКОЛОВ — см. Валентин З/К (СОКОЛОВ).

Александр СОПРОВСКИЙ. Два стихотворения. **47**, 66-68.

СТРАННИК. «Чтоб человек дышал и пела птица...». **53**, 98-101.

Василь СТУС. Стихи разных лет. Перевод с украинского Василия Бетаки. **44**, 145-149.

М.ТВЕРСКОЙ-ЯМСКОЙ. Каждому свое. **49**, 138-139.

Марина ТЕМКИНА. Наблюдение за полетом птиц. — Позднелатинское послание. **51**, 82-86; На ферме. [Поэма]. **56**, 117-127.

Владимир УФЛЯНД. Для голоса и балалайки. — Народ. Драма. **55**, 7-12; Народ. Неоконченная драма. **60**, 73-88.

Мара ФЕЛЬДМАН. *.* («А утром —...») [и др.]. **53**, 171-174.

Александр ФРАДИС. «Мы дотянем свой век...». **44**, 164-173.

Лев ХАЛИФ. *.* («Они приходят наяву...») [и др.]. **41**, 216-218.

Анастасия ХВОСТОВА. *.* («Как хрупко бытие...») [и др.]. Со вступительной заметкой Владимира Максимова. **59**, 222-225.

Алексей ЦВЕТКОВ. Жалобы часовщика. Цикл стихотворений из книги «Mirabile dictu». **49**, 78-83.

Леонид ЧЕРТКОВ. Новые стихи. **42**, 139-140.

Игорь ЧИННОВ. Картина в Бостонском музее [и др.]. **54**, 166-170.

Самуил ШВАРЦБАНД. Плач по Александру Блоку. **43**, 150-153.

Зоя ЭЗРОХИ. «Обняв Пегаса теплого за шею...». **53**, 115-123.

Леопольд ЭПШТЕЙН. «Я никогда ничего не хотел от судьбы...». **48**, 64-72; * * («Я никогда ничего не хотел от судьбы...») [и др.]. **58**, 200-205.

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Раиса БЕРГ. Варвары на обломках цивилизации. **41**, 219-252; Полит-экономика социализма. **46**, 193-206.

Игорь БИРМАН. Пер-р-рестройка. **54**, 205-252.

Николай БУХАРИН (?). Ибо я — большевик!!.. Тем, которые придут. Вступление, публикация, примечания А.Рубинштейна. С послесловием «Мнение историка» Михаила Геллера. **55**, 223-247.

ВНИМАНИЕ: опасность! [Публикация стенограммы выступления Д.Д.ВАСИЛЬЕВА]. **50**, 211-227.

Валерий ГОЛОВСКОЙ. Существует ли цензура в Советском Союзе? (О некоторых методологических проблемах изучения советской цензуры). **42**, 147-173.

Александр ГРИБАНОВ. «Больной человек». **57**, 197-212.

Михаил ЗАБОРОВ. Социальная физика. **47**, 227-247.

Александр ЗИНОВЬЕВ. Почему я не вернусь в Советский Союз. **43**, 161-165; Не все мы диссиденты. О социальной оппозиции в советском обществе. **44**, 175-189; С чего начинать. Статья первая. **51**, 219-239; Обращение к третьей русской эмиграции. **51**, 240-241; Научная критика коммунизма. (Статья вторая). **53**, 221-242; Манифест социальной оппозиции. **60**, 207-231.

Наум КОРЖАВИН. Над страницами жизни Петра Григоренко. **48**, 187-218.

Эдуард КУЗНЕЦОВ. О том, как меня Сахаров обогрел. **43**, 153-160.

Евгений НАКЛЕУШЕВ. Снова восемнадцатый век! **45**, 277-290.

Димитрий ПАНИН. Правота и права человека. **49**, 165-174.

Валерий СОЙФЕР. Чернобыльская катастрофа, загрязнение окружающей среды и наследственность человека. **52**, 191-220; Больная природа России. **56**, 207-224.

Виктор СУВОРОВ. Зачем коммунистам оружие? — Отчего Сталин не верил Черчиллю? — Почему Сталин не верил Рихарду Зорге. **59**, 227-259.

Николай ТЮЛЬПИНОВ. Год скорбного торжества. (*К 1000-летию Крещения Руси*). **58**, 207-216.

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Вацлав БЕЛОГРАДСКИЙ. Живая плоть против мундира. (Чешская культура как составная часть цивилизации Центральной Европы). Перевод с чешского и послесловие Н.Горбаневской. **48**, 219-240.

Димитр БОЧЕВ. Летопись одного убийства, или Отмщение неразгаданных пророчеств. **56**, 225-238.

Иосиф БРОДСКИЙ. Почему Милан Кундера несправедлив к Достоевскому. Авторизованный перевод с английского Марины Темкиной. **50**, 229-244.

Алекса ДЖИЛАС. Югославский федерализм: отсутствие единства восьми партийных бюрократий. Перевод Анатолия Копейкина. **53**, 243-247.

Милован ДЖИЛАС. Горбачев: предостережение. **46**, 215-218; Албанские особенности. **47**, 249-255; Вечность и временность свободы. Перевод с сербскохорватского Ирины Иловойской. **52**, 221-233.

Роман ЗИМАНД. Мертвый дом живых людей. Перевод с польского Р.Беляева. **60**, 233-258.

Иштван КЕМЕНИ. Венгерская политическая лихорадка. **57**, 213-217.

Георгий КОНСТАНТИНОВ. С чего начинать? Заметки по поводу одноименной статьи А.Зиновьева. Перевели с болгарского А.Бен-Яков, Л.Герштейн. **55**, 249-269.

Виктор КУЛЕРСКИЙ. «Солидарность» вчера и сегодня. **51**, 243-292.

Ян ЛИТЫНСКИЙ. Мы и они. **43**, 167-175.

Юзеф МАЦКЕВИЧ. Вильно, 1940-1941. Два очерка. Перевел с польского Л.Шатунов. **45**, 291-300.

Адам МИХНИК. Мы все — наследники Мицкевича. (Поляки по отношению к России). **49**, 177-206.

Томаш МЯНОВИЧ. Осло — Прага — Горький. **41**, 253-262; Из записной книжки экстремиста. Перевод с польского и послесловие Н.Горбаневской. **46**, 207-214; Внуки Мицкевича и дети системы. **54**, 285-303.

Эдуард ОГАНЕСЯН. Еще раз об армянском вопросе. **41**, 263.

Леонид ПЛЮЩ. Национальные проблемы СССР. **58**, 217-224.

Барбара ПОЛЯК. В Москве летом 1988 года. Перевод с польского Н.Горбаневской. **59**, 261-274.

Здислав М.РУАЖ. Откровенно говоря. **44**, 191-196.

Александр ХАХУЛИН. Встречи с Антоненко-Давидовичем. (*Памяти ушедших*). **42**, 175-184.

ЗАПАД — ВОСТОК

Николас БЕТЕЛЛ. Советская диверсия в Западной Европе. **41**, 273-290.

Самюэль БРЮССЕЛЬ. Границы Востока. Перевод с французского Галины Келлерман. **59**, 275-280.

ИДЕОЛОГИЯ и реальность. (Вокруг Безансона). [Самиздатская дискуссия]. **54**, 253-283.

Лючио ЛАМИ. Информационный мир болен. **47**, 257-265.

[«ЛИТЕРАТУРА без границ». Выступления французских участников Международного форума]: Жан-Франсуа РЕВЕЛЬ. Интеллигенция и власть. — Андре ГЛЮКСМАН. Хайдеггер и Солженицын. — Ален БЕЗАНСОН. Ответственность советской интеллигенции сегодня. — Оливье ТОДД. Вьетнам: мифы. — Жан БЛО. На лестничной площадке форума. Перевод с французского Ярослава Горбаневского. **57**, 219-236.

Арман МАЛУМЯН. Два очерка. Перевела с французского Татьяна Премак. **53**, 249-259.

Дэвид А.МОРО. Пусть память служит пониманию. Открытое письмо Эли Визелю. **50**, 245-268.

Томаш МЯНОВИЧ. Можно ли спасти Германию? **43**, 177-193.

Лев НАВРОЗОВ. Писатель как агент-provokator всеильной власти. **55**, 271-301.

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ. Трагедия свободы. **46**, 219-232.

Ганс НОЛЛЬ. Происхожу из «нового класса». **58**, 225-242.

Ричард ПАЙПС. Партия, разьедаемая коррупцией. **44**, 197-208.

Жан-Пьер РУССО. Финляндизация сознания. **51**, 297-306.

Клод СИМОН. Приглашение. Перевод с французского Н.Горбаневской. **56**, 239-283.

Витторио СТРАДА. Сталинизм как европейское явление. **60**, 259-273.

Гейтер СТЮАРТ. «Достопочтенное семейство». Профиль итальянской мафии. Перевод с английского Василия Бетаки. **45**, 301-323.

Зоя ШИК. Две беседы, или О чем говорить не принято. **42**, 185-198.

Дора ШТУРМАН. О солидарности и противоречиях. **52**, 235-252.

Осмо ЮССИЛА. Правительство в Териоках. 1939-1940. Главы из книги. Перевод с финского под ред. Ю.Г.Фельштинского. **48**, 241-261, **49**, 207-237.

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Петр АБОВИН-ЕГИДЕС. Философ в колхозе. (Фрагменты из книги). **42**, 199-239.

Яков АЙЗЕНШТАТ. Два сапога пара. **54**, 305-312.

Кастусь АКУЛА. Кто убил Янку Купалу? **60**, 275-285.

- Моше ВАЙСМАН. Суд отказал. **51**, 307-318.
- Маргарита ГИММЕЛЬШТЕЙН. Души наших детей. **41**, 291-304.
- Гавриил ГЛИКМАН. Новелла о сапогах. **42**, 245-252.
- Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ. В Польше. Разрозненные заметки. **58**, 243-262.
- Виктор КАГАН. Дела давно минувших дней. **60**, 286-296.
- Игорь КОВАЛЬЧУК. Мясо для шакалов. **57**, 237-246.
- Иван КОРЯГИН. Какими нас делают за «серым забором». **56**, 285-289.
- Григорий КРАВЧИК. По дорогам бессрочной ссылки. **53**, 261-269.
- Махмет КУЛМАГАМБЕТОВ. Восточнотуркестанская операция. **42**, 240-244.
- Слава КУРИЛОВ. Служу Советскому Союзу. Документальный рассказ. **50**, 269-277.
- МАН. Они сами это сделали. **49**, 239-247.
- Алексей МУРЖЕНКО. ГУЛАГ после Солженицына. **59**, 281-290.
- В.П. (Москва). Новый самиздат. Вступительная заметка Н.Горбаневской. **52**, 253-264.
- Валерий СЕНДЕРОВ. Гласность в свете «неформальных объединений». **55**, 303-310.
- Валерий СОЙФЕР. Лысенкоисты и их судьбы. Главы из книги. **47**, 267-303; **48**, 263-297.
- Давид ТОЛМАЗИН. Советская система и окружающая среда: деградация водных ресурсов СССР. **44**, 209-246.
- Александр ХАХУЛИН. Умерщвление таланта. **46**, 233-236.
- Александр ШАТРАВКА. Если ты болен свободой. Отрывок из книги. **45**, 325-344.
- Игнатий ШЕНФЕЛЬД. Наследник из Калькутты. **43**, 195-207.

ИСТОКИ

- Яков АЙЗЕНШТАТ. Воспоминания об Алле Константиновне Тарасовой. **59**, 293-298.
- Кастусь АКУЛА. Оккупационный режим против «отца» белорусского национального возрождения. **55**, 311-319.
- Герман АНДРЕЕВ. Какую Россию уничтожили большевики? **42**, 253-280.
- Семен БАДАШ. Забытые имена. **51**, 319-327.
- Ольга БИРЮЗОВА. «Я люблю тебя, жизнь». **60**, 297-338.
- Илья ГОЛЬЦ. Тобольский политизолятор. **49**, 249-276.
- Иосиф ДАРСКИЙ. Шаляпин и Горький. Со вступительной заметкой Максима Шостаковича. **41**, 305-353.

Юрий ДРУЖНИКОВ. Мальчик-доносчик и товарищ Сталин. [Глава из книги «Вознесение Павлика Морозова»]. **57**, 247-258.

ЕЩЕ раз о Ленине и немецких деньгах. Документы Архива заграничной Агентуры департамента полиции Российской Империи. Публикация и предисловие Юрия Фельштинского. **50**, 313-316.

Иосиф КОСИНСКИЙ. Две мемуаристики о ленинградской блокаде. **53**, 291-309.

Елена КОТОВА. Как я спасла Коломенское. **57**, 259-270.

Константин КРИПТОН. Церковная «ежовщина» и поражение исходных планов советского правительства. (По документам, литературным данным и личным наблюдениям). (*К тысячелетию Крещения Руси*). **54**, 315-325.

Владимир ЛЕМПОРТ. Невидимый противник, или Вшивая эпопея. (Записки фронтовика). **58**, 263-291.

Михаил ЛИНЕЦКИЙ. Карл Маркс и евреи. **46**, 237-281.

Нина МУРАВИНА. Судьба алакаевских соседей Ленина. **47**, 307-344.

Василь СОКИЛ. «Ничто не забыто, никто не забыт». Авторский перевод с украинского. (*К 40-летию окончания 2-й мировой войны*). **45**, 345-360.

СТРАННИК. Переписка с ген. П.Н.Красновым. (*К тысячелетию Крещения Руси*). **56**, 307-317.

Рута У. Боже, как еще хотелось жить. Перевод с латышского Элхонна Иоффе. Предисловие Евгения Селги. **52**, 283-307.

Николай УЛЬЯНОВ. Замолчанный Маркс. **43**, 209-244.

Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ. Записки советских вождей. **44**, 249-256.

Александр ЖАХУЛИН. Рудольф Гаек. — Новичок. **48**, 299-308.

И С Т О Р И Я

Борис ПАРАМОНОВ. Чичерин, либеральный консерватор. **50**, 279-312.

Михаил ФРЕНКИН. Некоторые вопросы трагического исхода борьбы крестьянства в ходе русской революции и его колхозное закрепощение. **43**, 245-270.

Р Е Л И Г И Я В Н А Ш Е Й Ж И З Н И

Татьяна ГОРИЧЕВА. О религиозном в постмодернизме. **53**, 277-289.

Иосиф КОСИНСКИЙ. Переводы Честертона. **59**, 299-308.

Анатолий КРАСНОВ-ЛЕВИТИН. Факты и обвинения. (*К тысячелетию Крещения Руси*). **56**, 291-306.

Томаш МЯНОВИЧ. К истории восточной политики Ватикана: «польская модель». (*В порядке дискуссии*). **57**, 271-303.

Василий ТЕЛЕЖИНСКИЙ. Свет зажженной истины. (К тысячелетию Крещения Руси). **55**, 321-327.

Ф И Л О С О Ф И Я

Вадим ЯНКОВ. Этико-философский трактат. **43**, 271-301.

Э К О Н О М И К А

Ицхак АДРИМ. Урок правды Горбачева и пятилетний план. **53**, 271-276; Безработица в СССР. **57**, 305-314.

Анатолий ФЕДОСЕЕВ. Социальное равновесие. (Теория современного общества). **52**, 265-282.

Э К О Н О М И К А И П О Л И Т И К А

Дора ШТУРМАН. Свобода духа и действия. **49**, 277-299.

Н А У К А

Валерий СОЙФЕР. Загубленный талант. (Глава из книги). **60**, 339-358.

И С К У С С Т В О

Рудольф БАРШАЙ. Памяти друга. **54**, 327-332.

Соломон ВОЛКОВ. Феномен Ростроповича. К 60-летию великого артиста. **51**, 329-343; Юрий Любимов в Вашингтоне. **52**, 309-325.

Пьер ГАРНЬЕ. Олег Лягачев. Писать знаки, их движения. Перевод М.-Т.Борэ. **47**, 345-349.

Александр ГЛЕЗЕР. Десять лет спустя. **41**, 355-362; Русская галерея в Париже. **45**, 361-366.

Иосиф ДАРСКИЙ. «La battaglia di Milano». **44**, 257-273.

Михаил ЗАБОРОВ. Проекция на плоскость. (Роман с прототипом). **58**, 293-302.

Николь ЛАМОТ. Владимир Овчинников. (Перевод с французского). **52**, 326-329.

Иннеса ЛЕВКОВА-ЛАММ. Советское искусство слева и справа. **50**, 317-338; Деконструкция как метафора. **59**, 309-321.

Азарий МАРЬЯМОВ. Прозрение. История двух художников. **43**, 303-321; Оружие пропаганды и агрессии. (Прошлое и настоящее советского документального кино). **49**, 301-323.

Томаш МЯНОВИЧ. Живопись Александра Зиновьева. **42**, 281-287.

Джордж ОРВЕЛЛ. Отпущение грехов, или Несколько заметок о Сальвадоре Дали. Перевод с английского Игоря Бродецкого. **56**, 319-328.

Александра ОРЛОВА. Тайна жизни и смерти Чайковского. **53**, 311-336; Судьба советского крепостного музыканта. **57**, 315-323; Памяти Мусоргского. (К 150-летию со дня рождения). **60**, 359-376.

Дмитрий ХМЕЛЬНИЦКИЙ. Архитектура нового типа. **55**, 329-351.

Семен ЧЕРТОК. Урок Эйзенштейна. **46**, 283-326.

Ирина ЯНУШЕВСКАЯ. Записки о петербургском Шемякине. **48**, 309-321.

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Василий АКСЕНОВ. Отвечая на ответ. (Заметки новичка на американской художественной сцене). **44**, 275-288; ...и не старайся! (Заметки о прозаических высокопарностях и журнальных пошлостях). **50**, 339-352.

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. Булгаковский переворот. **47**, 351-374.

Соломон ВОЛКОВ. Вспоминая Анну Ахматову. Разговор с Иосифом БРОДСКИМ. **53**, 337-382.

Ренэ ГЕРРА. Владимир Набоков в непривычной ипостаси. Заметки о двух последних пьесах Набокова-Сирина — «Событие» и «Изобретение Вальса». **45**, 367-392.

Юрий КОЛКЕР. Порядок вещей. О стихах Владимира Лифшица. **48**, 323-351.

Наум КОРЖАВИН. Сквозь соблазны безвременья. **42**, 321-350; Гармония и утопия. **46**, 327-350.

Наталия КУЗНЕЦОВА. Писатель в России должен жить долго. К 70-летию В.Д.Дудинцева. **57**, 340-350; Магнитная стрелка искренности. К 35-летию статьи В.Померанцева. **59**, 323-334.

Михаил ЛЕМХИН. Несколько слов о повести, написанной 20 лет назад. **44**, 289.

Лев ЛОСЕВ. Великолепное будущее России. Заметки при чтении «Августа Четырнадцатого» А.Солженицына. **42**, 289-320; Кто же герой «Поэмы без героя»? **55**, 353-366.

Ирина МУРАВЬЕВА. Реквием для бедных. **57**, 325-339.

В.НОСОВ. «Ключ» к Гоголю. Опыт художественного чтения. **43**, 323-357.

Амос ОЗ. Есть ли общий знаменатель в ивритской литературе. Перевод с иврита В.Радужного. **52**, 331-344.

Джордж ОРВЕЛЛ. Артур Кестлер. Перевод с английского Игоря Бродяцкого. **51**, 345-357.

Борис ПАРАМОНОВ. Чевенгур и окрестности. **54**, 333-372; Горький, белое пятно. **58**, 303-354.

Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ. Георгий Иванов и его поэзия. **49**, 325-336.

Мариан СТАЛЯ. Голос поэта. (*У нас в гостях краковский подпольный журнал «Арка»*). **56**, 329-338. [В примечании к статье ошибочно указано, что автор выступает под псевдонимом].

Барбара ТОПОРСКАЯ. Живаго — свидетель эпохи. Перевод с польского и вступительная заметка Н.Горбаневской. **41**, 363-380.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

Лидия АРЕНС. Воспоминания о Коктебеле, о Максимилиане Александровиче Волошине и о его жене Марии Степановне за период с 1925 г. по 1940 г., написанные Лидией Аполлоновной Аренс спустя почти 45 лет... **57**, 351-364.

Георгий ИВАНОВ. Незвестное стихотворение. Публикация Кирилла Померанцева. **51**, 359.

К ВОПРОСУ об авторстве «Тихого Дона». [Публикация письма Аллы ГЕРБУРГ-ЙОГАНСЕН, присланного Игорем Качуровским]. **44**, 303-308.

Юрий КОЛКЕР. Письма В.Ф.Ходасевича к А.И.Тинякову (1907-1915). **50**, 353-370.

Людмила КУРИЛОВА. Встречи с Н.К.Зеровым. Воспоминания в письмах к Юрию Шевелеву. [С примечанием Юрия Шевелева к публикации украинского перевода в журнале «Сучасність»]. **59**, 335-359.

Адам МИЦКЕВИЧ. К русским друзьям. Перевод с польского Анатолия ЯКОБСОНА. Послесловие «Голос с того света» Владимира Фромера. **41**, 381-383.

Виктор НЕКРАСОВ. 80 лет тому назад. **55**, 367-369.

Леонид ЧЕРТКОВ. Из забытой русской поэзии XX века. **43**, 359-365; Дебют Бориса Поплавского. **47**, 375-377.

Э.ШТЕЙН. Незвестный вариант стихотворения Георгия Иванова. **54**, 373-374; История книги длиною в жизнь. **56**, 339-344.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Снова Генрих Бёль. **41**, 385-387.

Еще один урок. **42**, 351-353.

Окололитературная бесовщина. **43**, 367-369.

Есть ли у нас будущее? **44**, 309-311.

Внимание: провокация! **45**, 393-394.

Сталинизм с безусым лицом. **46**, 351-353.

Евангелие по Милану Кундере. **47**, 379-382.

Чернобыльский урок. **50**, 371-374.

Проходит ли мирская слава? С приложением комментария Георгия ВЛАДИМОВА к выступлению «Литературной газеты». **51**, 361-367.

Урок гласности. **52**, 345-349.

Почва и судьба. **53**, 383-386.

Поэт Божьей милостью. [К присуждению Иосифу Бродскому Нобелевской премии по литературе]. **54**, 375-378.

Чудо нашего выживания. **55**, 371-375.

У судьбоносной черты. **56**, 345-348.

Прощальное объяснение. **57**, 365-371.

«С кем вы, мастера культуры?» **58**, 355-359.

Мародерствующие шалуны. **59**, 361-364.

Социальная месть утопии. **60**, 377-379.

В МЕСТО КОЛОНКИ РЕДАКТОРА

Василий АКСЕНОВ [и др.]. Серые начинают и выигрывают. **48**, 353-354.

О «руке КГБ» и прочем. [Письмо А.СИНЯВСКОГО с комментариями и дополнениями]. **49**, 337-342.

НАША ПОЧТА

(Во всех случаях, где иной адресат не указан, письма обращены либо в редакцию, либо главному редактору «Континента»).

Л.МАГЕРОВСКИЙ, куратор-основатель Бахметевского архива. Рапорт Русскому Зарубежью. С приложениями и редакционным комментарием; письма Святослава КАРАВАНСКОГО и читателя из Восточной Европы. **41**, 389-401.

Письмо Сола БЕЛЛОУ [о выходе из редколлегии], ответ редакции и сообщение о включении в редколлегию Сиднея Хука. **42**, 355-356.

Письма Дисы ХОСТАД, Иосифа ИЦКОВА, О.ЗИНОВЬЕВОЙ; Христо-продавцы. Письмо «православных христиан из СССР». **43**, 355-381.

Семен БАДАШ. Письмо в редакцию; д-р БРОЙДЕ-ТРЭППЭР (АНТОНОВ). Президенту Государства Израиль, Свободной прессе Европы и США; Дора ШТУРМАН (ТИКТИНА). Большевики и свобода печати. **44**, 313-324.

Письмо В.ЛЪВОВА и редакционный комментарий. **45**, 395-403.

Письма Рудольфа Яковлевича ЛЕВИНСОНА, Ричарда ПАЙПСА, Леонида ПЛЮЩА, Анатолия ЭФРОСА; Украденный юбилей. Заявление к 20-летию Театра на Таганке; письмо Шимона МАРКИША и ответ Владимира МАКСИМОВА. **46**, 355-380.

Письма «МУРАВЬЕВОЙ и др.», Морин КОУТ. **47**, 383-385.

Василий АКСЕНОВ. Без названия; Письма д-ра Райнера ХИЛЬДЕБРАНДТА и Карла-Хейнца РОЗЕ, ответы Т.МЯНОВИЧА и редакции; письмо Соломона ИОФФЕ. **48**, 353-362.

Марк АЗБЕЛЬ. Тайное и явное: мифы и трагедия советских эмигрантов. С редакционным комментарием; письмо Эдварда КЛИМЧАКА. **49**, 343-357.

Отзывы и свидетельства читателей из СССР; Заключая разговор. **50**, 375-382.

Письма Валерия СОЙФЕРА и его ответы на вопросы корреспондента Питера Арнетта; письмо Н.КАЛИНЫ и редакционный комментарий; письма Сергея КАМПФА, Иосифа ДАРСКОГО, Е.ШУХМАНА; Д.БРЕЩИНСКИЙ. К вопросу о подлинном тексте «Жития инока Корнилия Выговского»; Вместо письма в редакцию: Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ. Фрагмент из «Ночного дневника». **51**, 371-400.

Письмо Glorii MUNDI и комментарий Владимира МАКСИМОВА; Дмитрий ПАНИН. Ответ И.Г.; Татьяна КОСТИНА. Равнодушие к истине. [Ненапечатанное письмо в редакцию журнала «Страна и мир»]. **52**, 351-361.

Тимо ВИХАВАЙНЕН. Вассальство, искушения тоталитаризма и «финляндизация»; письмо Э.ШТЕЙНА. **53**, 387-390.

Димитрий ПАНИН. Не начинать, а продолжать; письмо С.ЧЕРТОКА. **54**, 379-386.

Иннеса ЛЕВКОВА-ЛАММ. «Нет пророка в своем отечестве». **55**, 377-381.

Михаил ГЕЛЛЕР. Борис Парамонов в окрестностях Чевенгура; письмо М.ИЗЛЕТЫ. **56**, 349-352.

Письма Ольги СУРКОВОЙ, Соломона ИОФФЕ; И.РУСИНОВ. Штрихи к портрету героя «поворотов» писателя Сергея Залыгина. [Письмо, не опубликованное «Литературной газетой» и рядом др. газет и журналов]. **57**, 373-394.

Соломон ИОФФЕ. К публикации книги А.Шварца «Жизнь и смерть Михаила Булгакова»; письмо Наталии КУЗНЕЦОВОЙ. **58**, 361-378.

В.БЕЛЕВИЧ. Письмо Роберту Конквесту; письма Святослава КАРАВАНСКОГО, Марлены РАХЛИНОЙ; Виктор КАГАН. Рецензия на рецензию; письмо Л.С.ФРАНКА. **59**, 365-376.

Письма Георгия ВЛАДИМОВА, И.КОГАНА. **60**, 381-392.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Михаил АГУРСКИЙ. Великий «ренегат». **45**, 410-414.

В.Б. Две с лишним вечности назад... **44**, 359-363.

Михаил БАРАШ. Одна частная переписка (Борис Пастернак — Ольга Фрейденберг). 60, 413-419.

Василий БЕТАКИ. Поэт своей судьбы. 44, 339-344; Сотворение универсума. 46, 393-397; Мемуары двух поэтов. 49, 380-388; Верность. 50, 388-395; Калигула или Гамлет? 58, 379-383.

Игорь БИРМАН. Еще один забытый пророк. 57, 407-410.

Дмитрий БОБЫШЕВ. Черные ноги артистов. 44, 325-332; Memento mori. 48, 397-401; Жареные розы Елены Шварц. 51, 418-426; Человек с книгой. 58, 387-394.

Димитар БОЧЕВ. Психология зла. 52, 388-393.

В.ВОЛКОВ. Кассандра за лагерной проволокой. 44, 344-348.

Михаил ГЕЛЛЕР. Автопортрет в колючей раме. 43, 399-401.

Александр ГИНЗБУРГ. Опыт страдания. 49, 410-414.

И.ГЛИЕР. Послужишь — поймешь. 48, 384-388.

Н.ГОРБАНЕВСКАЯ. Мельница и замок. 43, 387-392; С доверием к тексту. 47, 391-395; Эта книга была первой... 60, 425-429.

Татьяна ГОРИЧЕВА. Книга об отце Глебе Якунине. 43, 392-394; Русская мысль в изгнании, или Восток на Западе. 47, 413-418; От мглы к свету. 50, 413-418.

Александр ГРИБАНОВ. В поисках неустойчивого равновесия. 56, 357-363.

Игорь ЕФИМОВ. «И не уйдешь ты от суда мирского». 41, 403-408; Эзопов язык и цензура. 44, 376-380; Экспортный вариант перестройки. 59, 388-392.

Вячеслав ЗАВАЛИШИН. Аввакум с речки Утиной. 42, 357-362; Предтеча позднего «авангарда». 49, 388-393.

В.И. Какого цвета «обыкновенный фашизм»? 44, 333-339.

Галина КЕЛЛЕРМАН. К вопросу о «поколении, растратившем своих поэтов». 47, 395-403; «Скажи изюм» — роман о России и эмиграции. 48, 394-397; Размышления о русском нонконформизме. 49, 397-401; Палачи ведают, что творят... 52, 375-381.

Юрий КОЛКЕР. О стихах Рины Левинзон. 44, 384-388.

Анатолий КОПЕЙКИН. Монография о Солженицыне. 43, 383-387; Лев Лосев, поэт. 46, 381-384; Две культуры. 49, 375-380.

Иосиф КОСИНСКИЙ. Когда б вы знали, из какого сора... 44, 364-375; Трава пробивает асфальт. 48, 372-383.

А.КРАСНОВ. Человек двадцатых годов. 50, 407-413; Реабилитация нашего современника. 52, 381-388.

Максим КРОТОВ. Что такое шпалера? 52, 401-405; Мир как воля и представление. 53, 407-410.

Ю.КУБЛАНОВСКИЙ. Князь Г.Н.Трубецкой — патриот, дипломат, свидетель. 42, 362-368; Казнь Льва Мехлиса. 49, 392-397.

Наталья КУЗНЕЦОВА. И комиссары в пыльных шлемах... **53**, 391-396.

Михаил ЛЕМХИН. Желябов, Нечаев, Карлос и другие... **49**, 359-369; Инопланетянин Лимонов. **52**, 393-397; О безобидных пришельцах и кровавых дикарях. **59**, 381-385.

Лев ЛОСЕВ. Маятник американской культуры качнулся. **54**, 405-408.

В.М. Женская проза. **53**, 410-413; Свет негаснущего костра. **56**, 374-378; Художник берется за перо. **58**, 384-387.

Владимир МАКСИМОВ. Канонизация Достоевского. **50**, 395-399; За что боролись? **55**, 396-400; Стихи-87. **56**, 387-390; Кто сделал революцию? **57**, 395-398.

Юрий МАМЛЕЕВ. Энциклопедия творчества Бориса Зайцева. **41**, 413-416; Апокалипсические приметы. **44**, 381-384; Бессмертие мертвых душ. **47**, 404-408; Любовь и творчество. **54**, 421-424; Свидетель и поэт. **56**, 394-398.

Ольга МИНЦ. Борьба за Сахарова. **47**, 387-391.

Ольга МИРОНОВА. «Книга о книге веры». **59**, 385-387; Миф о предателе. **60**, 404-408.

М.МИХАЙЛОВА. Марксизм и тоталитарная экономика. **42**, 374-377; Повесть о Марине. **44**, 354-358; Вперед, войне навстречу. **52**, 363-368; Радость нечаянной встречи. **56**, 390-394.

Майя МУРАВНИК. Сатурн убивает своих детей. **44**, 348-353; Когда грядет библейская черта. **47**, 408-413; Какая может быть честь у двора? **48**, 363; Галина неистовая. **49**, 369-375; Роман о бегстве. **51**, 408-413; Не рано ли петь отходную... **52**, 405-410; Сказание о походах. **53**, 413-416; Облик «грустного беби». **54**, 417-421; О «вехах» и мифах в советской истории. **56**, 371-374; Странный бунт. **57**, 404-407.

Ирина МУРАВЬЕВА. «И дышат почва и судьба». **53**, 399-407; Излечение правдой. **55**, 385-393.

Томаш МЯНОВИЧ. О Катыни в Германии. **50**, 403-407.

А.П. Две правды солдатские. **58**, 400-405.

Сергей ПЕТРУНИС. Дорога длиною в тысячу страниц. **56**, 383-386.

Александр ПОКРОВ. Свет надежды. **58**, 394-399.

К.ПОМЕРАНЦЕВ. «Иди на Голгофу». **52**, 397-401; «Перестройка — двойной советский вызов». **56**, 363-370.

М.ПОХВИСНЕВ. «На невзрачной равнине с суровым климатом»... **43**, 401-408.

А.РАДАШКЕВИЧ. Лирическая автобиография Александра Верника. **53**, 396-398.

К.С. «Боярские дети» и советская патология. **54**, 409-413; Время останавливать время. **56**, 407-411; «Путь к падению и позору». **60**, 408-413.

Т.С. И.Земцов, Д.Феррар. «Горбачев. Человек и система. 70 лет после Октября». **56**, 402-407.

Ф.САЛКАЗАНОВА. «КГБ во Франции». **49**, 401-410.

Т.САМСОНОВА. От чего — к чему? **58**, 405-413.

Кира САПГИР. Право на счастье. **43**, 394-399; Дальний берег Палисандра. **46**, 385-389; Лирики, мечтатели, мыслители... **50**, 399-402; «Тричетвертная луна в мандроле». **52**, 368-372; «Никто как свой...». **54**, 401-405; «Жить по-русски — жить по-другому...». **55**, 393-396; «Серебряный век» — первый том «Истории русской литературы». **56**, 353-357; Белый берег стихов. **60**, 400-404.

О. Алексей Алоис СТРИЧЕК. Христос по Айтматову. **56**, 378-383.

Н.Т. Летопись преступлений. **57**, 399-404; Сквозь дым легенд. **59**, 377-381.

Алексей ТАТАРИНОВ. Стихотворения Инны Лиснянской. **45**, 405-410; Одышливая гармония. О стихотворениях Евгения Рейна. **51**, 401-407.

Мария ТИМ. «Рекомендуется прочесть все». **54**, 387-393.

Юлия ТРОЛЛЬ. «Он останется гордостью русской поэзии». **50**, 383-388.

Юрий ТУВИМ. Хрестоматия ошибок. **48**, 369-372; Торжество банальности. **52**, 372-375.

Е.ТУДОРОВСКАЯ. Путеводитель по «заповеднику». **46**, 389-392.

Николай ТЮЛЬПИНОВ. В жерновах политики. **60**, 393-399.

Любовь ФЕДОРОВА. Книга о балетмейстере Баланчине. **46**, 397-401.

Р.ФРАНКОН. Несостоявшийся апокалипсис. **51**, 413-418.

Б.ХАЙНМАН. Глазами побежденного. **45**, 415-418.

М.ХЕЙФЕЦ. Противоречия Кирилла Хенкина. **42**, 369-374.

Семен ЧЕРТОК. Границы гласности. **54**, 393-400.

Игнатий ШЕНФЕЛЬД. Польское дополнение к «Архипелагу ГУЛАГ». **48**, 388-394.

Раиса ШИШКОВА. Заговор или заговор против действительности. **54**, 414-417; Ничьи бабушки на золотом крыльце. **56**, 398-402.

Ада ШЛАЕН. В поисках самих себя... **59**, 393-396.

Борис ШЛАЕН. А что за кадром? **60**, 420-424.

Э.ШТЕЙН. Русская литература и американские слависты. **46**, 401-405.

Ирина ЭЛЬКОНИН-ЮХАНССОН. Исход русской интеллигенции. **41**, 408-412.

КОРОТКО О КНИГАХ

А.К.: Несломленная Польша на страницах «Русской мысли». — К.С.: Виктор Енютин. Стихи. — К.С.: Лев Халиф. ЦДЛ. — В.Б.: Анри Воло-

хонский. Стихотворения. — В.Б.: Юрий Милославский. Стихотворения. **43**, 409-419.

А.К.: Статистика России. Записная книжка Ник. Дронникова. Вып. 1-3. — Т.Г.: А.Боголюбов. Сын человеческий. — Ю.Ф.: Абдурахман Авторханов. Мемуары. — В.Б.: Нина Берберова. Стихи. — В.В.: Марк Альтшуллер. Предтечи славянофильства в русской литературе. — Б.В.: Дмитрий Малкин. Иордан на Невском. **44**, 389-402.

К.С.: Владимир Рыбаков. Тиски. **46**, 407-408.

[Ред.]: Аркадий Шевченко. Разрыв с Москвой. — [Ред.]: Николай Полянский. МИД. — К.С.: Елена Шапова. Стихи. **47**, 419-424.

В.Б.: Эммануил и Ольга Штейн. Чтобы Польша была Польшей. — В.Б.: Антисоветский Советский Союз. — В.В.: И.М.Сирот. Русские посланицы библейского происхождения. — Феликс Кандель. На ночь глядя. **48**, 403-410.

И.Г.: Димитрий Панин. Созидатели и разрушители. — [Ред.]: Погибает целый народ. — [Ред.]: Двісті листів Б.Антоненко-Давидовича. — [Ред.]: Янка Купала и Якуб Колас на Захадзе. **49**, 415-420.

Г.К.: Три жизни Оскара Рабина. — К.С.: Песни Ж.Бреля и Ж.Брасанса. **50**, 419-424.

А.Т.: «Автор всех моих песенок — жизнь...». О новых стихах Рины Левинзон. — А.К.: Вольфганг Казак. Словарь русской литературы после 1917 года. **51**, 427-431.

А.Т.: Вадим Крейд. Восьмигранник. — Г.А.: Роберт Мосс. Гоголевский бульвар. **52**, 411-416.

М.М.: Алла Кторова. Мелкий жемчуг. — Кира САПГИР: Борис Закович. Дождь идет над Сеной. — Н.Г.: Василь Стус в жизни, творчестве, воспоминаниях и оценках современников. **53**, 417-423.

Н.Г.: Б.Прянишников. новопоколенцы. — Н.Г.: Тончо Карабулков. Товарищ Генеральный Секретарь. (Вождь). — В.М.: Василий Агафонов. Коперник, два шага вперед. **54**, 425-430.

Н.Г.: Мих. Розанов. Соловецкий концлагерь в монастыре. **55**, 401-402.

В.М.: Эли Визель. Завет. — Э.Ш.: Thomas R.Beyer, Gottfried Kratz, Xenia Werner. Russische Autoren und Verlage in Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. **56**, 413-417.

Н.Т.: Борис Бочштейн. Занимательная кремленология. **57**, 411-413.

Т.ЦОЛЛЕР: Жив Бог. — О.К.: Борис Георгиевич Меньшагин. Воспоминания. — Ольга МИРОНОВА: Кирилл Косцинский. В тени Большого дома. **58**, 415-419.

Мара ФЕЛЬДМАН: Лия Владимировна. Стихотворения. — Игумен ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ): Д.А.Антонов. Надежда. **59**, 397-401.

В.Б. «Народ и земля» №№1, 2. **45**, 419-423; «Віднова» №№2, 3. **46**, 409-412.

В.В. «Свободный мир». **47**, 425-427.

М.ВАЙНШТЕЙН. Да, лицо ненависти! **42**, 380-384.

Н.Г. Чешские разговоры — не только на чешские темы. **47**, 427-430; «Погляды» №1. **53**, 425-426; «The Journal of Decorative and Propaganda Arts». **54**, 431-432; «Сучасність», 1988, №7-8. «Віднова», том 6/7, 1987. **58**, 421-424.

Елена ГЕССЕН. Исповедь первого ученика. **59**, 407-414.

Татьяна ГОРИЧЕВА. «Эхо» №13. **41**, 417-419.

А.К. «Посев». **48**, 413-414.

Галина КЕЛЛЕРМАН. «Стрелец» — журнал прошлого и настоящего. **50**, 429-433.

С.ЛАЙКО. «Свободный мир». **58**, 424-426.

М.М. «Эхо» №14. **49**, 423-428; «22» №50. **52**, 417-420.

Владимир МАКСИМОВ. Пламя живых. **53**, 429-432; Возвращение к истокам. **60**, 431-432.

Юрий МАМЛЕЕВ. Альманах литературы и искусства. **48**, 411-413; «Беседа» №4. **52**, 420-423.

Нина МУРАВИНА. «Душевные гусли» Синявского. **41**, 419-426.

Майя МУРАВНИК. Ад торжествует. **42**, 379-380; Страдающая память. **59**, 403-406.

Ирина МУРАВЬЕВА. Чад обновленного «Огонька». **59**, 415-430.

Вадим НЕЧАЕВ. «Стрелец». (Обзор нового ежемесячного журнала. 1984-1985 гг.). **44**, 408-410.

К.С. В стороне от мелководья. **43**, 420-422.

Тамара САМСОНОВА. «Новое мышление» как фактор социального развития в СССР. **55**, 403-416; А «старикам» перестройка лишь только снится! **56**, 419-423.

К.САПГИР. «Грани» №№131-135. **44**, 403-408; «Новые Грани». **51**, 433-436.

Николай ТЮЛЬПИНОВ. Зов крови или жажда крови. Полемиические заметки. — В блуждании за правдой. **57**, 415-434.

Екатерина ФИЛИПС-ЮЗВИГГ. «Новый журнал» №164. **53**, 426-428.

ФИЛОСОФСКИЙ журнал третьей эмиграции. **49**, 421-423.

Э.ШТЕЙН. Войцех Ярузельский и его эмигрантские апологеты. **50**, 433-437.

НАША АНКЕТА

Интервью с Оливье КЛЕМАНОМ. Взяла Татьяна Горичева. **41**, 427-443.

Исповедь Андрея ТАРКОВСКОГО. [Текст документального фильма]. Публикация и комментарий Александра Гершковича. **42**, 385-406.

О человеке поздней эпохи. Интервью Карела Гвиждялы с Вацлавом БЕЛОГРАДСКИМ. Перевел с чешского Ефим Фиштейн. **43**, 423-443.

Интервью с Юрием Петровичем ЛЮБИМОВЫМ. Ведет Наталья Горбаневская. **44**, 411-443.

«Весь мир превращается в мафию». Интервью с Леонардо ШАШЕЙ. Ведет Гейтер Стюарт. **45**, 425-438.

Беседа с главным редактором «Нового русского слова» Андреем СЕДЫХ. Ведет проф. Джон Глэд. **46**, 413-426.

Беседа с Марекком ХАЛЬТЕРОМ. Вела Галина Келлерман. **47**, 431-438.

Беседа с главным редактором журнала «Будущее» Ценко БАРЕВЫМ. Ведет Ольга Минц. **48**, 415-427.

Беседа с генеральным секретарем Международного ПЕН-Клуба Александром БЛОКОМ. Вела Галина Келлерман. **49**, 433-443.

Интервью с Анатолием ЩАРАНСКИМ ведет Наталья Горбаневская. **50**, 439-444.

Интервью с Куртом ВОННЕГУТОМ. Взял А.Мирчев. **51**, 437-446.

Интервью с академиком Андреем Дмитриевичем САХАРОВЫМ (с участием Елены БОННЭР). Ведет лорд Николас Бетелл. **52**, 425-445.

Интервью с Бранко ЛАЗИЧЕМ. Вела Галина Келлерман. **53**, 433-443.

Интервью с Уильямом СТАЙРОНОМ. Взял А.Мирчев. **54**, 433-444.

Интервью с Марко ПАННЕЛЛА. Ведет Галина Келлерман. **55**, 417-430.

Есть на свете справедливость. Интервью со Славомиром МРОЖЕКОМ. Ведет Наталья Горбаневская. **56**, 425-434.

Интервью с Аленом ГИЙО. Вела Галина Келлерман. **57**, 435-444.

«И когда я стал это делать, я впервые почувствовал свет». Разговор с главным режиссером московского театра «Школа драматического искусства» Анатолием ВАСИЛЬЕВЫМ ведет Андрей Бородин. **58**, 427-445.

Я не верю во вдохновение — я верю только в труд, в поглощенность трудом. Интервью с лауреатом Нобелевской премии по литературе Клодом СИМОНОМ. Взяли Н.Горбаневская и Н.Дюжева. **59**, 435-442.

Беседа с Мстиславом РОСТРОПОВИЧЕМ и Галиной ВИШНЕВСКОЙ. (К пятнадцатилетию эмиграции). Ведет Галина Келлерман. **60**, 433-446.

РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Поздравления к 10-летию «Континента»: Тамара, Людмила и Ксения Ивановна ГОНЧАРЕНКО. **41**, 82; Евгения ЛЕРХЕ. **41**, 128; Вадим НЕЧАЕВ. **41**, 180; Игорь ЧИННОВ. **41**, 271; Марк ПОПОВСКИЙ. **41**, 384.

Премия им. Даля 1984 [Вадиму Делоне, посмертно]. **41**, 290.

[Сообщение о кончине кардинала Иосифа Слипого]. **41**, 426.

Юрию Орлову. [К 60-летию]. **41**, 3-я стр. обложки.

Голь на выдумки хитра. Заявление Интернационала Сопротивления. **41**, 4-я стр. обложки.

Эдуард КУЗНЕЦОВ. Памяти Валентина Соколова. **42**, 138.

[Сообщение о специальном заявлении «Исламского объединения афганских муджахеддинов» в защиту А.Д.Сахарова]. **42**, 140.

Памяти Бориса Суварина. **42**, 174.

Скончался кардинал Иосиф Слипый. **42**, 287.

Медленная смертная казнь. [После гибели Валерия Марченко]. **42**, 288.

Ярославу Сейферту, лауреату Нобелевской премии по литературе 1984 года. **42**, 350.

Памяти Карла Проффера. **42**, 354.

Десятилетие «Континента». (Из польского подпольного журнала «КОС»). **42**, 377.

Д-р БРОЙДЕ-ТРЕППЕР (АНТОНОВ). Открытое письмо: свободной прессе, Интернационалу Сопротивления. **42**, 406.

Содержание №№31-40. **42**, 407-422.

Галина ВИШНЕВСКАЯ. Заявление для печати. **43**, 52.

В защиту поэта Владислава Лёна. (Получено от друзей В.Лёна). **43**, 152.

Памяти Юзефа Мацкевича. **43**, 176.

[Заявление Татьяны ЯНКЕЛЕВИЧ на пресс-конференции журнала «Ридерс дайджест» в защиту А.Д.Сахарова]. **43**, 194.

Пятые Международные Сахаровские слушания. **43**, 302.

Новые члены редколлегии «Континента» [Пьер Дэкс, Норман Подгорец, Ален Безансон, Оливье Клеман]. **43**, 321-322.

Василий АКСЕНОВ (и др.). В защиту Феликса Светова. **43**, 3-я стр. обложки.

Алексис Раннит. [Некролог]. **43**, 4-я стр. обложки.

Премии «Солидарности» в области культуры за 1984 год. **44**, 190.

Ан. ЛЕВИТИН (КРАСНОВ). Генералу ордена иезуитов. [В защиту о. Глеба Якунина, Владимира Пореша и Александра Огородникова]. **44**, 208.

Молитва еврея. Со вступительной заметкой К.Померанцева. **44**, 4-я стр. обложки.

Владимир БУКОВСКИЙ [и др.]. По поводу ареста Олега Алифанова. **45**, 404.

С.БАДАШ. А.Э.Левитин-Краснов. (К 70-летию со дня рождения). **45**, 423-424.

Анатолий КРАСНОВ-ЛЕВИТИН. О современных Каинах. [В защиту Александра Огородникова]. **45**, 440.

Леонид ПЛЮЩ. Жертвоприношение поэта. [После гибели Василя Стуса]. **45**, 441-445.

[Памяти Василя Стуса]. **45**, 3-я стр. обложки.

Слово прощания. [На смерть Акселя Шпрингера]. **45**, 4-я стр. обложки.

[Сообщение о создании «Общества содействия независимой культуре из СССР»]. **46**, 119.

К 80-летию Леонида Ржевского. **46**, 282.

Науму Коржавину — 60 лет. **46**, 4-я стр. обложки.

Анатолий ЛЕВИТИН (КРАСНОВ). Председателю Социалистического Интернационала Вилли Брандту. **47**, 256.

Юрий ФЕЛЬШТИНСКИЙ. Памяти М.С.Френкина. **47**, 266.

Премии «Солидарности» в области культуры за 1985 год. **47**, 350.

Дмитрию Панину — 75 лет. **47**, 430.

К 65-летию Льва Друскина. **47**, 3-я стр. обложки.

Виктору Некрасову — 75 лет. **48**, 186.

Миловану Джиласу — 75 лет. **48**, 262.

Д-р Д.АНТОНОВ. Памяти профессора А.И.Опупьского. **48**, 298.

Юбилей Наташи Горбаневской. **48**, 3-я стр. обложки.

[Обращение «Общества содействия независимой культуре из СССР»]. **49**, 137.

Д-р Эдгар ТРЭППЕР-БРОЙДЕ. Интернационалу Сопротивления [и др. международным организациям]. **49**, 164.

Пастор Е.А.ФОСС [и др.]. Новое о фонде для издания произведений Валерия Тарсиса. **49**, 324.

Георгий ВЛАДИМОВ. К читателям журнала «Грани». **49**, 430-431.

Семену Липкину. [К 75-летию]. **49**, 4-я стр. обложки.

К 80-летию З.А.Шаховской. **50**, 278.

Владимир МАКСИМОВ. Свет доброты. (На смерть Леонида Ржевского). **50**, 426-427.

Памяти Ангелины Галич. **50**, 438.

Хельмут КОЛЬ. [Письмо В.Е.Максимова]. **50**, 3-я стр. обложки.
К 60-летию Галины Вишневской. **50**, 4-я стр. обложки.

Владимир МАКСИМОВ. Жертвоприношение. [Памяти Андрея Тарковского]. **51**, 170-171.

Премии «Солидарности» в области культуры за 1986 год. **51**, 242.

Конрад БЕЛИНСКИЙ [и др.]. Письмо Андрею Сахарову. **51**, 293.

Владимир МАКСИМОВ. Судьба мятежного генерала. [Памяти Петра Григоренко]. **51**, 294-295.

Владимир МАКСИМОВ. Человек, и этим все сказано... [Памяти Анатолия Марченко]. **51**, 368.

Пинхос ПОДРАБИНЕК [и др.]. Обращение к мировой общественности. [После гибели Анатолия Марченко]. **51**, 369.

Евгений ПАШНИН. Заявление для печати. [После гибели Анатолия Марченко]. **51**, 370.

[Премия им. Владимира Даля за 1986 год — Юрию Карабчиевскому]. **51**, 426.

Юз АЛЕШКОВСКИЙ, Иосиф БРОДСКИЙ, Лев ЛОСЕВ. Памяти поэта [Ивана Елагина]. **51**, 3-я стр. обложки.

Юбилей великого артиста. [К 60-летию Мстислава Ростроповича]. **51**, 4-я стр. обложки.

Стихи из России. [К публикации стихотворений пяти поэтов]. **52**, 7.

Александру Зиновьеву. [К 65-летию]. **53**, 242.

Владимир МАКСИМОВ. К 85-летию Андрея Седых. **53**, 290.

Архиепископу Иоанну Сан-Францисскому (Страннику). [К 85-летию]. **53**, 382.

Премии Нижнесилезской «Солидарности». **53**, 424.

Владимир МАКСИМОВ. Жизнь, как единый выход. [Памяти Виктора Некрасова]. **53**, 4-я стр. обложки.

Олег ЦЕЛКОВ. Открытое письмо. **54**, 196.

Димитрий Михайлович Панин. [Некролог]. **54**, 284.

Ян ЭВАРИСТ. Открытое письмо Наталье Горбаневской и всем друзьям на Западе. [В защиту Корнеля Моравецкого]. **54**, 304.

Гласность способствует делу мира. [Обращение общества содействия независимой культуре в СССР]. **54**, 314 [Повторено в №№55-56].

Исполнилось 10 лет со дня смерти Александра Галича. **54**, 445.

Торжество русской поэзии. [К присуждению Нобелевской премии по литературе Иосифу Бродскому]. **54**, 4-я стр. обложки.

Франсуа РОСИНЬЕ. Издать труды Д.М.Панина. **55**, 302. [Повторено в №№56-60].

Уильям БАКЛИ-младший [и др.]. Свободу Корнелю Моравецкому. **55**, 382-383.

Оскар Рабину — 60 лет. **55**, 4-я стр. обложки.

Интернационал Сопротивления. Заявление в защиту Паруйра Айрияна. **56**, 284.

Интернационал Сопротивления. Заявление [о волне забастовок в Польше]. **56**, 290.

На пороге второго тысячелетия. **56**, 3-я стр. обложки.

Арману Малумяну — 60 лет. **56**, 4-я стр. обложки.

Михаил Сергеевич Лосенков. [Некролог]. **57**, 445.

День действий в защиту народа Румынии. **57**, 3-я стр. обложки.

Снова двойные стандарты! Заявление Интернационала Сопротивления. **57**, 4-я стр. обложки.

Права человека по-шведски. Заявление Интернационала Сопротивления. **58**, 360.

Александру Солженицыну — 70 лет. **58**, 4-я стр. обложки.

Памяти Юлия Даниэля. **59**, 76.

Владимир МАКСИМОВ. Фазилу Искандеру — 60 лет. **59**, 360.

Символ нашей веры. **59**, 431-432.

Н.ГОРБАНЕВСКАЯ. ...и несколько слов впридачу. **59**, 433.

Эдуарду Кузнецову — 50 лет. **59**, 4-я стр. обложки.

Главному редактору журнала «Культура» Ежи Гедройцу. [К выходу 500-го номера журнала]. **60**, 274.

«Будапештская весна». Заявление Интернационала Сопротивления. **60**, 380.

Памяти пастыря и поэта [архиепископа Иоанна Сан-Францисского (Странника)]. **60**, 3-я стр. обложки.

Иосиф БРОДСКИЙ, Георгий ВЛАДИМОВ, Александр ЗИНОВЬЕВ, Владимир МАКСИМОВ. Независимому общественному комитету «Апрель» («Писатели в поддержку перестройки»). **60**, 4-я стр. обложки.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ (особая пагинация)

Мстислав РОСТРОПОВИЧ. К вопросу о перетаскивании трупов. **42**, 3.

ДОКУМЕНТЫ польско-русской солидарности: Збигнев БУЯК — Владимиру Буковскому; Владимир БУКОВСКИЙ — Збигневу Буяку; Збигнев РОМАШЕВСКИЙ. В защиту Сахаровых; Конрад БЕЛИНСКИЙ [и др.]. В редакцию журнала «Континент» для Елены Боннэр и Андрея Сахарова; Яцек КУРОНЬ. Солидарность с Андреем Сахаровым; Телеграмма «Континента» и «Русской мысли» в связи с выходом 100-го номера

«Тыгодника Мазовше»; Памяти польского мученика. Священник Ежи Попелушко (1947-1984). **42**, 9-24.

Выступление президента РЕЙГАНА перед Европейским парламентом в Страсбурге 9 мая 1985 г. **46**, 3-17.

Рональд РЕЙГАН. Письмо г-ну Альберту Джолису, секретарю-казначею Американского фонда содействия Интернационалу Сопротивления. **46**, 18.

Владимир МАКСИМОВ. Терпимость с идеологическим лицом. **47**, 3-5.

НОВЫЕ документы польско-русской солидарности: письмо Корнеля МОРАВЕЦКОГО Наталье Горбаневской, заявление Корнеля МОРАВЕЦКОГО «Почему я не вышел из подполья», ответ Натальи ГОРБАНЕВСКОЙ. **48**, 3-7.

Георгий ВЛАДИМОВ. Необходимое объяснение. **48**, I-XI.

Владимир МАКСИМОВ. Сообщение. **48**, XI.

Иосиф БРОДСКИЙ. Нобелевская лекция 1987. **55**, 3-14.

Кёльнское обращение. **56**, 3-9.

Специальное приложение

23–26 июня в Кёльне, в помещении фонда Аденауэра, состоялась вторая конференция «Кёльнского клуба». В ней приняли участие ряд деятелей культуры и правозащитников, проживающих, как в эмиграции, так и в Советском Союзе. Среди них: А. Авторханов, Н. Горбаневская, С. Григорьянц, А. Ваксберг, А. Зиновьев, Г. Владимов, М. Восленский, В. Максимов, Л. Плющ, А. Стреляный, В. Уфлянд, С. Ходорович, Н. Эйдельман и др. В качестве западных наблюдателей в конференции участвовали профессора – слависты и политологи А. Безансон, М. Геллер, В. Страда, а также Генеральный секретарь международного Пен-клуба А. Блок. На заключительном заседании было принято Обращение, текст которого мы приводим ниже.

ОБРАЩЕНИЕ «КЁЛЬНСКОГО КЛУБА»

События в Советском Союзе, в Китае и некоторых странах Восточной Европы продолжают стремительно развиваться. За год с небольшим, прошедший со дня предыдущей конференции «Кёльнского клуба», мы сделали свидетелями активного пробуждения общественного самосознания. Окончательно развеян миф о политической инертности, исторически детерминированном отсутствии воли к свободе, культурной отсталости наших народов, который на Востоке и на Западе служил оправданием незыблемости диктаторского режима. В течение каких-нибудь трех-четырех лет по всей территории Советского Союза, несмотря на противодействие властей, возникло множество независимых организаций, объединений и партий, активно участвующих в общественно-политической жизни. И если в начале процесса многие инакомыслящие не надеялись быть поняты широкими слоями населения, то теперь они все чаще и чаще апеллируют к обществу, чутко реагирующему на любые колебания морального и политического климата в стране, и встречают широкое понимание и поддержку. С каждым днем все большее число людей приходит к выводу, что дело не в демократических лозунгах, а в подлинных демократических реформах и что обновленная и «гуманизированная» методика управления страной тоже может служить сохранению и укреплению недемократической, неправовой системы.

До сих пор остаются в тюрьмах политзаключенные и идут новые аресты. С политических эмигрантов до сих пор не снято клеймо измены. Одной рукой сочиняются призывы к углублению демократии, а другой скрепляются репрессивные законы. С помощью процедурных манипуляций сплошь и рядом игнорируется воля большинства избирателей. На словах поощряется свобода хозяйственной деятельности, а практически делается все, чтобы задушить ее в самом зародыше. Отложено на неопределенный срок выяснение обстоятельств тбилисской бойни, хотя советскому руководству требуется несколько часов, чтобы получить от подчиненных полный отчет о происшедшем.

В страхе перед неуправляемыми и непредсказуемыми процессами, грозящими стране экономическим и моральным распадом, на разных уровнях и в разных кругах зреют мысли об ужесточении режима. На самом же деле, это способно лишь приблизить катастрофу.

Озабоченные историческим будущим своей страны и желая ей только добра, мы видим выход из создавшейся критической ситуации на путях свободного развития общества. При всем различии взглядов и оценок сегодняшней действительности, есть позиции, с которыми все мы согласны. Только совместный поиск оптимальных решений может помочь нам предотвратить катастрофу.

Для этого, на наш взгляд, необходимо предпринять прежде всего следующие шаги:

1. Легализовать деятельность всех независимых движений, не исповедующих насилия.

2. Отказаться от имперских методов внутри страны и во внешней политике, осуществить на деле право всех больших и малых народов на самоопределение и суверенитет. Немедленно восстановить справедливость в отношении репрессированных народов; потерпевшие должны получить моральную и материальную компенсацию. Исключить любые формы советского вмешательства во внутренние дела стран Восточной Европы, Афганистана и других государств.

3. Уравнять в правах все формы собственности: государственную, частную и кооперативную.

4. Полностью реабилитировать все жертвы насилия и беззакония 1917–1989 гг.

5. Перейти от разрешенной и регламентированной сверху гласности к полной свободе слова, печати и свободе со вести. Провозгласить и на деле осуществить отделение государства от идеологии.

6. Привести советское законодательство в соответствие со всеми международными договорами и пактами, подписанными СССР.

Современное общество не может и не должно зависеть от воли, жизни или смерти какой-либо отдельной личности. Современное общество должно зависеть только от законов и свободного волеизъявления народа.

Единственной альтернативой для нашего общества может быть только демократия без каких бы то ни было оговорок.

А. Авторханов, Ц. Барев, Н. Горбаневская, С. Григорьянц, А. Ваксберг, Г. Владимов, М. Восленский, Л. Герштейн, А. Гинзбург, М. Джилас, Э. Кузнецов, Н. Кузнецова, В. Максимов, А. Малумян, И. Муравьева, Л. Плющ, З. Рураж, А. Стреляный, С. Ходорович, В. Уфлянд, Н. Эйдельман



К ЧИТАТЕЛЯМ!

Дорогие друзья!

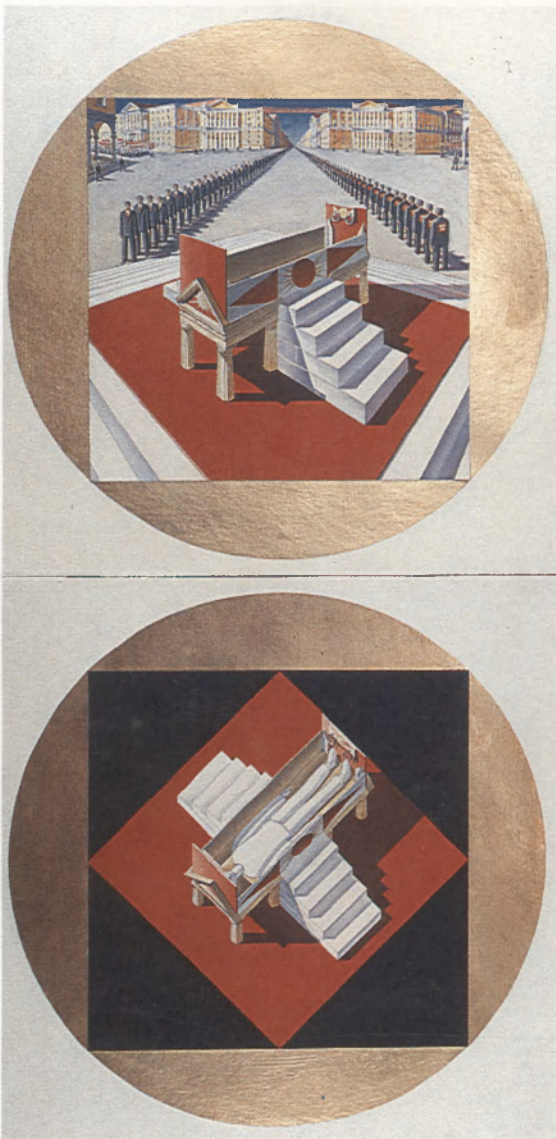
В связи с прекращением наших отношений с издательским Домом Акселя Шпрингера и сетью распространения О. Нейманиса в Мюнхене наш журнал, начиная с № 62, будет выходить и распространяться под покровительством «Фонда друзей „Континента“».

Читатели, подписавшиеся на весь 1989 год, получают декабрьский номер в обычные сроки, то есть в начале января следующего года.

Подписка на 1990 год будет производиться бюро распространения «Континента». Об условиях подписки мы сообщим в следующем номере.

Адрес редакции: 11 bis, rue Lauriston
F-75116 Paris
France

«Континент»



Леонид Ламм. «Прокрустово ложе»
(проект), 1988 г.